

# ФРАНСУА ВИЙОН



*Epitaphie dudit Villon*  
freres humains qui apres nous serez  
Esperoyez curieux contre nos endurances  
Car se pite de nos' jeunesse morte  
Dont en vaine plusieurs se font merzies  
Dont nous sommes cy attachés comme foy  
Qu'ils se fa. . . . .  
Et se' pua braves et poutre  
et no' les on boucenda et d'ice e' poutre  
De nostre mal' p'ception ne se' que  
D'ice p'ice-bite que l'ouo nous v'ant  
se absoulde



Жан Фавье



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жан Фабье

# ФРАНСУА ВИЙОН

МОСКВА  
**МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ**  
1999

---

УДК 929+ 840.09  
ББК 83.3(4Фра)  
Ф 13

Перевод с французского  
**В. А. Никитина**

Предисловие и научное редактирование  
заслуженного деятеля науки Российской Федерации  
**А. П. Левандовского**

*Перевод осуществлен по изданию:  
Jean Favier. François Villon. Paris, Fayard, 1990.*

Ouvrage publié avec l'aide  
du ministère français chargé  
de la Culture – Centre national du livre

Издание осуществлено с помощью  
Министерства культуры Франции  
(Национального центра книги).

Ouvrage réalisé dans le cadre  
du programme d'aide à la publication  
*Pouchkine* avec le soutien du  
Ministère des affaires étrangères français  
et de l'Ambassade de France en Russie

Издание осуществлено в рамках  
программы «Пушкин» при поддержке  
Министерства иностранных дел Франции и  
Посольства Франции в России.

© Librairie Anthème Fayard, 1982.  
© Издательство «Палимпсест»,  
перевод на русский язык.  
новая редакция 1999 г.  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление. 1999 г.

ISBN 5-235-02341-2

## ФРАНСУА ВИЙОН И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ФРАНЦИИ XV ВЕКА

Жизнеописание Франсуа Вийона — на первый взгляд, дело неподъемное, заранее обреченное на неудачу: от великого поэта остались лишь несколько более или менее точных дат плюс его творчество. Конечно, этого вполне достаточно для бессмертия, но слишком мало для биографии. И тем не менее Жан Фавье смело взялся за это вроде бы гиблое дело. И не только взялся, но и выдал объемистую книгу в 26 печатных листов, читаемую с интересом и доверием. Последнее, впрочем, неудивительно: Фавье — член Французской Академии, автор многочисленных исторических трудов, бóльшая часть которых посвящена событиям XV века. А для биографии своего героя он нашел и применил особый ключ: поднял целый пласт повседневной жизни Франции, «опросил» сотни людей XV века — «властителей и чиновников, негоциантов и перевозчиков, кардиналов и ростовщиков». Он проник в их разговоры и записи, изучил «тысячи и тысячи страниц, заполненных средневековым почерком», одним словом, возможно полно выявил среду и атмосферу, в которых жил и творил Вийон. А после этого учинил «допрос» самому поэту, выжав из его творений все то, что составляло его индивидуальность и что привнесли в них контакты с этой средой. Так постепенно из недр XV века появился на свет конкретный его представитель со всеми своими достоинствами и недостатками, пороками и стремлениями, мечтами и свершениями. Попутно Фавье знакомит читателей с рядом замечательных современников Вийона, с поэтами Дешаном и Шартье, со знаменитыми меценатами — «добрым королем» Рене Анжуйским и принцем-поэтом Карлом Орлеанским. Вместе с Вийоном и без него читателю доведется побывать и в средневековом замке, и в соборе, и в жилище каноника, и в Сорбонне, и в тавернах, и в домах терпимости, и на парижских улицах, присутствовать при студенческих волнениях, на праздничных зрелищах и публичных казнях. Он узнает, как происходило обучение в средневековом университете, каков был быт «школяров», как проходили научные диспуты и присуждение ученых степеней, какие церковные праздники справлялись в течение года, как обстояло с браком и «свободной любовью» и еще многое, многое другое. И конечно же, читатель узнает все, что только можно узнать о творчестве Вийона, — здесь автор книги выступает как



маститый литературовед, полемизирующий со своими коллегами, подробно анализируя каждое из произведений поэта, в первую очередь его «Малое» и «Большое» «Завещания».

Но при этом, сделав как бы глубокий горизонтальный срез французского общества эпохи Вийона, Фавье значительно меньше внимания и места уделил вертикальному срезу, иначе говоря, не дал последовательно раскрывающегося чисто исторического фона повествования, считая, что вполне достаточно ограничиться хронологической таблицей в конце книги. Он лишь попутно упоминает в тексте о ряде событий, таких, как Столетняя война, казнь и «реабилитация» Жанны д'Арк, реформы Карла VII и т. п. Автора можно понять: он не ставил своей целью дать историю Франции XV века — это сделано в других его книгах; да и, кроме того, его беглые указания на те или иные события и персоналии, не имеющие прямого отношения к герою, для большинства французских читателей, по-видимому, понятны. Иначе обстоит дело с читателем русским, для которого история Франции не является родной историей, и вследствие этого многие реплики автора и вскользь сделанные им замечания выглядят головоломками. Какие же главнейшие события определили жизнь французского общества XV века?

В годы детства и юности Франсуа Монкорбье — будущего Вийона — его родина все еще находилась в состоянии длительной феодальной войны, которую потомки окрестят Столетней. Война эта, и правда с перерывами тянувшаяся более ста лет (1337—1453), была продолжением традиционной борьбы между французскими и английскими королями и феодалами за землю и власть. После прекращения во Франции прямой линии Капетингов (1328) английский король Эдуард III заявил претензию на вакантный престол, мотивируя ее своим родством по женской линии с вымершей династией. Но французские феодалы предпочли избрать короля из своей среды, выдвинув представителя фамилии Валуа, боковой линии Капетингов, и этот король стал царствовать под именем Филиппа VI. Тогда Эдуард III решил защищать свои права с помощью оружия. Война шла с переменным успехом, но страдала от нее в первую очередь Франция, на территории которой она велась. Уже в начальной фазе войны англичане затопили французский флот, а в битвах при Креси (1346) и Пуатье (1356) наголову разбили французскую армию, причем в результате второй из этих битв в плен попал цвет французского рыцарства во главе с самим королем Иоанном Добрым, преемником Филиппа VI. По Франции прокатились смуты, в том числе восстание парижских горожан и «Жакерия» — крупнейшее из крестьянских восстаний Средневековья. Король Иоанн Добрый так и умер в английском плену, но

при его сыне Карле V (1364—1380), проведшем серьезные реформы, в том числе и военную, французы одержали ряд побед и освободили от врага значительную часть своей территории, причем здесь особенно отличился полководец короля Дю Геклен, неоднократно упомянутый в книге Фавье. После внезапной смерти Карла V эти успехи быстро забылись. Сын его, Карл VI (1380—1422), вступил на престол в малолетнем возрасте, и вскоре выяснилось, что он страдает нервными припадками, вследствие чего его и прозвали «Безумным». Это дало возможность крупным феодалам, в первую очередь ближайшим родственникам короля, усилить свою власть и даже образовать настоящие удельные княжества. Главную роль играли борющиеся между собой две группы феодалов. Одну из них возглавлял герцог Людовик Орлеанский (отец будущего поэта Карла Орлеанского, сыгравшего некоторую роль в жизни Вийона), другую — герцог Бургундский, создававший могущественное княжество на стыке Франции и Германии. Герцог Орлеанский, вступив в интимную связь с женой короля, королевой Изабо, резко усилил свою позицию, но пал от руки убийцы, после чего, однако, таким же образом был устранен и его соперник герцог Бургундский, Жан Бесстрашный. Его сын, Филипп Добрый, мстя за отца, поспешил заключить союз с английским королем Генрихом V, и в 1415 году прерванная было Столетняя война возобновилась с новой силой. В том же году англичане одержали победу при Азенкуре, после чего вся северная Франция попала в их руки. Французское правительство, возглавляемое королевой Изабо, подписало позорный договор, по которому при безумном Карле VI устанавливалось английское регентство, а после смерти Карла VI Генрих V должен был получить французскую корону. Но большинство французов не признало этого договора, и когда в 1422 году внезапно умерли и Карл VI, и Генрих V, во Франции оказались как бы два монарха: новый английский король, малолетний Генрих VI, и наследник французского престола дофин Карл (будущий Карл VII).

Поскольку и северная Франция, и большая часть южной (Гиень) находились в руках врагов, дофин Карл, чувствуя себя между молотом и наковальней, окопался в средней части страны, в городе Бурже, за что его и прозвали «Буржским королем». Но среди крестьян и горожан Франции, больше всего терпевших невзгод от вражеских нашествий, стала распространяться молва, что Францию «погубила женщина, но спасет девушка». Женщиной-губительницей была, конечно, королева Изабо. А вскоре появилась и девушка. Это была простая крестьянка из пограничной лотарингской деревушки, и звали ее Жанна, по отцу д'Арк. Жанне казалось, будто она слышит голоса святых,

призывающие ее спасти Францию и короновать Карла, все еще считавшегося дофином. Повсюду рассказывая о своем высоком призвании, Жанна добилась встречи с Карлом и внушила ему доверие. Он допустил девушку к командованию армией, которая стояла в осажденном англичанами Орлеане. Воодушевленные бесстрашием и энтузиазмом Жанны, французы сняли осаду с Орлеана, а мужественная девушка получила прозвище «Орлеанской девы». Под водительством Жанны французская армия одержала ряд побед на Луаре, а затем героиня повела нерешительного Карла в Реймс, церковную столицу Франции, где он и был коронован (1429). Но французская знать с недоверием и завистью воспринимала успехи бесстрашной крестьянки, добившейся огромного влияния на армию и народ. Ей стали всячески мешать, и под Парижем она испытала первую неудачу. Когда, защищая город Компьень и участвуя в вылазке, Жанна прикрывала отступление, перед ней закрыли ворота крепости, и она была захвачена бургундцами. В те времена знатных пленников из плена выкупали. Но при французском дворе не было сделано ни малейшей попытки выкупить Жанну. Тогда Филипп Добрый за большую сумму денег продал ее своим союзникам — англичанам. Против Жанны д'Арк был возбужден уголовный процесс по обвинению в колдовстве. Она мужественно защищалась, но силы были неравными. В осуждении ее большую роль сыграл Парижский университет, профессора и магистры которого пресмыкались перед владевшими Парижем англичанами. Жанна была признана виновной и сожжена в Руане в 1431 году, в тот самый, когда родился Франсуа Вийон.

Мученическая смерть Жанны д'Арк ничего не дала англичанам. Начавшийся благодаря ей перелом вдохновил французов, и они одерживали победу за победой (известную роль в этом сыграл главный военачальник Карла VII, коннетабль де Ришмон, имя которого мелькает на страницах книги Фавье). В 1453 году война закончилась полным освобождением Франции за исключением города Кале, удержанного англичанами, а герцог Бургундский Филипп Добрый был вынужден заключить мирный договор с Карлом VII. В дальнейшем французский король, победы которого были связаны с именем «колдуньи», пошел на «реабилитацию» Жанны д'Арк. После тщательной подготовки, через два года по окончании войны, был организован новый процесс, на котором те же ученые мужи, осудившие некогда Жанну на смерть, теперь объявили ее невиновной и полностью оправданной, а в дальнейшем (в 1920 году) она была причислена к лику святых. (Заметим, что в современной французской

историографии вместо «реабилитации» принято говорить об «аннуляции осуждения» Жанны д'Арк.) Франсуа Вийону в том году (1456) исполнилось двадцать пять лет, и в его стихах Жанна д'Арк упоминается неоднократно. Нужно было залечивать раны, оставленные войной. Карл VII провел ряд реформ, о которых упоминается в книге Фавье, в том числе военную, налоговую, реформу Парижского университета и «Прагматическую санкцию», ослабившую зависимость от Рима французской церкви (она стала называться «галликанской»). Однако последние годы правления Карла VII были омрачены борьбой с наследником престола, дофином Людовиком (будущим Людовиком XI).

Рожденный и воспитанный в обстановке постоянных интриг и вероломства, юный Людовик, обладавший живым характером, пытливым умом, наблюдательностью и редким упорством, как губка вбирал в себя все окружавшее и делал немедленные выводы. С детских лет познав цену «феодальной верности», свидетель бесчисленных ложных клятв, маскировавших предательство, он рано усвоил и навсегда сохранил в себе лицемерие и неразборчивость в средствах ради достижения цели, а целью была абсолютная власть. В 1440 году семнадцатилетний наследник престола принял участие в «Прагерии» — мятеже, поднятом против Карла VII крупными феодалами. Мятеж был быстро подавлен, а своего сына король сослал на 15 лет в провинцию Дофине. Позднее, обвиненный в отравлении королевской фаворитки, Людовик оказался вынужден бежать к своему дяде, герцогу Бургундскому Филиппу Доброму — старому сопернику французских монархов. При бургундском дворе дофин прожил несколько лет, вплоть до смерти отца, с которым он так и не помирился. Герцог Бургундский рассчитывал сохранить влияние на племянника, но просчитался. Едва Людовик вступил на престол (1461), как сразу же взялся за реализацию своей программы, сложившейся у него в предшествующие годы. Речь шла о полной перестройке общества и государства, ликвидации феодальных порядков, предельной централизации страны в ущерб крупным сеньорам и под эгидой единого правителя — абсолютного монарха. Впрочем, описание феномена Людовика XI выходит за рамки нашего очерка; для Вийона, как показал Фавье, вступление на престол нового короля ознаменовалось освобождением из мёнской тюрьмы, но уже через два года (1463) поэт навсегда исчез со страниц истории, и оказался ли он свидетелем преобразований нового короля или умер, так и не соприкоснувшись с ними, остается неизвестным.

В заключение несколько слов о настоящем издании книги Ж. Фавье. Предыдущее (1991 года) нельзя назвать удачным: оно

изобиловало неточностями и ошибками, иногда — грубыми. В издании не было иллюстраций и отсутствовала составленная автором хронологическая таблица, необходимая для книг такого рода. Ныне все эти дефекты устранены. Перевод выправлен и приближен к подлиннику. В приводимую в конце книги хронологическую таблицу внесены некоторые необходимые для издания на русском языке исправления и дополнения. Полностью приведена библиография из французского оригинала, а также дана краткая библиография на русском языке. Особо хочется отметить, что настоящее издание снабжено необычайно интересными и редкими иллюстрациями, отражающими различные аспекты жизни Франции в XV веке. Мы уверены, что обновленный «Франсуа Вийон» найдет своего читателя и не залежится на полках книжных магазинов.

**А. Левандовский**

## **Я ЗНАЮ ВСЕ, НО ТОЛЬКО НЕ СЕБЯ...**

### ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДА

5 января 1463 года. Три дня на то, чтобы убраться из Парижа. Это единственное, чего удалось добиться мэтру Франсуа де Монкорбье по прозвищу Вийон, которого приговорили накануне к казни через повешение за то, что каким-то образом он оказался причастен к одному скверному делу, во время которого пошли в ход ножи. И вот 8 января, в самом начале того года, о котором нотариус Жан де Руа сообщает, что он «не был отмечен ни единым примечательным событием», Вийон навсегда вышел из истории.

И вошел в легенду. Его приговорили к изгнанию сроком на десять лет, так что в 1473 году он мог бы вернуться. Однако к этому времени в городе никто о нем уже не вспоминал. Поэтому, когда в 1489 году книготорговец Пьер Лева опубликовал «Большое и Малое завещания Вийона и его баллады», в Париже не нашлось ни одного человека, способного похвастаться личным знакомством с уже знаменитым поэтом. А ведь если в ту пору он еще не умер, ему было всего каких-нибудь шестьдесят лет.

Поэт сам рассказал о своих физических страданиях, явившихся следствием тяжелой жизни, лишений и нескольких тюремных заключений. Тот Вийон, который торжествует над своим тюремщиком — «Разве я был не прав?», — ничуть не похож на прощающегося с жизнью человека, хоть накануне он действительно был в самом жалком состоянии духа. За тридцать два года жизнь здорово потрепала этого озорника. Кстати, о жизни Вийона поведал нам летописец по имени Франсуа Рабле. В выправленной им в 1550 году четвертой части «Пантагрюэля» Рабле рассказал, что автор «Завещания», поселившись «на склоне лет» в расположенном в Пуату местечке Сен-Максен, сочинил «на пуатвенском наречии мистерию Страстей Господних», какие пишут, дабы повеселить народ на ярмарке.

Вийон в роли постановщика был столь же неординарен, как и в роли автора «Страстей Господних», написанных для деревенских подмостков. Легко себе представить, что он вполне мог стать зачинщиком какого-нибудь скандала. А ведь в сцене, где загримировавшиеся под чертей сен-максенские селяне наказывают брата Этьена Пошеяма — ризничего францисканского ордена, монаха, скорее всего, обязанного не только своим существованием, но и именем сочинительскому дару Франсуа Рабле, — речь идет именно о скандале.

Рабле не без удовольствия рассказывает печальную историю того скверного ризничего, который отказался одолжить горожанам кое-что из церковного облачения — епитрахиль и ризу, необходимые для того, чтобы обрядить одного старого крестьянина, занятого в почетной роли Господа Бога. Мечь была чудовищной. Вийон заставил своих артистов изображать чертей, и вся эта нечисть подстроила провинившемуся ризничему западню. Кобыла ризничего понесла, «начала брыкаться, на дыбы взвиваться, из стороны в сторону метаться» и наконец сбросила Пошеяма, но одна его нога очень неудачно застряла в стремени. А кобыла пустилась во всю прыть. И пришлось волочившемуся по земле ризничему расстаться с головой и мозгами, руками и ногами, кожей и костями. Кишки же его оставили длинный кровавый след.

Увидев, что от прибывшего во францисканский монастырь брата Пошеяма осталась лишь запутавшаяся в стремени правая нога, Вийон якобы утешил участников фарса следующим образом: «Славно же вы сыграете, господа черти... О, как славно вы сыграете!»

Но может ли быть, чтобы Вийон получил пристанище в Сен-Максене в качестве руководителя труппы комедиантов-любителей? Анекдот этот заслуживает внимания, хоть Рабле превратил его в фарс и произвольно перемешал в своем воображении людей и места действия, вплоть до того, что приписал Вийону честь стать героем еще одной истории, в которой поэт, став своим человеком при английском дворе, заботясь о здоровье короля Эдуарда, заменяет клистирную процедуру созерцанием французского герба.

Сен-максенский эпизод неплохо соотносится с тем, что нам доподлинно известно о жизни поэта. И если в 1463 году после изгнания из Парижа ноги действительно принесли его в Пуату, тут нечему удивляться. Разве не написаны четыре стиха его «Завещания» на пуатвенском наречии?

И стоит ли отрицать, что Вийон имел непосредственное отношение к театру? Ведь на протяжении всего поэтического творчества он только тем и занимался, что разыгрывал общест-

во, участвуя в постановках в качестве актера. «Фарсы, пантомимы и непристойные увеселения» в его глазах были способом заработать, хоть он и признавал суетность этих заработков, коль скоро они все равно в конце концов становились добычей «трактиршиков и шлюх». А разыгранный не на театральных подмостках фарс, жертвой которого стал Пошеям, вполне мог родиться из какого-нибудь скандала, случившегося в будущем Латинском квартале.

Остается лишь представить себе Вийона, отошедшего от преступных дел, Вийона, шествующего по стезе добра и пользующегося покровительством сен-максенского аббата. Такого Вийона, строками которого мы уже не стали бы дорожить.

Вполне вероятно, что некоторые детали рассказа Рабле соответствуют действительности. Вполне вероятно, что Вийон и вправду оказался в Пуату и, чтобы заработать на жизнь, принялся развлекать публику. Во всяком случае на протяжении какого-то времени...

Чтобы как-нибудь заполнить полное отсутствие сведений о последних годах Вийона, причиной которого, вероятно, был его уход из жизни, читатель имеет право помечтать. Забавляясь с буквами и цифрами, можно обнаружить — хотя и не без труда — некие тайные признаки присутствия человека, отнюдь не склонного к тайнописи. При таком подходе присутствие автора «Завещания» можно заметить во всем. Если принять, что Вилен означает Вийон, а последние три стиха кончаются на URF и URF превращаются в FRU, то есть в FRV, то современная критика готова кроме шуток приписать Вийону полдюжины безымянных произведений чуть ли не самого Клемана Маро. Так Вийон стал автором «Вольного стрелка из Баньоле», этой сатиры на городское ополчение, сочиненной Карлом VII в тот момент, когда он формировал свою регулярную армию, разгромленную в первых же боях после воцарения Людовика XI. Таким же образом стал он и автором фарса «Адвокат Патлен», то есть первой французской комедии, внутренними пружинами которой являются глупость, хитрость и жадность.

Однако подобные предположения ни на чем не основаны. Зачем бы это Вийону, привыкшему быть на виду и поминать собственное имя в своих стихах, прятаться, когда после изгнания он оказался вдали от столицы? И даже если бы его отношение к религии стало более глубоким и искренним, это никак не объяснило бы анонимности ни «Страстей Господних», ни сатиры.

Так что можно говорить лишь о том единственном Вийоне, имя которого оказалось запечатленным в 1449 году в Государ-



ственной ведомости артистического факультета\* и который исчез в 1463 году после специального постановления Парламента\*\*. При жизни он пользовался вниманием читателей, причем его читали уже тогда, когда он еще только начинал оттачивать свое перо. Возвращаясь в 1461 году в «Большом завещании» к «завещательным» моментам поэмы «Лэ», которую Пьер Лева впоследствии опубликовал, назвав «Малым завещанием», Вийон писал:

Как помню, в пятьдесят шестом  
Я написал перед изгнанием  
Стихи, которые потом,  
Противно моему желанию,  
Назвали просто «Завещаньем»\*\*\*.

Вышедшее в 1489 году из типографии Пьера Лева издание лишний раз свидетельствует о том, что стихи поэта были популярны. Использованный для них готический шрифт — убедительное тому подтверждение: если для образованной публики уже стали привычными новые буквы, заимствованные гуманистами через посредство элегантных форм каролингского Возрождения у изяшной каллиграфии римского классицизма, то еще целое поколение рядовых горожан оставалось приверженным старому угловатому письму, усвоенному в школе. Готический шрифт указывает на определенный круг читателей. Значит, Вийона читали не только в среде сорбонских грамотеев.

В Париже конца XV века читать любили. Причем в «Тускуланские беседы» Цицерона, «Латинские письма» Гаспаррена Бергамского, «Риторика» Гийома Фише — лишь немного из того, что тогда печаталось и читалось. Это и «Большие французские хроники», и романы о рыцарях Круглого стола, и фарс «Адвокат Патлен», и «Большое завещание» Франсуа Вийона. Гуманисты из наиболее передовых учебных заведений — и в первую очередь коллежа кардинала Лемуана — использовали подвижный типографский шрифт, позволявший держать корректуру, благодаря чему требовательные читатели получили на-

---

\* Нижней ступенькой, обязательной для всех студентов университета, был артистический (от лат. arts — искусства) факультет, на котором изучали «семь свободных искусств»: «тривиум» (грамматика, диалектика и риторика) и «квадривиум» (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). Окончивший артистический факультет (или, иначе, факультет свободных искусств) и получивший степень магистра свободных искусств, мог поступить на один из трех «старших» факультетов: юридического, медицинского или богословского.

\*\* В дореволюционной Франции Парламенты (Парижский и провинциальные) были высшими судебными магистратурами.

\*\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 67. Пер. Ф. Мендельсона.

конец грамотные тексты высокого качества, без которых невозможны никакие филологические штудии. Однако обширная литература, предназначенная для людей состоятельных, и тогда формировалась из массовой продукции. И тут уж было не до качества.

На эту несправедливость обратил внимание поэт Клеман Маро, который заявил однажды, что произведения Вийона заслуживают лучшей участи, хотя бы того, чтобы их издавали не на скорую руку. От одного издания к другому, более или менее точно повторявшему предыдущее, текст после тридцати перепечаток утратил и первоначальный облик, и смысл.

«Среди славных книг, опубликованных на французском языке, не сыскать другой, которая имела бы так много ошибок и искажений, как книга Вийона. Меня просто изумляет, почему парижские печатники так небрежно относятся к текстам лучшего поэта Парижа.

Мы с ним очень не похожи друг на друга, но из приязни к его любезному разумению и из благодарности к науке, обретенной мною во время чтения его творений, я желаю для последних того же блага, какого пожелал бы и для собственных произведений, если бы у них оказалась такая же печальная судьба.

И столько я в них обнаружил погрешностей в порядке куплетов и строф, в размерах и языке, в рифме и смысле, что пребываю в затруднении, следует ли мне больше жалеть подвергнутое такому жестокому поруганию творение или же тех невежественных людей, которые его печатали».

Так рассуждал в предисловии к изданию 1533 года Клеман Маро, поэт из Кагора, который отнюдь не считал недостойным своего таланта сделаться первым *научным* редактором-издателем Франсуа Вийона.

А тот, кто называл себя «добрым сумасбродом», постепенно становился легендой. Он выглядел шутком, клоуном; в лучшем случае — забавником, в худшем — простаком. Элуа д'Амерваль, регент орлеанского собора Святого Креста, являвшийся одновременно автором длинной мессы и латинского мотета в честь Жанны д'Арк — в 1483 году ему была поручена организация праздника 8 мая — и стихотворной «Книги дьявольщины» на французском языке, считал Франсуа Вийона всего лишь шутником.

Когда-то Франсуа Вийон,  
Что так в науках был силен,  
В речах искусен и горазд  
На шутки, смог в последний раз  
Париж потешить, завешав  
Свое добро, своим вешам  
Хозяев новых подобрал:  
Велел из этого добра

Он все свои очки отдать  
«Слепцам» — чтоб было тем читать  
Удобней сложенный им вздор\*.

Интересно, понял ли сам Амерваль, что, завещая очки слепым, чтобы те могли легче разобрать на кладбище, «где тать, а где святой гниет в гробу», Вийон обращал внимание на заведомую бессмысленность подобного опыта. Любитель фарсов торжествует над моралистом, смеясь над очками, предназначенными слепым. Стоит ли помнить о неразрешимой проблеме различения добра и зла, если и у добрых и у злых в конечном счете один удел? Мы явственно слышим смех поэта. Ему не бывает скучно. «Сумасброд» оказался шутником. Стало быть, Вийон попался в собственную западню.

И Рабле оставалось лишь воспроизвести две легендарных истории из его последующей жизни: о сен-максенском скандале и о ночном горшке. А двумя годами позднее Брантом согласился признать за поэтом Любви и Смерти славу... искусного остролова.

Представления о нем изменились, когда появилась комедия характеров. Подобно адвокату Патлену — создателем которого в ту пору его еще никто не считал, — Вийон сделался фигурой символической. Это тип хитреца, шутника, плута и даже мошенника, скрывающегося под маской простака. Герой, выведенный в «Патлене», притворяется дурачком, когда ему предлагают расплатиться. Что же касается мэтра Франсуа, то он выглядит более изобретательным. Бурдинье, один из современников Рабле, упоминает о «хитрых проделках Вийона».

В конце XV века и позднее, по крайней мере вплоть до тридцатых годов следующего столетия, у постоянных покупателей книг большим успехом пользовался «Сборник рассказов об обедах на даровщинку магистра Франсуа Вийона и его компаньонов», книга, которая не только составила конкуренцию многочисленным изданиям «Большого завещания», но и содействовала укреплению легенды о Вийоне. Поэт в ней выведен предводителем веселой ватаги плутов невысокого полета, склонных за неимением денег поесть за чужой счет, без зазрения совести высмеивающих богатых горожан, знать и разного рода зевак, не принося им чрезмерного вреда. Иными словами, у состоятельного люда, мирно предававшегося чтению за крепко запертыми дверьми, о Вийоне складывалось представление как о некоем довольно симпатичном сорванце.

У Вийона из «Обедов на даровщинку» есть свой двор, состоящий из перечисленных в торжественном прологе лиц:

---

\* Пер. В. Зайцева.

клириков без бенефициев, занимающихся темными делами адвокатов, мошенников и шулеров, юродивых и святош, исповедников и сутенеров, лакеев и служанок... Есть там и честные жены, наставляющие рога мужьям, и безупречные негодяи, обманывающие покупателей. Мы встречаемся в этой книге с теми же францисканскими монахами и пилигримами, да и вообще со всем тем людом, который населяет оба «Завещания».

Но мир произведений Вийона постоянно вводит читателей в заблуждение, ибо кажется, будто он подчиняется обычным общественным уложениям. Шалопай у Вийона предстают в роли выступающих в суде адвокатов или занимающихся коммерцией торговцев. А вот шалопай из «Обедов на даровщинку» — это мошенники, постоянно надувающие простаков.

А как концы с концами свести  
Тем, у кого сквозняк в кармане?  
В карманы ближнего залезть\*.

В этом «Искусстве обмана», украшенном элементами фаблио, фарсов, «Романа о Лисе», комедийный Вийон со товарищи в бурлескных эпизодах добывает себе бесплатные хлеб и вино, требуху и рыбу. Одна за другой следуют истории о долгах без отдачи, о подмене кувшинов, о не доставленных по назначению ношах, кражах выставленного товара и многих иных проделках подобного рода.

Настоящему Вийону, присутствующему лишь в первой главе, не раз приходилось прибегать к таким средствам, дабы утолить мучившие его голод и жажду. «Обеды на даровщинку», несомненно, являются в фарсовой литературе аналогом того, что в жизни было историей с «Чертовой тумбой», хорошо известной парижанам середины XV века, — историей, из которой, по утверждению автора «Завещания», он соорудил роман. Так что легенда приписывает Вийону именно те поступки, на которые мэтр Франсуа и был способен. А сложилась она благодаря устной традиции, по своему разумению укрупнявшей и толковавшей факты.

Многие школяры, современники Вийона, немало подивились бы, узнав, что в один прекрасный день ему припишут их собственные, вполне реальные проделки. Например, кражу вишен в саду Сорбонны, выщипывание красного вина из бочек в погребе коллежа, розыгрыши носильщиков корзин, манипуляции с лотками кондитеров. А в том же 1461 году, когда мэтр Франсуа с виноватым видом вернулся в спешно покинутый четырьмя годами раньше Париж, человек пятнадцать

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

студентов неплохо попались в расположенном неподалеку от ворот Сен-Мишель винограднике доброго мэтра Гийома Вийона, у которого жил Франсуа, где вволю «поели и пособирали» — как дословно гласит текст, а не собрали и поели — винограда.

Скучные перечисления краж с прилавков и устраиваемых на перекрестках засад, к чему сводятся «Обеды на даровщинку», в искаженном виде представили потомкам образ поэта «Завешанный». Фарс и анекдот заслонили сатиру и медитацию. Впрочем, Вийон сам создавал подобный образ:

Чтоб каждый, крест увидев мой,  
О добром вспомнил сумасброде...\*

Однако если *сумасбродство* является одной из составных частей его видения мира, то фарс это видение мира собой закрывал.

К счастью, в дальнейшем, в последующие века, побеждает образ поэта, созданный Клеманом Маро, а не «Обедами на даровщинку». С 1533 по 1542 год было осуществлено — главным образом в Париже — около пятнадцати изданий, явившихся ответом на запросы публики и «полностью выверенных и исправленных Клеманом Маро». Маро выступил в роли поручителя. Он оказался наиболее проницательным наследником лирических форм, созданных в конце Средневековья, и в момент обновления поэтического мировосприятия предложил в библиотечку ренессансного гуманиста рукопись одного письмоводителя старинного артистического факультета, который, сам того не подозревая, исповедовал гуманизм.

У классицистов были все причины для того, чтобы ничего не понять у Вийона, как, впрочем, и у Маро. Вийон не только оказался одним из объектов систематически проявлявшегося презрения к темным векам и схоластике, которая, отвергнутая им, все же сумела оставить на нем свою печать, но также из-за своей чувствительности стал живым воплощением всего, что отвергалось канонами классицизма. Его глубинный дуализм не поддавался декартовской систематизации. У Буало фантазия не проходит.

«И вот пришел Малерб». Вийона перестали и читать, и печатать. С 1542 по 1723 год — ни одного издания. В 1742-м, в самом начале французских комментированных публикаций, появилось первое в своем роде научное издание. Причем одним из комментаторов был не кто иной, как Эйзоб де Лорьер, начавший соиздать такое гигантское и не законченное по сей день

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 120. Пер. Ф. Мендельсона.

сооружение, как «Сборник указов королей Франции третьей династии».

Но вот мы попадаем в эпоху романтизма. Вийон возвращается в библиотеки и антологии... Однако Вийон XIX века — брат Оссиана. Вийон, увиденный сквозь призму творчества Гюго, несущий в себе страдания воображаемого Квазимодо. Он удостоверяет подлинность средневековых химер Виоле лё Дюка. Сент-Бёв о нем не упоминает. Привносит свое и Парнас: черты лица на портрете становятся более тонкими, гротеск исчезает. Теофиль Готье, автор «Эмалей и камней», игнорируя мнение толкователей, принимает все за чистую монету и обнаруживает, что у Вийона «прекрасная, открытая всем добрым чувствам душа». Шалопай остался где-то в прошлом. «Бедняжка Вийон» одерживает верх над «добрым сумасбродом».

Интересно, узнал бы мэтр Франсуа себя на этих сменявших друг друга портретах? Можно предположить, что при его любви к парадоксам он был бы даже польщен. Хотя и не обнаружил бы, очевидно, ни следа от той своей постановки, в которой участвовал весь мир с Франсуа Вийоном в главной роли, ни мира, ни того, прежнего, Вийона.

Современная историография, дабы восстановить подлинное лицо Вийона, помимо стихов, обратилась также к другого рода источникам. Эти источники — судебные документы, относящиеся к самому Вийону. Наконец, объединив усилия филологов и лингвистов, современное литературоведение сумело представить тексты, близкие к тому, что писал сам автор «Завещания». Совмещение текстологического анализа с комментариями историков позволило распознать, выявить намерения и намеки, различить совпадающие мысли. Увеличилась сумма знаний о его интеллектуальном, равно как и социальном окружении. Совершенствование методов исследования позволило выйти за рамки собственно слов, а может быть, вообще за рамки феномена по имени Вийон...

В результате филологических штудий на свет появился целый десяток Вийонов, причем каждый по меньшей мере с двумя профилями. Кто он, этот Вийон, — собственный биограф или обвинитель бездушного общества, памфлетист, выступающий против всех форм принуждения, а то и всех форм наслаждения, или человек, сводящий свои личные счета с обществом, писатель, создавший целостное, построенное на единой идее произведение, или сочинитель, отдающийся фантазии и летящий на крыльях сновидений? Поэт-повеса или горемыка, наделенный сомнительным воображением? Был ли он настоящим разбойником или всего лишь незадачливым проходимцем? Кем предстает он в своих стихах — великим ритором или гуманист-

том? И что за чувство питает его фантастические образы — любовь или ненависть?

Доктринерские споры еще больше усложнили дело, словно Вийон не высказал в свое время все, что думает о доктринерских спорах. Некоторые, отдавая предпочтение историческому толкованию, вознамерились все объяснить с помощью реалий жизни автора, стали выискивать прототипы персонажей и подплеку описанных событий, будто подобное знание способно что-то изменить в самой магии слова. На другом полюсе остались интерпретаторы и критики, безапелляционно заявляющие: для того чтобы понять поэта, совсем не обязательно знать, кем он был, не обязательно вглядываться в движущийся во времени калейдоскоп тел и душ.

## ПОЭТ И СВИДЕТЕЛЬ

Человек един, но существуют непохожие друг на друга мгновения и существует время, текущее в одном направлении. Творчество едино, но у редкого поэта стихи, написанные ночью, похожи на то, что сложилось днем. Тоший бродяга дышит совсем не так, как заплывший жиром буржуа. Итало Сичильяно, пытающийся в своем исследовании мировоззрения Вийона обнаружить внутреннее равновесие его столь противоречивого духа, в 1971 году так сформулировал свою мысль в скромной сноске внизу страницы:

«В «добром сумасброде», естественно, нетрудно заметить присутствие «бедняги Вийона», нетрудно заметить рассеянные повсюду следы этого присутствия. В разные эпохи победителем оказывался то один из них, то другой. Но пришло время, когда вдруг оказалось, что они мирно уживаются друг с другом. И произошло это потому, что речь все же идет об одном человеке, одном и том же уникальном существе».

Вийон и сам говорил, что все в нем — видимость и противоречие. А раз так, то не следует ли сделать из этого вывод, что и в ищущем вдохновения поэте, и в бунтаре, нашедшем в поэзии возможность самовыражения, все является одновременно и истиной, и ложью. Слова «смеюсь сквозь слезы» — это и признание, и программа.

Однако коль скоро историк здесь тоже бессилен нам помочь, значит, и сам Вийон не стремился дать исчерпывающего ответа. Он ловко пользовался уклончивостью и отговорками,

утверждая свое право не отчитываться в своих действиях ни перед современниками, ни перед нами.

Стоит ли в таком случае историку братья за биографию Вийона? Некоторым хотелось бы и вовсе отнять у нас право вслушиваться в слова поэта: здесь он, мол, поучает, а вот тут вообще врет. Разве не заявил безапелляционно Пьер Гиро, воздавая в 1970 году должное исследовательским трудам всяких Пьеров Шампьонов и Огюстов Лоньонов как «образчикам пунктуальности и честности», что «все выводы, базирующиеся на ложном постулате, тоже ложны»? Словно и не было почти трехсотлетнего периода критического осмысления реальности, в течение которого историческая наука обращала в точное знание фальсифицированные хартии и поддельные летописи, предвзятую информацию и тенденциозную переписку! Неужели поэт обречен стать единственным, чьи мысли признано невозможным разгадать через слова? «Автор облек вымысел в одеяния реальности», — добавляет Пьер Гиро, отрицая достоверность любого исторического толкования, которое представляется ему «монументом строгой логики, воздвигнутым на песке ошибочных суждений».

Вийон, естественно, писал не для того, чтобы запечатлеть факты, а для того, чтобы ввести читателя в мир своих мыслей, якобы сложившийся в его голове. «Завешание» — это не тот документ, из которого можно извлечь достоверные сведения об изображенных в нем либо тенью промелькнувших мужчинах и женщинах. Вийон выбрал их лишь для того, чтобы проиллюстрировать свою фантазию, так что суровая критика вийоновского историзма вполне резонна. И тем не менее разве можно все относить на счет одной лишь фантазии? Было бы неправильно сводить проблематику творчества Вийона к вопросу, является ли «Завешание» автобиографией.

Говорить о себе и о других еще не означает писать автобиографию, и ни «Малое завешание», ни «Большое завешание» не являются «автобиографией мошенника Вийона». Так что пытаться создать жизнеописание мэтра Франсуа де Монкорбье по прозвищу де Лож, по прозвищу де Вийон, по прозвищу Вийон, основываясь на стихах Франсуа Вийона, было бы просто смешно. Ну а если попытаться выяснить, исходя из его творений, что же представляет собой мир Вийона?

Конечно, можно ограничиться простым импрессионистическим удовольствием, получаемым от чтения стихов, и насладиться звучанием Слова, не зная ничего об авторе, так же, как можно отдаваться обаянию баховской «Пассакалии», не зная, кто такой Иоганн Себастьян Бах. Однако разве мы совершаем грех против искусства, когда пытаемся понять творчество, че-



ловека, окружающий его и неизбежно отраженный в творчестве мир?

Ведь несмотря на то, что суждения поэта не свободны от страсти, он — пронизательный наблюдатель этого многогранного мира. Его творчество питается воображением, а вот персонажей он одалживает у действительности. Почему бы историку не подойти к Вийону с другой стороны, не как к объекту исторического исследования, а как к свидетелю? Его взгляд на жизнь и смерть, на любовь и плутни, на большой город и большую дорогу, на принцев и прокуроров, на богатых и нищих — это взгляд наблюдателя, который, даже будучи предвзятым в своих суждениях, все же является бесценным свидетелем. Как поэт, он взвешивает слова и паузы. Оттачивает формулировки своих свидетельских показаний, налаживая зеркало, поставленное им перед своей эпохой.

Я знаю, как на мед садятся мухи,  
Я знаю Смерть, что рыщет, все губя,  
Я знаю книги, истины и слухи,  
Я знаю все, но только не себя\*.

Вийон жил в своем времени, страстно в него всматривался и, думая лишь о себе, страдая от самовлюбленности, доходившей до, самопоношения, беспрестанно говорил о других, как правило, с неприязнью, смягчаемой иногда дружескими чувствами и всегда — фатализмом. Он никогда не ставил перед собою цель свидетельствовать о своем времени? Да, но, вольно или невольно, он это делал, как писец, переписывавший в ту же пору столь ценные нынче для историка счетные книги в парижской ратуше. Значит, он представил лишь разрозненные зарисовки современного ему мира? А разве «Дневники парижского горожанина» не являются настоящей историей Франции, хотя их горизонт и ограничен рамками церковной ограды? К тому же одновременно он дает свидетельские показания об одном человеке: о Франсуа Вийоне. И предлагает нам мизансцену, в которой Вийон противостоит всему остальному миру.

Благодаря своему гению Вийон оказался исключением, но жизнь его исключительной не является. Уникальность данного случая состоит в том, что гений Вийона позволяет нам увидеть мир его глазами.

Речь здесь идет не о биографии поэта, и я с удовольствием высказался бы в духе Поля Валери — «Какое мне дело до расиновских страстей? Для меня имеет значение лишь Федра...», — если бы сам Валери не делал исключения для Вийона: не зная человека, невозможно понять его творчество. А ведь за творче-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 134. Пер. И. Эренбурга.

ством просматривается общество, целый мир. Никому и в голову не придет изучать Италию 1820 года, не обратившись к Стендалю, или же Францию 1830 года без Бальзака. Вийон предлагает свои услуги, чтобы стать нашим проводником по Парижу 1460 года и по ведущим к нему и от него дорогам.

Не во всем полагаться на свидетеля — не значит затыкать себе уши, и было бы крайне неразумно отказываться принимать в расчет свидетельские показания из-за того, что они отмечены печатью гения. Разве можно поэта считать одним-единственным свидетелем или лжесвидетелем, разоблачив которого историк имеет право заткнуть ему рот? Разве он не в состоянии поведать нечто интересное? И что это была бы за история, если убрать из нее взгляд Золя на Жервезу, Пруста на Германтов, Лафонтена на Францию эпохи Кольбера, взгляд Вийона на Париж Карла VII в конце концов?

Историк, каковым я являюсь, порасспросил немало людей: властителей и чиновников, негоциантов и перевозчиков, кардиналов и ростовщиков. Они либо сами оставили свои показания, либо кто-то записал их за ними. И я выслушал всех: торговавших своими письменами счетоводов, стоявших на страже государственных интересов законоведов, тяготевших к многословию нотариусов, нечистых на руку маклеров. Поскольку я историк, мне пришлось прочесть тысячи и тысячи страниц, исписанных средневековым почерком, отнюдь не напоминающим те каллиграфические экзерсисы, которые были столь милы сердцу наших романтиков. Горы прозы. Писания юристов, торговцев, финансистов.

Среди выслушанных и, полагаю, понятых мною лиц встречались иногда люди талантливые, но гораздо чаще посредственные. Свидетели как свидетели, похожие на многих других. Однако они нужны все, даже те, что лгут. А они лгут. Они оставили хроники, счетные книги, завещания, материалы судебных процессов. По существу, не так уж много, если вспомнить о тех миллионах, которые остались навсегда немymi из-за того, что просто не владели пером.

Я долго опрашивал моих свидетелей, читал Вийона. И в один прекрасный день решил, что он сказал мне уже достаточно. Как о самом себе, так и о других. О том, что было истиной и что было ложью: о своих собственных истине и лжи. Он ведь все-таки поэт. И разве мог я дать отвод свидетелю Вийону только из-за того, что он гений?

РОДИЛСЯ В ПАРИЖЕ БЛИЗ ПОНТУАЗА...

ПАРИЖАНЕ

*В Париже, что близ Понтуаз,  
Я, Франсуа, увидел свет\*.*

Ирония поэта горька, поскольку это ирония человека, который в своем воображении словно видит себя уже повешенным. Его товарищу, делившему с ним забавы и лихие дела, удалось выкрутиться, потому что был он савояром и за него заступился герцог Савойи. А от кого можно ожидать протекции, если ты имел несчастье родиться обыкновенным парижанином? Остается лишь развлекаться игрой слов: в те времена слова *Франсуа* и *француз*\*\* писались и произносились совершенно одинаково.

Вийону было отлично известно, что внутри пространства, отгороженного от остального мира двойным кольцом парижских стен, и торговец из Вернона, и виноградарь из Банье французами не считаются и для того, чтобы распродать на Гревской площади содержимое своих кузовов, им необходимо взять себе во «французские подмастерья» кого-то из жителей Парижа.

При этом настоящих-то парижских парижан было не так уж и много. Весьма неприятное это дело — родиться «близ Понтуаз». Парижане их не переваривали, этих жителей Понтуаз и других городов, заплывавших улицы и таверны, разыгрывавших из себя парижан и оказывавшихся конкурентами при найме на работу. Впрочем, магистру Франсуа из Монкорбье, что в Бурбонне, считать себя парижанином было бы не к лицу. Иногда в надежде заработать несколько денье он обращался к герцогу Бурбону: «Страны гроза и благодать...» Однако это для того времени обычное дело, и главное в этих строчках — просьба поэта «вознаградить за труды».

Мэтр Франсуа в самом деле родился в столице, но он первый парижанин в своем роду. Дядя его — уроженец Анжу. А Гийом де Вийон, который был для него «родимой матери доб-

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* François. Здесь и далее прим. переводчика.

рее», — бургундец из лангрского диоцеза. Всем им не пристало сетовать на вторжение в столицу подданных провинциальных князей — князей, владевших в Париже домами, благодаря которым их отцы либо деды уже не казались чужаками в столице Карла VI. Получается, если употреблять слово в его узком значении, что магистр Франсуа де Монкорбье был новоиспеченным французом. И практически ничем не выделялся среди населявших столицу бургундцев, бретонцев, пикардийцев и нормандцев.

От Парижа Карла VI к тому времени осталось очень мало зданий — если не считать стен, — и мало горожан. В городе проходили чистки, и вереницы экипажей и повозок увозили обреченных на изгнание, ссылку и даже смерть. Начало смутным временам и террору положило восстание кабошьенов 1413 года. Затем распря арманьяков и бургиньонов, расправы Бедфорда — в результате всего этого город, который и без того нещадно опустошали эпидемии, город, население которого воспроизводилось не столько за счет рождаемости, сколько благодаря иммиграции, совершенно обезлюдел. Ведь демографические показатели во всех городах того времени были удручающими, а тем более в столице, где для многих, начиная от писца и кончая подмастерьем, удобнее было оставаться холостяком, нежели обзаводиться семьей, и где борьба за выживание носила отчетливо выраженный мальтузианский характер.

В разгар войны город переполняли беженцы, которых загоняла внутрь более или менее защищенного крепостными стенами пространства опасность жить в сельской местности, прочесываемой солдатами и ландскнехтами из обоих лагерей. Парижанин 1430-х годов — а Вийон родился в 1431-м, в год смерти Жанны д'Арк, — это виноградарь из Сюрена, земледelec из Бур-ла-Рена, дровосек из Сен-Клу, садовник из Исси. Едва ситуация улучшалась, как они вновь возвращались к себе на родину.

В ту пору, когда Франсуа де Монкорбье стал посещать школы Факультета словесных наук, Париж начал оправляться от потрясений, в нем появились вакантные места. Скорее не мест стало больше, а места. Каждый второй дом пустовал. Так что жильё обходилось недорого, а торговля рабочими местами осуществлялась на той самой Гревской площади, что вытянулась вдоль винного порта, выполняя одновременно функции и биржи труда и ярмарки новостей. Город залечивал раны и старался забыть недавнее прошлое. Когда 12 ноября 1437 года состоялся торжественный въезд в Париж короля Карла VII, никто уже не вспоминал ни о власти бургундцев, ни о том, что еще год назад Ришмон вступил в город без единого выстрела:

Карл Победитель заключил с Бургундией мир, а раз так, зачем задавать бесполезные вопросы? Те, кто возвращался из Буржа, Тура, Пуатье, смешивались с теми, кто остался в Париже, кто служил там Бедфорду. Знати вдруг оказалось слишком много, и лишь со временем она словно бы улетучилась. Париж и Пуатье объединились в Парламенте, Париж и Бурж — в счетной палате. Адвокаты, прокуроры, стряпчие и все остальное судебское сословие — равно как священники, каноники и школьные учителя — привыкали к новым для них условиям конкуренции. В Сорбонне богословы из Пуатье и бургундского Парижа ловко управлялись с одними и теми же силлогизмами, а судьи Жанны д'Арк начинали страдать забывчивостью. Не нужно, однако, заблуждаться: предусмотрительные люди заранее приняли меры предосторожности. Так, парижский капитул оставил свободным кресло декана, заседавшего еще совсем недавно в королевском совете Буржа, да жалованье, положенное за исполнение этой должности, было деликатно сохранено.

Ведь борьба за влияние в политике происходила между людьми, принадлежавшими к одному и тому же миру, где хорошие манеры свидетельствовали о том, что долг красен платежом. Поначалу возвращение шло не очень активно, но двадцать лет спустя, в период с 1436 по 1440 год, гармоничное слияние закончилось и ряды парижской знати оказались полностью восстановлены. Арно де Марль, ставший членом Парламента в 1413 году, в эпоху антикабошьенской реакции, занял то же самое председательское кресло, которое, как все прекрасно помнили, занимал в свое время его отец, адвокат при Карле V и канцлер при Карле VI. Все возвращалось на круги своя.

Ну а рядом с возвращавшимися были еще и те, кто выжил, оставаясь в городе. Не слишком высовывая нос, они делали свои дела. Кричали за одного, потом за другого. Больше всего кричали «Да здравствует мир!», что в одних случаях свидетельствовало о наличии у них политической программы, в других — о полном ее отсутствии...

Это был мир мелких бакалейщиков и торговцев средней руки. Очень многие мужчины и женщины вынуждены были покинуть город, спасаясь от безработицы. Из шестидесяти торговцев вином, имевших раньше лавки на Гревской площади, в обескровленном и осажденном Париже 1430 года осталось только тридцать четыре. Мелкая буржуазия порта и разбросанных по прилегающим к нему улицам лавочек подверглась суровому отбору. Чем меньше было работы, тем меньше людей; оставшиеся все же работали, но кое-как.

Правда, в 1445—1450 годы они первыми оказались на месте, чтобы воспользоваться плодами возрождения деловой активности. И как тут было не заметить среди этих парижских парижан представителей старинной столичной буржуазии, внуков и правнуков именитых, почти легендарных граждан, живших при Филиппе Августе и при Филиппе Красивом? Среди них, например, семьи Брак и Бюси, служба которых трону еще в эпоху первых королей династии Валуа привела их в ряды нового дворянства: когда в 1441 году Жермен Брак стал членом Парламента, он был уже владельцем лена и считался в городе очень знатной особой. Не исчезли из употребления и многие фамилии крупных буржуа, хорошо известные в XIV веке среди финансистов: в ратуше Жансьен и Эпернон по-прежнему сохраняли бразды правления административной машиной, которая в свою очередь регулировала экономическую жизнь. Иные утратили былой вес и пополнили ряды мелкой знати на уровне кварталов, цехов, превратились в скромных статистов обыденной парижской жизни. Они стали десятниками, членами суда. Без их присутствия не обходился ни один из тех еженедельных праздников, где соревновались в стрельбе из лука и арбалета. Они возглавляли торжественные шествия своих гильдий, а во время сходов принимали достойное участие в спорах церковного старосты с кюре.

Эти истые парижане были теперь не на самом виду и все же по-прежнему пользовались некоторым влиянием. Совершенно естественно, что именно на их долю выпала организация сопротивления новичкам, которое выражалось в преграждении доступа в цехи и гильдии и имело целью наиболее эффективную защиту интересов местной буржуазии. Следствием этого защитного инстинкта старожиллов, присваивавших себе Париж, стала еще более строгая регламентация — весьма вредная для экономического развития города, — создававшая почти непреодолимые барьеры на пути иногородних рабочих и торговцев.

Бдительность была поставлена во главу угла. Кристоф Пайяр, который считал себя вполне вписавшимся в узкий круг истинных парижан, ведь был он королевским казначеем, получил в этом смысле жестокий урок после избрания его старшиной в 1464 году. Ему пришлось сознаться, что родился он в Осере, а затем отойти от дел.

Более счастливая судьба оказалась у менялы Жана Ле Риша, которому в 1452 году удалось каким-то образом убедить окружающих, что хоть родом он из Бур-ла-Рена, от бремени его мать разрешилась в Париже.

Все это изысканное общество, противостоявшее нашествию «чужеземцев» — так называли здесь иногородних, будь они да-

же из Медона, — совершенно забывало, что сам Жан Жувенель, благодаря которому Париж постепенно обрел свои свободу, политическое достоинство и экономический потенциал, прибыл в Париж еще во времена молодости Карла VI из Труа, надеясь заработать здесь состояние, соответствующее его адвокатскому таланту.

## ЧУЖАКИ

А кроме того, были еще чужаки. Вот для них-то Париж как раз и представлялся городом «близ Понтуаза». После того как перемирие в Туре дало стране временный, но скорый мир, война пошла на убыль. Ее можно было считать законченной, когда 10 ноября 1449 года Валуа торжественно вступил в Руан. В Нормандии победа была одержана в 1453 году. Тут уже пришло время опять заняться делами, и люди стали ими заниматься. Многие сочли, что наступила пора отправиться в Париж и занять оставшиеся вакантными места. Знати в государственных учреждениях после возвращения верных слуг Карла VII оказалось больше чем достаточно, а вот каменщиков в городе, где из-за отсутствия ремонта разрушилось столько домов, портных, бакалейщиков, менял явно не хватало. Так что нужно было торопиться, чтобы занять свободные места до прибытия новых претендентов. А это в свою очередь создавало новые вакансии: лакеев, горничных, подмастерьев. Нанимали в харчевнях и домах призрания, на рынке в Шампо, в порту около Гревской площади, в Сен-Жерменской школе.

Согласно изданному в 1443 году указу, Карл VII полностью освобождал на три года от налогов любого, кто приезжал на жительство в Париж. Ничего удивительного, что цены на жилье быстро подскочили. Между 1444 и 1450 годами они по номинальной стоимости возросли вдвое, а по покупательной способности денег — в пять раз. Выиграли те, кому удалось сохранить собственное жилье или же своевременно заключить контракт на аренду.

Таким образом, в столице можно было услышать все наречия, какие только встречались на территории Франции. Однако парижским мальчишкам казалось, что весь этот люд прибыл из Понтуаза. День хольбы — на таком расстоянии, как правило, находились города и особенно деревни, поставлявшие основную массу рабочих рук, которые требовались на стройках, в мастерских, в портах. Этим новым парижан, пришедших из близлежащих деревень, зачастую привлекала безопасность, которую обеспечивали в городе крепостная стена и хорошая охрана. А

когда перед глазами забрезжил мир, появились новые соблазны в виде хорошего заработка и надежного найма на целый год.

Из более отдаленных районов, из расположенных в бассейне Сены городов, связанных на протяжении многих веков взаимовыгодными связями с Парижем, прибывали мелкие торговцы; искусные, но не имеющие возможности продать свои изделия ремесленники; не лишенные таланта, но не имеющие клиентуры адвокаты. Мелкой буржуазии из Руана, Лувье, Труа, Санса, Осера или Мелёна работа в столице представлялась верной возможностью составить состояние. Перед всеми теми, кто в связи с окончанием войны стремился найти новое применение своим энергии и амбициям, Париж открывал гораздо более широкие горизонты, чем провинция. По крайней мере так считалось. Тогда еще никто не знал, что на протяжении свыше ста лет сердцу Франции будет суждено биться не только на Сене, но и на Луаре.

Осторожный и считавший себя предусмотрительным Жак Кёр убедительно подтвердил это своим примером, поскольку, арендовав в 1441 году лавочку на Мосту менял, так ее и не занял, а вскоре и вовсе с ней расстался, ибо понял, что лучше вкладывать деньги не в Париже. Те, у кого кругозор не ограничивался пределами одной области, начали понимать, что время парижской гегемонии кончилось. Однако большинству это предстояло еще понять.

Хотя Париж и не был чем-то вроде Эльдорадо, он представлял собой огромный потребительский рынок: в 1450-х годах, когда уже стали заживать раны войны, но еще не было характерного для мирного времени процветания, здесь проживало около ста тысяч жителей. Здесь же находился и перекресток сухопутных дорог и речных путей, покрывавших добрую треть территории Франции. Даже наиболее привязанные к своей провинции негоцианты не могли устоять перед соблазном внедрить в Париже компаньона либо партнера — в качестве «комиссионера» — сына, а то и племянника, дабы те учились, служили, информировали.

И вот эти чужаки довольно быстро научились поступать так же, как впоследствии поступил и Вийон, то есть стали мнить себя парижанами. Они сами, но отнюдь не настоящие парижане, для которых они были все еще чужаками, людьми ниоткуда, увеличившимися в числе особенно после 1450 года и заметными прежде всего благодаря своей ежедневной сменяемости. Все они были заезжими гостями: и торговцы, и перевозчики — все, начиная с тех удивительных кастильцев из Бургоса, которые в 1458 году привезли две тысячи шестьсот тюков шерсти мериносовых овец испанской Месты, и кончая вездесущим



Клеманом де Гланом, который два-три раза в год поставлял продукцию своего карьера: точильные камни, водосточные воронки, надгробные плиты... Они что-то привозили и увозили. Что-то заказывали. Не упускали ни единого случая заглянуть к бакалейщику или галантерейщику, дабы сделать более удачные покупки — иллюзия вечных путешественников, — нежели в лавках своего родного города.

Они везли с собой также и новости, как достоверные, так и ложные. Они были излюбленными клиентами хозяев гостиниц и трактирщиков, понимавших, что в смысле оплаты торговцы вразнос народ более надежный, чем школяры, причем доставляли они заработок также и правоведам, и меряльщикам, и устроителям торгов, а при случае их можно было использовать в качестве почтальонов.

Больше всего их приезжало из бассейна Сены и из крупных промышленных и торговых городов Севера. Купцы из Руана, из Арраса, Амьена, Лилля, Кана, Байё, Сен-Ло были хорошо известны на Гревской площади, а их земляки «водяные извозчики», или, как мы бы сказали, судовщики, были постоянными гостями понтонов винного, зернового и угольного портов. Коммерческие связи Парижа простирались до Кутанса, Дюнкерка, Турне, Льежа, Кёльна, Шалона, Лангра, Бона, Дижона. Короче, они пронизывали всю Францию, которая по мере возможности пользовалась водными путями, чтобы получать вино из Осера и Бона, Сюрена и Шайо, яблоки и груши — из нормандских долин, балки и дрова — из лесов Вилье-Коттере и Крепи-ан-Валуа, соленую сельдь и треску — с рыбных промыслов Дьепа и Руана.

А на юге эти связи простирались не дальше Луары. Орлеанцев в Париж приезжало довольно много, чего нельзя сказать о жителях Тура, беррийцах, анжевинцах, а уж что касается пуатвинцев и овернцев, то тех в столице вообще было не видеть. Лионцы встречались редко. Тулузцы и бордосцы выглядели явными чужаками. Настоящие же иностранцы, «пришельцы из чужих королевств», то есть генуэзцы, флорентийцы, кастильцы, когда хотели иметь дело с Францией, приезжали в иные города. Например, в Тур или Лош, где находились король и его двор.

Таким образом, своеобразный космополитизм Парижа 1450-х годов выражался в постоянной смене людей, приносимых Сеной и ее притоками, а также приходивших по дорогам из Фландрии и из Орлеана. Далеко в прошлом остались те времена, когда сиенские и флорентийские банки имели в Париже свои конторы и в столицу свозились товары из многих стран во славу завоевавших популярность еще в XII веке ярмарок Шам-

пани. В описываемую эпоху Париж превратился в пропускной пункт региональной торговли, периферийными узлами которой, то есть рынками накопления и перераспределения, стали маленькие, обозначившие границы судоходства порты Осера, Труа, Монтаржи, Компьеня. В Париж приезжали по делу на один день. Однако в Париж каждый месяц из различных речных портов отправлялись еще и суда, груженные утварью мелких провинциальных буржуа, крепнувших лавочников и смысленных ремесленников, стремившихся стать новыми буржуа Парижа. Им очень дорого обходилось проживание в столице и клятва буржуа, главным пунктом которой, в отсутствие парижской хартии, было обязательство вносить налоги на общественные нужды. И все же они стремились в Париж и везли туда по реке свою утварь, состоящую из кое-какой мебели, нескольких предметов домашнего обихода, белья. И как раз им-то, равно как и многим другим, казалось, что Париж располагается «близ Понтуаза».

## ШКОЛЯРЫ

Мир школяров, определявший духовный облик парижского левобережья в той же мере, в какой мир суконщиков и галантерейщиков определял облик правобережья, был так же нестабилен и неоднороден. Школяры приходили отовсюду и не знали, куда отправятся потом. Все зависело от случая.

Были ли они тоже новыми парижанами, эти две-три тысячи потенциальных магистров свободных искусств, эти пятьсот — семьсот будущих теологов, юристов, врачей? Далеко не всегда. Большинство из них приходили и уходили, ни к чему не привязываясь и не укореняясь. Избранных для университетской карьеры, имевшей уже двухвековую традицию, оказывалось немного. Скольким из них служение Богу, королю, обвиняемым или больным обеспечивало безбедное существование в столице? Многие добивались в конечном счете одного и того же: положения, денег, заводили даже семью, но, как правило, в родном городе или в родной провинции. Кто-то оказывался не у дел, на улице, жил надеждой и подаянием, зачастую пытаясь спрятать под маской простака, прикрыть деланным весельем настоящую нищету, в которой стыдно было признаться.

Несколько тысяч клириков, не определивших своего духовного призвания (большинство, не слишком мучаясь сомнениями, возвращалось к мирской жизни), — для города со стотысячным населением не очень много. Однако, когда они были на виду, впечатление создавалось совсем иное. В обществе, кото-

рое сформировалось из коренных парижан и чужаков, живших раньше в бассейне Сены, университет усиливал смешение населения, а не только расширял горизонты знаний.

Собственный университет постепенно стал символом престижа сильной власти, предметом гордости местной знати. А это значит, что к середине XV века парижский университет утратил прежнее влияние. Сообразно с новыми веяниями каждый шел учиться в свой университет. Получалось, что тот из властителей, кто не имел учебных заведений, как бы отдавал другим на откуп право формировать необходимую ему элиту и вдобавок лишал своих подданных значительного источника доходов, каковым являлось выделение университетам определенной доли церковного бюджета. Иметь свой университет было столь же важно, как иметь свое судопроизводство, свой монетный двор, свое налогообложение. Количество университетов все росло. И студенты, уже не покидая отчий дом, шли учиться в близлежащие заведения.

Те из них, кто направлялся на учебу в университеты, учрежденные в Доле и Лёвене герцогом Бургундии Филиппом Добрым, то есть студенты из восточных и северных областей, в прежние времена традиционно пополнили бы ряды слушателей Сорбонны. Жестокий удар нанесли парижскому набору возникшие из-за раздела Франции на две части университет в Пуатье, основанный Карлом VII, и университет в Кане, основанный Бедфордом. Давнее соперничество Тулузы и Парижа, равно как и традиционная независимость Монпелье, всегда сдерживали поток южан, желавших учиться на севере, а образование таких институтов, как тулузский парламент и счетная палата в Монпелье, стало еще одним фактором сдерживания для тех, кто, получив образование в южных университетах, стремился занять высокие посты в парижской юриспруденции и администрации. С той поры каждый делал карьеру у себя дома.

Таким образом, в школах на улице Фуар и Кло-Брюно оставалась и обновлялась все та же нестабильная масса студентов, прибывших с «французского» Севера: из Артуа, Пикардии, французской Фландрии, а также из ориентирующейся на Руан и Лизьё Нормандии, которая отказывалась признавать влияние Кана. Попадались там и выходцы из Тура, Берри, Ле-Мана: радиус притяжения университета все же по своим размерам превосходил радиус притяжения Гревской площади. Были там и представители западной Бургундии, северной Аквитании. Несколько голландцев, шотландцев, чужаков с Рейна поддерживали иллюзию, что Сорбонна, как и во времена, когда в ней преподавали Фома Аквинский и Сигер Брабантский, по-прежнему остается международным научным центром. В основном же

школяры, подобно торговцам и ремесленникам, тоже оказывались выходцами из Понтуаза, Жуаньи, Шартра, Суассона. Либо Парижа, как, например, Франсуа де Монкорбье...

Когда летом 1452 года он получил степень магистра свободных искусств, открывавшую перед ним двери так называемых высших факультетов: богословского, юридического либо медицинского, то оказалось, что хотя титул «магистр» и производит некоторое впечатление, но сам по себе еще не кормит, а также что в своем выпуске он был единственным парижанином, правда не потомственным. Географический диапазон выпуска, получившего диплом вместе с ним, — двенадцать человек, вписанных в регистрационную ведомость под рубрикой «французская нация», где фигурирует, естественно, и он, — охватывал города Туль, Лангр, Тур, Сен-Поль-де-Леон, Орлеан. Другие были вписаны в графу «пикардийская нация», «нормандская нация». Фигурировала также и «немецкая» нация, ранее названная «английской», причем под такой рубрикой регистрировались бакалавры и лиценциаты из Трира, Кёльна, Утрехта, Абердина, Глазго, Сент-Андруса и даже финского города Турку.

Так что Париж — это было что-то такое, что находилось в постоянном движении, и едиными парижские граждане выглядели только в дни собраний в «Доме с колоннами», то есть в замыкавшей с восточной стороны Гревскую площадь ратуше, где обсуждались городские проблемы, решались вопросы найма рабочей силы и где складировались только что сгруженные бочки, перед тем как отправить их на следующий день на продажу.

По существу, те несколько тысяч «чужеземцев», которые говорили с осерским либо лильским акцентом, являли собой демографический резерв столицы, ведь смертность здесь превышала рождаемость, женитьба обходилась дороже, чем в иных местах, а городская скученность необычайно содействовала распространению эпидемий чумы и холеры, коклюша и оспы. Так, в 1438 году, когда Франсуа де Монкорбье был еще семилетним мальчишкой, от оспы умерли примерно пятьдесят тысяч парижан. Во всяком случае, так утверждали современники, возможно, несколько завывсившие цифры. Однако нам известно, что в тот год во время эпидемии одна только больница Отель-Дьё похоронила 5311 усопших... Что же касается эпидемии 1445 года, то никто не может назвать точного числа унесенных ею жизней, но надолго переживший ее ужас говорит сам за себя. Во всяком случае, едва «чума» появлялась в Париже, смерть начинала вести счет на тысячи.

Следовательно, столица не могла пренебречь потоком им-

мигрантов, который с большей или меньшей скоростью восстанавливал равновесие и обеспечивал нормальное функционирование городского организма. «Смертность», то есть эпидемия, означала, что у выживших оказывалось больше шансов найти работу, но только ценой переезда. Периодически опустошаемая столица компенсировала свои потери за счет демографической избыточности близлежащих областей. Невзирая на демографические катастрофы и эндемический дефицит, Париж возобновлял людские ресурсы, получая новую кровь из сельской местности и из провинции.

Такое смешение приносило свои плоды. Тридцатидвухлетний Франсуа де Монкорбье по прозвищу Вийон, сын одного из многочисленных пришедших в Париж провинциалов, мог доставить себе удовольствие поиронизировать над печальной судьбой парижанина. Он ведь сам был из Парижа, из Парижа, что «близ Понтуаза». Такое не каждый мог о себе сказать.

## У НАС В МОНАСТЫРЕ ИЗОБРАЖЕНЬЕ АДА...

### ПРИХОД И МОНАСТЫРЬ

Старая женщина, чье имя мы никогда не узнаем. **Молясь** Богоматери и сокрушаясь из-за выходов сына, она жила в ожидании смерти. Ей, вероятно, было лет пятьдесят...

Я женщина как все, не знаю то, что надо,  
И непонятны мне ни грамота, ни счет.  
У нас в монастыре изображение ада  
И свежих райских птиц мой бедный взор влечет.  
В раю цветут цветы. В аду смола течет.  
В раю все весело, в аду лишь мука злая\*.

Подобно многим другим, мать Франсуа Вийона из своего прихода ушла. Столетие несчастий отнюдь не сделало епархиальное духовенство более привлекательным. Уже в 1348 году бедный кармелитский монах Жан де Венет отмечал, что во время эпидемии священники охотно уступали заботу о душах и телах братьям из нищенствующих орденов. Священники жили довольно вольготно, заседали в капитулах и коллегиях, причем не обнаруживали признаков волнения ни во время вселенских соборов, ни даже во время Великой Схизмы, когда под угрозой было само существование церкви. Ни для кого не было тайной, что о своих доходах они заботились более рьяно, чем о регулярном отправлении службы. Крепко обосновавшись на кафедрах, эти проповедники попеременно оправдывали сначала бургундский реформизм, потом войну на стороне Ланкастера, суровый суд клерикалов над Жанной д'Арк и, наконец, всеобщий мир.

Они были той частью клира, что обсуждала в 1438 году вопрос о принятии Францией текстов, которые бедная женщина, даже если бы и знала, все равно бы не поняла: тех самых «канонов» Базельского собора, получивших название «Прагматической санкции» и ставших конституцией — тут же оспорен-

---

\* Вийон Ф. Избранное. М., 1984. С. 347. Пер. В. Рождественского.

ной — французской церковью, перешедшей из-под власти папы под власть короля.

Что эта не знающая грамоты женщина поняла бы в замысловатых историях духовных пастырей, в историях, где в одной Божьей церкви вдруг оказывалось сразу два папы, где епископам случалось, отвергая власть папы, заявлять, что церковь — это они, епископы; где церкви, подобно народам, шли друг на друга войной; что бы она поняла, оказавшись на заседаниях собора, где о рентах и юрисдикции говорилось больше, чем об аде и рае?

А в то же время Париж был городом ста колоколен. В распоряжении верующих имелось тридцать пять приходов: семь на левом берегу, в обиходе называемом Университетом, четырнадцать — на правом, отождествляемом с Городом как таковым, четырнадцать на единственном в ту пору обитаемом острове Сите. По воскресеньям и праздничным дням там звучали мессы, вместо голосов прихожан все чаще слышались голоса учеников детских певческих школ и орган аккомпанировал песнопениям, а то и вовсе их замещал. Там крестили детей и там же отпевали покойников. Там исповедовались и, как то предписывала церковь, причащались на Пасху. Мало того, довольно плотная и раскинутая по всему королевству сеть приходов со временем превратилась во что-то вроде административного деления страны. Так что во время воскресной проповеди кюре обнародовали указы и давали населению советы. А когда устраивались процессии, призванные славить либо умилоствовать Бога, организовывались они в соответствии с официальными указами и в определенной последовательности от прихода к приходу. Очень часто именно по приходам осуществлялись перепись населения, распределение и сбор налогов, равно как и распределение возлагаемых на горожан общественных повинностей.

Не исключено, что как раз эти успехи администрирования в неменьшей мере, чем прохладца священников, для которых приход являлся средством не столько единения душ, сколько получения доходов, и стали причиной падения авторитета приходской церкви и упадка ее культуры. Подобно собору, где организовывались и торжественные королевские молебны, привлекавшие большое число людей, и капитульные службы, проходившие почти в интимной обстановке, приходская церковь имела много функций и в глазах простого люда была не только церковью.

Это понимали именитые горожане и вносили дополнительное содержание в страдающую дефицитом духовности церковную жизнь. К приходскому древу прививались разного рода братства и часовни, разделяя молящуюся общину на множест-

во мелких общин и маргинальных культов. У каждого своя месса, своя часовня, в зависимости от принадлежности к той или иной семье, той или иной профессии, тому или иному братству. У каждого свои склепы, тоже превращавшиеся в часовни, свои запрестольные образы, свои витражи во славу семейства, ремесла и их святого покровителя, а деление на приделы переводило на язык пространства специфику набожности каждого: неф пустел и молящиеся сосредоточивались между контрфорсами, на привычном месте третьего сословия или перед алтарем общины, под витражом, прославлявшим святого и подчеркивавшим людскую щедрость.

Существовали всевозможные виды пожертвований: на свечи, собор, ежегодную мессу, запрестольные образы. Каждый имел право на собственный праздник, и никто не удивлялся, когда во время мессы или на протяжении всего дня какой-нибудь местный святой одерживал верх над небесным покровителем церкви.

Люди набожные могли позволить себе отдавать предпочтение часослову перед требником; точно так же жертвования в лоне коллективного и навязанного извне ритуала являли разнообразие форм благочестия и проникновенности. Вийон тоже не отказывал себе в удовольствии совершать такого рода жертвования, тем более что благодаря опыту многолетних наблюдений и своему воображению он мог делать их, не раскошеляясь.

Богатство религиозных братств претило властям. Во-первых, у них оседала часть золота и серебра, которых так не хватало в обращении. А главное, правительство Карла VII опасалось любых течений, способных вызвать дробление общества. Ведь распыление набожности вело к расчленению одной из иерархических структур, являющихся фундаментом политического господства. Все оказывалось взаимосвязанным, что, кстати, обнаружилось в момент, когда в 1441 году потребовалось финансировать осаду Понтуаза. Один из документов той эпохи гласил следующее:

«Каждый день созывались советы и устраивались заговоры, где одни выражали мнение, что нужно снять осаду, а другие — что нужно взять все деньги, имеющиеся у парижских братств. И полагали лжесоветники, что в Париже в два раза больше братств, чем нужно. И так велика была их злоба, что у значительной части братств все было урезано больше чем вдвое. Там, где раньше было четыре службы: две мессы с хором и две тихие обедни, осталась только одна тихая обедня. Там, где было двадцать или тридцать свечей, оставили только три или четыре, без факелов и без подобающих Богу почестей».



Так что в конечном счете деятельность приходов замерла. Приход стал местом, географической точкой, организацией. И перестал быть общиной.

Верующие охотно несли свои набожность и милостыню в многочисленные религиозные заведения, пышным цветом расцветавшие под парижским небом. Черные монахи, белые монахи, братья из нищенствующих орденов, как босые, так и обутые, и монашки, монашки из самых разных орденов, со своими открытыми всем церквами, более или менее специфическими братствами, праздниками своих святых и, главное, со своими собственными богадельнями. Благочестивые прихожане, ежедневно являясь к ним на мессу, находили гостеприимный кров и духовные наставления. И обретали привычку возвращаться снова и снова. Приходили и погружались в раздумья перед евхаристией, которую именно тогда перестали убирать после мессы и начали оставлять в дарохранительнице, стоящей на алтаре. Ведь причастие — не только освященный хлеб мессы, но и материализованное жертвоприношение, физическое приобщение к Богу, телу самого Христа, которому поклоняются денно и нощно, а Распятие носят по большим праздникам по улицам.

## АББАТСТВА

Крупные аббатства были оплотом бенедиктинского монашества, правда, сильно реформированного за прошедшие века. На правом берегу Сены на север от Большой бойни между улицами Сен-Дени и Кенкампуа над городом возвышалась колокольня монастыря Сен-Малюар. А на другом берегу бросались в глаза расположенные между воротами Сен-Жермен и Бюси три массивные башни аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Существовали также многочисленные основанные конгрегацией Клуни приорства, причем порой весьма крупные, вроде аббатства Сен-Мартен-де-Шан, расположенного в самом центре большого земельного владения, благодаря которому его приор являлся одним из главных парижских судей и одновременно главой ордена; у аббатства Сен-Мартен-де-Шан были собственные приорства вроде находившихся рядом с ним Сен-Лье и Сен-Лорана и пристроившегося между Собором Парижской Богоматери и Большим мостом приорства Сен-Дени-де-ла-Шартр.

Таких приорств, соперничавших в глазах верующих с епархиальными приходами, можно было бы назвать по крайней мере десятка два. На острове это были Сен-Бартелеми, подчинявшийся Сен-Малюару, и Сент-Элуа, подчинявшийся аббатству Сен-Мор-де-Фоссе. На юге находилось аббатство Нотр-Дам-де-

Шан, которое у самых врат Парижа демонстрировало присутствие крупного турецкого аббатства Мармутье. А на берегу Сены аббатство Сен-Жюльен являлось парижским филиалом аббатства Лонпон. И аббатства, и приорства были монастырями. Так что в глазах набожной прихожанки или доброго горожанина, шествовавшего по праздникам в рядах своего братства, приход и монастырь часто сливались в единое целое. Идти в монастырь означало идти в приход, и наоборот. Причем охотнее ходили в те церкви, где не вывешивались королевские указы...

Обычно подобные верующие предпочитали иметь дело с так называемыми белыми монахами. Описываемую эпоху отделяли от великих реформаторов целых пятнадцать поколений, и, следовательно, белый монах уже не ассоциировался в сознании людей с принципами нового монашества, появившегося на рубеже XI и XII веков. Отказ от монастырской роскоши казался уже не столь очевидной необходимостью, а реакция против мирской власти Ключи переместилась из разряда идей в разряд тяжб. Ну а рассчитывать на то, чтобы стремление к умерщвлению плоти в качестве основополагающего принципа религиозной жизни обрело в Париже многочисленных адептов, конечно же, не приходилось.

Белый ли, черный ли — монах есть монах. В сознании обычного верующего различия между ними простирались не дальше цвета их одеяний. Молясь на правом берегу Сены, в церкви Сент-Антуан-де-Шан, стоявшей в поле, над которым господствовала Бастилия Карла V, он был в Цистерциуме, а оказавшись на левом берегу, входил в просторную церковь нависшего над рекой и над островом Богоматери — в ту пору совершенно безлюдного и лишь впоследствии слившегося с островом Сен-Луи — бернардинского монастыря, принадлежавшего цистерцианскому ордену.

Ну а если верующий был завсегдаем аббатства Сен-Виктор, уравновешивавшего на левом берегу вниз по реке духовное влияние, которое вверх по реке исходило от Сен-Жермен-де-Пре, в таком случае он числился среди адептов святого Августина и черного духовенства. Сен-Виктор воплощал собой авторитет обновленного старинного монашества, великих богословов XII века, а также экономическую мощь, обязанную своим происхождением щедрости парижского люда. В глазах студентов Сен-Виктор являлся также соперником собственной «дщери», то есть церкви Святой Женевьевы, безраздельно царившей на вершине горы к востоку от большой улицы Сен-Жак. Можно было сделать выбор в пользу одной из сторон и ждать от нее защиты и правосудия. Ждали при этом и необходимого заступничества перед высшей властью, главным образом для духов-

ных лиц и особенно студентов от произвола папы, который был епископом Парижа. Однако в конце войны Сен-Виктор превратился в развалины, подобно многим другим монастырям и домам, находившимся за городской стеной, а потому имевшим определенные преимущества лишь в мирное время. 16 сентября 1449 года на собрании в церкви Св. Матюрена ректор от имени университета обратился с призывом ко всем христианам, чтобы те благосклонно отнеслись к сборщикам средств на нужды Сен-Виктора. Однако надежда на то, что такой призыв может спасти Сен-Виктор, была в значительной степени иллюзорной. Ведь в конце войны всюду хватало собственных бедняков, в каждой епархии имелись свои руины, а от Сен-Виктора к тому времени осталось лишь название...

То же черное духовенство располагалось и в аббатстве Сен-Поль, в особняке Сен-Поль, который был свидетелем славных дел первых Валуа, а также в аббатстве Сент-Катрин-дю-Валь-дез-Эколье и в крошечной церковке Сен-Дени-дю-Па, пристроившейся на острове Сите к самому Собору Парижской Богоматери.

Молиться в аббатстве и быть похороненным там означало то же, что молиться и быть похороненным в своем приходе. Государственная казна строго присматривала за границами приходов, и на тот случай, если бы кто-то попытался уклониться от налогов, в распоряжении администрации была не только хорошая память, но и хорошие архивы, а вот церковь следила не так строго, и равновесие тех или иных групп давления, каковыми являлись различные виды духовенства, никому не позволяло одержать верх. Каждый бился за свою клиентуру. И тот, кто был посильнее, одерживал победу, но лишь на время.

Иначе обстояло дело, когда культовые отправления выходили за рамки традиционных форм. В расположенном на юге от Сен-Жермен-де-Пре Вовере картезианцы, обосновавшиеся там еще при Людовике Святом, давали людям пристанище, но проповедей не читали. Вверх по реке от Гревской площади бегинки в монастыре, тоже основанном Людовиком Святым и получившем впоследствии название «Ave Maria», жили просто, спокойно и благочестиво, отгородившись от торговой суеты своего квартала. А на севере столицы, около ворот Сен-Дени, находился монастырь Божьих дев, благотворительный приют без религиозных служб.

## НИЩЕНСТВУЮЩИЕ

Наравне с традиционными монашескими орденами, в большей или меньшей степени подвергшимися реформам, существовали также монастыри нищенствующих орденов, выделявшиеся

оригинальностью, интеллектуальным авторитетом и глубоким проникновением в жизнь города. Если черные, а также и белые монахи являлись в городском обществе всего лишь носителями духовности, обретаемой благодаря самоизоляции, из-за чего аббатства походили не на кварталы, а на анклав, то братья из орденов, обобщенно называемых нищенствующими, напротив, находились в самой гуще той экономической и общественной среды, каковой искони являлся богатый и бедный люд.

Они были нищими по своей сути, так как, чтобы существовать, жили с протянутой рукой, отвергая древний принцип церковной собственности, превращавшей в феодальные владения церкви земли, которые щедрость верующих предназначала Богу и святым. Жить подаванием означало вернуться к евангельской бедности. Так считали святой Франциск Ассизский и святой Доминик.

Оригинальность доминиканцев, францисканцев, кармелитов и августинцев заключалась в том, что они в XV веке еще продолжали оставаться вне рамок постоянно крепнущих ленных структур феодального общества. У них, естественно, были дома и церкви, жили они в монастырях и имели богатые библиотеки. Располагали они и собственными школами. И питались тем, что закупал монастырский эконом, а не тем, что оставляли у входа верующие. Дары поступали, и необходимость просить подавание исчезла. Однако при этом монахи нищенствующих орденов по-прежнему не признавали правосудия и не платили подати. И продолжали странствовать из монастыря в монастырь, то есть находились скорее в миру, а не в монастырской изоляции.

Церкви у них были без претензий, просторные и светлые. Скромная колокольня над крышей предназначалась для того, чтобы там находился колокол, а не для того, чтобы господствовать над близлежащими строениями.

И в церкви Сен-Жак в Париже, и в церкви Сен-Жак в Тулузе два параллельных нефа, причем это совпадение не случайно: нефы предназначены для верующих, а не для процессий. С улицы, а то и с набережной, как в большом августинском монастыре, в церковь вел широкий вход. Входил любой, кто хотел и когда хотел. И исповедник в любое время мог выслушать чьи-то признания.

Ненависть кюре к нищенствующим братьям восходит к весьма давним временам. Она проявлялась уже в эпоху Фомы Аквинского, когда братья несли Слово Божие бесплатно, в то время как для других это была доходная профессия. Уже в XIII веке в первой части «Романа о Розе» богослов Гийом де Лоррис сокрушался по поводу алчности иаковитов и кордельеров, то есть доминиканцев и францисканцев. Во времена Франсуа Вийона священники лишь скрепя сердце подчиня-

лись булле «*Regnans in excelsis*»\*, посредством которой папа Александр V в 1409 году вновь подтвердил право монахов из нищенствующих орденов исповедывать верующих независимо от их приходской принадлежности и безотносительно к обязательному пасхальному причастию. Дело, однако, в том, что если слово, как всякий Божий дар, было бесплатным, то допускать бесплатного покаяния не следовало, поскольку таковое лишало грешника возможности доказать искренность своего раскаяния: чтобы последнее материализовалось, нужно было запустить руку в кошелек. Кюре не ошибались: путь кружки для пожертвований пролетал через исповедальню. Поэтому-то Вийон и придумал такой воображаемый подарок священникам, чтобы у них было орудие борьбы против буллы Николая V, который только что, в 1448 году, подтвердил права нищенствующих монахов.

Святейшую из папских булл,  
В которой папа припугнул  
Кюре-мздоимцев, оставляю  
Тем, кто в нее не заглянул\*\*.

На проповедях у кармелитов с площади Мобер, иаковитов с улицы Сен-Жак, кордельеров и августинцев народ теснился еще и потому, что настрой верующих поддерживался желанием подражать великим мира сего. Там ведь ко всему прочему еще и хоронили, причем склонность продемонстрировать свою независимость от епархий и приходов обнаруживали не только университетские магистры. Стремление обособиться, подталкивающее народ к часовням — двадцать шесть часовен только лишь по периметру церкви кордельеров, — не чуждо было также принцам, баронам и буржуазии, когда это становилось ей доступным. В монастыре кордельеров погребены четыре королевы — супруги Филиппа III Смелого, Филиппа IV Красивого и двух сыновей последнего, а у августинцев недалеко от архиепископа Жиля Колонны и коннетабля Рауля де Бриенна похоронены торговцы из Люсе Бертелеми Спифам и Огюстен Исбар.

Без вездесущих «братьев» не обходился ни один квартал. Вниз по Сене на левом берегу напротив луврского донжона и дворцовых садов на Сите размещались августинцы, «отшельники святого Августина», которых простой люд никогда не путал с черными монахами, апеллировавшими к тому же святому. В 1449 году молния разрушила длинный неф храма. И вот после окончания войны, после того как возобновилось судоходство по реке, вдоль которой неф вытянулся более чем на двести ша-

\* Высокое царствие (лат).

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 23. Пер. Ф. Мендельсона.

гов, церковь августинцев вновь открылась для верующих, живших в не слишком плотно заселенной части города, образованной западной оконечностью университета. Освящение храма торжественно отпраздновали в 1453 году.

А совсем рядом с августинцами, прямо вдоль их ограды, располагались кордельеры, то есть францисканцы, подпоясывавшие сутаны из домотканого сукна грубыми веревками. Этот орден стремился подавать пример своей бедностью, что не мешало трем нефам быть вместительно гостеприимными, а хорам с двадцатью одним приделом выглядеть заметно более просторными, чем та часть церкви, которая была предназначена для мирян. Горожане и школяры из соседних приходов: из Сент-Андре-дез-Ар, Сен-Северена, Сен-Бенуа-ле-Бетурне — толпами ходили на службы и проповеди кордельеров. Монастырь выполнял одновременно и функции коллежа. Сохранившаяся до наших дней в самом центре Латинского квартала трапезная красноречиво свидетельствует о количестве людей, имевших право утолять в ней голод.

Среди посещавшего кордельеров народа формировались разные духовные течения. Возникали своеобразные общины, что-то среднее между религиозными братствами и мирскими орденами, способными дать толчок интеллектуальной жизни даже в среде служителей церкви. Причем различия между этими общинами касались не только литургии и благотворительной деятельности, но и вопросов толкования Евангелия.

Ниже Сорбонны, рядом с парижским особняком аббатства Ключи и напротив обители, где жил магистр Гийом де Вийон, располагался выходивший на улицу Сен-Жак монастырь Святого Матюрена. Официально здание называлось больницей «монахов, выкупающих пленных», а орден — орденом Святой Троицы. На самом же деле парижане были абсолютно уверены, что все, что касается университета, решается именно там. Там, например, через раз проводилась генеральная ассамблея факультета словесных наук. А если говорить о церкви Святого Матюрена, то она, по существу, выполняла функции обычного зала собраний самого различного уровня, как обыденных, так и торжественных. Именно там каждый триместр выбирался ректор факультета словесных наук, в действительности являвшийся главой всей университетской общины. Именно там в ответственные моменты национальной либо университетской истории *alma mater* с помощью тайного голосования формулировала свое коллективное мнение.

Кроме того, на самом верху улицы Сен-Жак по правой ее стороне, почти напротив маленькой церквушки Сент-Этьен-де-Гре, находилась резиденция братьев-проповедников. Тогда их

еще очень редко называли «доминиканцами». В Париже улица Сен-Жак — святой Жак, он же святой Жакоб, он же святой Иаков — дала название монастырю и даже всему ордену; их стали называть «иаковитами». Причем не только в столице, но и в провинции.

В представлении непосвященного прохожего иаковитская обитель ассоциировалась прежде всего с вытянувшейся в длину церковью, способной принять в своих двух разделенных двенадцатью колоннами нефами две-три тысячи верующих. Хорошо знаком был парижанам и сам монастырь, прямоугольное просторное сооружение между церковью и старой, воздвигнутой при Филиппе Августе крепостной стеной, на протяжении всего XV века остававшейся единственным оборонительным сооружением левобережья. Ну а что касается школяров, то для них обитель иаковитов являлась еще и целым комплексом рассредоточившихся в сторону ворот Сен-Мишель учебных заведений ордена, в стенах которых еще жила память о святом Фоме Аквинском. Юные доминиканцы проходили там курс интенсивного обучения, превращавший их в философов и богословов, неплохо ориентирующихся в суровой схоластике: программа у них была более насыщенная, чем в Сорбонне, и учащиеся усваивали ее за более короткий срок. Однако верность братьев-проповедников новаторскому учению Фомы Аквинского превратила их в момент формирования неоплатонизма в самых консервативных из всех тогдашних богословов и философов, в людей наиболее неподатливых к восприятию новых веяний.

Для простого люда иаковитская обитель была прежде всего местом, где молились, местом, овеянным былой славой и сохранившим свой авторитет благодаря удобному расположению. Ведь она стояла на одной из самых главных артерий столицы, всего в двух шагах от ворот Сен-Жак, через которые проезжали все, кто направлялся в Орлеан, а также к Луаре и центру Франции. Ворота Сен-Жак известны не только тем, что через них 13 апреля 1436 года в Париж во главе своей армии въехал Ришмон. Они были также из тех немногих ворот, которые во время войны парижане держали либо открытыми, либо готовыми в любую минуту раскрыться, тогда как другие были «закрыты и замурованы». Влияние иаковитов в значительной мере объяснялось как раз тем, что их жилье располагалось всего в двух шагах от ворот, которые из-за их первостепенного значения для жизни столицы парижане не замуровывали. Ну а обосновались монахи там, потому что выгода этого местоположения была очевидна.

Таким образом, резиденция иаковитов являлась прежде все-

го монастырем, в то время как взобравшаяся на вершину горы обитель Сент-Женевьев была преимущественно аббатством. Ведь Сент-Женевьев — это изолированное, лежащее в стороне от больших улиц владение с хорошо защищенной церковью посредине. А иаковитский монастырь — это «Божий дом», открытый всем и вся. Войти туда не составляло никакой проблемы.

Перейдем на другой берег Сены. Хотя парижане и считали, что правобережье принадлежит скорее деловым людям, чем церковникам, религиозные заведения там были представлены тоже в изобилии. Однако благотворительность на правом берегу выглядела несколько иначе. Нищий ремесленник — нечто совершенно иное, чем нищий клирик. Средний возраст безработного подмастерья или покинутой девушки был не такой, как средний возраст не имеющего доходов школяра. Поэтому здесь было мало коллежей для неимущих бурсаков, зато много больниц и домов престарелых.

Так, на Гревской площади, рядом с колоннами ратуши, под которыми торговцы вином нередко устраивали склад винных бочек, располагался приют Святого Духа. Чуть дальше, на улице Мортель, протянувшейся от Гревской площади до обители Сен-Поль, богадельня Одриет воскрешала память о милосердии Этьена Одри, раздатчика хлеба при Филиппе Красивом. По обе стороны просторной улицы Сен-Дени располагались приют Троицы и приют Сен-Жак, где останавливались направлявшиеся в Сантьяго-де-Компостела паломники. А в самом конце улицы, у ворот Сен-Дени, монастырь Божьих дев служил неким эквивалентом иаковитского монастыря у ворот Сен-Жак — разумеется, с поправкой на интеллектуальное преобладание последнего, — то есть был молитвенным домом у входа в город.

Там же, на правом берегу, парижане, страдавшие горячкой, ходили испрашивать милости Божьей в монастырь Сент-Антуан, что стоял на восточной окраине Парижа, а те, у кого было плохо с глазами, направлялись на запад, к воротам Сент-Оноре, где за ними ухаживали в Доме слепых. Вийон как-то обыграл в одном из своих стихотворений тему, связанную с этим заведением.

Затем, мой дар слепцам Парижа, —  
Мне прочим нечего подать.  
Но парижан я не обижу, —  
Так вот, чтоб легче разобрать  
Могли на кладбище, где тать,  
А где святой гниет в гробу,  
Прошу беднякам передать...  
Мою подзорную трубу\* .

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 113. *Пер. Ф. Мендельсона.*



... следует заолуждаться: подзорная труба для слепых — это весьма давняя шутка, и средневековые с удовольствием подсмеивались над физическими недостатками; но здесь насмешка, по существу, направлена не против них, равно как и не против богаделен и больниц, от которых никто не мог считать себя навеки застрахованным. Парижанин XV века за балагурством поэта видел иной образ, образ трехсот слепых, поселенных некогда Людовиком Святым в приюте «Пятнадцать двадцаток», — трехсот слепых пациентов, которые, по неведомо когда сложившемуся обычаю, имели право просить милостыню на так называемом кладбище Невинноубиенных младенцев, где хоронили представителей состоятельной буржуазии. Эти слепые, даже будучи вооруженными вийоновской «подзорной трубой», не смогли бы различить, кто из покойников хорош, а кто плох.

Ирония, конечно, относилась к состоятельным людям, а вовсе не к их могилам и тем более не к благотворительному заведению.

Все богадельни, начиная с самой знаменитой среди них, расположенного на острове Сите Отель-Дьё, пользовались в среде обездоленных заслуженным уважением: когда кому-то становилось худо, там можно было найти и миску похлебки, и заботу. Так что коли речь заходила о приютах, Вийон находил повод для шуток не над ними, а над нищенствующими орденами, поскольку, как истинный школяр, был не в состоянии избавиться от ненависти к людям, которые сами едят гусей, а беднякам подают в лучшем случае кости, а в худшем — и вовсе ничего.

Затем, не знаю, что и дать  
Приютам и домам призренья.  
Здесь зубоскальство не под стать:  
Хватает бедным униженья!  
Святым отцам для разговенья  
Я дал гусей. Остался... пар.  
И это примут с вожделеньем —  
Для бедных благо всякий дар!\*

Ирония Вийона становилась более язвительной, когда он вспоминал в своем завещании монахов из нищенствующих орденов и монахинь-бегинок, всех тех, в абсолютной бесполезности кого был искренне убежден: пусть они жиреют от наваристых мясных супов и слобных булочек, чтобы затем «предаваться созерцанию» под сенью закрытых балдахинами кроватей, то есть развлекаться с девицами. Фарсовое наполнение стихов

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 108. Пер. Ф. Мендельсона.

оказывалось тем более существенным, что поэт сам принадлежал к духовенству и предназначал свои стихи в первую очередь школярам.

Все его читатели слышали про трактат Жана Жерсона «Гора созерцания», а некоторые из них, возможно, даже его читали. Во французском языке есть созвучный глаголу «созерцать» глагол, означающий «производить посадку, засаживать». Вийон, не очень уверенный, что это слово всплывет из подсознания читателей, любящих переставлять слоги в словах, недвусмысленно помещал занимающихся созерцанием скоморохов в постель. Так что понять, что именно Вийон подразумевает под созерцанием, совсем нетрудно...

Затем, подам святым отцам,  
Что всюду гнут смиренно спины,  
Дань собирая по дворам,  
В Бордо ль, в Париже, — все едино, —  
Им оставляю суп гусиный,  
Чтоб каждый нищий и монах  
Мог после трапезы невинной  
Часок поразмышлять в кустах\*.

На правом берегу, где духовенство царило не столь безраздельно, как на университетской стороне, все же достаточно было сделать шаг, чтобы оказаться перед порталом какой-нибудь церкви или башней какой-нибудь богадельни. Очень много было там и разного рода домов, приютивших остатки захиревших орденов, запечатлевших следы мертворожденных заведений, от которых осталось лишь название, имя своего святого, алтарь. Например, в Сент-Круа-де-ла-Бретонри размещались так называемые «крестоносные братья», призванные заниматься выкупом пленных. А вот в монастыре «Белые мантии» еще со времен Филиппа Красивого жили некие бенедиктинцы, вопреки названию одетые в черное, хотя, возможно, какие-то их далекие, поселившиеся там при первых Валуа предшественники облачались тогда во все белое. Рассредоточившиеся вдоль парижских улиц религиозные учреждения представляли собой настолько пеструю картину, что рядовой

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 85. Пер. Ф. Мендельсона.

Дословный перевод:  
Затем, нищенствующим братьям,  
Святошам и бегинкам  
Из Орлеана и из Парижа,  
Скоморохам обоих полов  
Завещаю жирные иаковитские супы,  
Омывающие слобные булочки;  
А потом пусть они под балдахином  
Говорят о созерцании.

горожанин, как правило, лучше знал, с чем он столкнется в том или ином монастыре, чем то, какова его каноническая природа и какого он придерживается устава.

## ЦЕЛЕСТИНСКИЕ МОНАХИ

Вернемся, однако, к реке. Пройдем по анфиладе каналов и понтонов, составлявших на пространстве от Гревской площади до королевских садов вокруг замка Сен-Поль сложный и престижный комплекс Гревского порта — винный, зерновой, угольный порт и т.д. — и его многочисленных «дворов», являвшихся складами под открытым небом. Продолжим путь, обойдя маленькую крепость, называвшуюся башней Барбо и образовавшую на самом берегу опору кольца укреплений Карла V. Там же, возвышаясь над первыми четырехугольными башнями этого кольца, устремлялись вверх высокие стены и колокольня Целестинского монастыря.

В ту пору итальянский орден целестинцев отпраздновал уже сотую годовщину пребывания в своей парижской резиденции. Официально дом ордена был посвящен Богородице Благовещения, но все называли его представителей просто «целестинцами». Никто при этом и не вспоминал, что таким образом воздавались почести Пьетро Морроне, святому отшельнику из Абруцци, который как-то оказался даже на папском престоле, поцарствовал там под именем Целестина V в течение пяти месяцев, а потом отрекся и обрел уединенный покой, из которого его было вывела неуместная слава. Данте изобразил его трусом, человеком, «отказавшимся по слабости воли своей», а Климент V канонизировал. Впоследствии память об отшельнике, однажды заблудившемся в лабиринтах ватиканской политики, несколько стерлась, зато остался Целестинский монастырь...

Карл V, последний король династии Валуа, царствование которого оставило в столице неизгладимый след, щедро одарил монастырь, из-за чего тот стал походить на королевский дворец. У самого портала посетителя встречали высокие статуи Карла V и Жанны Бурбонской, большие скульптуры, изображающие королей, — они сейчас находятся в Лувре, — предшественники более поздних бронзовых конных статуй.

Представители аристократии нередко высказывали пожелание быть похороненными в Целестинском монастыре, причем в этом, равно как и во многом другом, им стремились подражать верхи Парламента и ратуши. В Целестинском монастыре покоится, например, под изображающей ее статуей бело-

го мрамора герцогиня Бедфордская Анна Бургундская. Под одним памятником там погребено сердце Карла VI, под другим — сердце Изабеллы Баварской. Герцоги Орлеанские выбрали этот монастырь для того, чтобы построить там часовню, которая должна была стать для них усыпальницей, какой для царствующей династии являлась церковь аббатства Сен-Дени. Там находится могила сраженного при воротах Барбет герцога Людовика, а также могила его жены Валентины Висконти, расположенная рядом с могилой их младшего сына Филиппа. Герцог Карл, стремившийся в описываемую эпоху с помощью поэзии забыть о двадцати пяти годах плена, проведенных под английским небом, в 1466 году присоединился к родителям и брату. Там же можно встретить и кардиналов вроде Жана де Дорманса, епископов вроде бывшего глашатая бургундской партии Жана Канара, а также бывшего советника в Парламенте Карла VI Жермена Пайяра. Там находятся и представители старинной парижской буржуазии, именитые граждане эпохи первых Валуа: семейство Марсель, семейство Кокатрикс, семейство Люилье. Потом к ним присоединились состоятельные парижане, жившие во времена Вийона: в обители целестинцев нашли вечный приют Бюро, Бюде и многие другие.

О Целестинском монастыре вспоминали, едва возникала потребность с помощью достойного и умершего и живущих погребения продемонстрировать размеры состояния того или иного буржуазного рода. Соперничать с ним пыталась лишь одна церковь: Сент-Катрин-дю-Валь-дез-Эколье. Однако для большинства парижан Целестинский монастырь был прежде всего «городским» монастырем, принадлежавшим тому Городу, обитатели которого редко переходили на другую сторону реки и в своей ежедневной потребности помолиться не заглядывались на университетские высоты.

В том квартале, где никому не приходило в голову сравнивать маленькую настоятельскую церковь Святой Катирины с просторным нефом Целестинского монастыря, в том мире, который жил и трудился между улицей Сен-Дени и Бастилией, все говорили просто «монастырь». Другого там не было.

У нас в монастыре изображение ада  
И свежих райских птиц мой бедный взор влечет\*.

Так что именно в Целестинском монастыре с беспокойством созерцала ад и с радостью — рай мать Франсуа Вийона. В 1430-х годах их видел также и Гильберт де Мец:

---

\* Вийон Ф. Избранное. М., 1984. С. 347. Пер. В. Рождественского.

«В Целестинском монастыре на отдельных хорах нарисованы и рай, и ад вместе с другими изображениями. А также перед хорами церкви на одном из алтарей нарисован образ Богоматери, выполненный в высшей степени искусно».

«Отдельные» хоры — это один из тех приделов, где меценат преисполнялся особой набожностью, особой верностью покойникам и гордостью за собственную семью. Старушка укрепляла свою веру перед картиной, заказанной кем-нибудь из сильных мира сего или просто разбогатевшим торговцем. Она смотрела на ад с корчащимися грешниками, на рай с играющими на арфе и лютне ангелами. Потом поворачивалась к алтарю, который возвышался перед тем, что является собственно хорами.

О дева-мать, владычица земная,  
Царица неба, первая в раю,  
К твоим ногам смиренно припадаю:  
Пусть я грешна, прости рабу твою!  
Прими меня в избранников семью!  
Ведь доброта твоя, о мать святая,  
Так велика, что даже я питаю  
Надежду робкую тебя узреть  
Хоть издали! На это уповаю,  
И с верой сей мне жить и умереть\*.

#### БОГОМАТЕРЬ

По существу, молится здесь сам Вийон, прикрывшись фигурой старушки, чтобы никто не догадался, что у «сурового мужчины» нежное сердце. Молиться Богоматери, когда у тебя такое прошлое, как у мэтра Франсуа...

Вера, которой наделяет мать непутевый сын, нередко доставлявший ей «слезы, горе и досаду», — вера безыскусная, не лишенная живого чувства. В нескольких словах и нескольких образах поэт запечатлел целый мир: тут и ад со своими рогатыми чертями, и рай с Богом и сопровождающими его святыми, и Богоматерь, «владычица земная», и она же в роли милосердной посредницы, помогающей добиться отпущения грехов. Смиренная христианка не витийствует — ее безыскусная вера выражена в нескольких словах.

Молитва поддерживала эту веру, ведь молитва — прежде всего предстояние — в церкви, во время службы — особенно

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 73. Пер. Ф. Мендельсона.

остро переживаемое в момент причастия, приобщения к Святым Дарам во время мессы. Нельзя сказать с абсолютной уверенностью, насколько отчетливо ощущали Вийон и его мать связь между мессой и евхаристией. Святые Дары делают праздник более торжественным, освящают его. Хотя, возможно, причастие и не было главным элементом духовной жизни славной женщины. Канонические молитвы — специальные молитвы перед причастием — читались тихим голосом, а сборник молитв, вручавшийся грамотным верующим, воздвигал еще один невидимый барьер между прихожанами и текстом произносимых молитв. Ведь никому не придет в голову читать молитвы мессы в тот момент, когда священник отправляет службу у алтаря. Впрочем, от мирянина только то и требовалось — оставаться убежденным в том, в чем его стремились убедить, то есть что месса — дело священников. Там было место и для чтения латинских текстов, и для молитвы про себя, но главным, самым существенным элементом мессы являлась проповедь, провозглашаемая во здравие живых и за упокой мертвых.

От Бога старушку отделяло огромное расстояние. И в церкви она появлялась скорее редко, чем часто. К святым обращаться проще, чем к Творцу, и вот — вслед за многими другими, в частности за Жаном де Мёном, автором «Романа о Розе», — Вийон, помогающий родительнице молиться Богородице, подбирает выражения, заимствованные из словаря феодально-вассальных отношений.

Баллада обращена не к Матери: не к улыбающейся Матери, какой ее изображали в XIII веке, и не к страдающей Матери трудных времен, а к госпоже, властительнице, хозяйке. Поэт подбирает такие слова, которые воссоздают в сознании читателя картину ленного владения; обращаясь к Богородице как к «владычице земной», он расширяет границы ее владений до пределов всей земли, но лен все же остается леном. «Властительницей Неба, властительницей земли» называл ее Жан де Мён. К «Царице Небес, мира госпоже» обращался Карл Орлеанский. Так что теология у Вийона осталась та же, что и у его предшественников. Да и как можно воплотить идею верховной власти иначе, чем то делает твой век?

«Я ваш человек» — такую формулу употреблял вассал, когда, воздавая почести господину, вкладывал в его руки свои сложенные вместе руки. Вот и Вийон произносит устами старой прихожанки: «Скажи Христу — Его рабой всегда покорною была...» Главное — иметь веру. А внутреннее наполнение веры не столь важно, и допускаются даже некоторые неточности, поскольку Вийон, например, может, отдавая дань язычеству, назвать Деву «Великой Богиней», а рай тем временем вдруг оказывается у не-

го похожим на «адские болота», то есть на топи Стикса и Ахерона с угадывающимся силуэтом перевозчика Харона.

Вера «убогой» и «простой» женщины не лишена цельности, и именно такую веру обретал Вийон, когда думал о матери; а могло быть и так, что о матери он вспоминал, когда обретал веру. Она, эта вера, отличалась от веры, изложенной языком теологических доктрин, причем поэт не видел никакого греха в том, чтобы говорить о Деве как о ровне Святой Троицы.

Итак, да славятся веки  
Отец, и Сын, и Дух Святой,  
И Та, в которой человеки  
Залог спасенья видят свой\*.

Вийон слишком часто видел изображение увенчания Владычицы Небес на левом портале Собора Парижской Богоматери, на протяжении уже трех веков являвшегося излюбленной темой художников и скульпторов; особенно часто в XV веке ее использовали на фронтисписах для часослова, так что поэт, естественно, всегда хранил этот образ в памяти. Христос возлагает золотую корону на голову своей Матери, но так, что в жесте подчеркивается их равенство. Сын Божий и Та, которую тогда уже начали называть Матерью Божией, сидят рядом на одном троне. Равенство подчеркивается еще и тем, что скульптор представил увенчание не в виде торжественной церемонии, а как нечто сугубо интимное, семейное.

Скорее всего, поэту не было известно, что один из художников герцога Бургундского Иоанна Бесстрашного не побоялся изобразить Богоматерь на самом верху иерархической пирамиды вечных ценностей. Однако он, конечно же, никак не мог забыть те «Чудеса Богоматери», которые столь часто инсценировались в Париже и в которых Дева представляла столь женственной, столь по-матерински ласковой, а временами, как бы полностью забывая свою роль — весьма скромную, если ориентироваться на ортодоксальную теологию, — вдруг начинала судить и рядить. Дева в записанном около 1450 года Жаном Мьело тексте «Чудес» говорит, обращаясь к Богу: «Я так хочу!» Вот почему, вспоминая о «снегах былых времен», Вийон уважительно назвал Марию «самодержавной Девой».

Образ получился несколько противоречивым. Однако вера поэта противоречивой не была. На небесах Богоматерь выглядела владычицей, на земле — матерью. Она являла собой человеческое лицо божественного всемогущества. В средневековых легендах все ее поступки отмечены печатью доброты. Она врачевала раны, поднимала дух, осушала слезы. А главное,

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

спасала грешников. Неизменный успех «Чудес», обнаружившийся впервые еще в XII веке, красноречиво это подтверждает: Дева судит лишь для того, чтобы спасти. Она отказывается вмешиваться, не препятствует Божьей каре лишь в тех случаях, когда речь идет об измене, клевете, гонении, о преступлениях против справедливости, верности, честного слова. Можно сказать, что ее этика почти совпадала с этикой героев рыцарских поэм.

Двойное обличье Марии — царственная Дева и Дева-мать — в конечном счете делало ее оплотом против врага человеческого. Кроме земных несчастий существует и вечное несчастье: ад. И Дева отвоевывает у ада души, увлекаемые туда грехами. И в суде своего Сына она всегда побеждает. Ведь она — лик надежды.

Некий насмешник, сочинявший стихи для одного парижского религиозного братства, архивы которого, к счастью, сохранились, не без фамильярности заметил, что Бог не осмеливался прекословить своей Матери.

А стал бы Он ей вдруг перечить,  
Сам получил бы тумаков.

## БОГОСЛОВЫ

При этом в Париже тогда было довольно много богословов. Правда, времена изменились. Уже лет сто они не вели своих великих споров, начатых в эпоху героических поэм, когда в результате открытия Аристотелевой метафизики и появившихся благодаря ей новых теоретических подходов у теологов забрезжила надежда, что им удастся на основе изучения человеческого разума объяснить, как происходит откровение. Попытки Фомы Аквинского и Уильяма Оккама примирить ум и веру были забыты. Стихли споры по поводу крайностей в понимании и искажений учения Аристотеля, которое пришло на Запад вместе с арабской наукой уже ставшего классиком Ибн Сины по прозвищу Авиценна и жившего позднее Ибн Рушда по прозвищу Аверроэс. Однако, хотя та борьба и утратила актуальность, их наследие все еще по-прежнему продолжало питать мысль схоластов. Вера и откровение отнюдь не запрещали людям искать собственных путей к этому самому откровению. Вера — одно, а знание веры, существующее независимо от антагонизма тайны и рассудка, — нечто совершенно иное. Оккам и его ученики убедительно показали, что, если преодолеть в какой-то мере скептицизм, фундаментальное различие между Богом и человеческим разумом способно дать новый импульс для



развития логики. Дальше этого они, в общем-то, не продвинулись: дух научного исследования тогда только-только зарождался.

На рубеже XIV и XV веков канцлер парижского университета Жан Жерсон включил в свою теологию некоторые элементы гуманизма, взятые из античного стоицизма. Жерсон читал классиков. Однако его доктрина вобрала в себя больше красноречия Цицерона, чем мыслей Сенеки. Она не отличалась большой оригинальностью, и в ней полновластно царил риторика. Позаимствовать у античной мудрости кое-какие подходящие максимумы не так уж трудно. А вот осуществить синтез недостаточно изученной и оставшейся тайной за семью печатями мысли оказалось задачей непосильной.

Естественно, что люди, обладавшие меньшей ученостью, чем Жерсон, оказывались в столь же трудной ситуации, как, например, тот же магистр словесных наук Франсуа де Монкорбье, весьма часто вспоминая о древних и апеллировавший к предусмотрительно не называемой им традиции.

И поэт, и богослов в равной мере ориентировались на учебники. Читать и толковать «Сентенции» Петра Ломбардского — вот какие задачи ставили перед собой теологи, коллеги Тома де Курселя, одного из судей Жанны д'Арк, высказывавшегося за применение к ней пыток. (Де Курсель умер в 1469 году, достигнув высокой ученой степени в Сорбонне, поста старейшины парижского капитула, и к тому времени полностью забыв о своей роли во время руанского процесса.) В том удобном для употребления сборнике, каковым являлись «Сентенции» — честная компиляция, осуществленная приблизительно в 1150 году итальянским мэтром, ставшим позднее парижским епископом, — обзревалась вся теология. Содержавшихся в сборнике комментарий сорбоннским кандидатам на получение степени лиценциата «Святой страницы», то есть теологии, вполне хватало.

Петр Ломбардский, конечно же, был знаком с работами Пьера Абеляра и других оригинальных мыслителей XII века, но писал за сто лет до Фомы Аквинского. Удобное изложение доктрины, питавшее юные умы в середине XV века, отстало во времени на целых триста лет. А «Суммой теологии» пользовались лишь будущие проповедники ордена Святого Доминика, учившиеся в школе при доминиканском монастыре. Творчество святого Фомы, отвергнутого в 1270-м и канонизированного в 1329 году, использовалось там при обучении столь же широко, как «Сентенции» в заведении, расположенном несколько ближе к Сене. Однако «Сумма» в ту пору уже не зажигала пытливые умы. Дух синтеза сменился духом резюме.

Изобретательность хранителей основ учения сконцентрировалась на «случаях» и «вопросах», оперируя которыми — и предвосхищая в этом Декарта — схоластика с номиналистским объективизмом занималась шлифовкой определенных догм, причем в толковании трудных мест экзегеты проявляли больше хитрости, нежели ума.

Присутствует ли, например, Сын Божий в евхаристии в тот момент, когда облатка падает в сточную канаву? Правомочна ли литургия, если месса посвящена не апостолу Петру и не апостолу Павлу? Юридическое крючкотворство заполонило теологию. Легко можно понять противодействие богословов Сорбонны расширению изучения юриспруденции в Париже, причем не исключено, что страх перед нашествием соперников усугублялся еще и опасением, что те извратят науку. Юристы действительно захватили все, так что оставалось лишь утешать себя мыслью, что самые опасные, то есть самые популярные из них, остались все-таки в Орлеане. В результате студентам приходилось проводить два года на берегах Луары, чтобы слушать там гражданское право, а потом, возвратившись в Париж, овладевать степенями церковного канонического права. Если бы законоведы захватили парижские коллежи, теологам просто некуда было бы податься.

Впрочем, теологи даже и не представляли себе в полной мере, насколько глубоко юристы успели внедриться и в богословскую науку, и во всю систему образования. Два века гегемонии юриспруденции в христианском обществе сформировали религию адвокатов и нотариусов. «А ради чего?» — говорили номиналисты, для которых все было лишь видимостью. И в результате получалось, что природа и содержание религии значили меньше, чем точное определение обязательных ритуалов и формул, с помощью которых обретается уверенность в спасении. Так, «слушать» мессу означало, что нужно оказаться в церкви до того момента, когда приносящий Дары священник откроет дароносицу. А то, какая существует связь между этой церемонией и нерушимым единством уже попавших на небо и еще проживающих на земле верующих, а также между нею и искуплением грехов, номиналистам было безразлично.

В ожидании того момента, когда в середине века пришедший из Италии неоплатоновский гуманизм позволит философии богословов подняться на новую ступень, что в свою очередь придаст законченные очертания христианской вере и положит начало новым брожениям внутри нее, внимание наставников концентрировалось на предметах иного рода. На протяжении целого века главным предметом забот духовенства было не точное определение того, что собой представляет «реальное

присутствие» — то есть присутствие Христа в евхаристии — и какова сущность Троицы, а угрожающая ситуация в лоне самой церкви. Последней были нанесены сильные удары, что внесло смуту не в одну искренне верующую душу. Так, во времена Филиппа Красивого окончательно потерпела крах идея папской теократии, то есть претензия церкви апостола Петра на управление миром. Палство превратилось в огромную бюрократическую и налоговую машину, что порой возмущало и мирян, и духовных лиц. Кроме того, церковь познала болезненный раздел на две враждующие друг с другом части, во главе каждой из которых стоял свой папа, предававший бессмысленной анафеме соперника; несколько раз она оказывалась вообще без папы, причем болтовня соборных отцов была не в состоянии заставить забыть о действенности вверенных апостолу Петру ключей.

Таким образом, на протяжении целого века наиболее бойкие умы думали лишь об одной проблеме: о реформе церкви. Реформа стала главной целью размышлений — и подоплека у нее была скорее юридическая, нежели метафизическая, — отцов церкви, ломавших голову над тем, какой новый импульс придать религиозной жизни. И в глазах неискушенных наблюдателей, и в глазах людей сведущих реформа представляла собой путь к единству, нарушенному в 1378 году, в момент имевшего многочисленные последствия избрания двух пап. Путь к искуплению грехов на небе лежит через единство земного Иерусалима.

Августиновская точка зрения на град Божий допускала, чтобы созидание церковных структур предшествовало размышлениям о природе непостижимого. И следовательно, те, кто направлял энергию преподавания и проповедей на строительство земного храма, отнюдь не были погрязшими в обыденности посредственностями. Для спасения душ нужно было в первую очередь вернуть церкви ее монолитность и придать ей новый облик, представляющий все фракции духовенства, участвовавшего в борьбе. И в Констанце, и в Базеле во время соборов церковь размывали новые течения, которые позже были названы национализмом и корпоративным духом — в частности, у тех, кто работал в университете, — и церковь пыталась сохранять равновесие между монархическим централизмом и союзом епископов, за которыми стояли верующие. Собор был замкнутой сферой. Помимо миссии хранителя догм, унаследованной от прежних эпох, и в частности от великих соборов XIII века, он имел политический вес в лоне церкви и на вершине иерархии.

Наиболее полно видение этой церковной структуры, призванной стать инструментом искупления, выразил один париж-

ский теолог. В своем «Трактате о вере и о церкви» магистр Жан Курткюис сформулировал — хотя и не решил — дилемму: является ли брак Христа и церкви плодом веры или же плодом милосердия, то есть любви? Удобные формулы: Христос-вождь, Христос-царь, Христос-супруг — оказались одновременно и вопросами. Теология облагораживалась, становясь более человеческой. Все, естественно, тонуло в пустословии, но усилие было искренним.

Стало быть, в ту пору, когда будущий Франсуа Вийон проходил на факультете словесных наук предваряющий метафизику курс логики, теология переживала отнюдь не звездный час. А та ожесточенная борьба, которую вело духовенство за доходы, имела драматическую столетнюю традицию, так что неизбежно возникал вопрос, в состоянии ли церковь выполнять и далее свою миссию.

Занятые земными проблемами носители доктрины не очень-то часто поглядывали на небо. К тому же некоторые из них утратили авторитет по причине чрезмерной — хотя и диктуемой зачастую логикой событий — вовлеченности в мирские дела. Так, умерший в 1411 году Жан Пети надолго запомнился как апологет тираноборства, человек, оправдывавший убийство Людовика Орлеанского, совершенное людьми его бургундского кузена. А умерший в 1442 году Пьер Кошон запечатлелся в памяти людей как судья Жанны д'Арк, реабилитированной в 1456-м. Однако, несмотря на посредственность некоторых личностей и легковесность идеалов, вера была искренняя.

Дистанция между размышлениями наставников и набожностью матери Вийона была велика. Между тем и другим пролегла доктрина проповедника, который с высоты своей кафедры либо в тиши исповедальни доносил до сознания каждого прихожанина и приводил в гармоничное соответствие христианские обязанности и возможности мирян. Религиозное воспитание и нравственное формирование детей — в первую очередь детей, певших в хоре, — продолжалось во время воскресной проповеди, в которой из-за непонятного латинского языка многие видели главный элемент мессы. Проповедовали все: и священники, и простые монахи, и монахи из нищенствующих орденов. Последние даже считали проповеди непременным условием пребывания в лоне церкви и оказывались соперниками священников. А те в свою очередь видели в подобных проповедниках главных виновников сокращения поступлений денежных средств в приход.

Ну а само содержание проповедей было исключительно простым: во что верить и чего не нужно делать. При объяснении

основ веры речь шла главным образом о позитивных явлениях: о Боге, Троице, искуплении, Святых Таинствах, Богородице. Что же касается морали, то здесь преобладал негатив: семь смертных грехов, чистилище, ад.

Нужно было, чтобы проповедь была понятна публике, и приемы поэтому использовались тоже очень простые: притчи, примеры из Евангелия или жития святых. Примером могло служить все. Любой рассказ обладал тройным смыслом: историческим, аллегорическим и моральным. Иов, сидящий в гряде нечистот, был одновременно и патриархом, и смиренной покорностью судьбе, и совокупностью духовных сокровищ бедности.

С подобным воспитанием прекрасно сочетались зрительные образы. Портреты, капители, фрески, витражи — все служило целям повторения упомянутых в проповеди тем. Потому что образ понятен лишь тому, кто уже что-то знает. Для инициации он не подходит. Он лишь подспорье памяти.

Такой выглядела вера в 50-е годы XV столетия, когда постепенно стихли смуты и укрепились структуры государства. Время великих ересей, являвшихся своеобразной формой осмысления религиозной веры, окончательно прошло. Забвению были преданы и так называемые «духовники» XIV века, экстремисты — прежде всего францисканцы, — которые пытались превратить индивидуальную и коллективную евангельскую бедность в краеугольный камень спасения людей с помощью церкви. Ересь англичанина Уиклиффа, брюссельца Рейсброка и сожженного на костре 6 июля 1415 года национального чешского героя Яна Гуса отныне казалась чем-то далеким.

Вера эта прочна; это та вера из «Credo»\*, о которой толкуют во время проповедей. Непреходящая суть церкви уже не вызвала сомнений. По окончании Базельского собора власть папы несколько ослабла, зато стали более здоровыми ее основы, тот фундамент, на котором чуть позже воздвигли свой пышный трон великие папы эпохи Возрождения. Правда, французская церковь на протяжении всего какого-нибудь полувека по крайней мере раз десять подвергалась перетряске и раз десять равновесие в ее взаимоотношениях с двумя конкурирующими силами — папы и короля — нарушалось; однако принятая в 1438 году в Бурже Прагматическая Санкция дала французской церкви вместе с иллюзией политической стабильности также и уверенность в стабильности институциональной. И когда поколение Франсуа Вийона декламировало вслух «Credo», оно не задавало себе вопросов ни по поводу «Credo», ни по поводу священников.

---

\* «Верую» (лат.) — католическая молитва.

Впрочем, то поколение слишком много всего повидало, чтобы всерьез верить во что бы то ни было. Любовь Вийона к истинам наизнанку и к прописным истинам выражает именно этот скрытый скептицизм.

Я знаю, кто по-шегольски одет,  
Я знаю, весел кто и кто не в духе,  
Я знаю тьму кромешную и свет,  
Я знаю — у монаха крест на брюхе,  
Я знаю, как трезвонят завирухи,  
Я знаю, врут они, в трубу трубя,  
Я знаю, свахи кто, кто повитухи,  
Я знаю все, но только не себя\*.

Наследница праздника дураков, осужденного в 1444 году факультетом теологии, «Мамаша Глупость» со своим кортежем глупцов ввела в театр традицию передавать с помощью словесных, разрушающих иллюзии пируэтов старинную народную мудрость. Причем дух этих «соти» одинаково разрушительно действовал и на догму, и на мораль. Глупым выглядело все. Дураком был, например, любовник, дураком же был и мудрец.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 133. Пер. И. Эренбурга.

## **НЕ ДАЙ В УДЕЛ НАМ ВЕЧНЫЙ АД...**

### МОЛИТВА

Хотя реформаторы и выступали против чудодейственных картинок и дешевых индульгенций, рядовой христианин более внимательно относился к способным обеспечить ему пропуск в рай ритуалам, чем к фундаментальным принципам веры. Догма выходила из его поля зрения, и на первом плане оставалась практическая сторона дела. Многим Бог казался вьедливым счетоводом, определяющим шансы верующих на спасение по количеству точно выполненных ритуалов и по тому, насколько велик у человека запас индульгенций. Силе убеждения придавалось не столь большое значение, как точности в деталях и завершенности обязательного цикла: крещение, воскресная месса, ежегодная исповедь на Пасху и причастие. Искать вечного пристанища не на кладбище и не в лоне церкви считалось также недопустимым, и тело, оказавшееся похороненным где-нибудь в другом месте, — ради удобства либо согласно обязательствам — быстро перевозили в «христианскую землю».

Главное было соблюсти формальные требования, тогда как личный настрой существенной роли не играл. Например, Изабелла Баварская в начале века вместо себя заставляла поститься своих священников. Существовали такие пилигримы, которые совершали паломничества в Рим либо в Сантьяго-де-Компостела вместо других лиц и за их счет, а прокурор Жан Сулас, составляя завещание, поручил совершить представлявшие ему необходимые паломничества своим душеприказчикам:

«А также пожелал и приказал посетить Сент-Антуан-де-Вьеннуа. Посетить также Мон-Сен-Мишель. Посетить также Нотр-Дам-де-Булонь-сюр-ла-Мер. А также Нотр-Дам-де-Льес и Сент-Катрин-де-Фьербуа».

Любой состоятельный горожанин заказывал мессы, причем зачастую даже и не помышляя присутствовать на них. Пред-

почтительнее было заказывать не тридцать месс, а сто: в завещании одного судьи записано распоряжение отслужить шестьсот пятьдесят обеден, с уточнением, что заботу о пятистах из них лучше поручить нищенствующим орденам. Точно так же свеча стоимостью в десять ливров ценилась выше, чем свеча стоимостью в один ливр. Переведенная на язык арифметики набожность предполагала суммарное исчисление деяний и заслуг, следующей ступенью было коллекционирование индульгенций.

В молитве есть что-то от подвига. Чем больше молитв, тем лучше, но и заковыристость самой молитвы тоже очень ценилась. Так, бретонский поэт Жан Мешино, обнаруживая больше изощренности, нежели глубокого чувства, соединив выдержки из Евангелия с аллегорическими клише, сочинил «Молитву Богоматери», где каждая строчка начинается одной из букв молитвы «Ave Maria», а сам текст выглядит как какой-то причудливый кроссворд, в котором «Ave Maria» читается в различных направлениях тридцать два раза и предлагает набожным прихожанам, желающим привлечь к себе внимание Богоматери, двести пятьдесят четыре более или менее эквивалентных словесных комбинаций.

Арифметика набожности была обязана своим происхождением не только формализму. Она явилась также своеобразной формой адаптации к способностям верующих, как правило, умеющих считать до двадцати либо до ста, но не умеющих читать ни на латыни, ни по-французски. Стало быть, над прежним безразличием священников по отношению к ничего не понимавшим в их наречии мирянам восторжествовало намерение предложить каждому верующему соответствующие его возможностям упражнения. Усвоенная «наизусть» набожность отражала стремление к неукоснительной точности. Коль скоро ты не теолог, лучше уж декламировать, чем импровизировать: меньше риск впасть в ересь.

Одним из наиболее распространенных проявлений набожности стала тогда замена: когда кто-либо не мог выполнить то или иное задание, ему советовали сделать что-нибудь другое. Например, для тех, кто не мог отправиться в Рим и получить там полное отпущение грехов на могиле апостолов, допускалось в качестве компенсации паломничество к местному святилищу в сочетании с соответствующим взносом на мессу. Такого рода мессы служили в Сен-Дени в 1444-м, в Понтуазе — в 1446-м, в Мон-Сен-Мишеле — в 1447-м и в Эвре — в 1449 году. Состоятельные парижане отмечали, что большой приток людей на церковные службы подобного рода в 1444 году существенно повлиял на изменение курса денег, а в 1446-м — на подвоз



продуктов питания и что эти службы всеми воспринимались как важные события.

«В третий день сентября трубили и кричали по всему Парижу, чтобы все съестные припасы везли в Понтуаз на торжества, связанные с праздником Рождества, который приходился на следующий четверг, по причине некоторых отпусков и индульгенций, которые наш всемилостивейший государь король и милостивейший государь наследный принц и герцог Бургундии получили от святейшего отца папы Евгения для собора Нотр-Дам-де-Понтуаз, весьма пострадавшего от войны и многократных осад как англичан, так и французов.

Названное отпущение грехов началось в двенадцать часов ночи Рождества и продолжалось до полуночи вышеименованного праздника, то есть 24 часа. И было дано полное отпущение, как это делается в Риме, но только в Риме оно длится дольше, причем нужно исповедоваться и искренне каяться».

Так что все получалось благообразно. В Понтуазе давали то же «полное отпущение грехов», что и в Риме, и стоило это не больше, чем простая исповедь. Подобные замены позволяли, например, жителю Льежа откупиться 12 ливрами от паломничества в Сантьяго-де-Компостела или Рим, которое судья присуждал ему в наказание за богохульство. А если, например, кому-то предписывалось за какой-либо более мелкий проступок отправиться на могилу святого Мартина в Туре, это обходилось ему всего в 3 ливра и 10 су.

Многие паломничества, напротив, оказывались лишь предлогами, с помощью которых испытывавший страсть к путешествиям христианин оправдывался перед самим собой и своими близкими. Например, парижанин мог сходить в Булонь-сюр-Сен, чтобы пообщаться с девицами легкого поведения, а сколько было таких пилигримов, которые, отправляясь в Мон-Сен-Мишель или в Ле-Пюи, на самом деле уходили не дальше соседнего города!

По сути дела, закон замены и арифметики набожности функционировал и в тех случаях, когда семикратно повторенная, вы зубренная наизусть молитва «Ave Maria» или «Regina Coeli»\* употреблялась вместо длинной вечерни, в которой простой верующий быстро терялся в лабиринте антифонов, псалмов, гимнов и проповедей. В требнике насчитывалось сто пять-

---

\* Царица небесная (лат.).

десять псалмов, что для бедной старушки многовато. Тогда как неустанно повторять «Ave Maria» — задача вполне посильная.

Впрочем, подобное повторение нуждалось в оправдании: после каждой «Ave Maria» или после десятка, а то и дюжины «Ave Maria» требовалось в определенном порядке вспоминать веселые, горестные и славные таинства, радости и страдания Богоматери, ее милосердие. Подобным образом достигалось кое-какое разнообразие в формулах, и, кроме того, это помогало не сбиваться со счета. Таким же образом молящиеся разгружали память, перебирая янтарные, коралловые, агатовые, костяные, роговые, золотые или самшитовые шарики четок: создавалось ощущение упорядоченной молитвы. Интересно, что во французском языке четки, называвшиеся раньше на протяжении многих веков «patenotre», по названию молитвы «Отче наш», стали затем называться «chapelet», что позволяет понять изменение самой программы религиозного культа. Ведь «chapelet» — венок из цветов, похожий на те венки, которые люди сплетали либо для статуи Девы Марии, либо — в праздничные летние дни — для самих себя. Цветочный символизм обнаруживается и в слове «gosaire» — так называется цикличное повторение молитвы во славу Богоматери.

Мания исчисления распространилась не только на молитву, но и на катехизис. Подобно тому как во время молитвы считали количество произнесенных «Ave Maria», обдумывая либо называя пятнадцать таинств искупления, во время медитации верующие распределяли свои мысли по семи периодам, памятуя о семи благодатях Богоматери. А по праздникам на разукрашенных цветами перекрестках в семи живых картинах инсценировались семь скорбей. Арифметика помогала лучше понять евангельскую историю.

В конечном счете весь этот формализм покоился на доверии к церкви, сохранившемся, несмотря на перипетии политических склок во время одновременного правления двух пап и несмотря на сомнения, мучившие церковников во время соборов. Спасение заключалось в четком следовании предписаниям. Если ты считаешь себя христианином, повинуйся. А взаимоотношения с Богом церковь возьмет на себя.

Нужно, однако, признать, что два десятка кризисов, через которые прошла церковь, изрядно подорвали ее престиж. Так что стоило немного потревожить веру рядового христианина, как сразу обнаруживалось, что доверие к церкви объясняется инстинктивным приспособлением к реальным условиям. Единственной глубокой верой была вера в Бога. Вийон, не слишком задерживаясь на этой проблеме, назвал вещи своими именами: ради Бога можно принять даже церковь.

Мы так любим Бога, что ходим в церковь. ...

## АД И РАЙ

Что касается проблемы спасения, то главное было не попасть в ад. В обрисовке же рая практически нет никаких позитивных элементов — поэт был весьма далек от изощренности теологов, устанавливавших градацию и хронологию между спасением и вечным проклятием. Винцент де Бове, чей трактат «Зерцало человеческого спасения» был переведен на французский язык Жаном Мьело — текст появился в Париже в 1450-е годы, — различал четыре уровня загробного существования: ад осужденных на вечные муки, ад некрещеных детей, чистилище, рай для святых. Образ этот получил распространение. Тогда же органист Арнуль Гребан из Собора Парижской Богоматери перевел его на язык музыки в своей «Мистерии страсти». Магистр Гребан был бакалавром теологии, связанным достаточно тесными узами с университетским кварталом. На представлениях толпился весь парижский свет. Отдельные мелодии из мистерии можно было услышать даже на улице. Так что Вийону она, скорее всего, была хорошо знакома.

И все же описание ада у Вийона — одно из самых безыскусных, причем навеяно оно преимущественно скульптурными фронтонами с изображением пляски смерти на кладбище Невинноубиенных младенцев. Есть небо, и есть противостоящий ему ад. Отличие видения Вийона от традиционного видения состоит только в том, что благодаря искуплению в его аду не осталось ни одного праведника. Соответственно рай оказался населенным теми душами, которые спас от адского пламени Христос. А чистилище перестало быть местом, где содержатся полуправедники перед испытанием, и стало просто «преддверьем», где души праведников ждут искупления.

Во имя Бога, Вечного Отца,  
И Сына, рожденного Девую,  
Который вместе со Святым Духом  
Является Богом, совечным Отцу;  
Он спас тех, кого погубил Адам,  
И населяет небеса погубленными...  
Достоин хорошей доли тот, кто крепко верит,  
Что покойные стали маленькими богами\*.

В этом отрывке есть и игра слов, и реминисценции из «Стедо» — в частности, поставленные на одну ступень Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух, — но самым интересным здесь является представление Вийона о спасении. Он показал, что у него есть собственная теология, хотя поверить в нее, принять догму, согласно которой благодаря вере покойники превращают-

---

\* Дословный перевод.

ся в «маленьких богов», весьма непросто. Формула была бы и вовсе нелепо, если бы Вийон не употребил ее намеренно, дабы шокировать читателя. Однако при этом в голосе поэта звучит твердое убеждение: кто крепко верит, тот достоин награды. Иными словами, поверив в невероятное, можно попасть на небеса.

Ну а небеса начинаются там, где кончается ад. Здесь, впрочем, Вийон тонко рассчитывает эффект своих слов: ирония по отношению к пророкам и патриархам, не слишком заслуженно попавшим в рай, таит нотку скептицизма, но юмор заключительного образа необходим еще и для того, чтобы смягчить страшную картину вечности, открывающейся взору поэта.

Да, всем придется умереть  
И адские познать мученья:  
Телам — истлеть, душе — гореть,  
Всем, без различья положенья!  
Конечно, будут исключения:  
Ну, скажем, патриарх, пророк...  
Огонь геенны, без сомненья,  
От залпни праведных далек\*!

Чистилище, каким его представлял себе Вийон, мы видим лишь мельком, в некоторых эпизодах, где упоминаются дары уже умершим людям. Завешая что-нибудь явно фиктивное людям из разряда власть имущих — регентам факультета, судьям королевских либо церковных судов, — которые хоть в какой-то мере оказались добры к нему, поэт скрупулезно отмечал, что они в настоящий момент иссыхают в могиле. И высказывал желание, чтобы те получили прощение. Прощение, которое, значит, им еще не дано. На этом аллюзия заканчивалась.

Не исключено, что поэт осмеливался обличать и самого Бога. Во всяком случае, его смирение свидетельствовало не столько о глубине веры, сколько о признании собственного бессилия. Судьба склоняется перед всесилием Бога, и вот ее-то, несправедливую судьбу, человек все же может покритиковать. Она обрушивалась на великих. Она сыграла не одну злую шутку с могущественными правителями. Она столь же дурно обращалась с сильными мира сего, как и с несчастным Вийоном, но разве могла она поступать иначе? Если бы дело было только в ней... Ведь такова же была Божья воля... Последние строки, где Судьба обращается к поэту, граничат со святотатством.

Вот Александр, на что уж был велик,  
Звезда ему высокая сияла,  
Но принял яд и умер в тот же миг;  
Царь Альфазар был свергнут с пьедестала,

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 69. Пер. Ф. Мендельсона.

С вершины славы, — так я поступала!  
Авессалом надеялся просто,  
Что убежит, — да только прыть не та —  
Я беглеца за волосы схватила;  
И Олоферна я же усыпила,  
И был Юдифью обезглавлен он...  
Так что же ты клянешь меня, мой милый?  
Тебе ли на Судьбу роптать, Вийон!\*

Таким образом, перечислив знаменитые примеры языческой и библейской истории, снабдив перечень несправедливых кар, низводящих сильных мира сего до уровня несчастного поэта, троекратно повторенным советом, который в равной мере является и уроком стоицизма, и уроком христианского смирения, Судьба внезапно с яростью напоминает, что она всего лишь должница библейского Бога: без него она поступала бы еще более жестоко. То есть автор как бы обращает внимание на причастность Бога к творимому ею злу.

Знай, Франсуа, когда б имела силу,  
Я б и тебя на части искрошила.  
Когда б не Бог и не Его закон,  
Я б в этом мире только зло творила!  
Так не ропщи же на Судьбу, Вийон\*\*.

Поэт довольно хорошо запутал следы и мог не опасаться, что какой-нибудь дотошный богослов возьмет и отправит его за ересь на костер. Однако все поняли, что Судьба в данном случае — это Бог Вийона, не решавшегося утратить последнюю надежду.

Он отнюдь не был убежден в справедливости Всевышнего. И хорошо выразил свои мысли, вспомнив про святую когорту, которая отправилась в ад за Христом: этих князей неба трудно представить себе в адском пламени. Конечно же, им удалось избежать наказания. Привилегии существовали испокон веков. А когда речь заходит о вечности, тут самая важная привилегия — чтобы не припекало ягодицы.

В тех же случаях, когда Вийон пытался выразить свое позитивное видение религии, оно оказывалось весьма наивным. Балладу, посвященную памяти пьянчужки Жана Котара, можно толковать двояко: и как обвинение в адрес несимпатичного прокурора, и как эмоциональное оплакивание умершего собутельника. Однако в ней содержится также определенное представление о рае и святых таинствах. Как бы ни смеялся Вийон, он одновременно просил великих пьяниц — оскандалившегося Ноя, кровосмесителя Лота и распорядителя пира в Кане, — не-

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 149. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же.

смотря на все свои гнусности оказавшихся в конечном счете в раю, помочь своему собрату.

Отец наш Ной, ты дал нам вина.  
Ты, Лот, умел неплохо пить,  
Но спьяну — хмель всему причина! —  
И с дочерьми мог согрешить;  
Ты, вздумавший вина просить  
У Иисуса в Кане старой, —  
Я вас троих хочу молить  
За душу доброго Котара\*.

Котар, «пристроенный» в раю. Если бы не сочиненная Вийоном молитва Богоматери, можно было бы подумать, что он был неверующим. Создавалось впечатление, что поэт вообще не принимал ничего всерьез и смеялся даже над своим собственным спасением. На самом деле это впечатление было обманчивым, поскольку своим спасением он все-таки дорожил, причем указания на это можно найти и в «Большом завещании» и в «Балладе повешенных». Однако Вийон верил в Бога, но не в себя. И в тот самый момент, когда играл в прятки со смертью, открыто говорил о том, что надеется только на Богоматерь и на святых.

Я завещаю первым делом  
Заботу о душе своей  
Тебе, Мария. В мире целом  
Лишь ты от дьявольских когтей  
Ее спасешь. Я не грешней  
Других, а потому зываю:  
О Дева, смилуйся над ней  
И приобщи к святому раю!\*\*\*

И, уже видя себя в мыслях повешенным, он продолжал с тем же пылом говорить о своей надежде:

Простите нас, ведь мы должны предстать  
Пред Сыном Пресвятой Марии. С нами  
Будь милосерден, Господи, и в пламя  
Не ввергни нас на бесконечный срок.  
Зачем умерших поминать хулами,  
Молитесь, чтоб грехи простил нам Бог\*\*\*.

Вийон не стремится оправдаться, а апеллирует к Божьей любви. Он рассчитывает лишь на милосердие Христа, о чем и говорит в самом начале «Большого завещания», совершенно недвусмысленно зывая к «надежды даром наделенному» Богу.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 89. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 70.

\*\*\* Вийон Ф. Избраннос. М., 1984. С. 370. Пер. Ю. Кожевникова.

Я, видно, грешен, всех грешней,  
И смерть не шлет Господь за мной,  
Пока грехи души моей  
Я в муках жизни не омою.  
Но коль раскаюсь я душою  
И так приду на Божий суд,  
Оправдан буду я Судьею  
За все, что выстрадано тут\*.

В качестве единственного своего достоинства он называл отсутствие злобы. Из Евангелия он запомнил предупреждение: «Не судите, да не судимы будете!»

Ведь не монах я, не судья,  
Чтоб у других считать грехи!  
У самого дела плохи\*\*.

Впрочем, сам он не слишком верил тому, что говорил, и весьма прилично отделал в своих стихах тех, кто был повинен в его несчастьях. Однако «Баллада повешенных» возвращает нас к его основному устремлению — Вийон не смел и надеяться лицезреть Бога в раю, и все, к чему стремился — избежать ада.

Христос, Господь всего под небесами,  
Не дай в удел нам вечный ад с чертями,  
Чтоб каждый искупить грехи там мог\*\*\*.

## ЗАВЕЩАНИЕ

Важнейшее место в такого рода религии принадлежало завещанию. Приготовленные заранее либо наспех составленные последние распоряжения являлись завершающим жизнь деянием, способным уберечь от ада. Церковь, заинтересованная в щедрых подаяниях верующих и прекрасно понимавшая, что отрывать от наследников легче, чем от себя, испокон веков благословляла тот решающий момент, когда составлялось исполненное благих намерений завещание: в доходах епархий и монастырей весьма значительную роль играли завещанные «дары» сильных мира сего, а церковная казна постоянно пополнялась «случайными» доходами — оставленными по завещанию деньгами, благочестивыми пожертвованиями, платой за пышные похороны и поминки.

Написанное в 1418 году завещание Робера Може, председателя Парламента, дает полное представление о географии па-

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 37. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 44.

\*\*\* Вийон Ф. Избранное. М., 1984. С. 370. Пер. Ю. Кожевникова.

рижской набожности: сто двадцать пять месс в провинциальных церквах, в тех местах, где у него или у его близких были какие-либо доходы, пятьсот месс в Париже, в монастырях нищенствующих орденов — доминиканцев, кордельеров, августинцев, кармелитов, — и двадцать месс в часовне коллежа в Дормансе. К этому добавлялись еще панихиды в богадельнях «Божий дом», «Божьи девы», «Святого Духа» на Гревской площади, «Детский приют» у ворот Сен-Виктор, в монастыре у бегинок, в Сент-Авуа, в часовне Одри.

Нотариусы, которым по бедности словарного запаса трудно было четко определить суть происходящего, старались тем не менее как можно точнее передать юридическую сторону дела. «Мы отдали, вручили, пожаловали, даем, вручаем, жалуем...» — формулировали работавшие в канцелярии принца нотариусы мысль своего работодателя. «Желаем и приказываем...» — писал король своим чиновникам. «Дарю, уступаю, передаю...» — писал состоятельный горожанин. А суть сводилась к тому, что если заказать службы в пятнадцати церквах вместо одной, легче умилоствить Бога.

Откликнуться на сбор пожертвований, бросить звонкую монету в церковную кружку, подать милостыню нищему, заказать мессу в церкви или часовне, годовую панихиду в монастыре, завещать что-то богадельне — все сводилось к одному. Можно было положить хлеба или монет в корзины, которые на веревке спускали вниз заключенные из тюрем в Шатле и Фор л'Эвек. По той же причине вступали люди и в разного рода братства, остающиеся в живых члены которых сопровождали умерших в последний путь, а по праздникам молились за спасение их душ.

Следует все-таки напомнить: когда отдаешь что-то при жизни, то таким образом отнимаешь это у себя. А когда завещаешь, делаешь благотворительный вклад после своей смерти, от этого страдают всего лишь наследники. Стало быть, завещание для любого человека из любой социальной среды являлось превосходной возможностью обеспечить спасение души, не поступаясь при жизни удовольствиями мира сего. Так люди исправляли несправедливые поступки, совершенные на протяжении земного существования, и после смерти возвращали полученный некогда прибиток. Возмещали церкви то, что недополучили когда-то их усердные и преданные работники: оплачивали мессами не отданную некогда зарплату виноградаря, который, конечно, предпочел бы все же ее получить. Именно так Робер Може, первый председатель Парламента, не стесняясь, возвращал долг умершему поставщику:



«Я хочу, чтобы за упокой души Гийо, моего виноградаря, было отслужено двадцать месс, так как я многим обязан ему и его наследникам...

Я также хочу, чтобы 55 парижских су были розданы в качестве милостыни во спасение души того, у кого я купил на Гревской площади полтыщи вязанок дров и кому я остался должен 55 парижских су. так как не видел больше ни его самого, ни его наследников».

Вот так во имя моральных обязательств и согласно бытовавшим представлениям о них распределялись между упомянутыми в завещании лицами излишки состояния и невыплаченные долги.

Постепенно, однако, от века к веку верующие набирались опыта и осторожности. Они следили за тем, как поступят с их деньгами. Времена, когда даруемые суммы расходовались получателем по усмотрению, ушли в прошлое. Люди перестали просто отказывать десять франков приходу либо участок земли монастырю. Теперь они поручали, например, ежегодно служить заупокойную мессу. В условиях оговаривались либо мессы, либо свечи. Для церкви разница была невелика — она получала деньги и делала с ними, что хотела. А для верующего, желавшего не слишком задерживаться в чистилище, разница была существенная, поскольку таким образом обеспечивались молитвы за упокой его души. Он оплачивал их заранее. И знал, что получит в обмен на свою щедрость: рай.

Впрочем, щедрость щедрости рознь. В Лионе, например, духовные лица тогда отдавали на благочестивые мероприятия в среднем половину состояния, а миряне — всего четверть. Духовные лица на заупокойные службы отводили 28 процентов, а миряне — только 11. Не приходится объяснять, что старого священника от старого буржуа отделяет довольно значительное расстояние, а уж если говорить про юного школяра с еще не вполне определившимся призванием, то у него взгляд на завещаемое имущество — даже если отбросить шутки в сторону, — естественно, не только отличен от взгляда обоих, но и переменчив.

Если читать только Вийона, то можно ошибочно свести все к простой иронии, возникающей от сочетания внешне серьезных намерений и комичных даров. Правда, послушав, как рядовое духовное лицо или рядовой мирянин диктуют свои последние наказы, мы бы убедились, что мэтр Франсуа не выдумал ни ситуацию, ни жанр. Надо сказать, что между завещаемым имуществом и тем человеком, которому оно завещалось, он установил весьма деликатные взаимоотношения. Не-

зависимо от того, были ли эти взаимоотношения трогательными или неприязненными, они придали рассказу о вымышленных жертвованиях и вообще всей пародии на процедуру составления завещания определенную глубину, благодаря чему каламбурное начало произведения отступило далеко на второй план.

Перед нами два парижских завещания. Они были составлены тогда, когда был еще молод магистр Гийом де Вийон, тот, кого поэт называл своим «более чем отцом». Одно из них было составлено 1 августа 1419 года в присутствии представителя прево королевским нотариусом и секретарем Николя де л'Эспуасом, выполнявшим также функции регистратора. А второе 26 октября 1420 года в присутствии нотариуса составила жена президента Робера Може, которую, изменяя ее фамилию по роду, согласно парижскому обычаю того времени, называли «Симонеттой Ла Можер».

Вийон в «Малом завещании» среди прочего «оставляет» одному наследнику свои подштанники и книгу «Искусство памяти», другому — перчатки, жирного гуся и два процесса, причем надо сказать, что подобное перечисление отнюдь не является чем-то из ряда вон выходящим. Николя де л'Эспуас столь же серьезно перечисляет не менее разнородные вещи.

«Он оставляет Тевенену, сыну Гошье (своему племяннику), которому на свои средства помог получить ремесло вязальщика и суконщика, десять франков и сто туренских су, которые он одолжил ему, чтобы тот смог заплатить выкуп арманьякам, а также самый лучший свой короткий плащ со всем имсющимся на нем мехом, равно как и капюшон и свой «Роман об Александре», дабы тот поразвлекся и выучился читать».

Симонетта Ла Можер не менее склонна осчастливливать людей остатками своего гардероба. Правда, иногда она ставит некоторые условия:

«Дарю и оставляю моей племяннице Пьеретте Ла Бабу, дочери моей сестры Маргериты Ла Бабу, свой длинный открытый жакет и свою простую юбку, а также один из подбитых беличьим мехом плащей — на усмотрение душеприказчиков. Для блага ее и чтобы скорее была ее свадьба, оставляю ей двести франков.

А моей горничной Жаннетон, долго у нас служившей, для блага ее и чтобы скорее была ее свадьба, оставляю десять франков, кровать, среднее покрывало, две пары про-

стыней посконного полотна, два головных платка, одну подушку, а также оставляю шесть локтей сукна ценою в один экю за локоть для свадебного наряда.

А если случится так, что названная Жаннетон будет вести себя неправильно или же выйдет замуж не по воле своих друзей и родных, то я свое распоряжение отменяю. И пусть душеприказчики не отдадут добро вышеназванной душе до тех пор, пока не будет известно имя ее мужа».

✧

Таким же образом поступал и Вийон, образуя из вещей самые невообразимые сочетания, правда отличаясь при этом от других завещателей тем, что дарил все как-то некстати, да и вещей тех у него не было. Например, одному школяру-однокашнику он завещал кое-что из одежды и книгу, а также еще и деньги, которые можно получить после их продажи. На первый взгляд в этом подарке Роберу Валле нет ничего необычного. Однако когда начинаешь изучать проблему более подробно, обнаруживаешь, что «бедный школяр» принадлежал к весьма зажиточной семье. Он был родственником одного крупного чиновника из Шатле, занимавшего важный пост в финансовом ведомстве. Впоследствии он и сам стал знатным горожанином, владельцем приличного состояния, прокурором.

Вийону, однокашнику, он представлялся человеком богатым, эгоистичным и самодовольным. И поэт охотно прибегает к сатире.

Он выражает готовность продать свои доспехи, дабы предоставить бедняге возможность сделать карьеру. Вийон изображает из себя великодушного рыцаря. Добавляет к своему благородному подарку еще и книгу, вроде бы призванную способствовать успехам в науке; однако речь идет об одном из самых беспомощных трактатов, об «Искусстве памяти», «благодаря которому можно иметь память, способную удержать все, что было услышано; красноречие, способное воспроизвести все, что удержала память, а также ум, способный усвоить любые науки...». Это именно та книга, которую называли, когда хотели заставить школяров посмеяться. Песенники характеризовали «Искусство памяти» как настольную книгу обманутых мужей. Одним словом, то была настоящая библия счастливых дураков.

А вот и еще один дар: подштанники. Осчастливить подобным подарком своих близких мог любой завещатель. Но чтобы подарить их духовному лицу, причем для его любовницы... К тому же, оказывается, они были оставлены в залог в таверне

«Трюмильер». Кому, однако, придет в голову закладывать подобный предмет туалета?

А про доспехи нечего и говорить: у такого бедного школяра, как Вийон, их, конечно же, никогда не было. Следует также обратить внимание и на то, что вырученные от продажи доспехов деньги должны были пойти на приобретение одной из прилепившихся к церковным контрфорсам будки на улице Сен-Жак, где трудились писцы. Переписка текстов за почасовую либо постраничную плату была в те времена для грамотного человека одним из распространенных способов зарабатывания денег, но только не похоже, чтобы такого рода занятие прельщало Робера Валле и чтобы отпрыск состоятельной семьи согласился по двадцать раз переписывать часослов или какой-нибудь дешевенький альманах. Дело, однако, не только в самом Робере Валле. Поэт оценил его по достоинству, назвал глупцом, а кроме того, одарил будкой, «Искусством памяти» и подштанниками. Однако одновременно Вийон посмеялся и над многими другими своими современниками, над тем, с какой серьезной миной люди могут завешать сломанную кровать, какими щедрыми становятся скупые на смертном одре и как беспредельна жадность трактирщика, способного взять в залог штаны закоснелого пьяницы.

Затем дарю Валэ Роберу,  
Писцу Парижского суда,  
Глупцу, ретивому не в меру,  
Мои штаны, невесть когда  
Заложенные, — не беда!  
Пусть выкупит из «Трюмильер»  
И перешьет их, коль нужда,  
Своей Жаннетте де Мильер!

Сего почтеннейшего мужа  
Хочу я сделать поумней,  
А потому дарю ему же  
Труд Идиотуса, ей-ей,  
Полезный и для наших дней:  
«Искусство памяти», бывало,  
И не таких замшелых пней  
От благоглупостей спасало!

Глупцы, мы знаем, небогаты,  
Поэтому прошу продать  
Мой шлем и рыцарские латы,  
А выручку ему отдать.  
Чтоб на ноги Роберу встать  
И... — не завидуйте, однако! —  
Отныне кляузы писать  
На паперти святого Жака\*.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 23—24. Пер. Ф. Мендельсона.

Завещанное обеспечивало спасение. В том числе и от людского забвения — завешания были в большом почете, почти как геральдические документы. Могила могилой, но были ведь ежегодные мессы и поминовения. К тому же состоятельные люди могли воспользоваться услугами художников, что в еще большей степени способствовало увековечиванию личной либо семейной памяти. Достаточно почитать завешания кое-кого из именитых граждан:

«...А также для того, чтобы была нарисована хорошая картина в приделе Сен-Мишель или Сен-Жак в кармелитской церкви либо в другом таком же благопристойном месте вышеназванной церкви или во внутренней галерее напротив стены, — картина, изображающая завешателя, его покойную жену и их детей с надписью на медной таблице в память о том, что завешателем был сделан вклад на служение трех месс в неделю, — 12 франков».

Двенадцать франков за то, чтобы потомкам благодаря выгравированной на медной табличке надписи стало известно, что ты сделал вклад на три мессы и что на портрете изображен именно ты...

Такой выраженной в завещании воле соответствовала картина, заказанная во времена Франсуа Вийона Гийомом Жувенелем, превратившимся в Ювенала дез Урсинс, дабы фамилия больше походила на латинскую и дабы можно было выдавать себя за родственника великого римского семейства Орсини. Гийом изъявил желание украсить расположенный в Соборе Парижской Богоматери погребальный придел своих родителей. И вот именно благодаря этому распоряжению мы имеем возможность еще в наши дни лицезреть эту коленопреклоненную в иерархическом порядке социальную ячейку, каковой была сия знаменитая судебская по своему происхождению семья. Когда у купеческого старшины два сына оказываются архиепископами, а один — канцлером Франции, набожность сливается с желанием лишней раз подчеркнуть славу своего рода.

У рассуждений Вийона была сходная подоплека, хотя память о себе он надеялся сохранить совсем иным способом. Его эпитафия, к которой мы еще вернемся, явилась итогом длинной жалобы, составленной в «Большом завещании» из портретов «бедного Вийона». Здесь речь идет отнюдь не о прославлении себя либо своей семьи, чему обычно соответствует каменная либо медная табличка. Вийон претендует лишь на несколько написанных от руки и легко стирающихся под воздей-

ствием времени строчек. Поэт зло высмеивает все способы, с помощью которых люди пытаются увековечить свою именитость.

Пусть над могилою моею,  
Уже разверстой предо мной,  
Напишут надпись пожирнее  
Тем, что найдется под рукой,  
Хотя бы копотью простой  
Иль чем-нибудь в таком же роде,  
Чтоб каждый, крест увидев мой,  
О добром вспомнил сумасброде...\*

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 120. Пер. Ф. Мендельсона.

## МАГИСТР ГИЙОМ ДЕ ВИЙОН...

## КАПЕЛЛАН

Была ли молившаяся в монастыре бедная женщина вдовой? Вполне вероятно, хотя полной уверенности в этом нет. Вийон говорил о своем отце только в прошедшем времени, но говорил о нем в 1461 году, когда самому поэту было уже тридцать лет.

Я бедняком был от рожденья  
И вскормлен бедною семьей,  
Отец не приобрел имения,  
И дед Орас ходил босой...

.....  
Укрыт могильною землею  
Прах грешный моего отца, —  
Душа — в обители Творца! —  
И мать моя на смертном ложе,  
Бедняжка, ждет уже конца,  
И сам я не бессмертен тоже\*.

В тот момент, когда юного Франсуа де Монкорбье вверили заботам Гийома де Вийона, она была на четверть века моложе, но, очевидно, принадлежала к разряду тех одиноких женщин, с которыми жизнь обходилась особенно жестоко, так как они не имели ни денег, ни ремесла. Бывали же ведь удачливые вдовы, получавшие в наследство дом, или мастерскую, или лавчонку. Нередко подмастерьям удавалось именно таким образом составить состояние, то есть женившись на вдове и получив все необходимое для успешного ведения дела. Находились, правда, такие вдовы, которые тиранили молодых супругов, обращались с мужьями нелюбезно, как иногда обращаются с зятем или собственным сыном. А вдова-бессребреница ничего и не получала. И в таких условиях маленький ребенок оказывался весьма тяжелой обузой.

Не исключено, что священника церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне магистра Гийома де Вийона не связывали с подопечным

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 44 — 45. Пер. Ф. Мендельсона.

никакие родственные узы. Возможно, он взял его просто как ученика, подобно тому как брали себе учеников, например, кровельщики или портные. Мэтр Гийом не выучил Франсуа никакому ремеслу, но зато предоставил ему возможность выйти в один прекрасный день с помощью университета на тот путь, на котором состояние можно заработать с помощью знаний. Мальчик в свою очередь разжигал в очаге огонь и выполнял различные поручения. То есть Франсуа де Монкорбье был прежде всего слугой, а затем уже певчим в хоре и секретарем, и выполнял он всю эту работу в обмен на кров и пищу, обучение катехизису и латинскому языку, а также основам арифметики и элементарной грамматики.

Место было хорошим, особенно если принять во внимание, что Франсуа, сын бедной женщины, естественно, не имел никакой возможности посещать уроки какого-нибудь из нескольких десятков парижских школьных учителей либо уроки одной из «благочестивых женщин», которым доверяли образование своих детей обеспеченные семьи. Место могло оказаться для юного Франсуа счастливым либо несчастливым, но заполучить его уже было своего рода удачей.

К счастью, священник Гийом де Вийон оказался прекраснейшим человеком. Попав к нему в раннем детстве, в возрасте шести или семи лет, Франсуа и в зрелом возрасте сохранил о нем память как о приемном отце. Магистр Гийом стал одним из весьма редких персонажей «Завешания», которому поэт предназначил дар, являющийся, естественно, чистойшей выдумкой, но выдумкой, выражающей любовь и привязанность.

Затем тебе, Гийом Вийон,  
Кем вспоен, вскормлен, обогрет,  
Кто пестовал меня с пелен,  
Спасал не раз от многих бед,  
Кто был отцом мне с юных лет,  
Родимой матери добрее...\*

О Гийоме кое-какие сведения сохранились. Он был церковнослужителем лангрской епархии, священником парижской церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне и одновременно преподавателем канонического права — или, как тогда говорили, «регентом в декрете» — в школах на улице Жан-де-Бове, считавшихся центром парижского законоведения. Подобно многим другим школярам, Гийом де Вийон взбирался одновременно по ступеням двух взаимодополняющих и ведущих порой к богатству карьер: университетской и духовной.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 71. Пер. Ф. Мендельсона.



В 1421 году, то есть за десять лет до рождения в Париже близ Понтуаза Франсуа Вийона, тот, кому он впоследствии оказался обязанным своей фамилией, уже получил степень магистра словесных наук и бакалавра права. Потом он продолжал учебу еще лет пять, но лицензиатом так и не стал.

Первый свой бенефиций Гийом получил в 1423 году. Весьма скромный, но то было лишь начало — предшественник Гийома принадлежал к известной семье Марль, к тому времени уже обосновавшейся и в Парламенте, и в ратуше и активно демонстрировавшей свою власть и свои связи. Полученный Гийомом де Вийоном доход причитался ему как капеллану приходской церкви Богоматери, находившейся в Жантйи, на расстоянии одного лье к югу от Парижа. Весь бенефиций сводился к мешку зерна, который нужно было ежегодно забирать у мельника маленькой водяной мельницы, стоявшей на реке Бавьер неподалеку от Жантйи.

Впрочем, даже и за этот скромный паек нужно было еще побороться. Дело в том, что наряду с тысячами других бенефициев, переполнявших реестры парижского Парламента, капелланская должность магистра Гийома тоже оказалась предметом спора. 19 июля 1425 года состоялось слушание дела в самой высокой судебной инстанции королевства, где Гийом де Вийон доказывал, что получил должность после смерти Гийома де Марля от лица, занимающегося распределением духовных мест, то есть от парижского епископа. Однако письменных доказательств у него, естественно, не оказалось. Гийому де Вийону в тяжбе противостоял некий Гийом Море, утверждавший, что его назначил капелланом сам король в тот момент, когда епархия после смерти епископа Жерара де Монтегю находилась в ведении трона.

Отметим по пути одну характерную деталь, в которой отразилась более чем трехвековая мода: и у обоих противников, и у их предшественника имя было Гийом. В те времена каждого пятого парижанина звали Гийомом — а каждого третьего Жаном, — так что младшим членам семьи, детям, приходилось давать это имя, изменяя его форму: Гийомен, Гийемен, Гийемо, Гийо...

Поскольку убедительных документов у участников тяжбы не оказалось, процесс затянулся. Шли годы. Спор велся по поводу дат: когда умер предшественник, когда умер епископ, когда назначение на должность получил один из соискателей, когда — второй. В 1429 году в ожидании завершения дела Парламент принял временное решение, предоставлявшее Гийому де Вийону право пользоваться бенефицием, а окончательное решение, похоже, не было принято вообще.

Тем временем мэтр Гийом нашел себе более существенный доход, а главное — более соответствующий положению юриста, претендующего на преподавание наук: он стал капелланом капелланства Иоанна Евангелиста в маленькой парижской коллегияльной церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне.

Сен-Бенуа — готическая церковь с четырьмя нефами, обращенная фасадом к улице Сен-Жак, стоявшая по правую руку, если идти от Сены к монастырю. К ней странным образом примыкала лавка мясника, хотя странным это соседство казалось лишь на первый взгляд — плата мясника каноникам за сдачу помещения составляла значительную долю их дохода.

Слово «Бетурне» этимологически означает «неудачно повернутая», что соответствовало действительности, потому что хоры были развернуты на запад, и это, естественно, вызвало недоумение. Однако выход из положения был найден, и в описываемые нами времена литургия, вероятно, на протяжении уже более века устраивалась таким образом, чтобы алтарь находился у входной двери. А ниша для хоров располагалась теперь в глубине церкви. Поэтому многие парижане оказывались введенными в заблуждение и даже называли иногда церковь «Бьентурне», то есть «удачно повернутая». Но при этом вход в церковь оказывался сбоку.

Впрочем, и само название церкви таит в себе погрешности против здравого смысла, которые делали неправомерным даже празднование перенесения мощей святого Бенедикта, имевшее место 11 июля. Старая романская церковь была посвящена просто Богу. Благословенному Богу. И вот это-то слово «благословенный», то есть «бенуа», и стало причиной ошибки. Этимология забылась, и все стали чествовать святого Бенедикта, аббата с горы Кассен.

Перед церковью находился просторный двор. Его обрамляли со всех сторон дома, обращенные фасадом либо к церкви, либо к улице. В некоторых из них жили каноники и капелланы. Другие сдавались внаём, дабы поднять сумму дохода с церковного имущества, который отнюдь не исчерпывался выплачиваемой мясником арендой.

Весь этот ансамбль строений находился в самом центре университетского квартала. Выйдя из церкви через главную, обращенную к улице Матюрен дверь, можно было увидеть прямо перед собой неф церкви Святого Матюрена, где проходили собрания факультета словесных наук. По правую руку находилась улица Сен-Жак, по которой студенты спускались к расположенным на улице Фуарр школам, где учились самые юные школяры, «искусники», осваивавшие те «свободные искусства», которые на протяжении целого тысячелетия считались фунда-

ментом знания и красноречия. А перейдя через улицу Сен-Жак, прохожий оказывался в трех шагах от законоведческих школ, расположенных в тупике Брюно.

Налево от входа в церковь Святого Бенедикта шла улица Сорбонны, по одну сторону которой стоял дом, имевший название «Образ святого Мартина», а по другую — два пирамидальных дома, выходявших также на улицу Пла д'Этэн (Оловянной Тарелки). Несколько шагов вдоль стены церкви Святого Бенедикта — и перед нами теологический факультет.

Если читатель желает, можно пойти влево по улице Матюрен. Оставив справа два особняка, прижавшиеся к развалинам римских бань, мы обнаруживаем другую крупную артерию университетского организма, каковой была улица Арн. Достаточно ее пересечь — и вот мы уже в кордельерском монастыре.

На углу улицы Арн и улицы Матюрен располагалась парижская резиденция аббатства Ключи. Весьма массивное здание. Однако строение в описываемую нами эпоху уже обветшало. Впоследствии, в конце века, аббат д'Амбуаз произвел его реконструкцию в соответствии с новыми архитектурными канонами. А во времена Вийона монахи проживали в другом, принадлежавшем им особняке у ворот Сен-Жермен-де-Пре либо в коллеже рядом с иаковитским монастырем. Соседний с банями Юлиана дом был практически заброшен. Что же касается дворца, где располагались сами бани и некогда проживал буржский архиепископ Гийом Буратье, то он с некоторого времени принадлежал судейскому чиновнику по имени Пьер Кулон.

Быть каноником либо капелланом означало прежде всего, что занимающий эту должность мог рассчитывать на жилье и определенный доход в обмен на заботу о жизни религиозной общины. Жизнь каноника, естественно, в корне отличалась от монастырской. Каноник служил обедню, участвовал в собраниях капитула. Каждый вечер пел вечерню и повечерие. А в остальном делал, что хотел. По профессии же капеллан Гийом де Вийон был преподавателем права.

В церкви Святого Бенедикта было много мест. Один священник и шесть каноников, назначавшихся капитулом Собора Парижской Богоматери, по отношению к которому церковь Святого Бенедикта считалась «дочерней», двенадцать капелланов, выбиравшихся канониками самой церкви, несколько детей-хористов, выполнявших одновременно функции прислуги, ризничих и учеников. — таков скромный контингент не слишком обеспеченного капитула. Помимо того, было еще и имущество в виде домов, так что причастные к получению доходов духовные лица договаривались между собой, делили их таким об-

разом, чтобы в некоторых жить, а другие сдавать внаём. Гийом де Вийон заполучил себе один из домов, несомненно весьма скромный, о котором известно, что он стоял против церковного кладбища, прижавшись к очень красивому дому «Гез», возвышавшемуся на улице Сен-Жак. Потом, в 1433 году, ему удалось снять за восемь парижских ливров в месяц дом «Красные двери», прекрасный особняк, расположенный с другой стороны двора, на улице Сорбонны. Ближе к концу своей карьеры он получил сверх того один нуждавшийся в ремонте домишко и еще один домик около улицы Сен-Жак. Можно предположить, что до самой своей смерти в 1468 году он проживал в доме «Красные двери».

Магистр Гийом не был даже каноником, и о его образовании речь никогда не заходила. Простой посредственный церковнослужитель, не из именитых, но и не из самых обездоленных, — таков был этот человек, с которым судьба, а то и какое-нибудь дальнее родство свели Франсуа де Монкорбье приблизительно в 1435 году и который стал для него «родимой матери добрее».

## ОБРАЗ ЖИЗНИ

Представить себе их совместную жизнь весьма трудно, поэтому рискнем и используем, чтобы лучше понять, что собой представлял капеллан церкви Святого Бенедикта, кое-какие дошедшие до наших дней сведения о других получателях церковных доходов, правда более обеспеченных, чем мэтр Гийом.

Рискнем зайти к двум парижанам, образ жизни которых нам известен благодаря оставшимся после их смерти инвентарным описям, сделанным нотариусами. Один из них — не кто иной, как секретарь Парламента Николя де Байе, богатый каноник Собора Парижской Богоматери, умерший в своем прицерковном доме 9 мая 1419 года, когда Гийом де Вийон был еще школяром. Другой же — простой буржуа, не из самых именитых, Жан Жоливе, проживавший на улице Сен-Жак, справа, если идти по ней вверх, в доме с вывеской «Образ святого Николая». Там он и умер в 1431 году, том самом, когда родился будущий Франсуа Вийон и когда магистр Гийом де Вийон устроился в церкви Святого Бенедикта.

Большой, богато обставленный мебелью зал, «маленький кабинет», хорошо оснащенная кухня, купальня составляли первый этаж дома Николя де Байе. Вдоль сада тянулась галерея. Во двор выходили две кладовые и один погреб. Имелась конюшня с двумя комнатами над нею для слуг. На втором эта-

же — высокая зала, «большой кабинет» и три прекрасные, выходящие окнами в сад спальни с видом на Сену. Одна спальня была белая, другая — красная, а третья называлась «спальней с голубями»: цвет краски и драпировка давали название комнатам так же, как вывески — домам. Третий, чердачный этаж занимала «высокая мощеная комната». Дом каноника Собора Парижской Богоматери имел также часовню, расположение которой в документе не уточнено.

У Гийома де Вийона, конечно же, не было, как у Николя де Байе, двадцати скамеек, одна из которых — «шестнадцать футов длиной, с картинками и ступенькой». Не было у него и двадцати столов, из которых один — восемнадцать футов длиной, «сделанный из трех дубовых частей с пятью железными перемычками». Не было у него, как у секретаря Парламента, и тринадцати кресел с высокими резными спинками, шести кожаных кресел, одиннадцати буфетов, шестнадцати сундуков, четырех налоев... Однако, если не принимать в расчет подобного изобилия мебели, стиль жизни капеллана церкви Святого Бенедикта был, вероятно, таким же, как каноника Собора Парижской Богоматери. Дом «Красные двери» — это прежде всего большая гостиная на первом и, возможно, еще одна гостиная на втором этаже, а также хорошая спальня для хозяина и еще одна — для приезжих родственников и друзей. Можно себе представить, не слишком рискуя ошибиться, и еще одну комнату где-нибудь на третьем этаже либо за кухней, отдельную, не проходную, без камина, в которой размещался юный Франсуа де Монкорбье.

Гостиная — это прежде всего длинный стол, сделанный из одной, двух или трех дубовых либо ореховых тесин, а то и из исландского «борта», какого-нибудь смолистого дерева, предмета роскоши в буржуазных домах того времени. Это также несколько дополнительных столов, стоявших обычно вдоль стен и приставляемых к главному в зависимости от числа гостей. Рассаживались приглашенные на двух-трех скамейках — причем у одной из них могла быть спинка — с обитыми шелком или шерстью сиденьями, в то время как сам хозяин восседал на кресле с потемневшими от времени подлокотниками и высокой, иногда резной спинкой. Перед камином стоял металлический экран. Для посуды и всего остального вполне хватало буфета с двумя, тремя или четырьмя дверцами и нескольких сундуков. Ассортимент находившейся в зале мебели завершал открытый поставец, подчеркивавший желание хозяина продемонстрировать свою серебряную или оловянную посуду.

Столовое белье встречалось редко: несколько «рушников» в кухне, несколько посконных или льняных скатертей для празд-

ничного стола. Верхом роскоши считались изделия из узорчатой или, как ее называли, «дамасской» льняной ткани.

Убранство спальни было много скромнее. Ложе состояло из деревянной рамы кровати, которая покрывалась драпировкой, тюфяка на тесьмах и набора простыней, покрывал и одеял. О богатстве судили по разнообразию шерстяных одеял. «Покрывало из индийской тафты с подкладкой из зеленого полотна с красной вышитой розой посередине» — такую роскошь мог себе позволить Николя де Байе, но никак не Гийом де Вийон, у которого не было также и сменных матрацев — шерстяного на зиму и хлопчатобумажного на лето, — свидетельствовавших о наивысшем комфорте. Однако постель была немислима без многочисленных перьевых либо пуховых подушек — спать приходилось почти сидя — и полотняных либо саржевых занавесок, без «балдахина и заголовка». На время сна занавески задергивали, что наравне с ночным колпаком создавало чувство защищенности и уюта, необходимое не только мирянам, но даже и самым мудрым церковнослужителям, поскольку внутри дома, как и в других местах, не стихала коллективная жизнь и человек никогда не оставался в полном одиночестве. Хорошо было чувствовать себя у себя дома хотя бы в постели.

Интерьер буржуа Жана Жоливе был приблизительно таким же. В центре первого этажа находилась столовая со столами, скамьями, сундуками. К столовой примыкала кухня с ларем, где хранились и продукты, и посуда. За столовой находился кабинет, где тоже стояли скамейки, сундуки и лари, а также «деревянная конторка с дверцей». С этой же стороны была еще небольшая кладовая с открывающейся в сад дверью, и там находилась главным образом ненужная в данный момент мебель.

На первом этаже у Жана Жоливе была спальня, окна которой выходили на улицу Сен-Жак. Она выглядела довольно хорошо меблированной: «ложе из дерева с тесьмой и окаймлением», стол, несколько скамеек, несколько ларей. А роскошь была представлена «креслом резным со спинкой и с просветами сверху» и «буфетом с двумя панно и одной дверцей».

Имелся в спальне и платяной шкаф. Рядом находилась маленькая спальня с двумя кроватями для родственников и друзей, выходившая окнами в сад, а чуть подалее — еще одна, последняя на этом этаже, с окнами во двор. Над этим этажом возвышался чердак, а еще выше — самый высокий на этой улице конек крыши. Запасы белья хранились в «моечной», располагавшейся в задней части помещения.

И Байе, и Жоливе имели в доме модное в то время белье, посуду и меха — все то, что выглядело роскошью, доступной лишь зажиточным горожанам. Например, у каноника было во-

семнадцать льняных и шесть посконных простыней, одиннадцать покрывал, включая уже упомянутое покрывало из индийской тафты, и двенадцать подушек, в том числе шесть пуховых и шесть перьевых. К тому же он располагал девятью шерстяными одеялами, четыре из которых были синие, два белые, одно зеленое, одно желтое, одно красное, и, кроме того, было одно одеяло из зеленой саржи, старое, но все еще годное к употреблению.

Наиболее роскошным приобретением среднего «хозяина», каковым являлся Николя де Байе, были ковры для зимы: три ворсистых, на одном из которых были изображены белые звезды, а другой, красный, весь был усеян желтыми звездами. Две стены его дома украшали гобелены, на одном была изображена «история Беатрисы, дочери царя Тира», а на другом, поношенном, — страсти Христовы и Вознесение.

Как всегда в средневековых описях, перечисление предметов одежды вводит в заблуждение. Одежда тех времен начинает казаться вечной. Коль скоро ее хранили, то при описи непременно учитывали. Если старые одеяния никому не завещали, это означало, что их уже продали, а после чьей-то смерти они всегда обнаруживались в каком-нибудь списке. Похоже, что имевший множество мантий, епанчей, плащей и капюшонов Николя де Байе давно не прикасался ко многим из предметов своей одежды, еще захламлявших его платяные шкафы, что не мешало ему менять наряд в зависимости от сезона и дня. Так, для верховой езды он надевал просторный «суконник», а на ночь нечто вроде шлафрока. При этом учитывалось все:

«...Фиолетовая епанча с беличьим мехом — 40 су. Фиолетовая епанча, подбитая старым коричневым мехом с длинным ворсом, — 4 ливра 16 су. Короткая темно-зеленая епанча с черными перьями — 40 су.

Темно-фиолетовая епанча без подкладки — 20 су. Темно-зеленая епанча, подбитая старым беличьим мехом, — 6 ливров.

Темно-фиолетовая епанча, подбитая беличьим мехом, и капюшон с малым чепчиком, отороченным таким же мехом, — 8 ливров.

Фиолетовый чепрак, подбитый беличьим мехом, — 4 ливра 16 су.

Большая мантия брюссельского красного сукна с разрезами по бокам, подбитая беличьим мехом, и капюшон с подкладкой из такого же меха — 12 ливров.

Фиолетовая мантия без подкладки — 24 су.

Бурый суконник — 16 су.

Жакет из белого полотна — 4 су.

Зеленый кафтанчик — 12 су.

Два капюшона на подкладке, один зеленый, а другой темно-фиолетовый, — 8 су.

Темно-зеленый капюшон, отороченный беличьим мехом, — 8 су.

Белый халат, отороченный беличьим мехом, — 7 су.

Красная шапочка, изъеденная червями, — 6 су.

Большая пуховая шляпа, отделанная сине-зеленой тафтой и индийским шелком, — 8 су.

Большая шляпа из черного трипа — 4 су.

Красная шелковая подкладка без рукавов для епанчи — 10 су.

Четыре куска индийского шелка, в нескольких местах протертого и продырявленного, — 6 су».

В этом перечне указаны и роскошные одежды, и то, что носили повседневно. Славный каноник не выбросил ничего, и любое старье стоит у него по-прежнему несколько су. Причем самая изысканная вещь этого гардероба, мантия брюссельского сукна, подбитая беличьим мехом, стоит всего в сорок раз больше, чем четыре купона протертого, дырявого шелка.

Не отстают от бывшего секретаря Парламента и буржуа Жан Жоливе, чей гардероб вкупе с гардеробом его жены стоит гардероба Николя де Байе. Впрочем, существуют некоторые сомнения относительно содержимого комнаты Жоливе:

«...А также другая зеленая епанча, отороченная и внизу, и сверху старым беличьим мехом, не оцененная по той причине, что, как говорят, она принадлежит Пьеру Кайе, проживающему на улице Сен-Жак, у которого покойник взял ее в залог за шестьдесят четыре парижских су, которые тот был ему должен и которые покойный Жоливе в своем завещании отдал и простил вышеназванному Пьеру Кайе».

Домашняя утварь тоже дает определенное представление о доме того времени. Она покоилась в ларях и на полках поставцов, заполняла столы и загромождала шкафы и кухни. Люди, составлявшие описи, скрупулезно описали кухни, в том числе и кухни буржуазных семейств, проживавших на улице Сен-Жак. В дубовом сундуке длиной в шесть футов могли находиться скамеечка, пара стиральных тазов, плетеная ивовая корзина с ручкой, холщовый мешок, бочонок для селедки, кувшин для вина, котел с двумя кольцами для переноски горячей воды, два чана



с ручками, маленький бронзовый котел, супница, четыре закругленных совка, четыре таза для мытья рук за столом, две медные жаровни, два таза циркульника, четыре двойных медных подсвечника, железная лопата и каминные шипцы, причем все эти инструменты и кухонная посуда так и лежали вместе в полнейшем беспорядке.

Столовая посуда находилась в чулане: два медных подсвечника, бронзовая лопаточка, несколько оловянных горшков — на кварту, на полтора штофа, на четыре пинты, на два штофа, на полсетье, — три оловянные солонки на ножках, десять мелких тарелок, семнадцать суповых мисок, оловянная соусница, кружка на пинту и кружка на полштофа из медного сплава, а также горчичница, тоже из медного сплава.

У каноника набор выглядит побогаче. В изобилии была у него бронзовая утварь: ступка, ведра, лопатки, тазы, бритвенные приборы, грелки для блюд, котлы, котелки, соусница, двенадцать латунных ложек, бронзовая лопаточка, закрытый фонарь и восемнадцать подсвечников. У Николя де Байе был даже «свинцовый ушат для охлаждения вина». Многочисленна и разнообразна железная утварь: вертел, лопатки, треножники, жаровня и не менее восемнадцати пар сошников с ручками из бараньего рога. На столе царило олово: пять больших тарелок, девять средних, девять маленьких, восемьдесят пять мисок, горшочки, кружки разных размеров, солонки. Байе был обладателем маленьких настенных часов, застекленного фонаря, «таза для мытья». Предметом гордости хозяина, несомненно, являлась пара ножей с канавками, черными роговыми ручками, окольцованными покрытым глазурью серебром, и черными, украшенными серебром ножнами.

Часовня и библиотека, естественно, еще больше увеличивали дистанцию между буржуа с улицы Сен-Жак и таким именитым парижским гражданином, каковым являлся проживавший на острове Сите бывший секретарь Парламента. У Николя де Байе было приблизительно две сотни книг — читал ли он их? — к которым мы еще вернемся. Он обладал неплохим гардеробом церковной одежды — мантии, ризы, епитрахили, орари, — которая нужна была ему не только для того, чтобы ходить в часовню, но, по-видимому, также и для того, чтобы отправлять службу в соборе. Среди его церковных одеяний были шерстяные фиолетовые ризы, необходимые для постов — особенно для Рождественского и Великого, — и ризы из черной шерсти, которыми пользовались в дни траура. В зеленые одеяния облачались в период долгого упования, тянувшийся от Троицына дня почти до самого Рождества. А белые шелковые одежды с золотой нитью носили по большим праздникам.

Риза из шелковой золотистой камки и полосатой тафты, стихарь из льняной ткани с венгерским шитьем — этот пасхальный либо рождественский наряд превращал часовню в своего рода сокровищницу. Кстати, именно там, в часовне, Байе рядом с необходимыми для службы медной кадилницей и серебряной позолоченной чашей хранил несколько ценных вещей, которые ему, очевидно, достались по наследству и которые он в свою очередь тоже завещал своим наследникам: эмалированную серебряную раку, переносной алебастровый алтарь в обрамлении из позолоченного дерева, мраморную либо белокаменную статуэтку...

Мы бы ошиблись, если бы предположили, что Вийоны — настоящий и названный так впоследствии — ходили в шелках и белых одеждах из тонкого сукна. Образ жизни капеллана церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне был, скорее, более похож на образ жизни скромного буржуа, а не каноника Собора Парижской Богоматери, принадлежавшего к королевской судейской знати. Имел ли Гийом де Вийон в своей библиотеке два десятка книг? Были ли у него хотя бы две мантии? Стоял ли у него дома шкаф для риз?

Хотя узнать многие подробности о быте Вийона невозможно, мир, открывшийся глазам юного Франсуа де Монкорбье, едва он переступил порог раннего детства, разглядеть не так уж трудно: учеба и стихарь магистра Гийома де Вийона, колокольный звон, звавший на службу и на молитву Пресвятой Богоматери, гомон входивших в матюренский монастырь школяров, торопливый шаг тех, кто шел к Сорбонне, и тех, кто спускался к улице Фуарр...

Поверх монастырских стен перед ним открывалась панорама Парижа и вид на улицу Сен-Жак, занявшую отрезок древней, но навсегда оставшейся в памяти парижан римской дороги и оказавшуюся главной улицей левого, университетского берега Сены. Именно здесь, между домом «Божья любовь», стоявшим на углу улицы Сен-Северен, и домом «Серебряная корзина», примыкавшим к иаковитскому монастырю, он начал знакомиться с нравами столичных жителей.

Поначалу он читал Библию для общего развития, «Донат» для усвоения грамматических правил и «Доктринал» для уточнения унаследованных от родителей религиозных понятий. То было приобщение к азам. Позже у него появилось убеждение, что приобретенного им в этой области уже достаточно и что от избыточных знаний нет никакой пользы. «Донат», решил он, скучен, а потому верующему должно быть даровано вечное спасение уже за одно изучение содержащихся в нем молитв. Дабы посмеяться над тремя ростовщиками, Франсуа Вийон сделал из

этой философии забавную песенку, содержащую латинские слова с двойным смыслом. Слово «честь», взятое из католической молитвы во славу Девы Марии, одновременно оказывается названием не так давно учрежденной английским королем Генрихом VI и еще встречавшейся в обиходе монеты. Поэт выражает горечь человека, получившего кое-какое образование, но все же оставшегося обездоленным.

Так пусть поможет им в ученье  
Мэтр Пьер Ришье. Но надо знать:  
«Донат» для них — одно мученье!  
Как дательный падеж понять  
Тому, кто не привык давать?  
У них и так ума палата,  
Коль научились повторять:  
«Тебе и честь и слава, злато!»\*

Три жадных ростовщика ничему не научились, если не считать песни во славу золота. А одно учение до богатства не доведет.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 91. Пер. Ф. Мендельсона.

## И ИЗМЕНИТЬСЯ ЗАХОТЕЛОСЬ МНЕ...

### ТОВАР

Война закончилась. Французы забыли недавно мучивший их страх: страх смерти, разорения, страх перед завтрашним днем. У людей стала проявляться деловая активность. Они начали строить, организовывать, рисковать, творить.

Что мог предпринять в такое время юный парижанин, желающий разбогатеть? Вкалывать? В момент подведения личных итогов поэт, поменяв местами причины и следствия, выразил следующую мысль: работать можно лишь тогда, когда у тебя не пустой желудок. В этом мире все — иллюзия и противоречие, но что касается голода — он вполне реален.

Работать может лишь несытый,  
Придет на помощь только враг.  
Надежен сторож непросыпный,  
Кто сено не жует — чудаки\*.

Это вопрос «Зачем?», сформулированный бедняком. А ведь можно подумать, что для школяра, проживавшего почти в самой церкви Святого Бенедикта, путь к успеху был обеспечен. К обильно сервированному столу, отороченной беличьим мехом шапочке, просторному собственному дому. В возрождавшемся от лихолетья Париже полет фантазии честолюбцев не сковывался ничем.

Некоторые из них, естественно, выбирали торговлю. Однако пора в этом отношении была для столицы не из легких. Руан обретал экономическую независимость, которой способствовали как близость моря, так и растянувшиеся на целый век конфликты, во время которых Нижняя Сена зачастую оказывалась в одном лагере, а Париж — в другом. Тур воспользовался тем, что принцы перебрались в долину Луары, и завладел некоторыми еще недавно считавшимися традиционно парижскими рынками. Лион превратился в исключительно важный международ-

---

\* Пер. В. Никитина.

ный торговый центр, где перекрещивались дороги, ведущие к альпийским перешейкам, с приронским путем, ведущим к Средиземному морю. Что же касается государства Филиппа Доброго, то оно имело теперь два полюса — бургундский и нидерландский, — и на карте его торгово-финансовых связей Париж занимал более чем скромное место. Дижон и Брюссель были связаны между собой прямой дорогой.

Во времена Вийона уже почти никто и не вспоминал, что когда-то папские сборщики, занимавшиеся гасконскими провинциями, отправляли деньги в Авиньон из Парижа, герцог Беррийский считался одним из главных клиентов парижских ювелиров, а герцог Анжуйский заказывал в Париже аррасские гобелены. А главное, ушли в прошлое те времена, когда все сколько-нибудь значительные представители французской знати должны были из опасения, что их забудут, проводить в Париже несколько месяцев в году, когда Бургундия и Фландрия, Бретань и Арманьяк, не говоря уже о Наварре Карла Злого, управлялись с берегов Сены.

Парижские финансы так и не оправились после отъезда ломбардцев. Так во Франции называли и генуэзцев, и флорентийцев, и сиенцев. Начиная с эпохи Филиппа Красивого, они были главными импортерами иностранных капиталов и крупными поставщиками предметов роскоши. В основном именно они иногда в качестве менял, иногда в качестве торговцев предоставляли и долгосрочные кредиты на организацию предпринимательской деятельности, и краткосрочные потребительские кредиты. И именно они сделали из Парижа центр финансовых операций, в которых участвовали многочисленные компании, и одновременно превратили его в центр экономической информации.

Столица Карла V и даже Карла VI была еще городом, куда прибывали деловые люди и гонцы, где циркулировали идеи, перекрещивались интересы.

В конце XIII века самым большим состоянием в Париже было состояние финансиста Гандуфля д'Арселля, с которого брался налог 142 ливра 10 су, в то время как налог среднего парижанина составлял десять — двадцать су. Следом за ним шел королевский банкир Муше, или Мушато Гвиди деи Францези. В 1296 году из ста пятидесяти восьми налогоплательщиков, плативших налог, превышавший десять ливров, было сорок три иностранных, в большинстве своем тосканских, компаний или торговцев.

В конце XIV века и начале следующего из-за раскола и ссоры с Флоренцией многие из них уехали. Внесли свой вклад и приступы ксенофобии. По существу, это были вспышки ярости, направленной против богачей, кредиторов, ростовщиков.

Так что Париж опустел. После мощных бунтов 1418 года ломбардцев в Париже не осталось, за исключением немногих ассимилировавшихся, почувствовавших себя французами и зачастую уже больше не занимавшихся финансово-торговыми операциями.

Генуэзец Жан Сак остался в одиночестве, но в 1436 году, когда ушли англичане, его позиции тоже оказались полностью подорванными, потому что, будучи финансистом Бедфорда, он олицетворял ненавистную налоговую администрацию.

В Париже 1450-х годов кое-какие иностранцы время от времени, естественно, появлялись. Однако, как правило, ненадолго. А те, кто хотел там обосноваться, старались держаться поближе к королю, то есть там, где принимались важные для деловых людей политические и экономические решения — о войне и мире, об учреждении какой-либо ярмарки, — оперативное знание о которых стимулировало предпринимательскую инициативу. Два торговца из Бургоса, выгрузившие 30 августа 1458 года в порту у Гревской площади две тысячи шестьсот тюков кастильской шерсти, явились исключением. Они привлекли к себе внимание на некоторое время, но в другой раз уже не появились.

А вскоре после того итальянец Кьярини, делая учебник экономической географии для деловых людей, поместил Париж... во Фландрии.

Правда, причины этой ошибки понять, в общем-то, нетрудно: парижский рынок был всего лишь пунктом встречи товаров определенного региона, притягательная сила которого объяснялась наличием в нем системы судоходства на Сене и ее притоках. А среди более важных торговых маршрутов, берущих начало в Брюгге, Антверпене и предназначавшихся для пряностей, квасцов, а также финансовых бумаг, Париж был всего лишь одним из континентальных перевалочных пунктов.

На все усиливавшуюся изоляцию Парижа французы реагировали так же, как иностранцы. Они устремлялись в иные края, поскольку, хотя на парижский рынок и попадали кое-какие товары — вино, соль, зерно, сукно, оружие, — сам этот рынок был настолько маломощен, что не обеспечивал потребностей даже северной части королевства. Жак Кёр, финансист Карла VII, в Париж почти не заглядывал. Демонстрируя результаты своей коммерческой деятельности, он обзавелся собственными особняками в Бурже, Туре, Сен-Пурсене, Лионе и Монпелье, но при этом не считал необходимым иметь дом в столице.

Предоставим слово цифрам. В Париже 1420 года менялы по размеру своих состояний находились еще на первом месте, впереди торговцев, за которыми шли владельцы книжных лавок,

суконщики, ювелиры и бакалейщики. Тогда же, в 1420 году, из четырех старшин, заседавших в ратуше, все четверо были менялами. Тридцать лет спустя все изменилось. Должность купеческого старшины в 1450 году занимал королевский чиновник, а из четырех советников ратуши один был менялой, один — суконщиком, один — бакалейщиком и один — нотариусом. Еще через десять лет королевские чиновники полностью овладели ратушей. Одновременно в иерархии состояний на первое место вышли профессии, кормящиеся от богатства буржуазии, а не от предпринимательства и не аристократической роскоши. Менялы, суконщики и ювелиры уступили место скорнякам, трикотажникам и особенно галантерейщикам. Советники, адвокаты и нотариусы были людьми, потреблявшими не слишком много рубинов и довольно редко переводившими суммы в Барселону или Геную. Они покупали шелковые ленты, вышитые кошельки, отделанные серебром пояса. Безделушек покупалось больше, чем ценных шкатулок. Торговцы куклами захватили весь Мост менял. И деньги люди занимали чаще для того, чтобы купить подбитый мехом плащ, а не партию индиго.

Богатели те, кто занимался изготовлением предметов полуроскоши, те, кто связывал надежду на прибыль с интеллектуальным и административным преимуществами столицы. Общественный писец находил работу и у просвещенных любителей книг, и у истцов в суде, и у налогоплательщиков, и просто у королевских подданных, причем вереницы прибывавших из провинции жалобщиков, искателей службы и школяров не иссякали. За двадцать лет число писцов, обосновавшихся на мосту Собора Парижской Богородицы, увеличилось с одного до шести, количество художников-миниатюристов — с одного до шести, переплетчиков — с одного до трех.

Парижские капиталы, равно как и многие капиталы, привлекавшиеся из провинции, находили применение в иных сферах. В частности, в гонке за королевскими заказами, в неистовстве, с которым именитые горожане вернувшейся к жизни столицы принялись строить и украшать свои дома. А в экономических делах участвовали другие: руанские судовладельцы, турские банкиры, лионские и марсельские негодянты.

Крушение парижского банковского дела, естественно, сопровождалось застоем финансового и коммерческого предпринимательства. Для того чтобы занять денег, ходили к нотариусу, а на заемное письмо в Париже продолжали смотреть как на простое извещение об уплате, в то время как в других городах — даже французских — оно уже приравнивалось к векселю или выплате наличными и выполняло соответствующие функции в кредитных операциях.

Даже весьма скромные по своему размаху инициативы задыхались в тисках постановлений и процедурных регламентаций. Хотя Жан Римас, крупный амьенский оптовый торговец вином, и был частым посетителем Гревского порта, едва он позволил себе в апреле 1458 года отправить в Сен-Дени партию вина — восемьдесят четырехсотпинтовых бочек, погруженных накануне в повозки, согласно самому что ни на есть официальному разрешению, выписанному на Селестенский порт, — как против него выступил весь аппарат парижской ратуши. В разрешении указывалось, что, достигнув Парижа сухопутным и речным путем, это осерское и бонское вино должно было поступить только в Амьен, а не куда-либо еще. То, что Сен-Дени находился на пути в Амьен, дела не меняло. Несмотря на то, что клиенты объявились неожиданно, причем когда вино еще не покинуло пределы парижского графства, нарушение пунктов полученного разрешения было налицо. Римасу пришлось вести переговоры, доказывать, что у него были честные намерения, в чем, кстати, никто не сомневался, и в конечном счете он вынужден был пойти на компромисс. Торговец меньшего масштаба в такой истории попросту лишился бы своего вина. Однако «Дом с колоннами» вовсе не хотел окончательно ссориться с Римасом, так что требование прокурора конфисковать товар удовлетворено не было. Тридцать пять бочек отправили в Пикардию сухопутным путем, потому что не могло быть и речи о том, чтобы возвращать прибывшие из Амьена повозки пустыми. Остальное, то есть сто сорок девять бочек вина и шесть мюидов уксуса, перевели на французскую компанию и позволили Римасу отправить их туда, куда он пожелает. Это означало, что некий парижский буржуа одолжил для всей операции свое имя и получил таким образом, нисколько себя не утруждая, половину всей прибыли, а Римас не смог отступить от сделки в Сен-Дени. К тому же из ста сорока девяти бочек восемьдесят были туда уже отправлены. Их вернули в Селестенский порт, перегрузили и вновь отправили на корабле из Парижа... в Сен-Дени.

Вино, отданное Римасом во французскую компанию, стоило более двух тысяч экю, и парижский буржуа Николя Герар, вынужденно взятый амьенским торговцем в качестве французского компаньона, получил с половины этой суммы доход лишь благодаря тому, что в подходящий момент оказался на Гревской площади.

Римас только плечами пожал — и снова за работу. Ничего больше и не оставалось, коль скоро он хотел и впредь пользоваться дорогой, специально предназначенной для большегрузных товаров, то есть Сеной. Несмотря ни на что, для бургундского вина, употреблявшегося пикардийцами, самой удобной



дорогой все же оставалась Сена с перегрузкой в Париже или в Компьене. Римасу было известно, что, попытайся он при транспортировке вина из Бургундии в Сен-Дени обойтись без «приписного порта» как обязательного этапа, преследования со стороны парижан стали бы неминуемыми.

## ДЕЛОВЫЕ ПУТИ

Данная история помогает нам понять многое. В Париже в не отличавшихся широтой взглядов деловых кругах для риска просто не было места. Функционирование корпораций сводилось к самому тупому протекционизму, обеспечивавшему столичной буржуазии монопольное рыночное право, исключительные права в производстве товаров, приоритет при занятии тех или иных рабочих мест. Шансов найти работу на Гревской площади или же у ворот Бодуае у коренных парижан было больше. В экономике царил эгалитаризм. Конкуренция сдерживалась с помощью посредников и контролеров, доходы складывались в общую копилку и затем делились, места на рынке распределялись по жребию, на пути любой инициативы ставились препоны.

Маклеры поровну распределяли между собой работу, а потом дошли до того, что стали просто распределять доходы от маклерства. Глашатаи, в чьи обязанности входило объявлять на перекрестках цены на вино и имена умерших за день людей, в конце концов, чтобы работы хватило на всех, стали ограничиваться именем одного покойника на каждого.

В том же 1458 году, отстаивая свое право сосчитать сотню жердей, ввезенных одним парижским виноградарем, подрались два «присяжных считальщика и меряльщика дров». Жан Ле Марешаль принялся уверять, что подошла его очередь; к тому же ему уже приходилось считать жерди. А Гийом Ле Каррелье, не обращая никакого внимания на его слова, принялся считать жерди, как будто все права были на его стороне, причем считал громким голосом и пересчитал их три раза подряд.

Все это происходило в порту при свидетелях, из которых трое были коллегами спорящих. Ле Каррелье «обнаружил свой дурной характер». Иными словами, оказалось, что правда была на стороне его соперника. А кроме того, он дерзко выражался, обзывал коллегу, уже получившего две серебряные монеты и не собиравшегося отдавать их «ворам».

Было решено, что Ле Каррелье «человек вздорный и весьма вредный». Его спровоцировали на ссору, потому что он проживал не на Гревской площади. И вот в один прекрасный день ему

пришлось благодарить своего конкурента, «испрашивать прощения» прямо в ратуше. Для того чтобы сцена прощения прошла как полагается, ему даже пришлось «отступиться» от выкрикнутых им оскорблений. И сумму штрафа в двадцать су тут же снизили до пяти, потому что Ле Каррелье был беден. На такой мелочи, от которой кормились некоторые парижане в ущерб разрушаемой всеми сообща торговле, много заработать было невозможно.

Впрочем, иногда торговцам удавалось восторжествовать над деятельностью некоторых совсем уж ненужных посредников. Например, торговцы дровами пользовались и даже злоупотребляли привилегией самим разгружать ежедневно определенное количество дров. «Присяжного считальщика и меряльщика дров» следовало нанимать для большого количества дров, а не для двух-трех поленьев. Однако в феврале 1459 года считальщики пожаловались, что торговцы толкуют это правило малого числа в свою пользу: берут «некоторое большое число компаньонов и каждый из них несет пять-шесть поленьев на шею и на крюках», и в результате судно оказывается разгруженным прежде, чем стоявший с дровяной мерой в руке дежурный считальщик успеет что-либо измерить. Другими словами, торговцы прилагали все усилия, чтобы обмануть присяжных, обязательных и дорогостоящих посредников.

Поэтому взаимопомощь при разгрузке оказалась под запретом. На сей счет у торговцев был неотразимый аргумент: мошенничество причиняет ущерб общественному благу. Коль скоро количество принесенного таким способом на рынок товара невозможно измерить, то невозможно контролировать и цены.

Постепенно в этой коллективной борьбе против конкуренции стали обнаруживаться признаки мальтузианства. Общество замыкалось в себе. Горе опоздавшему. Ушли в прошлое времена, когда в мир лавок и мастерских можно было проникнуть благодаря лишь таланту и настойчивости. В деловых кругах боялись риска, ненавидели новичков и инициативных людей и проводили политику: Париж — парижанам, а лавки — лавочникам.

Перед честолюбивыми людьми воздвигались барьеры, причем тем более строгие, чем ниже находился уровень коммерческой либо ремесленной деятельности. Ведь никакое коллективное давление, никакая регламентация не в состоянии помешать лучшему ювелиру набрать большое количество заказов от прелатов и принцев, а модному художнику — на портреты и запрестольные образы. И каким бы примитивным ни было предпринимательство, деловые круги еще не совсем забыли времена, когда — всего полвека назад — генуэзцы и луккийцы

диктовали свои законы. Правда, у тех были офранцузенные имена. Дино Рапонди, доверенное лицо герцога Бургундского, превратился тогда в Дина Рапонда, а у семейства Бурламакки фамилия стала звучать Бурлама. Однако ассимиляция оказалась все же неполной, что подтвердил их поспешный отъезд в момент кризиса. На парижском рынке простой расчетной операции было недостаточно ни для того, чтобы получить заказанные где-нибудь на Востоке товары, ни для того, чтобы перевести деньги куда-нибудь во Флоренцию или в Брюгге. Талант и связи небезуспешно противостояли равенству. Они продолжали играть свою роль и в описываемый нами период.

Однако законы, действовавшие в сфере торговли, изменились. В мире, где на вершине оказались трикотажники, можно было довольно легко перекрыть пути излишне предприимчивым кандидатам. От их отсутствия не страдали ни рынок, ни клиентура.

Везде, начиная от мастерских под открытым небом и кончая торговыми рядами, буржуазия дружно сковывала действия «коробейников» и препятствовала возвышению людей, получавших зарплату, — в обоих случаях проявлялась одна и та же закономерность. Нужно было держать оборону на флангах и опережать удары снизу. Уставы ремесленников ограничивали количество учеников и тем самым укрепляли власть мастера над собственными учениками. Таким способом снижалось напряжение, которое непременно бы усилилось от раскрепощения инициативы. Приобретение статуса мастера все больше затруднялось, а связанные с этим траты делали подобную возможность для человека, не являвшегося сыном мастера, все более иллюзорной.

Впрочем, случалось, что небольшими предприятиями вполне успешно управляли женщины, либо незамужние, либо — чаще — вдовы. Однако в конечном счете в законодательстве появилась одна коснувшаяся их оговорка, связанная с опасением, что дочь или вдова способны неосмотрительно передать ремесло супругу, прибывшему из иных мест. В 1454 году Парламент проиллюстрировал свою обеспокоенность, внося в текст королевского законодательства соответствующий запрет. Согласно вновь внесенному пункту, вдове разрешалось заниматься ремеслом покойного мужа, но лишь при соблюдении двух условий: что она повторно не выйдет замуж или выйдет лишь за человека, имеющего ту же самую профессию.

Стоит ли напоминать о тех насмешливых серенадах, которые приходилось выслушивать жениху и невесте на пути к брачному ложу во время повторных браков. Такие браки путали многие карты, перемешивали поколения и социальные слои. Поэтому отношение к ним было настороженное.

Нужно сказать, что зачастую молодые люди, бравшие в жены вдов, даже и не скрывали, что делают это ради выгоды. Женись на хозяйке, подмастерья либо слуги, уже набившие руку в ремесле, помогая хозяину, получали одновременно и мастерскую, и орудия труда.

Злонамеренность мастеров простиралась еще дальше. При прохождении экзаменов фальсифицировались их результаты. Изготовленный предмет должен был не только подтверждать искусность того, кто его делал, но и дорого стоить. Если столяр по скупости не использовал ценные породы дерева, мастерство ему не засчитывалось. Горе тому кандидату, у которого не хватало какого-либо инструмента, — ждать, что кто-то ему его одолжит, не приходилось. Тот, у кого ничего не было, ничего и не делал. И мастера назидательно изрекали: хороший рабочий должен иметь хороший инструмент.

После успешного прохождения квалификационного испытания должен был состояться банкет. Поначалу он был просто веселым завершением испытания. Однако затем превратился в один из элементов самого экзамена. Бедняга, желавший стать мастером, обязан был щедро угощать людей, которые, наедаясь вволю, не отказывая себе ни в чем, еще и глумились над кандидатом, чей кошелек оказывался не на высоте их запросов.

С сыном мастера обращались, естественно, лучше, чем с сыном подмастерья, причем не только потому, что мастер имел возможность заплатить. Не заставляя же сына коллеги устраивать банкет на сто персон. Злонамеренно затупить о камень бритву бладобрея, сказав, что он не умеет ее затачивать, и под этим предлогом отстранить от экзамена могли лишь в том случае, если экзаменующийся не приходился сыном мастеру-цирюльнику.

Пареньку, которого воспитывал Гийом де Вийон, обучая основам знаний об окружающем мире и грамоты, стезя лавочника либо ремесленника не была заказана. Однако он прекрасно понимал, что на этой стезе его могло ждать лишь прозябание. У Вийона, несколько запоздавшего по своему рождению, честолюбивые помыслы не могли ассоциироваться ни с торговлей, ни с ремеслами, поскольку ни там, ни там его никто не ждал.

## ПОДАРКИ БОГАТЫМ

Франсуа принадлежал к иному миру, к тому, где торговцев знали только по лоткам. Среди образов парижан, воссозданных им в обоих «Завещаниях» доброжелательно ли, сатирически ли, торговцев мало. Богатый суконщик Жак Кардон

является одним из редких представителей этого сословия, удостоившихся внимания поэта: старший брат и опекун Жака Жан Кардон был каноником церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне...

Следовательно, Вийон знал этого богатого, respectableного, занимавшего в обществе заметное положение человека, который был старше его на восемь лет. Жак Кардон, родившийся в семье зажиточного буржуа, владельца зданий на обоих берегах Сены и женской бани на улице Юшет, несколькими годами раньше, очевидно, проказничал вместе со школяром на улицах, барабанил ночью в двери девиц легкого поведения. Вийон вспоминал об этом в «Большом завещании» — если, конечно, за его словами не скрывается какое-нибудь иносказание, — оставив в стороне иронию, присутствовавшую в «Малом завещании». В варианте 1456 года богатый суконщик выглядел обжорой, возможно также и скрягой: лохмотья в подарок суконщику, бадью явно плохого вина для страдающего от жажды пьяницы, явно способного купить нечто лучшее, и в довершение ко всему этому еще два процесса, дабы испортить пищеварение процветающему негоцианту!

Мои наряды без остатка  
Кардону Жаку отдаю,  
А чтобы ел и пил он сладко, —  
Вина отменного бадью,  
На завтрак — жирную свинью,  
На ужин — карасей из леса,  
А чтоб не разжирел, даю  
Два разорительных процесса\*.

Хотя Вийон и подсмеивался над бывшим товарищем, в смехе его тогда не было ничего злого. Среди всех своих наследников он одного лишь Кардона называл другом.

В 1461 году тон изменился. Больше никаких подарков. Вийон предлагает своему другу песенку в память о тех песенках, которые они когда-то пели под окнами девушек.

Не мог Кардону, как на грех,  
Найти достойного предмета!  
Но, одарить желая всех,  
Ему оставлю два куплета.  
Будь эта песенка пропета,  
Как некогда Марьон певала  
О том, как любит Гийометта, —  
Она б на всех углах звучала\*\*.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 24. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 115.

Однако сама песенка весьма двусмысленна. В ней поется о том, что поэт оказался «на воле после тюрьмы», где «лишь чудом не подох». Ключ ко всему здесь находится во второй строчке: что означает в глазах Вийона невозможность найти для Кардона «достойного предмета»? Здесь чувствуется какой-то горький осадок, возникший при воспоминании о бывшем сообщнике, который превратился в благопристойного буржуа. Вероятно, в словах Вийона таится также упрек в том, что Кардон забывает бывших друзей, особенно если они возвращаются из-за решетки. Поддерживая знакомства с некоторыми бывшими друзьями, рискуешь скомпрометировать себя...

Место игривых намеков заняла меланхолия. В свое время оба приятеля прошли огонь и воду. Но вот один из них занял в обществе положение, гарантированное ему отцовским наследством и семейной традицией, а другому едва удалось выйти из застенков епископа Орлеанского. Да, позавидуй вдруг богиня удачи Вийону, она бы явно ошиблась адресом.

Разве можно сказать, какие чувства им владели: зависть, обида? Известно лишь, что когда-то Кардон был компаньоном Вийона по не слишком добродетельным деяниям. Но за пять лет ирония превратилась в горечь. Раньше Вийон был способен смеяться, по прошествии времени запал иссяк и осталась лишь констатация факта, что когда-то их дороги перекрещивались. Причем в словах поэта нет никакой злости: хотя иллюзий и не осталось, приятные воспоминания оказались сильнее разочарования.

Вийон видел деловой мир лишь издалека. Жану де Блярю, одному из крупнейших ювелиров Моста менял, он оставил брильянт, которого у безработного, с детства обездоленного магистра словесных наук, естественно, никогда не было, и добавил к этому подарку еще менее реальную таверну. Сыну бывшего старшины Жермену де Марлю, одному из богатейших столичных менял, он оставил свою «меняльную контору», то есть помещение на Большом мосту, которое ему не принадлежало. Поэт иронизировал над тем, как производились финансовые операции: клиента обязательно обманывали.

Затем, хочу, чтоб юный Мерль  
Теперь моим менялой стал,  
Но чтобы жульничать не смел.  
А был честнее всех менял  
И тем, кто хочет, предлагал  
По два барашка за овцу

И по сто франков за реал, —  
Влюбленным скупость не к лицу!\*

Шутки такого рода не свидетельствуют о глубоком знании предмета. У Вийона не было повода для личной ссоры с парижскими богачами. Он знал о них лишь то, что знал любой парижанин, заходивший на Мост менял. В лучшем случае просто играл словами, а также, называя различные монеты и цифры, обыгрывал тему недобросовестности менял. Столь же прозрачными были и его взаимоотношения с богатейшим Мишелем Кюльду, которому он тоже решил подарить денег. Кюльду принадлежал к одному из самых старинных парижских семейств. Веком раньше его предок вступил на оставленный Этьеном Марселем пост купеческого старшины. А сам он неоднократно выполнял функции члена муниципалитета. Он также обладал титулом королевского раздатчика хлеба, ничего не значащим, но вожделенным. Он располагал огромным состоянием. Так что сумма, оставленная ему Вийоном, выглядела ничтожно малой. Смехотворно малой.

Иначе обстоит дело с Шарлем Таранном — менялой с Большого моста, которому поэт завещал столько же, сколько и Кюльду. Таранну сумма малой не показалась бы, и весь юмор сводится здесь к тому, что деньги свалились на него неожиданно, как манна небесная.

Пытаясь высмеивать именитых буржуа, обосновавшихся в ратуше и на Мосту менял, Вийон не находит ничего лучшего, как заставить их поприветствовать шлюху. Совершенно неважно какую.

Затем, даю Мишо Кюль д'У  
И досточтимому Таранну  
На разговорие по сотне су  
(Пусть примут их как с неба манну),  
А также сапоги из красного сафьяну.  
Взамен я жду от них любезность:  
Чтоб поклонились, встретив Жанну  
Или другую непотребность\*\*.

Крупные торговцы, специализировавшиеся на сукне и мехах, на соли и зерне, откупщики королевских податей и муниципальных налогов, наследные владельцы Большой бойни — все эти тузы парижской коммерции, нещадно эксплуатировавшие наемных рабочих, находились от поэта на очень большом расстоянии. А вот ростовщики, напротив, были совсем рядом. Вийон знал ростовщиков, выдававших — либо от-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 90. Перевод Ф. Мендельсона.

\*\* Пер. В. Никитина.

казывавшихся выдать — один навсегда уходящий от них экю за книгу, стоившую три экю, или кольцо, стоившее десять. Их лавочка была местом несчастья, где бедняк за каких-нибудь шесть денье оставлял потрепанное одеяло или старенький плаш.

Вот им-то достается от Вийона по заслугам. Он нарисовал карикатуру на троих из них: зловещего Жана Марсо, изворотливого Жирара Госсуэна и сомнительного бакалейщика Никола — или Колена — Лорана, вроде бы имевшего неплохую репутацию, коль скоро он являлся членом муниципалитета, но на которого, однако, по всей видимости, у поэта была какая-то личная обида.

В 1461 году бедняки Парижа желали разорения Жану Марсо. Да и обеспеченные парижане потирали руки, когда за него взялось правосудие. Одни упрекали его за слишком высокие проценты, другим не нравилось то, что у него в доме открыто жили его содержанки. Все потешались над его отороченными кунницей мантиями и шапочкой, украшенной «амурной тесьмой». Сначала его посадили ненадолго в тюрьму, откуда ему удалось выйти под залог в десять тысяч ливров: король как бы получил с него выкуп... прежде чем отправить в Бастилию под другим предлогом.

Именно над этими тремя старцами, тремя ростовщиками, составившими свои состояния в разгар английской оккупации, издевался Вийон, называя их «тримя бедными маленькими сиротками». Вот с ними-то у поэта действительно были личные счета. В «Большом завещании» им посвящено целых восемь строф, то есть шестьдесят четыре строки!

Высмеивал он их еще в «Малом завещании». Причем назвал по имени, без чего мы не смогли бы понять «Большое завещание». Там он оставлял им скудные пожертвования, вполне соответствующие скупости ростовщиков.

Ну что ж, скупиться я не стану!  
Всем — Госсуэну-бедняку.  
Марсо и добряку Лорану —  
Я подарю по тумаку  
И на харчи — по медяку:  
Состарюсь я, пройдут года,  
Мне будет сладко, старику,  
Об этом вспомнить иногда\*.

В конце ирония становилась еще более злой. Ведь трем «маленьким сироткам» тогда было уже под семьдесят. А Вийону — двадцать пять. И вот он пишет:

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 27. Пер. Ф. Мендельсона.



Пусть славно поедят они,  
Я буду стар уже тогда\*.

Нетрудно понять, чем должны были бы питаться «детки» во времена состарившегося Вийона. Во французском языке уже тогда существовала поговорка «есть одуванчики со стороны корня», то есть лежать в могиле, и мораль стихов была понятна любому парижанину.

Пять лет спустя в «Большом завещании» поэт вернулся к теме «Малого завещания». И сходство формулировок таково, что понять, о ком идет речь, не составляет труда. Однако за истекшие годы Вийон познал нищету, и это ожесточило его еще больше. Поэт сразу сообщает, что за время его отсутствия «сиротки» на пять лет постарели, и он как бы удивляется этому. Они стали богаче, отчего тема их бедности звучит еще ироничнее. Поэт признает за ними лишь одно качество: ум. У них, по его словам, не бараньи мозги. Однако как же они своими умственными способностями распрягаются?

Затем, узнал я стороною,  
Что трое маленьких сирот, —  
Обросших сивой бороною  
И обирающих народ, —  
Растут, — мошна у них растет! —  
В Сорбонну ходят, — за долгами! —  
Теперь любой их назовет  
Прилежными учениками\*\*.

Жертвы вийоновского сарказма занимались не только ростовщичеством, но и спекуляцией. Например, Госсуэн во времена английской оккупации владел соляным складом в Руане. И Вийон старается так подбирать однокоренные слова, чтобы у читателя возникла ассоциация с солью.

А потом следует перечисление даров. Хорошие уроки грамматики в состоянии восполнить пробелы по части отсутствующей у трех ростовщиков культуры. Имитируя святого Мартина, Вийон разрывает свой плащ и завещает половину его «на сласти деткам», причем здесь мы наблюдаем игру слов: обозначающее десертное блюдо слово «флян» употреблялось также и как название куска металла, использовавшегося для чеканки монет. Следовательно, тем, кто делает деньги, нужны «фляны». Как, впрочем, и фальшивомонетчикам.

\* Пер. В. Никитина.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 90. Пер. Ф. Мендельсона.

В основном же поэт призывает давать им уроки хорошего тона. И при этом уточняет, что именно он имеет в виду: их нужно бить.

Но пусть их лупят каждый день,  
Чтоб тверже помнили уроки...\*

## ПОГОНЯ ЗА ДВОРЯНСКИМИ ТИТУЛАМИ

Поэт свел счеты с ростовщиками, чересчур уж легко лишившими его старого плаща, который он им завещал, разделив пополам: выплатить тридцатипроцентный или сорокапроцентный заём было практически невозможно. Свел счеты и принялся забавляться. Забавы его состояли в подтрунивании над тем, что в глазах лишенного знатных предков школяра было самым смешным у разбогатевших на торговле и на службе королю буржуа, — над их погоней за титулами. К тому времени французы уже на протяжении целого века злословили по поводу глупости аристократов, издевались над их неумением воевать, стремлением захватить побольше должностей и подачек, а тем временем структура высшего слоя общества менялась и могущество аристократии трансформировалось в привилегии и почести. Тузы парижского делового мира один за другим приобретали дворянские грамоты. Именитые торговцы и судейские чины приобретали лены, благодаря которым устанавливалась иллюзорная, но тем не менее очевидная связь между двумя разновидностями аристократии.

Вийон не устаивает своего смеха тех, кто, владея особняком в столице и загородным замком, добавлял к фамилиям отцов названия приобретенных земель. В Париже 1460-х годов не смеялись над братьями Бюро: ни над Жаном, ставшим владельцем поместья Монгла и начальником королевской артиллерии, ни над Гаспаром, ставшим владельцем поместья Вильмомбль, комендантом Лувра и королевским управляющим по делам реформ. Когда их видели со шпагой на боку, то забывали, что совсем недавно один из них был юристом, а другой — счетоводом. Не смеялись и тогда, когда хранитель архивов короля Дрё Бюде, сын королевского нотариуса, возведенного в дворянство Карлом VI, занял самый почетный пост в парижской судейской иерархии.

Однако другие все еще находились в пути, и когда они спотыкались, то не грех было и посмеяться. Аристократии вольно

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 91. Пер. Ф. Мендельсона.

было улыбнуться перед тем, как признать их своими. Буржуазия им завидовала и скрипела зубами. Ну а простой народ, включая школяров, смеялся от всего сердца.

Соответственно, не отказывал себе в этом удовольствии и Вийон; например, он дважды задел двух соседей по улице Ломбардцев: толстого суконщика Пьера Мербёфа и сборщика податей Николая Лувье, сына суконщика, которому налоговая реформа 1438 года позволила занять третье место среди богатейших буржуазных семейств. Они были соседями, коллегами, даже союзниками, но Вийон нашел для них еще один общий знаменатель: на шуточный лад настраивали их фамилии. Мербёф — это «бык», а также «мэр быков». А Лувье — это почти что Бувье, то есть «погонщик быков». Тут, естественно, напрашивались названия некоторых других птиц и животных. В результате получалось нечто среднее между птичьим двором и охотничьим садком. Причем в воображаемой охоте участвуют бестолковые, но в то же время весьма претенциозные охотники. А охота хотя чем-то и напоминает соколиную, но ее участникам приходится ловить каплунов у некоей Машеку, торговки дичью, чья лавочка — закусочная «Золотой лев» — располагалась в двух шагах от Шатле. В результате обнаруживается, что претенденты на дворянские титулы хотя и не волопасы, не пастухи, но все же и не аристократы.

Затем, Лувьеру Николаю  
И Мербёфу не быков  
И не баранов оставляю —  
Ведь оба не из пастухов, —  
К лицу им соколиный лов!  
Без промаха, на всем скаку  
Пускай хватают каплунов  
В харчевне тетки Машеку\*.

В данном случае Вийон просто развлекался. Личные чувства поэта тут никак не проявлялись. В «Малом завещании» он тем же лицам оставлял яичную скорлупу, наполненную золотыми монетами. Ну а что касается самих буржуа, одолеваемых стремлением получить титул, то им не было никакого дела до поэта. Три года спустя после того, как было написано «Большое завещание», Лувье получил дворянство.

Когда буржуа начинали бряцать оружием, школяр реагировал на это заразительным смехом. Осмеял он, например, меховщика Жана Ру, у которого, когда он стал капитаном отряда городских лучников, от гордости несколько вскружилась голова.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 81. Пер. Ф. Мендельсона.

Вийон изобразил его грубым обжорой, считающим, что волчье мясо является вполне приличной пищей. Вдобавок он предложил варить волчатину в плохом вине.

А капитану Жану Ру,  
Для доблестных его стрелков,  
Пускай дадут, когда умру,  
Не окорок от мясников,  
А шесть ободранных волков,  
Зажаренных в дрянном вине;  
Такой обед — для знатоков.  
Он им понравится вполне!\*

Поэт, правда, признает, что волк не так уж сладок, пожалуй, «погрубей цыплят» и что такая пища скорее подошла бы для осажденного гарнизона. А затем, намекая на профессию Ру, дает еще один совет:

Доволен будет весь отряд,  
А кто замерзнет чересчур,  
Когда повалит снег иль град, —  
Пусть шубу выкроит из шкур\*\*.

Это все юмор человека из толпы. Человека, которому неприятна спесь выскочек и который рад посмеяться над их позерством. Однако после того как стихал звон оружия, напыленного меховщиком по случаю праздника, стихали и шутки. Вийону мир, пытавшийся, но еще не имевший возможности жить по аристократическим канонам, был совершенно чужд. Путь к должностям и титулам, оплаченный заработанным в лавке состоянием, неимущему школяру, которого старая мать вверила заботам доброго капеллана, был заказан. На все это он смотрел издалека. Все, что он об этом знал, он узнал благодаря улице.

Точно так же лишь понаслышке знал он и еще об одном человеке, приковавшем общее внимание своей деловой хваткой, успехами, влиятельностью. Вийон знал, кто такой Жак Кёр. Но в 1461 году, когда создавалось «Большое завещание», Кёр был уже не более чем воспоминанием, а его буржуазная эпопея могла показаться классическим примером неудачной карьеры. В Париже поняли еще во время войны, насколько это рискованная вещь — давать займы принцам, что-либо им поставлять, поняли, насколько опасно вкладывать деньги в строительство дорог, и эти наблюдения легли в основу неприятия философствования по поводу падения этого богача. Жак Кёр умер

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 84. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же.

на Хиосе в том самом году, когда Вийон сочинил «Малое завещание». А пять лет спустя поэт просто подвел итоги своим размышлениям о несопоставимости судеб и о сопоставлениях, излечивающих от зависти.

Я нищетою удручен,  
А сердце шепчет мне с укором:  
«К чему бессмысленный твой стон,  
За что клеймишь себя позором?  
Что нам тягаться с Жаком Кёром!  
Не лучше ль в хижине простой  
Жить бедняком, чем быть сеньором  
И гнить под мраморной плитой?»\*

## БУДЬ Я ПРИМЕРНЫМ ШКОЛЯРОМ...

### ГРАЖДАНСКОЕ ПОПРИЩЕ

С миром торговли Вийон сталкивался нечасто, а вот мир юриспруденции он знал хорошо: и как школяр, и как остепененный выпускник, и как подсудимый. Для того, кто входил в жизнь по проторенному пути факультета словесных наук, юриспруденция являлась самой доступной сферой применения сил и талантов. Суды и конторы ломались от «магистров», обладавших разными способностями и занимавших различные должности — от писцов до председателей судов, — так что, глядя на них, бывший школяр мог без труда вычислить возможные варианты своей дальнейшей судьбы.

К тому времени в столице уже на протяжении по крайней мере двух столетий развивалась общественная деятельность, довольно активная и в отсутствие короля, потому что и самодержец, и правительство уже не являлись абсолютным условием ее существования. Правление Ланкастера оказалось не слишком парижским. А правление буржского короля было таковым еще в меньшей степени. Потом пришло время луарских королей. Заседание Королевского совета в отсутствие Карла VII было, конечно, немислимо, а вот судопроизводство и счетоводство прекрасно обходились и без него. Для того чтобы управлять королевством, распределять собранные налоги, отправлять разбойников на виселицы, разрешать споры между торговцами, существовали специалисты. Двор мог находиться где-то далеко за пределами Парижа, и тем не менее столица у Франции была одна, а в центре ее возвышался Дворец юстиции, где толпились законоведы и истцы, сборщики и откупщики налогов, финансисты и налогоплательщики. То, что двор находился на берегах Луары, доставляло неудобства ювелирам и бакалейщикам, но никак не прокурорам.

Франсуа де Монкорбье знал многих таких магистров словесных наук, товарищей по учебе и спорам, которых благосклонная судьба направила на стезю приобретения должности.

Однако карьера судейского чиновника — теоретически Вийону доступная — была заказана ему так же, как и карьера торговца. Мир должностей все больше и больше замыкался в себе, особенно в послевоенные годы, когда прежние вассалы Генриха VI и верные сторонники Карла VII слились в единое целое и сразу образовали солидный контингент чиновников, надолго затормозивший привлечение новых кадров.

Вийону исполнилось четыре года, когда герцог Филипп Добрый выдвинул в 1435 году в качестве одного из главных условий своего примирения с Карлом VII и заключения Аррасского договора сохранение за чиновниками англо-бургундского лагеря всех прав. Ему исполнилось двенадцать лет, когда в Париж решили наконец вернуться последние советники Парламента, находившегося в Пуатье. Ставший впоследствии епископом Парижа советник Гийом Шарретье занял свою должность во Дворце юстиции только в 1442 году. Жан Молуэ, член Парламента Карла VI с 1393 года, убежденный сторонник наследного принца, ставшего затем королем Карлом VII, последовал за ним в Пуатье и вернулся оттуда только весной 1442-го.

Некоторые наблюдали за бурей со стороны. Например, магистр Жана де Лонгэя назначил в 1431 году гражданским судьей в Шатле регент Бедфорд, но Карл VII сохранял за ним эту должность на протяжении всего своего правления: Лонгэй был крупным юристом, судьей, а не человеком партии. В том же самом Шатле, наипервейшей инстанции королевского правосудия «по парижскому превоствству и виконтствству», остались аналогичным образом на своих местах королевский прокурор Жан Шуар и два королевских адвоката: Гийом де ла Э и Жан Лонгжо. Никто не удивлялся даже тому, что королевский прокурор в Контрольной палате Этьен де Новьян, назначенный бургундцами в 1418 году сразу по приходе их к власти, передал в 1439 году своему сыну то, что еще не было должностью, но уже по милости Карла VII обеспечивало и положение, и доход. На всей территории королевства восстанавливалась единая юрисдикция. Одно время правосудие трещало по швам, и поэтому Карл VII, произведя реорганизацию армии и укрепив финансы, стал осуществлять реформы также и в этой области. Предписания относительно местожительства, зимнее и летнее время, ускоренное судопроизводство — все проблемы подверглись тщательному изучению, причем штаты увеличились, а праздная болтовня в конечном счете сократилась. Суть реформы сводилась к тому, чтобы сделать королевское правосудие по-настоящему действенным.

«Сразу же, как только вышеназванные председатели и советники войдут в назначенные часы в свои палаты, они

обязаны приступить к трудам и делам вышеназванного Парламента, не отвлекаясь ни на какие другие занятия. Мы возбраняем и запрещаем, чтобы, раз войдя в Парламент, они вставали и ходили разговаривать с другими о чем бы то ни было иначе как по распоряжению, исходящему от Парламента.

Одновременно мы воспрещаем им выходить из Парламента и праздно гулять за пределами Дворца с кем бы то ни было».

Более справедливое правосудие, более многочисленные и подготовленные судьи — такой в общих чертах была программа указа, подписанного 14 апреля 1454 года и намечавшего создание новой редакции правил сбора налогов, разделившего на две части следственную палату и восстановившего после тридцатилетнего перерыва кассационный суд.

Все это означало, что появились новые должности. Однако новым членам судебных палат, осуществлявшим программу 1454 года, было в ту пору по 30—40 лет, и им предстояло оставаться на своих местах еще лет двадцать. Создание новой редакции правил налогообложения обеспечивало работой правоведов на протяжении целого полувека, но для этой работы требовались опытные юристы, способные привести в соответствие с жизнью право, главный порок которого состоял даже не в том, что оно было слишком абстрактным, а в том, что было слишком противоречивым.

«Часто случается, что в одном и том же краю налоги собираются по разным обыкновениям, и случается, что эти правила меняются в зависимости от аппетита сборщиков, что приносит нашим подданным большой ущерб и неудобства».

Волна наймов на работу, возникшая благодаря миру и возобновлению деловой активности, почти ничего не дала поколению, которое пришло слишком поздно, в особенности тем его представителям, кто не смог внедриться в государственные учреждения и в свои двадцать лет вынужден был констатировать, что все места заняты теми, кому тридцать. В ту пору возникла практика «уступки в пользу...», что фактически означало передачу должностей по наследству и явилось неизбежным следствием необходимости, с одной стороны, выхода в отставку и с другой стороны — обеспечения преемственности в деятельности различных служб, мест для недавних школяров там оставалось совсем немного. Поколение мэтра Франсуа, достиг-



шее в 1460-х годах возраста, когда получают степень лиценциата, на своем опыте убедились, что для людей без связей нет будущего.

Клиентура, причем не только парижская, испытывала потребность во все возраставшем числе адвокатов, ведших тяжбы, и прокуроров, составлявших досье, и судебных исполнителей, зачитывавших содержание досье, и секретарей, протоколировавших дела и занимавшихся перепиской. Однако в число этих необходимых клиентуре людей попасть было нелегко. Уже занятые места счастья из рук не выпускали.

В столице воссоединенной Франции самыми крупными состояниями, намного превышавшими состояния торговцев, владели чиновники счетной палаты, казначеи и... адвокаты Парламента. По уровню доходов их можно было сравнить с мениями. Далее шли нотариусы и адвокаты из Шатле, причем они опережали суконщиков и бакалейщиков. Уже в 1438 году из трехсот пятидесяти богатейших налогоплательщиков более ста принадлежали миру финансов и права.

Эта новая иерархия сразу же стала очевидным фактом. Жан де Руа в своей хронике писал, что в 1467-м, когда всех парижан от шестнадцати до шестидесяти лет пригласили явиться на смотр со своими знаменами, на равнине за воротами Сент-Антуан он увидел «штандарты и флажки Парламента, счетной палаты, казначейства, налогового управления, монетного двора, судебного ведомства, ратуши, под которыми стояло столько же, а то и больше людей, чем под цеховыми знаменами».

Следовательно, усиление государственных служб явилось счастливым случаем для многих молодых парижан, и Франсуа де Монкорбье чуть было им не воспользовался. В конце концов ведь нужно не так уж много везения, чтобы протее магистра Гийома де Вийона оказался на пути к доходам или должностям; другими словами — на пути в мир «хорошо натопленных комнат», в мир того человека, который был для него «более, чем отец».

## КОЛЛЕЖИ И ПЕДАГОГИИ

Франсуа исполнилось двенадцать или тринадцать, когда в 1443 или 1444 году он поступил на факультет словесных наук. Война в ту пору была уже на исходе. Будущий Франсуа Вийон к этому времени умел и читать, и писать, а также знал основы латинской грамматики. Поступление на факультет не сопровождалось никакими формальностями, кроме выбора учителя, причем подразумевалось, что учитель может отказаться от не-

подготовленного ученика, хотя на практике никто никогда этого не делал. Prestиж учителя измерялся числом учеников, а влияние среди коллег — числом одержанных его клиентурой побед. Поступить в заведение, которое мы можем назвать средней школой, труда не составляло; главная трудность заключалась в том, что, учась, нужно было еще и питаться.

Привилегированные студенты учились в созданных двумя веками ранее коллежах, где неимущим, дабы облегчить существование, давали стипендию, жилье, а зачастую и пищу. Само же понятие «коллеж» включало в себя сочетание десяти — двенадцати стипендий с каким-нибудь особняком, принадлежавшим основателю коллежа и впоследствии перешедшим к студентам по завещанию или в связи с расширением владений мцената. Создавая свои коллежи, Робер де Сорбон в 1256 году, кардинал Жан Лемуан в 1302-м, королева Жанна Наваррская в 1304-м, канцлер Дормана в 1370-м руководствовались единственным желанием — предоставить возможность учиться какому-то числу неимущих школяров. Условий они выдвигали мало, разве что настаивали на том, чтобы в первую очередь принимали их земляков. Так, например, шесть стипендий коллежа «Ave Maria», основанного во времена Филиппа VI Валуа президентом одной из палат Парламента, блестящим юристом Жаном Юбаном, должны были давать в первую очередь школярам, родившимся в Юбане.

«Для преподавания в вышеназванном коллеже будут назначены капеллан и учитель родом из деревни Юбан, что в неверской епархии, или же из соседних деревень, расположенных примерно в пяти лье от Юбана, но так, чтобы тот и другой не были бы родом из одной и той же деревни. Если же ни капеллана, ни учителя в этих деревнях найти не удастся, то следует их выбрать в епархиях Невера, Осера, Санса, Парижа или в провинции Санс».

С годами система претерпела изменения. Поступление в коллеж превратилось в привилегию, поскольку студент таким образом сразу попадал в благоприятную среду, а иногда к тому же получал хорошее образование. Выучившись, магистр хранил верность своему коллежу. Выпускники старались в нем остаться. Продолжая там жить, они самым естественным образом завладевали должностями, дававшими не меньший доход, чем должности церковников. Получить место каноника в Соборе Парижской Богоматери было весьма непросто, о чем Гийом де Вийон знал не понаслышке, но и место преподавателя или же директора в хорошем коллеже было гораздо прибыльнее, чем ка-

пеллана во второразрядном капитуле вроде Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Так что мэтр Гийом охотно променял бы свою должность на работу в коллеже, предоставлявшуюся по уставу бывшим ученикам. Однако везде предпочитали нанимать из своих, шла ли речь об административной должности или месте преподавателя.

В жизни юных школяров было немало хорошего. Занятия, как правило, велись в домашних условиях, учебные группы были небольшие, под рукой имелись библиотеки. Не говоря уже о столовой... Благодаря всем этим преимуществам коллежи наравне с большими монастырями превратились в самые элитарные учебные заведения. Сорбонна в конечном счете стала факультетом теологии. Ну а в области «искусств», осваиваемой большим числом студентов, в 1450-е годы функционировало пятьдесят, а то и шестьдесят коллежей, рассредоточенных территориально и отличавшихся друг от друга по типу получаемого там образования. Однако для тех, кто имел возможность учиться в Аркуре или в Наварре, не было никакой необходимости ехать мерзнуть на улицу Фуарр, вслушиваясь в объяснения какого-нибудь магистра, занимавшего самую низшую ступень иерархии. Именно этих преподающих магистров, или, как их называли, «регентов», имел в виду осуществлявший в 1452 году реформу университета кардинал Гийом д'Эстувиль, когда говорил о часто забываемой обязанности педагогов ежедневно посещать школы факультета на улице Фуарр.

В сознании парижан факультет «искусств» ассоциировался именно с улицей Фуарр, которой два закрываемых по вечерам на замок шлагбаума придавали вид изолированного двора. Во владении четырех «наций» этого факультета находилось приблизительно десять школ, где, если не считать проходивших в церквах квартала (прежде всего в матюренской) торжественных собраний, протекала вся университетская жизнь.

Прохожий, поднимавшийся по улице вверх от Сены, видел сначала справа «маленькие школы французской нации», а потом «новые», или большие, школы той же самой нации. Дальше находились большие школы нормандской нации, маленькие школы пикардийской нации, а также бывшей английской нации, которую после ухода англичан называли преимущественно немецкой нацией, практически являвшейся нацией всех иностранцев, где бы они ни проживали, начиная от прирейнской области и кончая Шотландией.

Слева в том же направлении находились школы «Красной лошади», то есть новые школы пикардийской нации, затем большие школы немецкой нации, школы «Шартрского колодца» и, наконец, принадлежавшие нормандцам школы «Маленький щит» и «Золотой орел».

По существу, улица Фуарр состояла из десяти особняков со старинными, зачастую полученными от прежних вывесок названиями, чьи соответствующим образом дипломированные хозяева сдавали нижние этажи в аренду для проведения занятий, а верхние этажи отводили для сдачи внаём на целый год временно прибывшим студентам.

Следует сделать одно уточнение: «большими» и «маленькими» школы назывались не согласно их репутации, а по количеству коньков на крыше. Главной отличительной чертой этих школ были неудобные залы, где учитель бубнил, как бы ни к кому не обращаясь, а слушатели располагались как придется, прямо на полу. Табуретки приносить запрещалось. К скамейкам наблюдалось более терпимое отношение. Зато «фуарр», то есть охапку соломы, принести не возбранялось; вот ее-то реформатор 1452 года пытался, правда, безуспешно, превратить в обязательный атрибут занятий.

Выбирая учителя, студент выбирал одновременно и содержателя меблированных комнат, которому платили и за еду, и за репетиторство. Иными словами, в преимущественном положении оказывались регенты, владевшие на улице Фуарр свободными, подходящими для сдачи внаём помещениями. Составленный таким образом комплекс преподавания и жилья назывался «педагогией».

Париж 1450-х годов насчитывал приблизительно полсотни подобных педагогий, почти столько же, сколько коллежей. Однако комфорта здесь было поменьше, хотя и оплачивался он из кармана студента, в отличие от коллежа, где, наоборот, деньги платили студенту. Злоупотребления наблюдались такие, что кардинал д'Эстувиль даже как-то раз возмутился и приказал, чтобы находящимся на пансионе школярам давали за их деньги здоровую и разнообразную пищу. Можно не сомневаться в том, что к доходу от преподавания хозяева педагогий присовокупляли кое-какие суммы, сэкономленные на пансионе. Дело это считалось выгодным, и хозяева при случае не ленились обойти таверны и трактиры, дабы наберечь там учеников. Причем, несмотря на конкуренцию, эти необычные «педагоги» договаривались между собой, чтобы не сбивать цены.

Заботами славного капеллана будущий Франсуа Вийон от близкого знакомства с педагогами оказался избавлен. В противном случае эта разновидность торговцев супом и уроками непременно получила бы в «Завещании» свою долю. Не принадлежал он и к числу привилегированных учеников, попадающих в коллеж; для этого потребовались бы иные рекомендации помимо тех, что могли дать «бедная» женщина и добрый второразрядный капеллан.

Однако не относился он и к категории не имеющих постоянного жилья студентов, которые ночевали на постоялом дворе по десять человек в комнате, а остальное время проводили под открытым небом или прячась под навесом. Его место, место маленького клирика маленького капитула святого Бенедикта, находилось посредине между двумя крайностями. Он имел гарантированное жилье и пищу, но обязан был ежедневно чуть свет отправляться на улицу Фуарр и слушать там учителей, толковавших творения святого Исидора Севильского и Сенеки. Составленное им тогда представление о привилегиях нашло впоследствии отражение в стихах, где поэт рассказал о тех самых что ни на есть реальных, не переутомлявшихся в юности стипендиатах коллежей, чьи пренебрежительные взгляды он не раз ощущал на себе всего несколько лет назад.

Почему он выбрал в качестве объекта своей сатиры коллеж Восемнадцати клириков? Знал ли он, что это старейший коллеж? Знал ли он, что коллеж находился в тот момент в стесненных обстоятельствах? А может быть, он завещал двум старым каноникам из Собора Парижской Богоматери стипендии этого коллежа, чтобы просто посмеяться, поскольку коллеж принадлежал капитулу того же собора, а скромные подопечные с улицы Сен-Жак самым наисердечнейшим образом ненавидели своих покровителей, этих купающихся в роскоши каноников. В момент написания «Большого завещания» Вийон пытался найти себе какое-нибудь приличное занятие и поэтому был вдвойне заинтересован сделать комплимент тем, кто его приютил, упомянув о других, о тех, чья жизнь протекала в праздности...

Я им стипендию найду  
Всем возраженьям вопреки,  
Пусть по три месяца в году  
Они не дрыхнут как сурки.  
Попомнят эти старики,  
Как сладко спится молодому:  
Ночные бденья нележки  
Тем, кого старость клонит в дрему\*.

#### СХОЛАСТИКА

Стало быть, Франсуа де Монкорбье оказался в списках учеников факультета «искусств», а точнее, одной из школ французской нации. Так распорядилась сама судьба. «В Париже, что близ Понтуаза, я, Франсуа, увидел свет...» Он родился не пи-

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

кардийцем, не нормандцем и не немцем, а французом. А дальше все пошло своим чередом.

Программа была простая: логика и еще раз логика. Искусства мыслить, в тех различных формах, какие оно приняло в античные времена, вполне хватало на восемь — десять лет учебы на факультете «искусств». От традиционной классификации семи «свободных искусств» как фундамента знания, начиная с понимания и кончая выражением, в университетской практике почти ничего не осталось. Тривиум — грамматика, риторика и диалектика — складывался из практических упражнений, сводившихся прежде всего к диспутам, где аргументация терялась одновременно и в формализме, и в гвалте. Квадривиум — арифметика, геометрия, астрономия, музыка — состоял из комментированного чтения нескольких «авторитетов» вроде Аристотеля и Боэция. Ну а синтез был личным делом учащихся. И удавался он лишь немногим.

Схема схоластического урока известна хорошо. Преподаватель находился на своей кафедре регента, облаченный в черную мантию с подбитым беличьим мехом капюшоном. Он прочитывал параграф. А потом излагал свое толкование этого параграфа, то есть обращал внимание на логические переходы в тексте и на компоненты аргументации. Брал фразу за фразой, анализировал содержащиеся в них идеи, по-своему формулировал их и, развивая, пояснял. Однако подобное медленное чтение не становилось поводом ни для обобщающего взгляда на все произведение, ни для осмысления одних его положений с помощью других. Каждый элемент речи рассматривался как изолированное целое.

Иногда учитель отдавал предпочтение «проблемам». Он извлекал из текста какое-нибудь высказывание, сопоставлял его с противоположным утверждением либо указывал на содержащееся в нем самое противоречие и предлагал исчерпывающую гамму аргументов и контраргументов. Тут во всеоружии формальной логики в игру вступал силлогизм. И все рассуждения превращались в единую цепь силлогизмов.

Студенты любили «проблемы», несмотря на незатейливость используемого приема. Проблемы были не так скучны, как изложение урока. В глазах юных, еще не утративших любознательности учащихся у проблемы было и еще одно преимущество — при ее обсуждении приходилось обращаться к иным авторам, а не только к тем, чьи тексты оказывались объектом толкования. Горизонт, таким образом, немного расширялся. Учителя брали не талантом, а начитанностью. Первым делом они выстраивали целый полк противоречивших друг другу цитат, приводили высказывания из Аристотеля, Порфирия, Эк-

клезиаста и с их помощью доказывали буквально все, что угодно. При этом индивидуальность учителя совершенно растворялась в вереницах кратких цитат, ценимых не столько за глубину смысла, сколько за искусность формулировок. И все превращалось в аллюзию, везде торжествовала смысловая неопределенность.

Правда, имелся во всем этом и один положительный момент: ум обретал гибкость. Вообще же механизм рассуждения оказывался важнее объекта рассмотрения, формализм подавлял мысль. При таких играх можно было ожидать, что логика приведет к триумфу человеческого разума. Однако когда предпринимаешь критический анализ творчества Вийона, сразу обнаруживаешь, что логика эта сводилась к готовым формулам, тонувшим в разного рода галиматье из побочных, согласительных, оценочных, предположительных, фиктивных, формообразующих выводов.

Поэт знает, что говорит, и строго придерживается аристотелевской схемы работы ума. И тем не менее он искажает умозаключения, жонглируя ассонансами, и в итоге приходит к абсурду: избыток умствования ведет к безумию!

Эрудиция Вийона носила чисто формальный характер, и он знал об этом. А посему остерегался что-либо изобретать. Посвященным в эту науку людям нетрудно было разглядеть в его стихах, например, «согласительность», то есть способность формулировать суждение относительно существования людей и предметов, допуская при этом возможность ошибки, или, например, «предположительность», предусматривающую следствия, которые вытекают либо могут быть выведены из первичных суждений, нетрудно было разглядеть все эти и многие другие приемы тогдашней логики, загромождавшие память поэта и заставлявшие его классифицировать естественные функции ума.

Подобная гимнастика ума в тех случаях, когда она не слишком походила на карикатурные ее изображения, встречающиеся у Вийона и Рабле, как-никак давала школяру возможность постичь хотя бы одну вещь: анализ. Декарт прояснил задачи этой логики, сформулировав их несколько иначе. Тем не менее заветы «Рассуждения о методе» родились все же в русле схоластической традиции:

«Разделить каждую из рассматриваемых проблем на такое количество отдельных частиц, какое только возможно и какое требуется для их решения».

В этой схоластике, низведенной до уровня буквалистских комментариев и словесной механики, воцарилась рутинная Ре-

гент записывал свой урок и читал его, не отступая от написанного ни на букву, причем случалось, что даже читал не сам, а поручал одному из более или менее успешно усваивавших его лекции учеников. Тщетно реформаторы университета предпринимали попытки заставить учителя говорить, не «читая по перу». На практике ничто не мешало логикам с улицы Фуарр из года в год повторять самих себя. Занимаясь этим упражнением, они скучали сами и наводили тоску на других.

И учителя, и ученики предпочитали так называемые «экстраординарные» уроки, устраиваемые с разрешения факультета — поскольку на них излагались мысли, касающиеся не фигурирующих в официальной программе произведений, — некоторыми магистрами или даже простыми бакалаврами. Благодаря этому удавалось хоть изредка вырваться из нескончаемой логики ординарных уроков. Объектом экстраординарного урока мог стать любой учебный предмет: мораль, физика, геометрия, астрономия, естествознание и даже иностранные языки. Для кандидатов на получение степени бакалавра такие уроки были развлечением, для бакалавров же, стремившихся получить степень лиценциата, они были обязательны.

Участие университета в интеллектуальной жизни своего времени осуществлялось в первую очередь с помощью таких экстраординарных уроков. Начальные элементы риторики прокладывали путь классической литературе, причем дело доходило даже до изучения поэтического искусства. Один грек по имени Григорий преподавал греческий язык, а все четыре нации факультета словесных наук вскладчину оплачивали учителя древнееврейского языка.

Выход за рамки программы имел еще одно преимущество. Коль скоро студент делал выбор, у преподавателя оставалось меньше студентов. Параллельно с массой ординарных уроков образовывались маленькие группы учеников, ориентированных на какого-то конкретного учителя либо на какую-то специализацию. Например, выбирали того или иного магистра, потому что он рассказывал о таком-то авторе. Или же потому, что он имел репутацию умного человека. Неудивительно, что регенты, работавшие в коллежах, извлекали существенную выгоду из экстраординарных уроков.

Монотонность преподавания удавалось преодолеть также и с помощью «диспута». Существовал ординарный диспут, который имел место раз в неделю и являлся главным событием в расписании учащегося. А вот что касается экстраординарного диспута, проводившегося когда-то на Рождество и Великий пост, то в эпоху Вийона о нем остались лишь смутные воспоминания. На еженедельный диспут приходило много народу:



там можно было выступать по любому поводу и говорить о чем угодно. Магистр председательствовал и в отличие от его предшественников сам в диспуте не участвовал: для практических занятий, которые только и были известны средневековому преподаванию, вполне хватало двух спорящих бакалавров. По-настоящему просветиться на диспуте нечего было и рассчитывать, но веселья — хоть отбавляй.

Побеждал вовсе не самый знающий, а самый хитрый. Целью упражнения являлось не столько углубление знаний, сколько состязание в ораторском искусстве, причем такое состязание, где главное — не убедительный аргумент, а умение не лезть за словом в карман. «К делу!» — кричали присутствующие тому, кто прибегал к уверткам, пытаясь выиграть время. Меткий ответ принимали бурно. Нередко ради удачного трюка пренебрегали даже элементарной честностью. Важно было лишь оставаться в рамках формальных схем Аристотелевой логики. А раз так, то явный абсурд предпочитался алогичности.

Именно на диспуте обнаруживалось еще сохранившееся единство факультета словесных наук. А в остальном каждый существовал сам по себе. Коллежи обеспечивали проведение ординарных, а главное, экстраординарных уроков, благодаря которым обозначился профиль учебных заведений. Однако самое большое число учащихся распределялось по репетиторским педагогиям, распространившимся в достаточном количестве, а университетский корпус не предпринимал никаких шагов, чтобы затормозить такое распыление учебного процесса. Педагог зарабатывал себе на жизнь. А регент, в чьи обязанности входило «читать» на улице Фуарр, считал более удобным обеспечивать себе кров и содержание, становясь на год штатным регентом какой-нибудь педагогии.

## СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА, ЛИЦЕНЦИАТА, МАГИСТРА

Все власти, начиная от парижского прево до ректора факультета словесных наук, являвшегося одновременно ректором университета, предпочитали иметь дело со студентами расселенными, распределенными по небольшим группам. Постепенно сложилось положение, при котором аномалией стали «приходящие» студенты, так что в 1459 году французская нация попыталась даже организационно оформить группу таких студентов, поселить ее хотя бы по соседству с одной из педагогий, дабы они в ней учились.

Подобная мера лишала всякого смысла преподавание на

улице Фуарр. Там остались получать убогое образование лишь очень бедные студенты, не имевшие возможности стать на пансион. Подобно тем, кто жил у себя в семье или у опекунов, подобно тем, кто — как Франсуа де Монкорбье при церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне — нашел иные способы существования, «приходящие» студенты были обречены получать уроки не слишком высокого качества, и они приносили учителям весьма скромный доход.

Ну а из-за этого улица Фуарр походила больше на средоточие притонов, чем на факультет из десяти школ. Ночью и по выходным дням студенты располагались в классных комнатах, устраивали там попойки, приводили девиц. Школа напоминала одновременно и бордель, и общественную уборную. Благоразумные, шадящие свое обоняние люди старались держаться от этой улицы подальше.

Оставалось лишь зафиксировать исчезновение университетского единства, что и было сделано в 1463 году, когда факультет словесных наук принял решение, согласно которому студенту, не прошедшему через коллеж и педагогию и не жившему в Париже в лоне своей семьи, степень не присуждалась — парижские нотабли заботились о собственных детях, а также о бесплатной службе в домах у именитых университетских магистров. Ведь положение Франсуа у магистра Гийома де Вийона за двадцать лет до принятия этого решения было положением слуги, работавшего за харчи и крышу над головой.

В таких условиях для того, чтобы получить степень, нужно было действительно зарекомендовать себя весьма усердным учеником. «Соискателю», то есть кандидату на получение степени бакалавра, надлежало быть не моложе четырнадцати лет, иметь на факультете официальный стаж не менее двух лет, определенный стаж посещения диспутов и принять участие в одном из них. «Соискательство» юного Франсуа де Монкорбье, включавшее несколько экзаменов, состоялось в марте 1449 года.

Экзамены не представляли большой трудности, потому что на протяжении зимы магистры уже отсеивали без лишней помпы кандидатов с чрезмерно легким багажом знаний. Как-никак учитель, встречавший своих будущих, заходивших к нему пятерками учеников, не хотел оказаться в смешном положении человека, допустившего к официальным публичным испытаниям пустоголовых абитуриентов. Так что на Великий пост в состязании за звание бакалавра участвовали лишь достаточно образованные школяры в количестве от двухсот до трехсот человек, причем половина из них принадлежала к французской нации.

При таком соблюдении регламента кандидаты должны были ежедневно в течение всего Великого поста выступать публично по программе, «аргументируя по поводу какой-либо проблемы» в присутствии нескольких регентов, то есть назначенных от каждой нации экзаменаторов. Сейчас бы мы назвали эту процедуру защитой диссертации. Точнее, облегченным вариантом защиты, потому что по времени все экзамены должны были укладываться максимум в тридцать утренних заседаний, так что каждый абитуриент трудился всего один раз, да и то не больше одного-двух часов. Экзаменатор задавал не лишенный подвоха вопрос по поводу какой-нибудь прослушанной учеником книги. В обсуждение включались и другие присутствующие, а ученик, в меру своих способностей и знаний, отвечал. Обсуждение заканчивалось голосованием.

Франсуа де Монкорбье сдал экзамены без труда и в восемнадцать лет стал бакалавром. Это означало, что он прочитал «Грецизм» и «Доктринал», сносно разобрался в латинском синтаксисе и фигурах латинской риторики, уверенно играл силлогизмами и к месту цитировал авторитетных авторов. В совокупности же он работал мало. Об этом свидетельствуют написанные двенадцатью годами позже стихи «Большого завещания».

Будь я прилежным школяром,  
Будь юность не такой шальнойю,  
Имел бы я перину, дом  
И спал с законною женою...  
О Господи, зачем весною  
От книг бежал я в кабаки?!  
Пишу я легкою рукою,  
А сердце рвется на куски...\*

После этого отнюдь не скороспелого экзамена на степень бакалавра прошло три года. И вот в конце учебного 1451/52 года, в промежутке между 4 мая и 26 августа, Вийон сдал еще один экзамен, на этот раз на степень лиценциата. Ему в ту пору, как и предписывалось правилами, уже исполнился двадцать один год. За три года он наверстал упущенное в более раннем возрасте. Отнюдь не исключено, что его действительно начинали посещать мысли о доме и о мягкой постели...

Лиценциатский экзамен — вещь серьезная. Степень присуждалась от имени всего факультета, а не только от имени одной нации, как в случае со степенью бакалавра. Здесь предполагалось гораздо большее число изученных, то есть прослушанных книг, причем существенно возрастала и их трудность: логика,

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 41. Пер. Ф. Мендельсона.

математика, астрономия, этика, метафизика были представлены основными произведениями античного наследия. Необходимо было знать Порфирия, Аристотеля, Цицерона, Боэция. Не нужно, однако, заблуждаться: читать и перечитывать их труды от кандидатов никто не требовал, достаточно было слышать, как некоторые из них читал вслух учитель. Истекшее со времени экзамена на степень бакалавра время — хотя бы один год — выглядело в глазах жюри довольно существенным признаком компетентности.

Возглавлял это состоявшееся из регентов всех наций жюри лично канцлер епархии. Епископ имел возможность продемонстрировать здесь действие единственной прерогативы, оставшейся у него после обретения корпорацией учителей автономии — то есть после образования университета, — прерогативы, состоявшей в выдаче диплома *licencia docendi*, дававшего право преподавать. Экзамен имел место в большом зале епископского дворца. В таком месте никто не ошибается.

Учителем будущего Франсуа Вийона был выпускник Наваррского коллежа по имени Жан де Конфлан. Он имел степени магистра словесных наук и лиценциата теологии и являлся регентом на факультете словесных наук, причем в ту пору он уже в четвертый раз избирался главным попечителем, то есть главой французской нации. Преимущество здесь состояло в том, что он сам представлял своего ученика. В конце сессии, которая длилась один месяц и в которой могли принять участие не больше шестнадцати кандидатов, он официально зарегистрировал Франсуа между бургундцем и неверцем, которые были учениками его коллег Перона и Бегена.

За сдачу экзаменов, естественно, приходилось платить определенную сумму, но поскольку Монкорбье был беден, факультет великодушно позволил ему заплатить самую малую из существовавших пошлин — всего два су. В то же самое время от некоего, похоже весьма состоятельного, бретонского клирика Лорана Аля потребовали целых сорок су.

Затем происходила церемония посвящения. Особую роль в ней играл сторож при французской нации. Франсуа, конечно же, не стал пренебрегать формальностью, подчеркивавшей в глазах всего университетского Парижа важность функции сторожа: тот владел ключами от всех школ своей нации, расположенных на улице Фуарр. Портить отношения с ним не стоило. Сторож препровождал нового обладателя степени как раз на улицу Фуарр. А собравшиеся там магистры восторженно уверяли вновь прибывшего, что они принимают его в свой круг. Университетская корпорация по-прежнему оставалась полновластным хозяином положения.

После этого Франсуа де Монкорбье мог «начинать». Тут он приносил присягу в присутствии ректора. Произнося слова клятвы и обещая соблюдать устав, независимый клирик, каким являлся школяр, вступал в иерархию. Без присяги степень магистра не присуждалась. Если кандидат, сдавший экзамен, не «начинал» таким вот образом, его лицензиатство ничего не стоило. То есть в этом случае его как бы «не принимали».

Каждый день принималась новая порция лиценциатов, включавшая по четыре человека от каждой нации. Вместе с ними приходили их учителя, являвшиеся свидетелями и гарантами их успехов. Ведь благодаря таким торжествам укреплялся и их собственный престиж. Жан де Конфлан произнес короткую речь в честь своего ученика Франсуа де Монкорбье, а потом торжественно вручил ему головной убор, означавший, что Франсуа стал «магистром». Магистром ему суждено было остаться навсегда.

Перед молодым магистром словесных наук открылось в тот момент несколько путей. Выбор богословия позволил бы достичь высоких почестей на левом берегу Сены. Благодаря медицине можно было снискать уважение всего города. Юриспруденция обещала надежную карьеру, сулила наиболее способным высокие посты, богатство, а то и дворянство. Однако все это достигалось ценой еще нескольких лет учебы, а Вийон был нетерпелив. Богословие потребовало бы еще двенадцати — четырнадцати лет, юриспруденция — от шести до восьми, а Вийону, молодому человеку, которому исполнился двадцать один год, который только что получил степень магистра и не загадывал вперед дальше, чем на десять лет, это казалось чересчур долгим сроком. Здесь было над чем поразмыслить.

Многие тут же пытались воспользоваться только что полученным преимуществом: степень магистра давала возможность заработать кое-какие деньги на средних этажах той или иной общественной службы, в церкви, в науке. Не иссякала потребность в священниках, владеющих латынью и способных сносно прочитать проповедь на французском языке. Школы нуждались в учителях, знающих основы педагогики и грамматики. Имела свои преимущества и работа переписчиков, поскольку в те времена никто еще не знал, что в Страсбурге в изгнании живет один майнцкий гравер и изобретает типографский шрифт, которому суждено на протяжении жизни одного поколения в корне изменить древний способ распространения человеческой мысли. В 40-е годы XV столетия читатель располагал лишь книгами, переписанными от руки, и ему не составляло труда отличить хорошую копию от плохой, искажающей текст и утомляющей глаза.

Хороший переписчик достойно зарабатывал на жизнь. Вийон об этом знал и, по-видимому, какое-то время занимался этим ремеслом. Свидетельством тому может служить одно упоминание о мифической копии «Романа о Чертовой тумбе», якобы написанного самим Вийоном, переписанного его старым другом Табари и завещанного магистру Гийому де Вийону.

Какова бы ни была роль самого Вийона в той шумной, но, похоже, бессмысленной истории с «Чертовой тумбой» и какова бы ни была его роль в историографии упомянутой им проказы, тот факт, что он говорит о ней в «Большом завещании», позволяет предположить, что год спустя после получения степени магистра Франсуа де Монкорбье охотнее участвовал в жизни будущего Латинского квартала, нежели в интеллектуальной деятельности «высших» факультетов. Наступал период рождения Франсуа Вийона.

**ОХОТНО Я ПЕРЕДАЮ МОЮ ЧАСОВНЮ  
И СУТАНУ И ПАСТВУ...**

**УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ**

Когда-то в былые времена университет претендовал на то, чтобы руководить христианским миром. Магистры — как регенты, так и школяры — изобретали реформы для всей церкви и всего французского королевства. Они выносили на голосование, следует ли повиноваться папе римскому или же обходиться без него. Они посылали своего депутата на Собор и не раз навязывали епископам точку зрения докторов-богословов. Будучи реформаторами в силу своих интеллектуальных занятий, люди университета в большинстве своем по причине своего конформизма оказались на стороне бургундцев и в результате стали союзниками англичан. Поскольку в процессе Жанны д'Арк они проявили себя с самой худшей стороны, то по возвращении Карла VII их участие в политической жизни резко сократилось, а возникновение конкурирующих центров в Лувене, Кане, Пуатье окончательно разрушило претензии парижского университета на гегемонию.

Кое-кто предпочел отойти от светской суеты, чтобы обратить свой взор к вновь возрождавшемуся после смуты гуманизму. Однако большинство с трудом находило приложение своей энергии и ждало лишь случая, чтобы выйти на авансцену парижской жизни.

В 1440 году произошел первый серьезный инцидент, где столкнулись друг с другом университетские преподаватели и люди из Шатле. Три королевских сержанта арестовали двух магистров-августинцев прямо в их резиденции, то есть там, где они пользовались территориальной неприкосновенностью. Сержантам пришлось явиться с повинной — в одних рубашках, с факелами в руках — и просить прощения у *alma mater*. Этот случай обсуждался повсеместно. Во увековечение победы университет заказал одному скульптору мемориальную статую.

Четыре года спустя магистры устроили забастовку. Случилась она из-за того, что на университет обрушился королевский фиск. Надо сказать, что аппетиты фиска непрестанно росли, и Карл VII как раз в тот момент пытался избавиться от сложившейся еще во времена Филиппа Красивого традиции получать согласие налогоплательщиков на сбор налогов. Время от времени налогом облагалось духовенство, советники Парламента, буржуазия Парижа, Лиона... А на этот раз люди короля попытались обложить налогом преподавательский состав университета.

Ректор поссорился с «избранником», то есть чиновником, возглавлявшим королевское налоговое ведомство и сохранившим от предложенной Генеральными штатами — за сто лет до описываемых событий — выборности лишь титул, гласивший: «избранник по налоговым делам». Избранник вспылил. Ректор счел себя оскорбленным. И началась забастовка, продлившаяся с 4 сентября 1444 года по 14 марта 1445 года. На этом потеряли зеваки: не было служб ни на Рождество, ни на Великий пост. Что касается безденежных школяров, к которым фиск не имел никаких претензий, их эта история, скорее всего, лишь позабавила.

Еще один скандал разразился, когда королевский прево позволил себе бросить в тюрьму нескольких школяров. За них вступились и епископ, и ректор, не столько потому, что хотели защитить их, сколько для того, чтобы отстоять собственные прерогативы. И снова возникла угроза забастовки.

Карлу VII на протяжении тридцати лет слишком часто приходилось видеть парижских магистров в лагере противников, и поэтому он их недолюбливал. А угроза забастовки, похоже, переполнила чашу его терпения. 26 марта 1446 года он окончательно изъял правосудие из компетенции ректора. С тех пор судебные дела преподавателей университета и школяров перешли в ведение Парламента, то есть в ведение королевских судей. Тем, кто грозился забастовкой, пришлось потом об этом пожалеть.

Шесть лет спустя в Париж прибыл кардинал д'Эстувиль, наделенный полномочиями папского легата. Он должен был изыскать вместе с французским королем пути к длительному миру между Англией и Францией. Ему предстояло также дать понять королю, что папа приветствовал бы отмену Прагматической санкции, превращавшей французскую церковь в одного из членов монархии. Так что он настраивался на весьма прохладный прием. В этой ситуации университет сыграл роль своего рода компенсации. Поскольку среди полномочий легата было и право осуществлять реформы в университете, королю намекну-



..., что папа использует свой авторитет, дабы помочь ему в борьбе против строптивых оппонентов. А заодно д'Эстутвиль принял участие в реабилитации Жанны д'Арк.

Король преуспел во всем. Он проявил себя несговорчивым в том, что касается Прагматической санкции, остался хозяином церкви во Франции и по-прежнему продолжал изгонять из страны англичан. А реформа университета начала осуществляться с 1 июня 1452 года. Тогда же удалось добиться реабилитации Жанны д'Арк. Реабилитация была воспринята как осуждение тех, кто в прошлом ориентировался на бургундцев. Одновременно тем из них, кто пытался диктовать свои законы на левом берегу Сены, пришлось окончательно отказаться от своих претензий.

Случившееся моментально отложилось в сознании ректора и декана трех высших факультетов. Более или менее единодушно приняли новый порядок вещей и преподаватели. Школяры же в массе своей так сразу измениться не могли. Заглушить вмиг одним указом гвалт, наполнявший изо дня в день будущий Латинский квартал, было невозможно. Хотя школяры и носили теперь на занятиях длинные мантии, как это предписывали обновленные правила, ничто не мешало им задаваться по вечерам традиционным вопросом: как убить время?

## ЧЕРТОВА ТУМБА

И вот в одно прекрасное утро Париж проснулся и узнал, что исчезла «Чертова тумба». Каменная «Чертова тумба», очевидно, имевшая характерную форму, без всякой пользы стояла на улице Мартруа Сен-Жан, на полдороге от Гревской площади к площади Сен-Жерве, то есть сразу за ратушей, в одном из самых посещаемых мест города.

К несчастью, «Чертова тумба» находилась точно перед особняком, где проживали две респектабельные персоны, известные богатством и добродетельностью: «мадемуазель» Катрин де Брюйер, вдова одного из королевских казначеев, и ее дочь Изабель, вдова распорядителя монетного двора. Изабель предпринимала меры, чтобы выйти замуж; в конечном счете она нашла удачную партию в лице самого богатого парижского менялы. Ее мамаша, напротив, держала себя в строгости. И вела тяжбы. Не пренебрегала ни одним процессом: из-за недвижимости, из-за рент, из-за казавшихся ей оскорбительными слов. А оскорблением ей казалось любое возражение. Она занималась благотворительной деятельностью, сопровождая ее уроками морали.

Катрин де Брюйер обнаружила в себе призвание: вызволять из греха заблудших девиц, за что и получила прозвище «мадемуазель». Вийон в «Большом завещании» посмеялся над этой страстью и нарисовал на нее карикатуру, вложив в ее уста забавную литанию, названную Клеманом Маро «Балладой о парижанках». «Язык Парижа всех острей» — в этой фразе заключено признание красноречия достойных столичных жительниц, неутомимых в работе и не слишком привередливых в развлечениях; их меткими репликами и криками шумел городской рынок. Вийону было прекрасно известно, что спорить с белошвейками и прядильщицами, которых можно было встретить на базаре прижавшимися к самой стене кладбища Невинноубиенных младенцев, абсолютно бесполезно. И поэтому именно туда направил он старую добродетельную женщину.

Кстати, и на кладбище тоже обитали отнюдь не одни только покойники. Девицы охотно назначали именно там любовные свидания. Вийон, несомненно, помнил об этом, когда подсмеивался, впрочем без особой злости, над девицами, на которых у него, возможно, был зуб, и проповедницами, раздражавшими его показной добродетелью.

Затем, девицу де Брюйер,  
Ханжу старинного закала,  
Оставлю сплетницам в пример,  
Чтобы она их обучала,  
Но не в церквах, не где попало,  
А на базарах, у лотков:  
Их языки острее жала.  
У них довольно смачных слов.

.....  
Идет молва на всех углах  
О языках венецианок,  
Искусных и болтливых свах,  
О говорливости миланок,  
О красноречии пизанок  
И бойких Рима дочерей...  
Но что вся слава итальянок!  
Язык Парижа всех острей\*.

Так вот, «Чертова тумба» служила своеобразным украшением подъезда особняка, где проживала «мадемуазель» де Брюйер и ее дочь. За неимением лучшего. Время от времени шутники отлучались по поводу «Чертовой тумбы» остроты. Нередко ею пользовались как табуретом разного рода болтуны, а клошарам она служила обеденным столом. Катрин де Брюйер, владевшая в Париже двумя десятками домов, стала считать этот камень

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 101 и 102. Пер. Ф. Мендельсона.

своей собственностью. В глазах всего города ее особняк был «домом «Чертовой тумбы». Когда она увидела свой дом лишившимся того, что превратилось в конце концов в нечто вроде вывески, то не замедлила рассердиться.

Тумбу вскоре нашли. Она оказалась на другой стороне реки, на маленькой улочке Мон Сент-Илер, располагавшейся рядом с «большой улицей» Сен-Жак, практически напротив церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Надо полагать, что из района Гревской площади «Чертова тумба» переместилась почти на самый холм Святой Женевиевы отнюдь не самостоятельно. Университет потешался.

«Мадемуазель» де Брюйер написала жалобу. Юстиция завела дело. Лейтенант по уголовным делам Жан Безон отправил на Мон Сент-Илер крепких сержантов, которые перенесли «Чертову тумбу» во двор Дворца правосудия, к самому входу в Парламент. После чего стали смеяться не только школяры.

Однако еще более заразительный смех охватил парижан, когда перед дверями «мадемуазель» де Брюйер появилась новая тумба. Ей вскоре дали название: «Весс». Так простолюдины называли беззвучное газопускание.

На этом, может быть, все бы и закончилось, если бы правосудие не проявило чрезмерного рвения. Во всяком случае, когда королевские службы изъявили желание заключить в тюрьму виновных в транспортировке «Чертовой тумбы», реакция университета оказалась весьма болезненной. Шутники уже видели себя у позорного столба. Угроза породила несколько трактирных заговоров, подхлестнула воображение уличных ораторов.

И вот однажды ночью свершилось непоправимое: обе тумбы вдруг оказались на улице Мон Сент-Илер. Школяры, используя в качестве рычагов строительные стропила, вскрыли решетку забора Дворца правосудия. Потом пригрозили убить попытавшегося было дать сигнал тревоги привратника. И наконец завладели стоявшей во дворе «Чертовой тумбой». А затем направились на правый берег Сены за «Вессом», новым приобретением «мадемуазель» Катрин де Брюйер. Все парижане корчились от смеха, — все, за исключением королевских законников, решивших, что правосудию нанесено оскорбление.

Воодушевившиеся школяры попытались также присвоить вывеску «Свинья за рукодельем». Однако приставленная лестница оказалась слишком короткой. Исполнитель замысла сломал себе позвоночник. Об этой смерти старались не распространяться.

А вот на холме Святой Женевьевы, напротив, наступили веселые дни. Оба монолита зафиксировали железными скобами, которые в свою очередь прикрепили с помощью гипса к стене. Перед трофеями плясали всем кварталом. Приходили и из других кварталов полюбоваться на «Чертову тумбу» и ее отпрыска «Весса». Устраивались настоящие экскурсии. Из рук в руки переходили кувшины красного вина. Немало девиц лишилось по этому случаю невинности.

Возник обычай по воскресеньям и праздникам украшать «Чертову тумбу» цветами. Большим спросом стали пользоваться венки из цветов, которыми парижане украшали себя в дни веселья. Именитые граждане, обладавшие достаточным присутствием духа, чтобы отважиться пойти на улицу Мон Сент-Илер, должны были торжественно клясться, что с уважением относятся к привилегиям «Весса». Комедия порой начинала походить на фронду.

Прево Робер д'Эстутвиль рискнул провести пробу сил. 6 декабря 1452 года он явился со своими сержантами и осадил холм Святой Женевьевы.

Школяры заняли оборону в принадлежавшем мэтру Анри Брескье доме, на фасаде которого красовалось изображение святого Стефана, а прево расположил свой командный пункт в двух шагах от них, в доме адвоката Водетара. Сержанты под командованием лейтенанта Жана Безона выевободили «Чертову тумбу» и «Весса». А затем погрузили камни преткновения в повозку и увезли. После чего Эстутвиль отдал приказ о наступлении.

Дверь дома, на котором красовалась вывеска с изображением святого Стефана, взломали. Школяров сначала отлупили, а потом арестовали. Законоведы из Шатле радостно воспользовались долгожданной оказией, дабы обрушиться на университетские привилегии и вольности: они обыскали дома, обнаружили несколько только что похищенных шутниками вывесок, равно как и крюки находившейся на улице Сент-Женевьев мясной лавки, неожиданно пропавшие накануне. Нашли и оружие: несколько кинжалов и небольшую кулеврину. Эта находка побудила Робера д'Эстутвиля вскрыть нарыв: он моментально организовал обыски в нескольких домах, посещаемых наиболее активными студентами, в частности в доме «Образ святого Николая» и в особняке Кокреля.

Люди прево не слишком церемонились. В доме «Образ святого Николая» они арестовали «вооруженную» женщину: на ее беду, она резала в тот момент овощи для супа. А одного раскрившегося мальчишку увели как бунтовщика.

Воспользовавшись случаем, сержанты грабили посещаемые дома. Тащили все: простыни с постелей, подбитые мехом плащи, оловянную посуду. Брескье лишился своих книг по грамматике.

Любители пользовались случаем, чтобы бесплатно попить в подвале вина. К этому времени как раз уже прибыло вино нового урожая.

Сержанты навели на университетский квартал ужас, но магистры быстро пришли в себя. Было организовано расследование. 9 мая на генеральной ассамблее доложили, что парижский прево пограл привилегии университета. В подтверждение обвинения перечислили арестованных студентов: оказалось человек сорок. Депутаты составили делегацию уполномоченных представителей и направили ее к прево, в дом на улице Жуи, что тянулась вверх от Гревской площади. Робер д'Эстувиль был не дурак. Он выслушал длинную речь магистра богословия Жана Ю, завершившуюся словами о том, что арест невиновных представляет собой злоупотребление властью. Потом, видя, что иначе ему не выкрутиться, приказал выпустить арестованных студентов.

Страсти накалились. Школяры, сопровождавшие делегацию и ждавшие результатов на улице Сент-Антуан, устроили освобожденным товарищам настоящее чествование. И тут совсем некстати появилась направляющаяся к дому прево группа сержантов. Их встретили улюлюканьем. Сержанты притворились, что продолжают свой путь, но, едва миновав толпу студентов, развернулись и напали на них сзади. Студенты, желавшие продемонстрировать мирные намерения, пришли без оружия. И оказались в весьма тяжелом положении. Пришлось спасаться бегством.

Сочувствующие горожане открыли свои двери и спрятали несколько студентов. Зато многие другие, с раздражением вспоминавшие о беспорядках, встретили беглецов ударами лопат и дубинок.

В результате столкновений один человек погиб — юный юрист, отличавшийся прекрасной успеваемостью и не замеченный ни в каких порочащих его связях. Очевидно, он полагал, что примерное поведение гарантирует от побоев... Многие были ранены; их перебинтовали оказавшиеся в том квартале цирюльники, и они потихоньку вернулись домой.

Один человек угрожал самому ректору и собирался силой отвести его к прево. «Иду», — сказал ректор и таким образом выкрутился из положения.

Поскольку имело место убийство, университет начал забастовку и подал жалобу. Робер д'Эстувиль сказался больным.

Однако ректор добился, чтобы провели расследование. Лейтенанта по уголовным делам Жана Безона уволили. Человеку, грозившему ректору, отрубили кисть руки. Короче, людям из Шатле пришлось целый год просить прощения у магистров и школяров.

Не приходится сомневаться, что Франсуа Вийон участвовал во всех этих важных событиях, связанных с университетом. В противном случае он был бы единственным человеком, оказавшимся в стороне от шума, смеха и потасовок. К тому же «Чертова тумба» приземлилась как раз около церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Позднее, упоминая в «Большом завещании» славного магистра Гийома де Вийона, он оставил ему в дар «Роман о «Чертовой тумбе», о котором нам ничего не известно и которого, возможно, никогда не писал.

## НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ

Ценность этого дара, естественно, весьма невелика. А вот что касается столь же иронично отказанных в завещании надежд на духовный сан, то они наводят на мысль, что поэт не сразу отверг карьеру священнослужителя и, хоть и взялся излагать в стихах рассказ о затынувшемся фарсе, все же всерьез искал и иные пути к известности. Вийон потратил несколько лет на то, чтобы выглядеть в глазах окружающих не просто бывшим школяром. При этом в момент получения в 1452 году степени магистра он еще мог питать кое-какие надежды.

Однако же гораздо легче фигурировать в списках людей, имеющих на что-то право, чем получить реальный доход с церковного имущества, обзавестись должностью каноника или капеллана, особенно когда речь идет о клирике, не являвшемся священником. К тому времени вопрос о распределении духовных мест и бенефициев волновал уже добрый десяток поколений клириков. До крупных соборов XV века между собой вступали в противоречие древние права тех, кто обычно распределял места — епископов и вельмож — и права, мало-помалу узурпированные ненасытным папским престолом. А к XV веку сформировалась еще одна крупная «группа давления», представленная университетским корпусом, постоянно разраставшимся и оттого вынужденным искать все новые источники доходов. В конце концов в дело вмешался король, как для того, чтобы ограничить роль папы внутри королевства, так и для того, чтобы завладеть превосходным средством оплаты приверженности и услуг. Должности епископа и архидьякона

раздавались председателям, советникам, разного рода клиентам. Многие служители короля как бы довольствовались скромным содержанием и пособиями «на одежду», выплачиваемыми ежегодно, тогда как в действительности милостью короля получали весьма приличные доходы, скажем, каноника или кюре.

Вийону было всего семь лет, когда в мае 1438 года собравшейся в Бурже ассамблее французского духовенства пришлось по поручению короля вернуться к решениям Базельского собора, где весьма отчетливо прозвучал голос представителей университетов. Результатом обсуждения стал обнаруженный 7 июля текст, принявший суверенную форму королевского указа и получивший название Прагматической санкции. Король попросту утвердил, слегка подправив, решения собора. Если иметь в виду практическую сторону дела, то он сделал их реально осуществимыми. А что касается принципов, то здесь он утверждал свое право на законодательство во французской церкви. И тем самым отвергал право папы и собора руководить духовенством напрямую.

Впоследствии, четырнадцать лет спустя, папа предпринял ответные действия. Однако что из этого вышло, мы видели на примере неудачной миссии кардинала д'Эстутвиля.

Организаторы Базельского собора решили, что епископы будут избираться церковными капитулами, а на низшие должности назначение будет производиться теми, кто это делал и прежде, то есть, по ситуации, епископом либо аббатом, королем либо местным феодалом. В пользу лиц, имеющих ту или иную университетскую степень, выделялась одна треть церковных должностей, а также все должности приходских священников в пределах обнесенных стенами городов. Ассамблея в Бурже пошла еще дальше: она выделила две трети должностей университетам, которые предлагали своих кандидатов распорядителям духовных мест.

Стало быть, Вийон одно время жил великой иллюзией. Доходы церкви — магистрам! Наконец-то для изголодавшихся школяров наступала пора реванша. Университеты уже начали было составлять список будущих владельцев духовных должностей, длина которого сразу же выявила, что спрос значительно превышает количество вакантных мест. Многие из выпускников, «назначенных», то есть получивших соответствующее письмо в адрес того или иного распорядителя духовных мест, обнаружили, что будущий начальник не имеет в данный момент абсолютно ничего такого, что он мог бы предложить простым магистрам словесных наук. Их звание досталось им не за великие таланты, но и проку от него тоже никакого не

было. Назначения, как и университетские степени, были всего лишь фикцией, несмотря на то, что письма-назначения запечатывались большой печатью университета и торжественно вручались в церкви Святого Матюрена. Вийон довольно скоро убедился в иллюзорности своих надежд и легко с ними расстался, завещав все двум старым судьям-каноникам, имевшим хорошие доходы, известным богатством, влиянием и наглостью:

Затем ученый титул мой,  
Что мне присвоила Сорбонна,  
Оставляю с легкою душой  
Двум школярам необученным, —  
Пусть помнят доброту Вийона!  
Поддержит их подарок сей:  
Бедняги бродят по притонам  
Голее дождевых червей.

Зовут их мэтр Котэн Гийом  
И мэтр Тибо Витри. Отныне  
Пусть благоденствуют вдвоем,  
Молитвы шепчут по-латыни...\*

Подарок Вийона выглядит столь же карикатурно, как и юридическое толкование его волеизъявления, это детализированное разъяснение сущности завещания. Те, кого он якобы хотел спасти от злосчастий, являлись богатыми канониками Собора Парижской Богоматери, то есть закоренелыми врагами его покровителей из церкви Святого Бенедикта. Ссоры друзей Франсуа неизменно становились его собственными ссорами.

Что же касается собственного доходного места, то он упомянул о нем в «Большом завещании», когда перечислял благочестивые заведения, обеспечивавшие безбедное существование удачливым каноникам и капелланам. Как мы обнаруживаем при чтении текста, его часовня отнюдь не предназначалась для пышных ежегодных месс с четырьмя певчими, двадцатью четырьмя свечами и с полной корзиной освященного хлеба.

А часовому Капеллану  
Охотно я передаю  
Мою часовню и сутану  
И паству тошую мою;  
Но если б мог, не утаю,  
Я исповедовал бы сам —  
Чтоб каждая была в раю —  
Служанок и прелестных дам\*\*.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 28. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 118.



В той часовне справлялись лишь так называемые «сухие мессы», на которых присутствие священника было не обязательно. Там читались тексты, но не было ни священнодействия, ни причастия. А раз так, то славному и, похоже, отнюдь не стремившемуся обременить себя церковными службами Капеллану, имя которого словно специально было изобретено для каламбура, так никогда и не представилась возможность отведать сладкого церковного вина.

В галерее тех, кого с горькой усмешкой вспоминает мэтр Франсуа, фигурирует и такой персонаж, как распорядитель духовных мест. Обычно это либо крупный вельможа, либо вельможный епископ, от которого зависело, чтобы назначение на роль превратилось в оплаченное звонкой монетой исполнение реально полученной роли. Вийон оказался обреченным на бессрочное ожидание, и не случайно в своих стихах он вспоминает об оставшихся без ответа прошениях. Иметь головной убор магистра — одно, но, чтобы извлечь из него какую-то пользу, нужно было не раз и не два обратиться с письменной просьбой к распорядителю духовных мест. И вот, притворяясь, что просит за более богатого, чем он сам, человека, Вийон вспоминает свои безответные письма.

А я пока что напишу  
Письмо коллеге-казначею,  
Взять на хлеба их попрошу:  
Ведь нету школяров беднее!\*

#### ПРИМЕРЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ, ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ ПОРЫВЫ, РАЗОЧАРОВАНИЯ

Вспоминая в 1461 году всю свою жизнь, свои честолюбивые порывы и разочарования, Вийон отчетливо видел перед собой их воплощения, существовавшие в реальном мире. Рискую ввести читателя в заблуждение, он перечислял великих мира сего, который мог бы быть и его миром тоже, перечислял так, словно это были его приятели. Он ввел в заблуждение критиков, которые на протяжении нескольких веков изображали Вийона в виде некоего двуликого персонажа, днем посещающего аристократические особняки, а ночью явшающегося с ворами. Впрочем, имена богачей и выскочек фигурируют в его стихах отнюдь не ради словесной игры. Они являются негативом автопортрета.

Развертывая фабулу «Завещания», Вийон назначил для это-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 93. Пер. Ф. Мендельсона.

го завешания душеприказчиков, точь-в-точь как это сделал бы какой-нибудь буржуа, способный оставить после себя имущество и надеявшийся привлечь на свои похороны публику. Любой буржуа понимал, что самыми надежными душеприказчиками являются самые именитые из близких знакомых. Накануне описываемых событий Робер Може назначил своими душеприказчиками помимо жены ни много ни мало пять парламентских советников вкупе с кармелитским монахом, дабы тот проследил за выполнением пунктов, относящихся к благочестию. Нотариус и секретарь Николя де л'Эспуас выбрал четырех магистров, двое из которых были адвокатами. Прокурор Жан Сулас взял в душеприказчики семь магистров, и все они являлись либо адвокатами, либо прокурорами. Богатейший итальянский купец Дино Рапонди, поставщик авиньонских пап и герцога Бургундии, составляя в Париже завешание, по которому без всякого стеснения отказывал по шестнадцать су королю и епископу, по тридцать два су своему священнику и капелланам, по восемь ливров беднякам и нескольким выбранным им церквам, назначил душеприказчиками трех своих братьев, одного клирика и одного адвоката, а также десятерых итальянских торговцев, самых богатых во всем Париже «ломбардцев».

Сомневаться, следовательно, не приходится: душеприказчиков каждый выбирал по своему образу и подобию. Ну а что касается Вийона, то, называя своих, он просто фантазировал. Те, кого он назначил, не были ни его хорошими знакомыми, ни людьми, оказавшимися на его пути в злосчастную пору и вызвавшими его неприязнь, трансформировавшуюся в иронические дары. Речь идет об именитых людях, какими их представлял себе Вийон. Шесть фиктивных душеприказчиков фиктивного завешания олицетворяли успех, в котором жизнь отказала магистру Франсуа де Монкорбье. Их судьба — это не что иное, как судьба, к которой бедный школяр Вийон более или менее сознательно стремился и которая ему не удалась.

Не полагаясь на удачу,  
Чтоб локти после не кусать,  
Я исполнителей назначу,  
Которым можно доверять.  
Не им на Господа роптать —  
Они богаты, нет сомненья!  
Хочу заранее назвать  
Тех, кто оплатит погребень\*.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 122. Пер. Ф. Мендельсона.

Строго говоря, можно было назначить всего троих душеприказчиков, и поэт их называет: лейтенанта по уголовным делам Мартена Бельфе, председателя кассационного суда Коломбеля и некоего Жувенеля... Троих, то есть необходимый минимум. Однако предусмотрительный Вийон — кто бы мог догадаться о таких его качествах? — назначил также и троих заместителей.

Вот первый — мэтр Бельфе Мартин,  
Судья известный, мастер плети;  
Сир Коломбель — еще один;  
А кто еще? Кто будет третий?  
Пусть на себя заботы эти  
Возьмет и Жувенель Мишель, —  
Они втроем за все в ответе!  
Я свято верил в них досель\*.

Лейтенант по уголовным делам при парижском прево — это председатель одного из двух судов — гражданского или уголовного, — составлявших вместе судебное ведомство Шатле. По существу, он являлся главным королевским судьей по Парижу. Мартен Бельфе получил образование в университетах Парижа и Орлеана, имел степень лиценциата по гражданскому и каноническому праву, или, как говорили, степень лиценциата «in utroque», то есть «по обоим». В конце концов, продвигаясь по служебной лестнице законовещения, судья Мартен Бельфе оказался в Парламенте и разбогател настолько, что купил поместье в Ферьере в графстве Бри. Столь же богат был и председатель кассационного суда в Парламенте Гийом Коломбель. Что же касается Мишеля Жувенеля, то это был пятнадцатый сын Жана Жувенеля, того самого Жувенеля, который восстанавливал права города Парижа во времена Карла VI.

Для всех жителей столицы фамилия Жувенель звучала как фамилия человека, возвратившего Парижу честь и благосостояние, серьезно скомпрометированные в 1382 году в так называемом «деле Майотенов». В 1461 году, когда Вийон составлял свое «Завешание», Жан Жувенель уже успел войти в почти мифологическую галерею парижских знаменитостей. Умер он в апреле 1431 года в должности председателя парламента, восстановленного в Пуатье Карлом VII. В глазах политиков он выглядел эталоном верности. Буржуазия смотрела на него как на пример доблестной непреклонности на службе гражданского мира. Для юристов он навсегда остался великим адвокатом, приехавшим в столицу из Труа и сделавшим там блестящую карьеру, адвокатом, ставшим главным юрисконсультутом Карла VI и добившимся восстановления Парламента. В сознании всех па-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 122. Пер. Ф. Мендельсона.

рижан Жан Жувенель остался первым купеческим старшиной послекризисной эпохи, человеком, который, будучи креатурой королевского правительства, сумел стать человеком Города и примирить власть и автономию.

Вийону не довелось быть знакомым с самым великим из Жувенелей. Возможно, правда, что ему доводилось видеть его вдову Мишель де Витри, скончавшуюся в Париже 12 июня 1456 года, в пору, когда мэтр Франсуа уже прожил бо́льшую часть своей парижской жизни.

Так или иначе, но в 1461 году, когда Мишель Жувенель неожиданно-негаданно стал душеприказчиком некоего нищего шалолая, его семья была одной из самых знаменитых во Франции. Всего одно поколение сменило того юного преуспевающего юриста, а результаты были впечатляющи.

Жан Жувенель, адвокат, получивший титул барона, имел шестнадцать детей, из любви ко всему латинскому превратившихся в Ювеналов и благодаря дерзкому приобретению воображаемого поместья Юрсен породнившихся с римской аристократической семьей Орсини. Второй из этих отпрысков, Жан Жувенель дез Юрсен, в 1461 году занимал должность архиепископа Реймса; он написал историю правления Карла VI. Он же позволил себе сделать выговор Карлу VII в Генеральных штатах. А в 1461 году короновал Людовика XI. Не менее известен был и второй из детей Жана Жувенеля, кавалер Гийом Жувенель. С 1425 года он являлся советником в парламенте Пуатье, а впоследствии стал канцлером Франции. Похоронили его в Соборе Парижской Богородицы. Что же касается его брата Жака, шестнадцатого отпрыска бывшего купеческого старшины, то он, побывав архиепископом в Реймсе еще до Жана, стал затем патриархом Антиохийским, хотя и без епархии, но одним из первых лиц в католической церкви. Во времена авиньонских пап он имел бы все шансы стать папой.

Тогда почему же вдруг Мишель? Почему Вийон лишил себя удовольствия обременить обязанностями душеприказчика канцлера или, например, архиепископа? Потому, что у него была одна-единственная цель: назвать любое знаменитое имя. Родившийся в восемь часов вечера во вторник 15 января 1401 года — его отец скрупулезно регистрировал все даты рождений и крещений, — Мишель Жувенель был на три десятка лет старше Франсуа де Монкорбье. Совершенно исключено, чтобы их пути могли пересечься во времена учебы. А с 1456 года Жувенель занимал пост судьи в Труа. Весьма маловероятно, чтобы Вийон близко знал этого королевского чиновника, брата двух архиепископов, как, впрочем, и других своих душеприказчиков.

Однако, назначая именитых людей, дабы они проследили за исполнением его завещания, поэт шутил лишь наполовину. Он включился в свою собственную игру. Ему пришла на ум фамилия: Жувенель. У каждого студента в подсознании рождаются порой самые безумные честолюбивые планы. Но вот что касается имени, которое назвал псевдозавещатель, то оно принадлежало человеку, которым мог бы стать и сам Вийон. Архиепископ, патриарх, канцлер — это все судьбы исключительные. Тогда как судейский королевский чиновник — вполне реальная профессия, вполне доступная карьера.

Вийон выдал здесь свое разочарование. Все три его душеприказчика — магистры. Бывшие школяры, юристы, королевские чиновники, они не фигурировали среди знаменитостей, но в то же время им не грозила полная безвестность. Положение защищало их от ударов судьбы, как от тех, что получают, так и от тех, что приходится наносить. Оно защищало их также и от искушений, рождаемых нищетой и неуверенностью в завтрашнем дне. Бельфе, Коломбель и Жувенель — это как раз те люди, которые служили примером маленькому секретарю магистра Гийома де Вийона.

Однако рано или поздно с мечтами приходится расставаться. Франсуа не тот человек, на котором подобные именитые граждане, компетентные правоведаы и почтенные собственники должны были бы остановить свой внимательный взгляд. Поэтому он спускается на землю, хотя творческое воображение и продолжает работать. Но вдохновение не длится вечно. Нужно как-то закончить повествование. И тогда Вийон назначает заместителей. Это честные и порядочные люди, которые приложат все силы, чтобы выполнить условия завещания и организовать похороны; некий мелкий дворянин, богатый не столько доходами, сколько спесью, содержатель публичного дома — короче, хорошо известные Вийону люди. Похоже, ему не в чем их упрекнуть. Он их попросту презирает.

Но коль откажут в просьбе сей  
Корысти мелочной в угоду,  
Я попрошу моих друзей,  
Из тех, что познатнее родом,  
Взять на себя мои расходы.  
Филипп Брюнель подаст пример,  
За ним, из нашего прихода,  
Мэтр благородный Жак Рагьер,  
А третьим будет Жам Жако.  
У всех троих достатка много,  
И раскошелятся легко,  
Страшась всевидящего Бога.  
Ведь лучше не сыскать предлога,  
Чтоб место обрести в раю!\*

Филипп Брюнель де Гриньи был известен в Шатле главным образом своими ссорами и процессами. В «Завещании» от 1456 года Вийон оставил ему два развалившихся замка недалеко от Парижа, в том числе замок Бисетр, который при герцоге Жане де Берри, за полвека до описываемых событий, был хорошо известен. Вийон не обходит вниманием и его противника. Все намеки, содержащиеся в стихах, более чем прозрачны, как в случае с де Гриньи, так и в том, что касается даров Жаку Рагье, которому поэт завещал на Сене вверх от Сен-Жермен-л'Осеруа водопой для лошадей.

Затем получит де Гриньи  
 Бисетра замок укрепленный,  
 Шесть псов — не то, что Монтины! —  
 И башню славную Нижона,  
 Чтоб в ней укрыться от Мутона,  
 Грозящего ему судом,  
 Ну а Мутона в честь закона  
 Пускай попотчуют кнутом!

А водопой Полэн я дам  
 Рагьеру Жаку. Пусть напьется  
 Сей пьяница хотя бы там  
 И о закуске не печется —  
 В харчевне «Шишка» все найдется:  
 Крельчишка, груши, стол, кровать,  
 И для гостей очаг зажжется, —  
 Там можно славно пировать!\*\*\*

Третьим душеприказчиком-заместителем выбран Жам, хозяин бань, которые располагались в доме с вывеской «Образ святого Мартена», пользовавшемся дурной славой на улице Гарнье Сен-Ладр — превратившейся потом в улицу Гренье Сен-Лазар, — где справлялись весьма своеобразные свадьбы. Жаму по наследству достался в том же квартале и еще один богатый дом с вывеской «Свинья», выходящей на улицу Бобур. Он перешел к нему от отца Жана Жама, «распорядителя сооружений и хранителя фонтанов города», то есть главного архитектора Парижа.

Стало быть, Вийон в момент, когда у него закралось сомнение относительно действительно именитых горожан парижского общества, своим третьим душеприказчиком назначил богача, стяжателя и сводника. Хотя, упоминая о нем впервые, поэт и называет его порядочным человеком, но иллюзий на его счет у него нет и завещает он ему... право на разврат. Трех первых душеприказчиков от их трех заместителей отделяет крушение надежд на достойную жизнь.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 123. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 25.

А скареднику Жаку Жаму,  
Кто даже спать привык с мощной,  
В невесты дам любую даму!  
Но все равно ему женой  
Она не станет; так на кой  
Же черт он копит деньги с детства?  
Умрет, как жил, свинья свиной,  
И к свиньям перейдет наследство\*.

Франсуа де Монкорбье одно время хорошо представлял себе путь удовлетворения честолюбивых замыслов и надежд. Вместе с некоторыми другими он даже прошел небольшой отрезок этого пути. Он мог бы быть Мишелем Жувенелем или Мартемом Бельфе. Однако для него этот путь оборвался по окончании факультета словесных наук. Степень лицензиата «in utroque», должность правоведа или городского чиновника, епанча с подбитым беличьим мехом капюшоном преподававших в университете магистров, небольшие денежные поступления и обеспечивавшийся на гражданской службе средний достаток — все это он видел со стороны, но это было не для него. Со стороны он мог отождествлять те или иные имена с различными своими представлениями о карьере. Он мог бы оказаться в компании магистров, поднявшихся в чинах. Однако оказался в компании оборванцев.

В том возрасте, когда приходит первая любовь, судьбы тех и других перекрещиваются. Они вместе проказничали, вместе ухаживали за девушками. Вместе блистали, говорили, пели. Прошло время. И к моменту написания «Большого завещания» остались лишь мертвые и живые, богатые и бедные, а также монахи... То есть каждый оказался при своей судьбе. И этим все сказано.

Где щеголи минувших дней,  
С кем пировал я в кабаках,  
Кто пел и пил и был смелей  
Других в сужденьях и делах?  
Они мертвы! Холодный прах  
Забыв людьми и взят могилой.  
Спят крепко мертвецы в гробах,  
О Господи, живых помилуй!  
Из тех, кто жив, одни в чинах —  
Мошна тугая, чести много, —  
Другие — в продранных штанах  
Объедков просят у порога,  
А третьи прославляют Бога,  
Под рясами жирок тая,  
И во Христе живут не строго, —  
Судьба у каждого своя\*.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 117. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 42 — 43.

**ВСЁ, ВСЁ У ДЕВОК И В ТАВЕРНАХ...**

ВОСКРЕСЕНЬЯ И ПРАЗДНИКИ

Школяром Франсуа де Монкорбье был неважнецким. За три года к степени магистра свободных искусств, увенчавшей его среднее образование, он не присовокупил больше ни одной университетской степени. Он был клириком, не имевшим работы и не отличавшимся честолюбием. Нрав имел мирный, и, пожалуй, единственным его пороком была легкая склонность к озорству. В письмах о помиловании с него снимается обвинение в совершенном в 1456 году преступлении против Филиппа Сермуаза, в них создан такой портрет Вийона, где тшетно было бы пытаться разглядеть черты того шалопая, что известен нам по следующему периоду его жизни. В четверг 5 июня 1455 года, в праздник Тела Господня, когда на Париж опустились вечерние сумерки, «мэтр» Франсуа де Лож, он же де Вийон, «двадцати шести лет от роду или около того», еще был человеком, который «вел себя достойно и честно и никогда не был уличен, взят под стражу и осужден ни за какое иное злое деяние, хулу или оскорбление». Де Лож — всего лишь прозвище, но нам хорошо известно, как в середине XV века у людей появлялись те или иные фамилии. Несколько позднее Вийон признался, что ко времени совершения преступления ему исполнилось не двадцать шесть, а двадцать четыре года.

Стало быть, в тот мирный вечер бывший студент спокойно прогуливался, не вынашивая никаких дурных помыслов. Праздник Тела Господня был тогда одним из бесчисленных выходных дней, когда не работали ни суды, ни факультеты, закрывались на замок мастерские и лавочки. Помимо воскресений, праздников «подвижного цикла», высчитывавшихся по отношению к Пасхе, были еще и праздники «постоянного цикла», закрепленные за определенными датами, в соответствии с особым для каждой епархии ритуалом.

В праздник можно было отдыхать и свободно распоряжать-



ся своим временем, его проводили в кругу семьи или среди друзей, в церкви или таверне. Однако одновременно праздники ассоциировались и с утратами, поскольку работа в эти дни не продвигалась. Поденному работнику это было хорошо известно, как, впрочем, и всем ремесленникам, получавшим плату за готовое изделие; праздники стоили дорого, и многие предпочли бы, чтобы число их уменьшилось. Что же касается школьников, то они почти ничего не теряли, прекрасно обходились без положенных комментированных чтений, а если и сожалели о пропущенных уроках, то компенсировали их слушанием проповеди.

Каждое время года имело свои праздники, причем нередко традиция сообщала им оригинальные, более глубокие черты. Самым впечатляющим действием были костры на праздник святого Иоанна, а также поиски чудодейственных целебных трав, которые, если сорвать их накануне и носить на себе в день святого Иоанна, помогают излечивать многие болезни. Ну а праздник Тела Господня с рассыпанными всюду лепестками цветов и временными алтарями, предоставлявшими буржуазии возможность продемонстрировать ради Святых Таин свои ковры, был и ритуалом и народным гуляньем одновременно, но главным в том празднике был крестный ход, подобно тому как Рождество — прежде всего полуночная месса. В уставе коллежа Юбана уточнялось:

«Во время праздника Тела Господня дети должны нести перед изображением Господа нашего Иисуса Христа свечи из свежего воска в четверть фунта каждая».

Мы нисколько не погрешим против истины, если скажем, что праздников в году было не меньше, чем воскресений. В январе парижане отмечали Крещение, которое тогда называли Богоявлением и которое превращалось в грандиозный карнавал. Маскарадные шуты надолго заставляли забыть о волхвах. На Крещение, 6 января, завершалась украшавшая середину зимы вереница праздников, начинавшихся Рождеством и продолжавшихся днем Избиения младенцев и Обрезания. В тот день «выводили волхвов», носили свинцовые короны, ели пирожные, танцевали. Причем это отнюдь не мешало парижанам отмечать 3 января праздник святой Женевиевы, 13 января чествовать святых Фреминия и Гилярия, 15 января святого Маврикия, 22 января святого Винцента и 25 января святого Павла.

Февраль открывался праздником Сретения Господня. В этот день, 2 февраля, святители свечи, организовывали игры.

Перед публикой выступали менестрели. Потом делался перерыв до дня святого Дионисия, который праздновался 24 февраля.

Потом наступал Великий пост. Не полагалось работать в первую среду поста, в так называемую среду поклонения Мощам, да и накануне, во вторник, тоже никто не перетруждался, потому что вторник был последним днем Масленицы. А на следующее воскресенье жгли соломенные факелы, так называемые «брандоны». За исключением дня покаяния, каковым являлась среда поклонения Мощам, в марте был еще всего лишь один нерабочий день: Благовещение, приходившееся на 25-е число. Правда, все компенсировала Страстная неделя с ее чередой литургий и праздников: Великий четверг, Страстная пятница, Страстная суббота и до следующего четверга шли дни Пасхи. По существу, Пасха, или Светлая неделя, длилась почти целых две недели, до самого Фомина воскресенья, и в течение этих двух недель благочестие непрерывно чередовалось с весельем. «Короткая проповедь и длинный стол» — такое определение пасхальных торжеств давал в XIII веке сам Робер де Сорбон. Пасхальные лепешки были непременным атрибутом праздника. Их воспел в стихах Эташ Дешан. Однако лепешками дело не кончалось: специально по этому случаю на улице Косонри готовили телячий паштет.

В следующем месяце приходившиеся на 1 мая праздник святых Иакова и Филиппа, на 6-е праздник святого Иоанна Евангелиста и на 13-е — святого Георгия как бы готовили людей к Вознесению. Вознесение, отмечавшееся через сорок дней после Пасхи, подводило черту под собственно пасхальными торжествами. В мае прекращали инсценировки «Страстей». Устраивали праздник девушек на выданье, сажали «майское деревце», причем зачастую как раз 1 мая, и пользовались этим предлогом для того, чтобы организовать увеселительные прогулки на лоне природы. Карл Орлеанский запечатлел этот обычай в стихах:

Душа наскучила томиться,  
То скорбью исходя, то гневом.  
Пора встряхнуться, пробудиться  
И, чтя обычай, милый девам,  
Отправиться за майским дровом  
В прозрачную лесную сень,  
Где птицы радостным напевом  
Встречают первый майский день\*.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

Через десять дней после Вознесения шла Пятидесятница с ее тремя выходными. Затем в воскресенье отмечали Троицын день. А на следующей неделе в четверг наступала очередь праздника Тела Господня.

11 июня по календарю значился день святого Варнавы, и так вот незаметно приближалось празднество, связанное с открытием ежегодной ярмарки Ланди. Ланди — не просто ярмарка, собиравшая по крайней мере на три недели на равнине святого Дионисия торговцев, прибывших из многих областей королевства. Ланди — всепарижский праздник. Открытие ярмарки заставляло на время закрывать лавочки в городе. Ну а те, кому было нечего продавать и кто не мог ничего купить, все равно отправлялись на ярмарку, хотя бы просто для того, чтобы поглазеть, как продают и покупают другие. Вряд ли стоит уточнять, как много на ярмарке ели и пили.

12 июня там открывалась специальная ярмарка пергамента, куда ректор и школяры направлялись торжественным строем с возглавлявшими процессию жезлоносцами. Важно восседавший на муле ректор был облачен в мантию. Его кортеж походил одновременно и на крестный ход, и на фарандолу. Выставленные кожи внимательно рассматривались. Ректор в первую очередь отбирал пергаменты для дипломов, вручаемых студентам следующего выпуска. Потом школяры напивались, а учителя исчезали. И начинался всеобщий беспорядок.

Приходившиеся на 24 и 29 июня праздник Иоанна Крестителя и праздник святых Петра и Павла завершали список выходных дней первого летнего месяца, вероятно, являвшегося для парижан самым праздным из всех месяцев года. Рабочие дни в июне были длинные, но зато редкие.

Все менялось, как только заканчивались торжества «подвижного цикла». Щедростью на праздники следующий месяц не отличался: только святая Магдалина 22 июля и святой Герман, который отмечался 31-го. Последний летний месяц выглядел в этом отношении побогаче: день святого Петра отмечался 1 августа, святого Стефана — 3-го, святого Лаврентия — 10-го, 15 августа следовало Успение Пресвятой Богородицы, 24-го — день святого Варфоломея, 25-го — Людовика и, наконец, 29-го — день усекновения главы Иоанна Крестителя. В сентябре тоже что ни неделя, то праздник: 1-го — день святых Льва и Жилия, 8-го — Рождество Богородицы, 14-го — праздник Святого Креста, 21-го — святого Матфея, а 29-го — святого Михаила. Такой же ритм поддерживался и в октябре, где следовали друг за другом день святого Ремигия — 1 октября, святого Дионисия — 9 октября, святого Луки — 18-го и Симона и Иуды — 28-го.

За праздником Всех Святых и днем Поминовения Усопших 1 и 2 ноября следовал день святого Марсилия, отмечающийся 3-го. Скульптурное изображение выпрямившегося во весь рост святого епископа, находящееся в простенке правого портала Собора Парижской Богоматери, и его лицо были хорошо знакомы школярам. Его день широко отмечался, хотя и не столь пышно, как день святого Мартина. Праздник последнего, приходившийся на 11 ноября, был для виноградарей и виноделов — а их в Париже и в округе насчитывалось немало — столь же важным событием, как 15 августа для хлеборобов, то есть завершением работ и началом получения заработанного. Вместе с приходившимися на 25 и 30 ноября праздниками святой Катерины и святого Андрея последний осенний месяц тоже удваивал количество выходных.

Ну а там уже не за горами было и Рождество. Говорить о нем начинали за четыре воскресенья, как только наступал Рождественский пост. Однако предвкушение и подготовка к Рождеству не мешали отметить между делом 6 декабря праздник святого Николая, 8-го — Введения во храм, и 21-го — святого Фомы.

Подобно всем большим праздникам, Рождество начиналось загодя, еще накануне. Тщетно пытались епископы напомнить, что «всеношное бдение» нужно для того, чтобы подготовить души к таинству, и что следует неукоснительно соблюдать пост. К празднику народ готовился, празднуя. На улицах устраивались игры, всюду слышались песни. Потом шли на ночную мессу, а зачастую также и на несколько дневных месс. Со временем рождественский ужин превратился в главное событие ночного торжества. В центре стола занимал свое почетное место жирный гусь, но при этом участники трапезы не пренебрегали ни кровяной колбасой, ни мясом зарезанной накануне свиньи. Толпы народа устремлялись на улицы Косонри.

В ожидании праздников Обрезания и Крещения на следующий день после Рождества отмечали день святого Стефана.

Так вот и получалось, что к пятидесяти двум воскресеньям прибавлялось еще приблизительно пятьдесят праздников, многие из которых народ принимался отмечать вечером предшествующего дня. По существу, все эти праздники, вплоть до самого незначительного, начинались накануне, когда монахи и каноники запевали «первую вечерню», а лавочники закрывали свои лавки раньше, чем обычно. Кроме того, из-за молитв деловая активность прекращалась задолго до наступления вечера в так называемые постные дни, а молились по этому случаю три дня кряду в каждое время года. Не следует забывать также и про

три дня перед Вознесением, когда устраивались публичные молитвы о даровании богатого урожая.

Когда какой-нибудь праздник накладывался на другой, один из них по ритуалу и взаимной договоренности людей переносился на следующий день. Так, святого, чей праздник попадал на воскресенье, чествовали в понедельник. А праздник Иоанна Крестителя в 1451 году отмечали 25 июня по той лишь причине, что праздник Тела Господня попал тогда на 24-е.

Кроме того, в тех случаях, когда календарь это позволял, делали «перемычку». Выражения такого тогда еще не существовало, но явление, суть которого сводилась к тому, что в расположенный между двумя праздниками день тоже не работали, уже было. Когда в 1449 году парижане узнали об окончании раздора между папой и Базельским собором, объявленный день отдыха превратился в трехдневный праздник.

«В пятницу состоялось в Париже шествие в церковь Святого Виктора, и приняли в нем участие десять тысяч человек. И никто ничего не делал в Париже до воскресенья».

Однако это еще не все; существовали и другие, менее значительные праздники. Работу прекращали, дабы чествовать приходского святого, покровителя ремесла, покровителя религиозного братства. В университете французская нация устраивала праздник святого Гийома, пикардийская — святого Николая. Английская нация в течение долгого времени чествовала святого Эдмунда, а когда она по политическим соображениям преобразовалась в немецкую, стала тоже чествовать святого Николая. Нормандская нация довольствовалась чествованием Богоматери, чем выделялась среди других наций, но веселилась она при этом отнюдь не меньше остальных. Весь юридический факультет воспринимал как свой собственный и праздник святой Кaterины, и оба праздника святого Николая. А факультет словесных наук, включая его немецкую нацию, в конце концов единодушно, в полном составе решил праздновать годовщину со дня рождения Робера де Сорбона.

Подобно всем остальным духовным заведениям, коллежи праздновали годовщину их создания либо годовщину смерти основателя, а иногда и то и другое. К этому списку добавлялись святые, почитаемые основателем, святые, чьими мощами располагал коллеж, святые, которых коллеж когда-нибудь в прошлом уже чествовал. Каждый коллеж, как, впрочем, и каждая богадельня, насчитывал по крайней мере дюжину праздников, не значившихся ни в церковном требнике, ни в составленном

ратушей календаре, но при всем этом достойных того, чтобы во время празднования сотрясался весь квартал.

Рождения и похороны являлись поводами для семейных торжеств. Независимо от того, было ли торжество радостным или грустным, народ ел и пил как за здоровье живых, так и за благополучное спасение душ усопших. Крещения, бракосочетания, отпевания, семидневные, тридцатидневные, годовые заупокойные службы — все одинаково прочно было связано и с церковью и с таверной. Никому не пришло бы в голову осудить такое сочетание. Скорее наоборот, неодобрительно отнеслись бы к тому, кто свой траур не отметил бы достойной трапезой.

Каждый человек так или иначе принимал участие в торжественных церемониях. Семейная и общинная жизнь друг друга взаимно дополняли и создавали поводы для веселья, которые многие люди, вспоминая о своей работе, проклинали, но о которых всерьез никто не задумывался. Дальние родственники теряли целый день ради бракосочетания. Весь город устраивал праздник по случаю рождения ребенка у короля, назначения нового епископа, сообщения об очередной победе короля или о заключении какого-нибудь мира. А когда переговоры о мире приходилось возобновлять раз десять подряд и заключать друг за другом не менее пятнадцати перемирий, каждое из них служило поводом для торжественной церковной службы и для того, чтобы на целый день остановить работу. Естественно, когда умирал кто-либо из членов религиозного братства, на похороны собиралось все братство, а когда умирала жена адвоката или бывшего прокурора, в последний путь ее провожал весь Парламент. Получение кем-то докторской степени было равнозначно выходному дню для всего факультета — даже для Парламента, — причем школяры, не приглашенные виновником торжества на банкет, без труда находили кувшин вина и собеседников в тавернах. Тщетно пытались реформаторы — в 1423, 1436 и, наконец, в 1464 году — излечить университет от этой дорогостоящей и отнимающей время мании банкетов. Банкеты нравились всем: и тем, кто в них участвовал, и всем прочим.

Если принять во внимание, что они не пропускали ни одного торжества и добавляли к ним еще многие другие праздники, не фигурировавшие ни в каких требниках, но наполнявшие таверны народом — например, праздник дураков, осла, боба, простофиль, — то получается, что учителя и школяры работали самое большее сто пятьдесят дней в году. Вот что искупало те вставания ни свет ни заря, которые приходилось терпеть в будние дни.

Остальные парижане ликовали один или два раза в неделю, причем некоторые праздники длились по нескольку дней. Те, кому не приходилось рассчитывать на каникулы, работали максимум сто восемьдесят полных рабочих дней и от шестидесяти до ста — неполных. А были ведь перерывы в работе еще и по другим причинам: дождь, мороз, паводки. Некоторые радовались, некоторые разорялись, большинство устраивалось как могло. Такова жизнь...

Реже работа прерывалась по политическим причинам, но зато такие перерывы были более продолжительными. Если не считать университетских забастовок, которые не влияли на деловую активность остальной части города, поводом для такого рода праздности служили торжественные приезды королевских особ, благодарственные молебны по случаю победы, разного рода бунтарские выступления, осада города, всегда являвшаяся драмой, либо ассамблея горожан, всегда походившая на красивый спектакль. Все эти праздники в Париже имели свое лицо. Некоторые из них выглядели просто как нерабочие дни. Другие смотрелись как настоящие торжества, где участвовало много народа, торжества, сопровождавшиеся церковными службами и развлечениями.

## ПРАЗДНИК

Праздник — это прежде всего благодарственный молебен с шествием, а иногда и мессой. Те Deum laudamus...\*, Benedictus qui venit in nomine Domini...\*\* Песнопения следовали за песнопениями, причем как под сводами церквей, так и на улице. Шествовали под хоругвями приходов, цехов, братств, под извлеченными из ризниц крестами. Иногда, пользуясь какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, по улицам носили мощи. Духовенство охотно выносило раки с мощами святого Марселия и святой Женевиевы, а народ охотно на них глазел. А вот хранившиеся в самом центре Дворца правосудия в церкви Сент-Шапель драгоценные реликвии Страстей Господних вроде тернового венца, святого древка и гвоздя с креста выносились довольно редко, и уже одно только их появление сразу сообщало церемонии официальный характер и статус. Их демонстрация проводилась в исключительных случаях: в 1400 году по случаю взятия Понтуаза и в 1449-м — по случаю взятия Пон-де-л'Арша, в результате которого была снята осада с Парижа.

---

\* Тебя, Боже, славим... (лат.).

\*\* Благословен посланник Божий... (лат.).

Звонили колокола. Рожки и трубы горожан вносили свою лепту в общий гвалт, соревнуясь в громкости с официальными трубачами шествия, оплаченными королем, епископом либо купеческим старшиной. В церкви звучал орган. На улицах люди кричали: «Слава!» Некоторые кричали что-то другое...

Шествия сходились вместе, пути их пересекались. Прихожане церкви Сент-Эсташ отправлялись в Собор Парижской Богоматери как раз в тот момент, когда прихожане церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри подходили к церкви Сен-Виктор. Людские потоки соединялись и разделялись. Люди шли в обители августинцев, кармелитов, святой Женевиевы.

Ориентиром в этом деле служил праздник Тела Господня. Когда 23 июля 1461 года — Вийон в ту пору находился в тюрьме в Мёне — устраивали народные моления за душу умершего накануне короля Карла VII, образцом их проведения сочли последний праздник Тела Господня.

«И состоялись весьма торжественные шествия с участием всех людей церкви, как из нищенствующих орденов, так и из других орденов, пришедших за телом государя в церковь Сен-Жан-ан-Грев, откуда его перенесли в церковь Бийет, затем в церковь Сент-Катрин-дю-Валь-дез-Эколье, в сопровождении семи прелатов в полном облачении, которые принесли его в ту же самую церковь Сен-Жан.

И были украшены улицы, по которым пронесли то Сокровище, и горели в большом количестве факелы и свечи, как если бы это был праздник Тела Господня.

Несколько шествий состоялось во дворе Парламента и в других дворах Дворца правосудия, и прошли они в самом наилучшем порядке, как и должно быть во время молитвы за нашего короля Карла VII, да спасет Господь его душу...»

О каком бы празднике ни шла речь, проповедники истово занимались своим делом. Они читали проповеди перед началом и по окончании шествия. Их голоса раздавались в церквях, коллежах, на перекрестках. Город буквально гудел от библейских изречений. Так что парижанин, испокон веков отличавшийся любовью к красивым речам, наслаждался от всей души.

Не упускал своего и буржуа: если, участвуя в шествии, он шел, одетый всего-навсего в иззелена-синий или алый суконный кафтан, после священников в их отливающих золотом мантиях и после монахов в их коричневых или черных сутанах, то в украшении собственного либо снимаемого дома он брал



реванш. Он украшал его фасад всем, чем только мог: коврами, шерстяными покрывалами, вышитыми одеялами. Улицы выглядели очень нарядно, причем каждый раз по-разному.

В празднике было что-то от театра. Ремесленники и лавочники как бы сооружали сцену, обставляли ее декорациями, заботились об аксессуарах. Они же в назначенный день становились и актерами, и публикой, восторженно внимавшей той живой, инсценированной на площади проповеди, где разыгрывались сцены из Евангелия и где излюбленным жанром был жанр моралите.

Они же украшали источники, в которых парижане брали воду. С помощью кое-каких приспособлений — из легких деревянных конструкций и тканей можно творить чудеса, — а иногда также подводя воду с угла улицы в центр площади или к церковной паперти, они делали импровизированные фонтаны. Приятно было смотреть на струящуюся прозрачную воду. Ну а уж когда щедрые городские власти вместо воды предлагали вино, праздник становился еще более приятным.

Незаметно проходило время. Таверны наполнялись людьми. Летом трактиршики и буржуа накрывали столы прямо на улице. Народ ел, пил и распевал песни. Молодежь танцевала под звуки виол, лютней, флейт и барабанов. Вместо барабанов нередко использовали и извлеченные из кухонь медные тазы.

Разговор шел обо всем и ни о чем. В том 1455 году не произошло ничего сверхъестественного. Темы для разговоров составляла повседневная парижская жизнь. К тому времени Столетняя война закончилась — для парижской области пятнадцать лет назад, а для Гиени два года назад, — но никто не мог с полной определенностью сказать, что это насовсем. Однако складывалось впечатление, что в долгой череде военных действий и перемирий, свидетелями которых оказались шесть поколений французов, наступил наконец перелом, англичане ушли из Франции так, как еще никогда не уходили, а Валуа выглядел столь бесспорным победителем, что именно так его и прозвали.

Прагеррию, тот бунт князей, в результате которого в 1440 году вновь зашатался трон, простой люд уже к тому времени почти позабыл, сохранив, однако, прочное убеждение, что ничего хорошего от сильных мира сего ждать не приходится. Свежа была память о том, как королевская армия заняла земли графа Арманьяка, совершенно необоснованно питавшего иллюзии относительно своей независимости, но парижане к этому эпизоду истории отнеслись, в общем-то, достаточно равнодушно.

Вовсю шли разговоры о реабилитации Орлеанской Девы, некогда сражавшейся под Парижем у ворот Сент-Оноре и впоследствии сожженной англичанами. О том, что суд в Руане со-

стоял из французов и магистры Парижского университета играли в нем важную роль, в разговорах старались не упоминать. Судьи Жанны д'Арк совершенно утратили память, а вместе с ними и другие все позабыли.

В тот час, когда в 1455 году на Париж, отмечавший день Тела Господня, опустилась вечерняя прохлада, над выставленными на улицу скамейками не витало ни угрызений совести по поводу былой драмы, ни опасений, что в скором будущем разразится гражданская война, ассоциировавшаяся у политиков с бунтом принца Луи, будущего короля Людовика XI. В разговорах вокруг опорожнявшихся кувшинов речь в основном шла о ценах на капусту и лук, о погоде, способствующей либо мешающей жатве, и о том, что вкус вина уже не тот, что был несколько месяцев назад.

Поскольку говорили за столом не меньше, чем пили, а между делом заходили еще посмотреть, как идут дела у соседа, новости распространялись быстро. Причем слухи преобладали над достоверной информацией. Потом, по мере того как гасли костры и девушки утрачивали свою невинность, утомленные горожане шли спать, вспоминая, во сколько же обошелся этот праздник. Независимо от того, брал ли на себя расходы город или король, парижане-то знали, кому придется расплачиваться. Только неимущие школяры и не имеющие собственного инструмента подмастерья веселились бесплатно, и никакие заботы не омрачали их сознания. В регистрах фиска первые вообще не значились, а напротив фамилий вторых указывалось «Nihil», то есть «ничто». Хотя в такой поздний час многие ни о чем не думали — они были просто пьяны.

## ТАВЕРНЫ И ПОДМОСТКИ

Понятие «таверна» парижане толковали довольно широко. Таверны располагались чуть ли не рядом с каждым домом, особенно когда в сезон молодого вина парижские буржуа получали от старейшины торговцев разрешение продавать избыток собственной продукции. Дело в том, что у парижан были виноградники и нередко объем беспошлинно ввозимого ими в город вина превосходил количество, необходимое для семейного потребления. Похоже, некоторые злоупотребляли этой привилегией и сознательно ввозили в Париж вина больше, чем нужно, заранее предназначая его для продажи. Когда какому-нибудь школяру родители присылали вина в два раза больше, чем он мог выпить вместе с друзьями, оно превращалось в денежное вспомоществование, получаемое благодаря либеральной торго-

вой системе. Это видно на примере юного Филипа Ле Руайе, против которого в 1452 году фиск возбудил дело из-за продажи им десятка гектолитров вина, а также одного студента из коллежа Лизье, которому в 1458 году пришлось признаться, что из двенадцати бочек, то есть из сорока восьми гектолитров, ежегодно привозимых им после каникул в Париж, половина предназначалась для продажи.

Что же касается братьев Этьена и Ги де Шамле, то они привезли четыре бочки вина из Оверни и в начале 1461 года продали их за 36 экю, но им не удалось воспользоваться своей привилегией школяров и продать Николаю Кену еще две такие же бочки, принадлежавшие, как выяснилось, их братьям Жану и Жильберу, которые имели официальные патенты торговцев вином. Общее вино? Общие дела? Королевский прокурор воспринял ситуацию иначе. Однако разбирательство затянулось, и потом оказалось, что не стоит связываться со всем университетом из-за каких-то 36 экю. Не удалось конфисковать и две спорные бочки. Их к тому времени уже давным-давно выпили. В результате в июле два виноторговца заплатили сто су штрафа. Школяры торжествовали.

В конце концов таким использованием университетских привилегий заинтересовался папа. 16 мая 1462 года он запретил всем клирикам участвовать в торговле вином. Однако, насколько эффективным оказался этот запрет, сказать трудно.

Называть вещи своими именами никто не хотел. В Париже «устраивать таверну» не означало заниматься торговлей. Даже располагавшиеся на площади Мобер кармелиты и те, как только поступало молодое вино из их владений, тоже устраивали таверны. «Устраивать таверну» означало быть парижанином и иметь виноградники. Иметь таверну, то есть содержать питейное заведение, означало совсем другое.

Владельцы таверны платили налог и на протяжении всего года поили парижан как на месте, так и продавая вино на вынос. Их скамейки и подмости, то есть служившие столами настилы из досок, являлись неперменным местом общения для всех тех, кто не имел возможности принимать гостей дома. В таверне люди беседовали, исповедовались, веселились. Там устраивали заговоры против правительства и прево. Там перекраивали мир.

Гийбер де Мец, описавший Париж начала XV века, насчитал их четыре тысячи. Думается, однако, что их было все-таки не больше четырехсот. По данным сборщиков податей с вина, в 1457 году существовало двести постоянных таверн и около сотни временных. Они были более или менее равномерно распродоточены по всему городу при заметном увеличении их ко-

личества на главных артериях, таких, как улицы Сен-Жак и Ла Арп на левобережье, Сен-Дени и Сен-Мартен — на правобережье, а также в причудливом сплетении маленьких улочек вокруг центрального рынка и Гревской площади, у Монмартрских ворот, ворот Сент-Оноре и на подступах к аббатству Сен-Поль.

Некоторые таверны были знамениты. Во времена Вийона все без исключения знали таверну «Сосновая шишка» на пересекавшей остров Сите улице Жюиври, равно как и таверну «Большой Годе» на Гревской площади. Другие таверны обрели запоздалую славу благодаря ироническим отсылкам в «Завещании» и рекламе, которую им потом создали толкователи Вийона. Даже если поэт использовал их лишь ради игры слов, таверны наполняли собой и его жизнь и творчество. Они служили обрамлением и добрых моментов его жизни, и нежеланных встреч. Иногда, как засвидетельствовано в упоминании о «Сосновой шишке», он пил там в кредит, а иногда опорожнял свой тощий кошелек.

Впрочем, нет ничего удивительного в том, что, изображая тогдашнее общество, наш школяр осуществлял свои инсценировки в средневековом театре с соответствующими привычными ему декорациями. Симптоматично, что и в театре того времени таверне тоже принадлежало важное место. Таверна представляла театру декорации. Она была коллективным персонажем. Она вдохновляла народный театр, например комические пьески вроде «Фарса мэтра Трюбера и Антроньяра», где Эташ Дешан предвосхитил темы «Патлена», или вроде карикатурного «Панегирика святой Селедке, святому Окороку и святой Колбасе». Столь же явно таверны присутствовали и в религиозном театре — в десятках «Мистерий» и «Страстей», в которые, начиная с появившейся в XII веке «Истории Адама» и кончая «Мистерией Ветхого Завета» и «Страстями Господними» Арну Гребана, авторы вводили в сценическую игру как традиционные элементы, так и живую современную действительность. Комедия нравов рождалась из наблюдений за развертывавшимися в тавернах сценами, а словесная эквилибристика — из подслушанных там разговоров. Историям святых отнюдь не была противопоказана живость — на паперть приходила та же публика, что и в таверны. Кстати, игрались мистерии и страсти чаще всего в сокращенном виде перед небольшим числом зрителей, на подмостках, сооруженных всего на один вечер в той же самой таверне или, если был праздник, где-нибудь неподалеку от нее, на перекрестке, и очень редко — перед толпами собравшихся внутри монастырских стен или на паперти горожан, три дня подряд готовых аплодировать перипетиям длинных спектаклей.

Само собой разумеется, что Вийон населил свое большое и малое «Завещания» теми же самыми людьми, которые посещали таверны и из которых состояла также и публика тогдашних театров. То был мир, где испуганно обсуждали проблему непорочности той или иной девушки и где святой Иосиф грубо говорил Богоматери: «Не будете же вы утверждать, что это мой ребенок!» Согласно теологии того мира, ад представлял собой котел, и все верили, что в аду жарят, варят или же в лучшем случае вешают грешников.

В том обществе таверн и подмостков без стеснения смеялись над неуклюжими жестами слепого, а горе никому не мешало напиваться за здоровье пьяницы, только что променявшего свой табурет на место в братской могиле. Что и делал не скрывавший своих чувств Вийон, воздавая посмертные почести своему другу Котару. Такова взаимная верность пьяниц.

Такому б только жить да жить, —  
Увы, он умер от удара.  
Прошу вас строго не судить  
Пьянчугу доброго Котара\*.

Интересно, что Франсуа, порой переносивший действие в бордель, использовал в качестве декорации таверну гораздо реже. За исключением разве что тех случаев, когда нужно было «выкрикнуть спасибо» всем, в том числе и служанкам, показывавшим ради более приличных чаевых свои груди, поэт не стремился появляться в естественной для него обстановке, причем именно потому, что она была для него естественна. Зачем описывать то, что и так хорошо известно? Вийон сохранял от таверн лишь воспоминания, что он там выпивал, а дабы ничего не забыть, коллекционировал в стихах годные для каламбуров вывески.

Так, например, не логично ли предположить, что, завещая «Шлем», поэт стремился не столько напомнить о существовании и так хорошо всем известной таверны у ворот Бодуайе, за Гревской площадью, если идти в направлении Сен-Жерве, сколько высмеять претензии на благородное происхождение кавалера Жана де Арле — титул Арле был более чем сомнительный и он был бы рад заполучить шлем в свой герб. Точно так же «Сосновая шишка» в «Малом завещании» понадобилась поэту для создания неприличного образа, когда он завещал магистру де Рагье «дырку» от таверны.

Однако есть в «Большом завещании» один владелец таверны, некий Тюржи, чье появление в произведении имеет определенный смысл. В мире питейных дел Тюржи был, можно

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 89. Пер. Ф. Мендельсона.

сказать, отпрыском настоящей династии. Арнуль Тюржи был одновременно и виноторговцем, и трактирщиком, владевшим около ворот Бодуайе таверной под вывеской «Рака». В конце войны он работал квартальным надзирателем в квартале Сент-Антуан. Его сын Арнуле стал прокурором в Шатле. Другому его сыну, Жану, пришлось последовать за отступавшим двором Ланкастера, и он стал арфистом при английском короле Генрихе VI. Еще один Тюржи, Никез, был секретарем Бедфорда. Ну а Робен — он сохранил ремесло предков и смотрелся за стойкой «Сосновой шишки» как один из наиболее солидных буржуа Парижа.

И вот он вместе с поваром Моро и кондитером Жаном де Провеном удостоился чести попасть в наследники Вийона. Следует уточнить — в наследники его долгов; поэт здесь намекает на те аспидные дощечки, на которые записывались долги клиентов. Он не раз ел и пил в кредит у Тюржи, Моро и Провена. Так что Тюржи и вывеска его таверны — не просто повод для каламбура, а и свидетельство того, что в «Сосновой шишке» Вийон был частым гостем.

А чтобы каждый непременно  
Мог получить наследство сам,  
Когда я стану горстью тлена, —  
Пускай идет к моим друзьям!  
Тюржи, Провен известны вам?  
Затем Моро, мой друг большой?  
Все через них я передам,  
Вплоть до кровати подо мной\*.

Суть проблемы здесь сводится к тому, что все трое получили свою часть наследства еще раньше — Вийон проел и пропил у них все, что у него было.

Есть тут еще один подтекст. То вино, которое поэт завещал сборщику налогов Дени Эслену, будущему городскому старейшине, тоже должен был оплатить хозяин «Сосновой шишки». И Вийон пользуется случаем, чтобы вставить еще одну колкость: не принадлежит ли Тюржи к числу тех трактирщиков, которые доливают в вино воды? Немало бочек разбавлялось по ночам, как для того, чтобы компенсировать часть затрат на закупку вина, так и для того, чтобы обмануть фиск — сборщика налогов и откупщиков податей — относительно количества распроданного товара. Клиента, правда, обмануть трудно. Как только посетитель замечал, что ему дали чересчур легкое вино, он принимался обвинять хозяина в мошенничестве. Пожалуй, не было такого трактирщика, который бы никогда не проделывал по-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 68. Пер. Ф. Мендельсона.

добной операции. Завещатель Вийон иронизировал вдвойне, когда притворялся, что видит в таких манипуляциях заботу о здоровье пьяниц.

Затем, тебе, Эслен Дени,  
Парижа славный старожил,  
Дарю ведро вина ольни —  
Его нацедишь у Тюржи.  
От вожделения дрожи,  
Пей, но не пропивай ума!  
Водою память освежи:  
От кабака близка тюрьма\*.

Жаловаться, впрочем, было не на что: завсегда и пили в кредит. И если им подавали плохое вино, они меньше за него платили. Мало того, подобная практика превращала трактирщика в некую разновидность займодавца под заклад, причем получалось, что в отличие от ростовщика он давал займы без процентов. Возможно, он даже и не обращал внимания на стоимость оставленной в залог вещи. А вот должник прекрасно знал, каким подвергнется искушениям, когда придет выкупать залог. Вместо того чтобы заплатить Тюржи и его коллегам, посетитель на принесенные деньги предавался новым возлияниям. В конечном счете у клиентов складывалось впечатление, что они расплачиваются натурой: занимая в таверне под старое тряпье, человек как бы расплачивался этим тряпьем за выпитое вино.

Вийон не ошибался, когда сравнивал глотку пьяницы с адским огнем. Этим несчастным, по его представлениям, приходится в вечном адском пламени так же тяжело, как тому несправедному богачу, что умолял Лазаря — или, как у него, «Ладра» — освежить ему лицо прикосновением своих рук. И поэт призывал, не очень, правда, веря в силу своего призыва, воздерживаться от удовольствия, за которое приходится так дорого платить. В конце Вийон уточнял, что шутки тут совершенно неуместны. Сам же он продолжал, как и прежде, расплачиваться натурой.

Но вспомните слова Христа,  
Как был огнем богач палим,  
А Лазарь, чья душа чиста,  
На небесах сидел над ним;  
Как в пекле не имел покоя  
Богач, моля, чтоб Лазарь тот  
Сошел к нему смочить водою  
Запекшийся от жажды рот...  
Пьянчужки, знайте: кто пропьет  
При жизни все свои пожитки,  
В аду и рюмки не хлебнет —  
Там слишком дороги напитки\*\*.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 79. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 69 — 70.

Неплатежеспособному и бездомному школяру после всего этого не оставалось ничего иного, как расплачиваться с Тюржи звоном несуществующих монет и отказывать ему по завещанию право на занятие должности советника ратуши, право абсолютно мифическое, потому что для избрания в советники ратуши нужно было иметь статус буржуа, коим как раз Тюржи, в отличие от Вийона, располагал. Поэт сообщал, что говорит по-пуатвенски только для того, чтобы Тюржи не питал особых иллюзий относительно его платежеспособности. «Говорить по-пуатвенски» по тем временам означало не иметь постоянного жилья. Он не хотел признаваться, где ночует. Для сына Парижа область Пуату была страной, расположенной за тридевять земель...

Кабатчику Тюржи Робену  
В уплату долга передам  
Права на должность эшевена,  
Но пусть меня отыщет сам!  
Рифмую с горем пополам  
Каким-то слогом деревенским, —  
Должно быть, вспомнил я двух дам  
С их говорком пуатевенским\*.

## ВИНО И ГЛИНТВЕЙН

У Тюржи и его коллег пили и хорошее вино, и плохое. Все зависело от хозяина, клиентуры да и времени года. Дело в том, что хранилось вино недолго, и то, что пили после ярмарки Ланди в ожидании нового урожая, сильно уступало по качеству тому, что пили зимой, когда вино еще сохраняло всю свою крепость. Первые сорта вин, поступавших на столы и подмости парижских таверн, доставлялись туда в сентябре и особенно в октябре из окрестностей; назывались они «винами Франции», причем в XV веке, до их вырождения в XVII и XVIII веках, считались весьма приличными винами. Попадались среди прочих и вина из Конфлана, Витри, Флери-ле-Клармар, из Фонтене-су-Банье, переименованного впоследствии в Фонтене-о-Роз, из Монтрёй-су-Буа. Это были отвратительнейшие вина. Очевидно, именно их имел в виду Вийон, когда говорил в «Большом завещании» о вине, предназначенном для варки волчьих голов — то есть чего-то еще менее съедобного, чем «мясо для свинопасов», — великодушно завещанных капитану парижских лучников... В плохие годы в этих местах изготавливали легкие, с малым содержанием спирта, очень кислые вина,

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 81. Пер. Ф. Мендельсона.



которые, чтобы несколько улучшить вкус, пропускали через мел. Вийон в насмешку оставил десять мюидов такого вина буржуа Жаку Кардону. А когда год выпадал солнечный, то в тех местах делали либо достаточно крепкое белое вино, либо темно-красное вино морийон, продиравшее даже луженые глотки и оставлявшее неоднозначные воспоминания на языках знатоков.

Из винограда, который собирали на склонах холмов, расположенных на юго-западе от Парижа, вино получалось лучшего качества. Большое количество вина поставлялось в парижские таверны из Кламара, Медона, Ванва, Исси. Оно стоило от пяти до шести экю за мюид, тогда как вино с соседних равнин стоило от двух до четырех экю.

Все это вызывало у клиентов не только приятное чувство опьянения. Однако при такой цене — и к тому же в кредит — завсегдатай мог пить круглый год. Общую картину дополняли таланты некоторых трактирщиков, которые, когда вино было слишком уж скверным, так или иначе его перерабатывали. Они смешивали разные сорта вин, добавляли воды, крепили, добавляли в вино сахар либо мед. Так, в частности, поступил в начале 1460 года суконщик Анри Жюбер, весьма известная и в своем квартале, и в ратуше личность, человек, чей особняк стоял как раз на Гревской площади, в двух шагах от ратуши. Жюбер договорился с Реньо де Бланки, суконщиком из Амьена, о том, чтобы привезти в Париж четыре мюида вина неизвестно из каких мест. Небольшая сделка между двумя суконщиками, выходящая за рамки обычных коммерческих связей? Маловероятно. Четыре мюида наверняка предназначались для личного потребления: два мюида для Амьена и два — для Парижа. Система цехов, ставившая провинциалов в невыгодное положение при использовании речных путей, благоприютствовала таким сделкам, когда принадлежавший к цеху парижанин за плату либо даром позволял пользоваться своими прерогативами «чужаку», чаще всего компаньону или коллеге. Два вышеупомянутых суконщика понимали друг друга как никто. Однако в этом конкретном случае вино в распоряжение «французской компании» не поступило. Все вино было доставлено парижанину Жюберу. И вот такая незадача: вино оказалось одним из наихудших. И тогда два друга решили его продать. Чем пить плохое вино, лучше уж вернуть затраченные на него деньги. А поскольку у жидкости был «слабый цвет», Жюбер поручил своему другу Бланжи сделать его погуще: речь шла о том, чтобы вино «подкрасить и приготовить». Предполагалось, что тогда его будет проще продать.

Покупателем оказался трактирщик Жан де Мезьер, человек, либо сам обладавший задатками опытного дегустатора, либо имевший неплохих дегустаторов среди своих клиентов. Едва отведав вина, он тут же явился к городскому и королевскому прокурору Жаку Ребуру. Старейшина торговцев назначил экспертов. И те вынесли категорический приговор.

«Известные врачи и другие опытные и сведущие люди нашли, что упомянутые добавки, находящиеся в вине, к употреблению противопоказаны и для человеческого тела вредны».

1 марта 1460 года купеческий старшина объявил свое решение. Бочки публично разбили на Гревской площади. Гнусное вино потекло по мостовой и впиталось в землю. Доски от бочек сложили и сожгли. Зрелище доставило истинное удовольствие зевакам.

Однако Жюбер был буржуа, причем ни разу не судимый; его многие знали, и он ходил и рассказывал кому только мог, что его обманул Бланжи, который сказал ему, что не раз подкрашивал вино и что в этом нет ничего опасного. К тому же не следует забывать, что Бланжи жил не в Париже; оставалось лишь пожелать ему не появляться там и впредь. Жюберу же пришлось заплатить десять ливров штрафа — стоимость вина — и компенсировать судебные издержки.

Приблизительно тогда же муниципальные власти обошлись менее сурово еще с двумя жителями Осера: с торговцем Жаном Гарнье и с «извозчиком по воде» — мы бы назвали его перевозчиком — Жаном Сало, чьи шесть мюидов красного вина оказались «подкрашенными некими примесями, не являющимися вином». По этому случаю пригласили опытных виноторговцев, призвали комиссионеров. Пока торговец хрустел пальцами, эксперты рассматривали предложенное им пойло, пробовали на вкус, качали головами. Никто из них не смог сказать, ни что за добавки оказались в том вине, ни «какие затруднения могли бы произтекать при употреблении названного вина по причине названной примеси».

Вылить вино? Об этом никто и не заикался. Бочки поставили к позорному столбу. В самом центре Гревской площади, причем в тот день, когда там складировалось вино, сержант выжег на днищах всех бочек цветок лилии «в знак свершения правосудия». Глашатай из гражданской службы громко объявил на всю площадь, что вино «с примесями».

Торговец был свободен. Вслед за тем вино погрузили на судно, пришвартованное тут же, в порту, рядом с Гревской площа-

дью. Заплатив десять ливров штрафа, он смог без каких-либо затруднений продать вино, но за пределами парижского превогства и виконтства... От местного судьи он принес свидетельство, в котором сообщалось, что покупатель уведомлен о том, что вино подкрашено.

Неужели Жан Котар стал бы пить такое вино? Вийон, конечно же, на этот счет никаких иллюзий не питал. В конце «Большого завешания» Вийон закончил свои размышления о человеческих судьбах и о смерти своеобразным пируэтом — шелчком по носу исконному врагу, каковым всегда был отравитель из таверны. Какую смерть выбрать, когда ты уже написал завешание? От грубого красного вина.

Не удивляйся, принц: Вийон,  
Задумав мир покинуть бранный,  
В таверне выпил морийон,  
Чтоб смерть не ведала сомнений\*.

К счастью, жаждущим подавали и кое-что более приятное. В потоке вин, струившихся в Гревском порту с конца сентября по конец декабря, выделялось несколько наиболее известных: вино из Аржантёя, вероятно, также из Шайо и, естественно, из Сюрена. Оно стоило от пяти до семи экю за мюид, то есть столько же, сколько и превосходное вино из Осера — называемое сейчас шабли, — при том, что цены на осерское вино возростали из-за более дорогостоящей, чем, скажем, из Шайо, транспортировки. Ведь не случайно же полвека спустя гуманист Гийом Бюде написал, что «парижские вина» не имеют себе равных. Уже в XIII веке в одном фаблио сообщалось, что вино Аржантёя не стыдно подавать самому королю Франции. Как же изменилась со временем его репутация, коль скоро в XIX веке Александр Дюма, опираясь на свой личный опыт, отозвался о том же самом аржантёйском вине как о «мучительном испытании для искушенного нёба».

Именитые граждане без труда завладевали самыми лучшими виноградниками парижской области, причем тенденция эта усилилась, когда появилась мода пить вино собственного производства. Так что бóльшая часть вин, поступавших из Сюрена и Шайо, потреблялась в буржуазных домах. А та малая доля, которую виноградари привозили на рынок, становилась, если ее удавалось отстоять в суровой конкурентной борьбе от посягательств покупателей из Кана и Сен-Ло, украшением погребов зажиточных парижан, не имевших собственных виноградников. Поэтому в тавернах пили вино не лучшего качества, и пьющие чувствовали это. Так, однажды в таверне «Четы-

---

\* Пер. В. Никитина.

ре сына Эмона», принадлежавшей обосновавшемуся в Париже выходцу из Пикардии Тома де Вьену, клиентам вдруг не понравилось поданное вино. Посетители в тот день попались требовательные.

«Спросили они у него, нет ли вина из Бона, поскольку французское показалось им и недостаточно вкусным, и недостаточно крепким, чтобы их согреть».

Кабатчику и его жене это пришлось не по вкусу. Судьям они потом рассказали, что в таверне бонского вина не оказалось и они посоветовали клиентам поискать его в другом месте. Посетители выдвинули иную версию:

«Нам ответили, что бонского вина у них нет, но при этом, желая посмеяться над нами, сказали, что зато есть вино глупейское и рогатайское».

Любители крепкого вина рассердились, что их вроде бы обозвали простофилями и рогоносцами. Жену кабатчика, чуть не убив ее при этом, грубо бросили в погреб. Засверкали ножи. Один из недовольных увидел на своей руке кровь. В конечном счете всем пришлось объясняться в Парламенте.

Когда дешевое красное вино было крепким, от него болела голова. Об этом писал еще Эсташ Дешан, а Вийон повторил. Приходилось искать что-нибудь получше, и тут выручало «вино с реки».

Так люди из ратуши называли все вино, доставлявшееся в Париж в период интенсивной речной навигации: из Бургундии, Оверни, долины Луары. По мере того как в ноябре уменьшалось поступление французских вин, оседавших у парижан и нормандцев — вынужденных довольствоваться им в тех случаях, когда средства не позволяли покупать бордо, предназначенное главным образом для англичан и голландцев, — на пристанях Гревского порта увеличивалось число бочек, выгружаемых «с реки». Бон, Турню, Осер, Орлеан, Жьен, Сен-Пурсен — вот какие названия выносило потоком, который, начав течь перед сильными холодами, приостанавливался в январе, когда Сену, Луару и Йону сковывал лед, и возобновлялся снова в феврале — марте, прекращаясь окончательно лишь в июне, когда из-за понижения уровня воды в реках замирало судоходство.

Естественно, самым лучшим, причем существенно лучшим, считалось бонское вино. В некоторые годы столь же высокие цены платили и за осерское. Бургундские вина, откуда

бы они ни приходили: из Бона или Нуйи, со склонов Осера или Шабли, считались основным ориентиром парижских дегустаторов. Дабы насладиться ими, приходилось платить из расчета десять — двадцать экю за мюнд. Правда, в эту цену входили и расходы на транспортировку по воде и суше, выплата разного рода сборов и пошлин, различные потери и убытки, как плановые, так и непредвиденные. Такие вина пили в домах баронов и адвокатов. А хозяин «Сосновой шишки», разжившись ими, приберегал для клиентов, плативших наличными.

Ну а за неимением лучшего народ потреблял смеси, менявшие первоначальный вкус продукта и надежно одурманивавшие. Привилегированное место среди этого типа напитков занимал глнтвейн — он отличался приятным вкусом, тонизировал и считался возбуждающим средством. Чем больше его пили, тем больше хотелось пить. Правда, сложный рецепт приготовления этого напитка делал его предметом роскоши, а главное преимущество заключалось в том, что ингредиенты в нем сохранялись лучше, чем, скажем, в бонском вине.

«Чтобы приготовить порошок глнтвейна, возьмите четверть фунта очень мелко помолотой корицы, восьмую часть фунта мелко помолотого коричневого цвета, унцию белого мелко помолотого мешхедского имбиря, унцию райского семени, шесть мускатных орехов и шесть головок гвоздики. Перетолките все вместе.

Когда пожелаете сделать глнтвейн, возьмите чуть больше пол-унции этого порошка и полфунта сахара. Смешайте с парижской квартой вина».

Напиток подавался по возможности горячим. Вийон представил его как одно из неизменных условий эротического блаженства.

Толстяк монах, обедом разморенный,  
Разлегся на ковре перед огнем,  
А рядом с ним блудница, дочь Сидона,  
Бела, нежна, уселась нагишом;  
Горячим услаждаются вином,  
Целуются, — и что им куши рая!  
Монах хохочет, рясу задирая...  
На них сквозь щель я поглядел украдкой  
И отошел, от зависти сгорая:  
Живется сладко лишь среди достатка\*.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 100. Пер. Ф. Менделеева.

Доброжелательность поэта к пьяницам вовсе не следует отождествлять с попытками самооправдаться. Она рождалась у него из чувства солидарности с людьми, которым в чем-то не повезло. Свидетельство тому — удивительная надгробная речь, написанная в форме баллады за упокой души одного пьяницы, вероятно сослужившего Вийону добрую службу. Вспоминая в 1461 году о скончавшемся совсем недавно — 9 января 1461 года — человеке, который был прокурором в неизвестном нам процессе — в чем обвиняла его «Дениза»? — и которого хорошо знали не только в собственном судебном ведомстве, но и в тавернах, Вийон, по существу, воспел великих пьяниц.

Он с запозданием вспомнил, что не успел отдать своему прокурору «приблизительно» полушку. Слишком серьезное название баллады «надгробная речь» смягчалось указанием на юмористически малую сумму долга. Однако Котар был не просто сочувствовавшим несчастью друга человеком, согласившимся вести тяжбу практически бесплатно. Это символический образ. Он олицетворяет счастье и несчастье пьющего человека, искреннюю дружбу спотыкающегося и получающего шишки пьяницы, истинную щедрость более состоятельного человека, одаривающего других прекрасными, дорогостоящими и недоступными им вещами. Вийон играет и словами, и ситуациями. По его утверждению, Котар был мужественный человек, не знавший в питье никакой усталости... Уж на этой-то службе он не признавал никаких шуток, и суждения его были трезвы, как никогда.

В конце концов Котар пришел к вратам рая, осененный великими примерами прошлого. Пришел, подобно Ною, первому пьянице, попавшему на скрижали истории. Подобно Лоту, которого напоили дочери, дабы забеременеть от него. Подобно Архетриклину, тому «распорядителю пира» в Кане, которого средневековое предание по ошибке отождествило с женихом, заботившимся о благе своих гостей.

Когда Вийон завещал свои подштанники, он явно шутил. А когда оставлял в дар баллады, он делал это совершенно серьезно, с благородной сдержанностью чувств. Накануне он подарил матери великолепную «Балладу-молитву Богородице». А посвященная памяти прокурора «Баллада за упокой души магистра Жана Котара» излагает мораль пьянства.

От имени суда святого  
Мэтр Жан Котар оштрафовал  
Меня за два соленых слова:  
Денизу к черту я послал.  
За малый грех и штраф был мал, —

Котар шадил мои гроши!  
Ему балладу отписал  
За упокой его души.

Отец наш Ной, ты дал нам вина,  
Ты, Лот, умел неплохо пить,  
Но спьяну — хмель всему причина! —  
И с дочерьми мог согрешить;  
Ты, вздумавший вина просить  
У Иисуса в Кане старой, —  
Я вас троих хочу молить  
За душу доброго Котара.

Он был достойным вашим сыном,  
Любого мог он перепить,  
Пил из ведра, пил из кувшина,  
О кружках что и говорить!  
Такому б только жить да жить, —  
Увы, он умер от удара.  
Прошу вас строго не судить  
Пьянчугу доброго Котара.

Бывало, пьяный как скотина,  
Уже не мог он различить,  
Где хлев соседский, где перина,  
Всех бил, крушил, — откуда прыть!  
Не знаю, с кем его сравнить?  
Из вас любому он под пару,  
И вам бы надо в рай пустить  
Пьянчугу доброго Котара.

Принц, он всегда просил налить,  
Орал: «Сгораю от пожара!»  
Но кто мог жажду утолить  
Пьянчуги доброго Котара?!\*

Таверна полностью завладевала человеком. Там пили, ели соленую рыбу, чтобы почувствовать жажду, но одновременно и беседовали. Разрушали репутации, готовили недобрые дела. Пели. Играли, причем играли больше, нежели было в принципе разрешено. Школяры, подмастерья, бродяги рисковали потерять в игре и кошелек, и кредит. Все мошенничали, и все об этом знали. Одному сержанту, о котором было известно, что он плурует при игре в кости, Вийон завешал, дабы он украсил свой герб, три большие поддельные игральные кости и красивую колоду карт.

Когда Вийон произносил слово «игра», он имел в виду плутовство. И жизнь казалась ему плутовством, и все, свершающе-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 88—90. Пер. Ф. Мендельсона.

еся в мире, представлялось либо уловками, либо вынужденными поступками припертого к стене человека. Составив настоящий моральный кодекс шалопаев и назвав опасные поступки, способные в конце партии — где ставка не три полушки играющего по малой игрока, а жизнь, — привести на виселицу, перечислив в яростном речевом потоке несправедные и рискованные поступки, поэт в конце делал вывод, что так или иначе добыча все равно превращается в прах. «Несправедно добытое впрок не идет». Вийон воспользовался этой максимой, чтобы выразить собственные идеи. Очевидно, не проходило дня, чтобы литания про несправедно добытое не звучала в ушах завсегдатая таверны.

В какую б дудку ты ни дул,  
Будь ты монах или игрок,  
Что банк сорвал и улизнул,  
Иль молодец с больших дорог,  
Писец, взимающий налог,  
Иль лжесвидетель лицемерный, —  
Где все, что накопить ты смог?  
Все, все у девок и в тавернах!\*

За словесной сарабандой, позволившей Вийону выстроить цепочку ярких, но, в общем-то, лишенных глубины образов, за беспорядочным нагнетанием ассонансов и аллитераций скрывается не только поэтическая игра, но и целый мир таверны.

Пой, игриш раздувай разгул,  
В литавры бей, труби в рожок,  
Чтоб развеселых фарсов гул  
Встряхнул уснувший городок  
И каждый деньги приволок!  
С колодой карт крапленных, верных  
Всех обер! Но где же прок?  
Все, все у девок и в тавернах!\*\*

Вийону прекрасно было известно непреложное правило: выигранные деньги иссякали, в ход снова шла аспидная долговая доска кабатчика, и в конечном счете пьяница оставлял в залог последние пожитки.

Все, от плаща и до сапог,  
Пока не стало дело скверно,  
Скорее сам носи в залог!  
Все, все у девок и в тавернах\*\*\*.

«Пропашие ребята», как их называл Клеман Маро, — это и те, кто продает фальшивые индульгенции, и те, кто добав-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 112. *Пер. Ф. Мендельсона.*

\*\* Там же.

\*\*\* Там же. С. 113.



ляет свинца в игральные кости либо подпиливает их, и те, кто, рискуя быть заживо сожженным, делает фальшивые деньги; это и карманные воры, и грабители. Вийон хорошо знал весь этот мир. И в своих стихах он показал, как от случая к случаю эти невинные шалости ведут к профессиональному разбою.

«Пропащие ребята» забавлялись либо забавляли других. Для игры годилось все: и кости для брелана, и карты, и кегли. Точно так же все годилось для того, чтобы производить шум: и цимбалы, и лютня. Зачем лишать себя удовольствия? Так уж устроен человек. Такой вот морали придерживался Вийон. Надо стараться извлекать свою выгоду, причем если нужно, то опережая других: оставить все у девок и в тавернах — не самое страшное зло. Грубоватый цинизм бедного школяра происходил скорее не из жизнерадостности, а из скептицизма. В обманном мире таверна не самое страшное.

ПОКА В ЧЕСТИ — ЗВУЧИТ ХВАЛА...

61

СВЯЩЕННИК СЕРМУАЗ

Накануне состоялось празднование дня Тела Господня. В том годовом цикле праздников, среди которых одни имели истоки в античности у язычников, другие — таковых было большинство, — отмечались ежегодно уже около тысячи лет, праздник Тела Господня был явным новшеством. Идея отмечать каждый год в один и тот же день *Corpus Domini*, то есть праздник Тела Господа, другими словами Евхаристии, никак не вписывалась в литургическую систему, при которой Евхаристия является прежде всего мессой. Культ Святых Даров, будучи оторванным от своей первоначальной функции жертвоприношения во время мессы, выглядел всего лишь как продолжение литургической Евхаристии. Однако этот праздник говорил сердцу верующего гораздо больше, чем труднодоступный язык требника.

Публичная демонстрация Святых Даров и шествие в их честь оказались более понятными даже для самых непосвященных и наименее чувствительных людей, чем древнее богослужение, например в честь святого Бенедикта или Григория Великого. Первый час, Третий час, Шестой час, Девятый час, Вечерня, Повечерие — во всем этом разбирались лишь монахи да каноники. Необходимо было владение подлинной библейской культурой, без которой чередование псалмов и гимнов превращалось в набор пустых слов. Что же касается устремлявшихся в церковь тысяч верующих, которые хотели молиться, но с трудом следили за мыслью царя Давида, то они отдавали предпочтение таким немногочисленным, но хорошо знакомым мелодиям, как *Benedictus* или *Pange lingua*, и охотнее распевали в унисон изложенные простым языком и легкие по смыслу гимны.

А кроме того, раз уж речь шла о том, чтобы восславить Господа, не следовало ли устроить ему столь же пышный праздник, как те, что устраивались королю, вступающему в свой славный

град? Кorteж, торжественное шествие — принцип тот же: показать и показаться. «Небеса», то есть балдахины из золототканого сукна или голубого бархата, годились как для короля, так и для Бога. Были такие балдахины, которые несли впереди, и такие, которые несли сзади. Для этого существовал специальный протокол, не оставлявший без внимания ни одной детали. Золотых дел мастера распределяли между собой работу и создавали драгоценности, благодаря которым праздник превращался в настоящую выставку ювелирного искусства; каждый старался угодить Богу как мог.

Праздник Тела Господня быстро завоевал популярность. Понадобилось меньше века, чтобы его вписали в требник и он занял там одно из самых почетных мест. Клирики сочинили для него антифоны. Миряне написали песни.

Процессия с носимыми по городу Святыми Дарами, отождествлявшимися с Телом Господа, сильно потеснила в сознании верующих остальные шествия, во время которых носили раку с мощами или статую святого. Хотя человек средневековья и ощущал необходимость в посредниках, Бог все же стоял на первом месте, впереди святых. Сто лет спустя после появления этого нового праздника он стал важным элементом народной набожности.

Немало способствовало тому и время года, на которое приходился праздник, — первый четверг недели Всех Святых, второй четверг после Пятидесятницы: дни уже были длинные, а сильная жара еще не наступала. В Париже, где самым распространенным деревом была вишня, наступал сезон вишен. Расцветали розы; буржуа мог себе позволить покупать каждый день по букету роз, так что дети без труда набирали целые корзины лепестков, чтобы устилать ими путь Святых Даров.

К вечеру накапливалась усталость, но зато стояла хорошая погода. Улицы выглядели приветливыми. Поскольку праздник зародился относительно недавно, в описываемую эпоху он еще не обзавелся собственным фольклором, характерным для многих других вписанных в требник важных дат. И в предвечерний час праздник являл собою гармонично завершавшееся целое: после молитв наступал черед забав, а те в свою очередь уступали место отдыху.

Итак, вечером 5 июня 1455 года, отужинав, магистр Франсуа де Монкорбье присел на плоский камень, лежавший на обочине проезжей части улицы, как раз под циферблатом часов церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Жарким вечером сидеть на пороге, где больше свежего воздуха, всегда приятнее, чем в помещении, да и созерцание улицы Сен-Жак — занятие отнюдь не

лишенное интереса. Накинув на плечи легкий плащ и попирая ногами оставшиеся после процессии лепестки роз, Франсуа приготовился спокойно провести остаток вечера. Если бы он искал приключений, то, надо полагать, не выбрал бы для этого порог дома своего «более чем отца», добрейшего капеллана Гийома де Вийона.

Вместе с Франсуа были еще два человека: священник по имени Жиль и девушка по имени Изабелла. Мы не знаем, ни кто она такая, ни что она там делала. Очевидно, она была порядочной девушкой, потому что в противном случае официальные документы не преминули бы отметить ее дурную репутацию.

Спускалась ночь. Башенные часы показывали приблизительно девять. И тут появились двое «знакомых»: священник Филипп Сермуаз — или Сермуа, или Шермуа, или Шармуа... — и магистр Жан Ле Марди — или Ле Мерди... — бывший студент факультета словесных наук, только что, в июне 1455 года, закончивший свою учебу. Ле Марди выглядел спокойным, тогда как Сермуаз на что-то злился. Едва заметив Франсуа де Монкорбье, он закричал:

— Клянусь Господом Богом! Мэтр Франсуа, я вас нашел! Сейчас вам не поздоровится!

Вийон встал, возможно, менее удивленный, чем он это впоследствии изобразил, но во всяком случае далекий от того, чтобы проявлять признаки беспокойства.

— Милостивый государь, на что вы сердитесь? Разве я перед вами в чем-нибудь провинился? Чего вы от меня хотите? Я не сделал вам ничего плохого...

Под натиском Сермуаза Вийон посторонился. Позднее он сказал, что хотел освободить место, дабы усадить своего собеседника. Сермуаз истолковал это иначе и не исключено, что он заблуждался. Во всяком случае, он толкнул Вийона и насильно усадил его на место. Ситуация накалялась: Сермуаз явно искал ссоры. Тем временем свидетели исчезли: и те двое, что были с мэтром Франсуа, и тот, что пришел с Филиппом Сермуазом.

Дальнейшие события нам известны лишь в изложении Вийона, которое невозможно проверить и которое он представил людям короля, занимавшимся делом о его помиловании. Сермуаз выташил из-под сутаны кинжал и ударил, похоже, никак этого не ожидавшего Вийона в лицо. Удар, а то и не один, пришелся в верхнюю губу; полилась кровь. От раны на губе у поэта сохранился шрам, который помог ему получить королевское прощение.

Несмотря на то, что сержанты только тем и занимались, что

отбирали у горожан кинжалы, в Париже 1455 года никто на улице не появлялся без оружия, даже если нужно было выйти всего лишь на крыльцо. У Вийона тоже был кинжал; он его выхватил и нанес ответный удар.

Тот ли это был удар, который ранил Сермуаза «в пах или рядом»? Этого никто не знает. Слепленный яростью и по-прежнему держа в руке кинжал, священник делал все новые и новые угрожающие жесты. Вийон побегал. Противник устремился за ним во двор церкви Святого Бенедикта. Во всяком случае, так показал Вийон. Подвергаясь опасности быть схваченным, он нагнулся и подобрал камень.

В той редакции рассказа, которая предназначалась для друзей, дабы они могли сформулировать прошение о помиловании, — повествование ведется не от первого лица — поэт признает, что бросил камень, чтобы отвязаться от нагонявшего его Сермуаза. Впоследствии, желая оправдаться, он настаивал, что возвращение Жана Ле Марди на место потасовки потребовало от него более решительных действий: он оказался безоружным один против двоих.

Вернувшийся Ле Марди увидел, что Вийон в правой руке держит камень, а в левой кинжал. Похоже, что на полученный Сермуазом удар никто не обратил внимания. Сермуаз был слишком возбужден, чтобы его почувствовать. А Вийон даже не знал, что задел противника. Зато по лицу поэта кровь текла не переставая, и у него не было ни малейшего сомнения в том, что Сермуаз готов его убить.

Ле Марди в такой переделке оказался не впервые. Он бросился на Вийона, стараясь его разоружить, и в конце концов выхватил у него кинжал. Однако Вийон отпрыгнул назад и со всего размаха бросил камень. Священник Сермуаз упал на мостовую.

Тогда, нимало не заботясь о том, что происходит позади, мэтр Франсуа бросился к ближайшему цирюльнику по имени Фуке, чтобы тот его «починил».

Обычно цирюльники не только брили, но и пускали кровь, а также бинтовали. Несмотря на противодействие хирургов, стремившихся помешать корпорации брадобреев, заручившись официальными дипломами, создать нечто вроде службы срочной медицинской помощи, брадобреи не сдавали своих позиций, ведь их услуги стоили дешево и были всем доступны. Поскольку речь шла о лечении не у врача, которому статус клирика запрещал прикасаться к больному и оперировать его, пациенты предпочитали, чтобы им пускали кровь за одно су, а не за десять. Что же касается официальной медицины, то больные не очень-то верили врачам, которые сначала изучали мочу, а потом прописывали что-то на латыни. Люди верили

цирюльнику, ловко управлявшемуся со своим ланцетом и не хуже врача разбиравшемуся в снимающих боль припарках. Когда дело касалось не слишком сложных случаев, помощь брадобрея оказывалась несколько не менее эффективной, чем помощь лекаря.

В квартале, где располагались коллежи, где драки случались часто и у пострадавших, как правило, не было толстых кошельков, к помощи цирюльника прибегали часто. Однако цирюльник Фуке, подобно всем своим коллегам, хорошо знал исходившее из Шатле предписание: прежде чем делать перевязку, нужно спросить имя пострадавшего. Как зовут раненого? Вийон, понятное дело, вовсе не чувствовал себя ангелом безгрешным, каким потом пытался выглядеть в глазах людей короля, а потому придумал элементарную уловку, естественную в те времена, когда не было никаких удостоверений личности и вопрос об имени решался с помощью свидетелей. Он заявил, что его зовут Мишель Мутон. Имя же своего противника он назвал правильно: на следующий день Филиппа Сермуаза непременно бы арестовали и можно было бы посмеяться. А поскольку Мишель Мутон реально существовал, причем как раз в тот момент сидел в тюрьме, шутка получилась очень удачной.

Тем временем Сермуаз лежал в церковном дворе, вытянувшись во весь рост и сжимая в руке кинжал. Прохожие подняли его и отнесли в один из ближайших домов. Туда тоже позвали цирюльника, который наложил повязку.

К утру состояние священника сильно ухудшилось. Рана в животе и травма головы оказались столь серьезными, что, когда его решили перенести в больницу, он уже дышал на ладан. Там, в больнице, он и скончался в субботу, то есть менее чем через два дня, «по случаю названных ударов и из-за отсутствия хорошего ухода и из-за всего прочего».

## БУР-ЛА-РЕН

С того момента магистру Франсуа де Монкорбье, чья совесть была отнюдь не столь чиста, как он пытался изобразить, следовало вести себя очень осторожно. Сермуазу наверняка было в чем его упрекнуть. Спор из-за женщины? Карточный долг? Кража? Что-то было неладно, а ведь у Сермуаза были еще и друзья. Поскольку добиться оправдания, утверждая, что речь шла о законной самообороне, было бы нелегко, особенно если учесть, что, назвав чужое имя, он тем самым навлек на себя подозрения, Вийон решил прибегнуть к единственному ка-

завшемся надежным средством избежать наказания — покинуть Париж.

Ушел он, скорее всего, недалеко. А семь месяцев спустя вернулся. Один из проживавших в Бур-ла-Рене цирюльников, которому профессия досталась по наследству, заслужил расположение Вийона, приютив у себя беглеца. Поэт вспоминал потом, как хорошо ему жилось у этого Перро Жирара.

Затем, цирюльнику Жирару,  
Который в Бур-ла-Рен живет,  
Оставлю таз, а лучше — пару,  
Чтоб он удвоил свой доход.  
Шесть лет назад — блаженный год! —  
Жирнейшим пороссячьим мясом  
При нем кормился без хлопот  
Я с аббатисой из Пурраса\*.

У Перро Жирара Вийон, по его словам, не скучал. Однако, даже если он никогда не встречал Югетту дю Амель, раблезианского типа аббатису «Пурраса», как тогда фамильярно называли женский монастырь Пор-Руаяль, сам факт, что он как бы привлекал ее в свидетели своего времяпровождения в Бур-ла-Рене, говорит о том, что оно вряд ли было чрезмерно добродетельным.

Аббатисой Югетта дю Амель, женщина не слишком праведного поведения — позднее стало известно, что в момент избрания аббатисой она уже не была девственницей, — сделалась всего за несколько месяцев до описываемых здесь событий, причем монахинь под ее началом после только что закончившейся Столетней войны, в результате которой поля оказались опустошенными, а деревни и монастыри разграбленными, было совсем немного. Первое время в монастыре кроме нее жила только одна послушница. Потом Югетта дю Амель обратила еще четырех или пятерых монахинь, благодаря чему в Пор-Руаяле началась кое-какая деятельность.

Скоро стало известно, что прокурор аббатства, парижский стряпчий по имени Бод Ле Мэтр, ездил в Пор-Руаяль не только затем, чтобы навестить свою племянницу, но и чтобы приятно провести время. Короче говоря, он спал с аббатисой. В свою очередь аббатиса навещала его в Париже, когда на равнинах снова стало беспокойно и монахини, подобно всем остальным, стремились укрыться за крепостными стенами.

И он одалживал ей свою постель, а она ему — свою.

Однажды Бод Ле Мэтр приехал в Пор-Руаяль вместе со своим кузенком, магистром словесных наук, молодым человеком

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 85. Пер. Ф. Мендельсона.

приблизительно того же возраста, что и Франсуа де Монкорбье. Устроили купания. Аббатиса приказала приготовить вторую ванну и хотела заставить одну юную монахиню по имени Алипсон искупаться голой вместе со студентом. Алипсон отказалась. Тогда ее бросили в корыто одетой, не дав времени даже снять обувь. И той пришлось раздеться. Нетрудно догадаться, как завершился для нее день.

Деньги идут к деньгам, а слава к славе. Если в округе устраивалась какая-нибудь непристойная вечеринка, то всегда находились люди, утверждавшие, что видели на ней аббатису Пурраса, то при маскараде, а то и без оного. Она действительно частенько бывала на подобных мероприятиях, как, впрочем, и на всех кутежах. Заканчивались ее ночи в постели с мужчинами. Как-то раз она неплохо провела время в компании солдат, но потом те сочинили про нее песенку. Аббатиса отыгралась на том, кто считался автором куплетов: его сурово поколотили, и он умер от ран.

Скандалная история длилась лет пятнадцать. Закончилась она тогда, когда Югетта скрылась вместе с одним из своих любовников, казной и архивом аббатства...

Представ перед Парламентом, она нашла себе оправдание: в Пор-Руаяле было всего две комнаты. Аббатисе и монахиням не оставалось ничего другого, как делить помещение с прокурором...

Чтобы поминать имя аббатисы, вовсе не обязательно было состоять у нее в любовниках. В квартале бернардинцев, где проживал Бод Ле Мэтр, ее имя служило синонимом разврата. В конце концов ведь это именно два бернардинца впервые поведали миру об удивительных посетительницах магистра Бода и о связанных с их посещениями обстоятельствах. И все же упоминание об аббатисе Пурраса бросает кое-какой свет на веселое и, очевидно, не дорого стоившее убийце священника Сермуаза времяпровождение. Вийон, который в начале 1456 года благодаря королевскому помилованию возвратился в Париж, уже не был прежним добродушным магистром словесных наук, наслаждавшимся вечерней прохладой на исходе праздника Тела Господня. Он приобрел привычки, отличные от привычек магистра Гийома де Вийона. Раньше он был студентом, хоть и плохим. А тут стал сорвиголовой.

Дабы не оказаться арестованным на следующий день после праздника Тела Господня, он скрылся. Однако избежать немедленного заключения в тюрьму было даже не полдела: предстояло еще подумать о том, как вернуться и жить дальше. Время отнюдь не отводило угрозу наказания, и мэтр Франсуа, возвращаясь, рисковал получить либо виселицу, либо увечья.



К счастью, правители давным-давно поняли, что общественный порядок ничего не выигрывает от увеличения количества бродяг, оторванных от нормальной жизни страхом перед наказанием и вынужденных поддерживать свое существование теми или иными способами, из которых самым доступным было воровство. В тех случаях, когда виновный не был рецидивистом, а преступление выглядело случайным, помилование давало возможность вернуться к привычной и нормальной жизни.

Итак, после того праздника Тела Господня прошло шесть месяцев. Возможно, Вийон действительно жил в Бур-ла-Рене. Весьма маловероятно, чтобы он покидал парижские окрестности, и то путешествие в Мулен, о котором столь много говорилось, пожалуй, следует считать всего лишь смелой гипотезой. В «Послании», направленном им в 1461 году герцогу Бурбонскому, дабы испросить у него какой-нибудь «заём», поэт упоминает его первое даяние в размере шести экю. Можно увидеть в этом намек на какое-то состоявшееся раньше посещение провинции Бурбонне. Однако с таким же успехом можно предположить, что щедрость была проявлена герцогом в Париже, куда принцы вроде Бурбона приезжали по нескольку раз в год.

Ведь истекшие шесть месяцев ушли на то, чтобы добиться помилования, и Вийон не должен был слишком удаляться от тех, кто старался помочь ему, от тех «друзей», о которых рассказал позднее, когда ему угрожала опасность быть повешенным за гораздо менее серьезную провинность.

Когда видишь, что в январе 1456 года поэт вернулся в Париж, избежав какого бы то ни было наказания, когда читаешь те тексты, в которых ему возвращались «доброе имя и слава», то возникает искушение предположить, что он пользовался покровительством какого-то высокопоставленного лица, приближенного ко двору и вхожего в канцелярию. Естественно, никто не мог бы сказать, во что обошлось заступничество, обелившее убийцу Филиппа Сермуаза, но одно можно сказать с определенностью: в текстах помилования невозможно обнаружить ни следа денег или чьего-либо влияния. Королевское правосудие свершалось, милуя и карая, причем король распоряжался судьями и маленьких людей, и сильных мира сего.

Наряду с правосудием, которым должны были по поручению короля заниматься суды, существовало еще и личное правосудие монарха, осуществляемое самодержцем прямо во дворце. Право прощать было наиболее осязаемым его проявлением:

король мог отменить исполнение приговора. Помилование же было еще более радикальной формой прощения: при помиловании с обвиняемого вообще снималось всякое подозрение, причем это могло произойти как во время проведения процедуры расследования, так и до ее начала. Помилование ликвидировало не только наказание, но и состав преступления.

Если внимательно изучить этот феномен, то можно сказать, что помилование выглядело всего лишь как некий необходимый противовес уголовному кодексу, где в принципе игнорировались и смягчающие обстоятельства, и заключение в тюрьму на определенный срок. Судьи ничего не могли поделать: за смерть следовало воздать смертью же. Мирское правосудие не признавало тюремного заключения на срок; таковое могла назначить лишь Инквизиция, дабы помочь раскаявшимся грешникам через страдания заработать себе спасение на том свете. Для тех, кого признавали виновными, существовало лишь одно наказание: отсечение головы, когда речь шла о лицах благородного происхождения, и виселица во всех остальных случаях либо, в качестве исключительной меры наказания, костер или котел с кипящей водой. Следовательно, прощение несколько нарушало автоматизм действия судебной машины, причем нередко оно отвечало пожеланиям самих судей. Ну а помилование еще до процесса позволяло виновнику, который считал необходимым скрыться, возвратиться к нормальной жизни, что в конечном счете оказывалось выгодно и обществу. По просьбе «родных и друзей во плоти» король предавал событие забвению. Помилование не являлось исключением, оно представляло собой попытку гуманизировать правосудие, оперировавшее необратимыми мерами наказания.

Достаточно бросить взгляд на протоколы королевской канцелярии — «Протоколы казначейства хартий», — чтобы исчезло всякое сомнение. Помилование фигурирует там на каждой странице. Оно было доступно всем в том случае, когда находился некий свидетель, подтверждавший добронравие обвиняемого. И канцелярия даровала всем удостаивавшимся этой милости необыкновенную, стоившую дороже любых денег безопасность, проистекавшую из самого факта регистрации. Бедняге было бы нелегко сохранить скрепленные печатями охранные грамоты, дабы иметь возможность показывать их любому желающему побеспокоить его сержанту. Знать, что официальный след королевского милосердия находится в ведомостях самого короля, — самый надежный способ обретения истинного спокойствия как для человека, не имеющего собственного архива, так и для владельца набитых грамотами сундуков. Дело в том,

что в одних и тех же крупноформатных ведомостях, на одних и тех же листах из тонкого пергамента вписывались сведения и о помиловании горемыки, и о возведении во дворянство юриста или финансиста.

Люди короля даже не жалели места в отличие, например, от нотариусов, ради экономии сплошь и рядом злоупотреблявших сокращениями. «Бойтесь нотариусовских *и прочее*», — гласила народная мудрость, осведомленная, насколько трудно непосвященным понять те бесконечные документы, где все формулы сводились к двум-трем словам с сопровождающим их *«и прочее»*. Что касается людей из канцелярии, то они, как правило, проявляли щедрость: помилованный преступник мог быть уверен, что свидетельство о прощении смогут прочесть все.

Пролистаем несколько страниц. В ведомости 187 казначейства хартий помилование «магистра Франсуа де Лож по прозвищу де Вийон» значится под номером 149. А под номером 150 фигурирует помилование одного крестьянина и его детей: Андре Морена и его сыновей Этьена и Жана, славных скотоводов из Шароле, виновных в том, что избили до смерти своего соседа Югенена де ла Ме. Разве не говорила вся деревня, что Югенен немного промышляет колдовством? Тому имелись даже доказательства: когда животные вдруг оказывались при смерти — причем в стаде Югенена они никогда не умирали, — стоило колдуна немного поколотить, как они тут же выздоравливали. Иногда его жертвами становились мужчины и женщины. Подтверждение тому Морен получил во время болезни собственной жены: несколько хороших угроз в адрес соседа Югенена, и больной стало лучше. А в один прекрасный день колдуна ненароком убили.

И вот королевское помилование крестьянину с его сыновьями позволило им, вместо того чтобы пополнить слонявшиеся по дорогам ватаги бродяг, вернуться в родную деревню. Ну а канцелярия выделила целую страницу этим бедолагам: колдуну и заколдованному, запутавшимся в едином несчастье. Первый погиб 21 октября 1455 года. А документ, возвративший другому право на нормальную социальную жизнь, датирован ноябрем. Стало быть, королевская милость осуществлялась быстрее, чем правосудие в королевских судах.

А вот еще одна страница: Николя Дастюг, виновный в умерщвлении дерзкого на язык пекаря, несколько раз назвавшего его жену «бесстыдницей» за то, что она пеняла ему за подгоревший хлеб. Муж пришел разбираться. Пекарь не убоился и даже бросил ему в лицо вязанку хвороста. Удар кинжалом «через желудок в грудь» — и вот вам еще одна трагедия. И еще одно помилование.

В следующем документе речь идет о возвращении к нормальной жизни Гийома Фрике, сына Мателена Фрике, мясника деревни Сен-Севан, расположенной в кастелянском округе Люзиньян. В этом случае трагедия явилась результатом свойственной молодости горячности. Пошли несколько человек в одно ноябрьское воскресенье пострелять из лука. Прицепили две шляпы к ветке, и получилась мишень. Один из стрелков стал очень неудобно, и ему посоветовали отойти подальше. Тот только плечами пожал: идите, мол, стрелять на другой край луга. А те заупрямились: не перевешивать же шляпы! Не дожидаясь, пока строптивец отойдет, начали стрелять. В результате одна стрела ранила его, и от этой раны он через месяц скончался. И опять помилование, а не то пришлось бы сына мясника повесить.

Откроем еще одну ведомость канцелярии, значащуюся под номером 183. И обнаружим там все те же примеры случайных убийств, непредумышленных преступлений. Снова помилования тем королевским подданным, которые убили защищаясь либо впервые попались на краже. Но на закоренелых преступников такая милость не распространяется. Франсуа Вийон фигурирует в этой ведомости повторно, по поводу вторичного помилования, относящегося к тому же самому преступлению. За ним следует Вийме Пезен, несчастный подмастерье столяра, специализировавшегося на изготовлении дверей и окон. В одной несуразной перепалке, где каждый обзывал другого сводником, Вийме оказался зажатым в лавке, в то время как его противник стоял в двери и кричал:

— Сын потаскухи! Клянусь Богом! Ты от меня не уйдешь!

Они подрались — сначала мотыгами, потом ножами, схватив их тут же, на соседнем прилавке. Противник угрожал «ножом с большой деревянной ручкой и широким лезвием, каким убивают свиней», и Вийме понял, что жизнь его в опасности. Он наклонился, чтобы уйти от удара, и сам ударил в пах. Королевское помилование вернуло Вийме Пезена к столярным делам.

В следующем документе речь идет о возвращении к нормальной жизни «бедного молодого человека приблизительно тридцати шести лет от роду» — так уж у нотариуса написано, — который в Брюгге в одной таверне, расположенной около Кармелитского моста, убил во время драки человека. Причиной драки явилась временная благосклонность одной «молодой женщины, которая была влюблена». Иными словами, один из драчунов пожелал отнять у другого проститутку. По мере того как листаешь страницы, перед глазами выстраивается целая вереница причин, породивших такого рода непредумышленные преступления: спор из-за женщины либо земли, на-

капливавшаяся из поколения в поколение ненависть, беспричинные, вдруг разгоревшиеся душным летним вечером ссоры. В такого рода делах чаще оказывались замешаны клиенты таверны, нежели посетители княжеских дворцов, и разрешались они в большинстве случаев с помощью ножа, а не шпаги. Получение помилования означало, что удалось найти посредника, засвидетельствовавшего, что ранее обвиняемый отличался безупречной моралью, но при этом хватало заступничества кюре, и не было никакой необходимости иметь высокого покровителя, чтобы добиться такого снисхождения, отнюдь не считавшегося милостью в обход закона. Ускользнув от виселицы, Вийон ушел от наказания не один, а в компании таких же, как он, бедолаг, тоже не надеявшихся на подобный благополучный исход дела. Его компаньонами по несчастью и по милости были подмастерья, школяры, виноградари. Среди них не числились ни поэт Карл Орлеанский, ни художник Рене Анжуйский. Не встречались среди них — возможно, пока еще не встречались — и называвшиеся тогда «кокийярами» нищие.

Не будем, однако, слишком доверчивыми. Когда читаешь эти документы, обнаруживаешь, что убийцы были мирными людьми, добрыми отцами и сыновьями. Убивали они, защищаясь, но никто и никогда не рассказал нам о том, из-за чего жертва завязала драку. Вийона оскорбили, а он даже не знал почему. На Вийме Пезена напал Пьер Катер в тот момент, когда он, закончив работу, проходил в самом конце моста Нотр-Дам мимо лавки торговца скобяными изделиями и кроватями.

— Бесстыдник! Предатель! Распутник! Клянусь Богом! Тебе осталось жить не больше двух дней! Распутник!

Вийме, понятное дело, был ошеломлен. Подобно всем, кто получил помилование, он, конечно, не произнес ни единого ругательства. Он был тружеником, но не распутником, то есть не сутенером. А ведь он мог бы с успехом ответить такими же оскорблениями, тем более что Пьер Катер последние двенадцать лет нигде не работал. На что же тот жил, если не «на то, что зарабатывали женщины»?

Еще более серьезно то, что Вийме Пезена обозвали «сыном потаскухи». Между тем его мать была еще жива, находилась в Турне и весь квартал знал ее как «порядочную, добродетельную женщину». Как не помиловать ремесленника, вступившегося за честь своей матери, которая проживала в Турне, а в Париже никто и не думал сомневаться в ее добродетели?

Ну а что касается двух помилований Вийона, вписанных в две различные ведомости двумя разными нотариусами, то здесь поводов для удивления у нас еще больше. В одном документе фигурирует «магистр Франсуа де Лож, или иначе де Вийон»; это

единственный текст, где мы встречаем имя «де Лож», и одновременно единственный случай, когда Вийон позаимствовал у капеллана Гийома вместе с именем и частицу «де». В другом документе значится «Франсуа де Монтербье, магистр словесных наук».

Не следует удивляться такому написанию фамилии. В XV веке буквы «т» и «к» были похожи, и, значит, нотариус, заполнявший ведомости, просто плохо прочитал переписанный им документ. Что же касается смешения «ер» и «ор», то оно объясняется тогдашним парижским произношением, произношением «друзей во плоти», приходивших просить за поэта. Еще даже и в XX веке на некоторых улицах столицы вместо Пьеро произносят Пьяро. Кстати, в интересующих нас документах один нотариус записал Жан Ле Мерди, а другой — Жан Ле Марди. Не нужно этому удивляться, поскольку и сам Вийон рифмовал имя «Робер» со словом «пупар», означавшим «младенец». Труднее объяснить, почему один нотариус написал фамилию Шермуа, а другой — Сермуаз. В этом случае следует предположить, что рассказ о событиях шел по двум различным каналам.

Коль скоро существует два документа, это означает, что о помиловании Вийона хлопотали две группы друзей, каждая со своей стороны. Преднамеренно или нет в одном случае у поэта оказалось имя Франсуа де Лож по прозвищу де Вийон, а в другом — Франсуа де Монкорбье? Не исключено, что те и другие играли двумя разными фигурами на двух разных досках.

При наличии некоторых расхождений оба варианта рассказа в основном совпадают. Общий источник вполне очевиден; им мог быть только сам Вийон, так как цепочку событий, развернувшуюся после ухода Изабеллы и Жана Ле Марди, знал лишь он один. Однако две процедуры шли параллельно, и канцелярия из-за этого допустила ошибку. Необходимо также обратить внимание на тот факт, что мотивировки помилования, касающегося Франсуа де Монкорбье, основываются на более позднем рассказе, чем мотивировки, фигурирующие в документе о Франсуа де Ложе по прозвищу де Вийон. В первом рассказе еще ничего не говорилось про добровольное изгнание, а во втором уже ничего не говорилось про сохранившийся на губе след от раны. Возможно, именно здесь находится ключ к разгадке двойного помилования. Друзья Вийона сначала добились прощения, не раскрывая его настоящего имени. В этом контексте позаимствованный у капеллана псевдоним должен был сослужить добрую службу, дабы впоследствии поэт беспрепятственно пользовался полученным таким способом помилованием. Но правосудие наконец высказало свое мнение. Отныне уже не

нужно было притворяться, зато помилование, полученное до вынесения приговора, причем под фиктивным именем, могло оказаться не слишком надежной защитой для Вийона, который, вернувшись, рисковал быть схваченным под своим настоящим именем.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА

Можно было бы и не заострять внимание на этой двойной записи, если бы тут не напрашивался один вывод: у Вийона были друзья и королевское помилование пришло не само собой. Одновременно было предпринято несколько попыток, причем осуществлялись они с разной скоростью. Молодой безденежный магистр словесных наук имел немало друзей, и его добровольное изгнание не оставило безразличными людей из университетской сферы. Сказать, что поэт уже тогда стал знаменитым, было бы преувеличением. Хотя в Париже им дорожили. Причем некоторые уже понимали, кто такой Франсуа Вийон.

Вернувшись к нормальной жизни, он мог бы воспользоваться этим обстоятельством, дабы возобновить учебу, ориентированную после окончания им факультета словесных наук, если судить по кругу его чтения, на теологию. Как бы не так. Он погрузился в блаженное ничегонеделание, приобрел за шесть месяцев бродяжничества дурные привычки, завел друзей среди тех, кто, как и он, был не в ладах с правосудием. Вместо того чтобы работать, развлекался да жаловался.

В ту пору он еще не был сутенером, коим стал несколько лет спустя. Он пока ограничивался знакомством с небольшим кругом беспутных личностей, честных ремесленников днем и мошенников ночью. Взять, например, судовщика Жана Ле Лу или, как его еще звали, Ле Ле, официально числившегося «извозчиком по воде» и арендатором рыбного промысла в ямах. Каждый год он занимался опорожнением оставшихся в городе ям с водой. А затем продавал на рынке щук, карпов, линей и угрей, которых таскал из ям полными вершами. В том же кругу знакомых Вийона можно было встретить и бочара Казена Шоле, будущего сержанта с жезлом при Шатле. Похоже, на совести у этих двоих была жизнь задушенной на городской стене утки, принесенной затем домой в складках рясы, которую они, кажется, позаимствовали у одного монаха.

Затем пускай Шолет и Лу  
Поймают утку на двоих  
И живо спрячут под полу,  
Чтоб стража не поймала их.

Еще охапку дров сухих  
Оставлю им, а также сала  
И пару башмаков худых,  
Коль этого им будет мало\*.

Поэт, если его не предавали, оставался верен в дружбе, и когда в 1461 году он писал «Большое завещание», он снова вспомнил о двух воришках. Шолет тем временем стал священником. У него в приходе царил порядок. Однако как он был шутником, так шутником и остался: однажды, несколькими годами позднее, он славно повеселился, распространив в Париже ложный слух, будто бы в город вошли бургундцы Карла Смелого...

А что касается Жана Ле Лу, то он пользовался своей должностью при муниципалитете, чтобы грабить набережные Гревского порта. При этом Ле Лу славился своей грубостью. Как-то раз оскорбил некую аббатису, но то была не аббатиса Пурраса. И оказался в тюрьме. А в 1461 году Вийон опять вспомнил ту проделку, которая поразила его воображение во времена, когда среди его знакомых было еще не так много мошенников: он вновь позаботился о подарке для двух расхитителей парижской живности.

Затем, пусть Жану Лу дадут, —  
Он парень с виду неплохой,  
Хотя на самом деле плут  
И, как Шолет, хвостун лихой, —  
Собачку из породы той,  
Что кур умеет воровать,  
И плащ мой длинный — под полой  
Ворованное укрывать\*\*.

В том 1456 году Франсуа де Монкорбье исчез раз и навсегда. Ставя подпись под стихотворением либо представляя какой-нибудь фарс на сцене, он никогда не вспоминал еще сохранившуюся в списках французской нации фамилию Монкорбье, равно как и де Лож и Мутон, те фамилии, которые пригодились лишь раз. И для себя, и для остальных он окончательно превратился в Франсуа Вийона.

Гийом де Вийон — напомним, что частица «де» указывает не на принадлежность к дворянству, а на то место, откуда человек родом, — тоже все предал забвению. Франсуа опять поселился в доме при церкви Святого Бенедикта, откуда ему был слышен звон колокола Сорбонны в час, когда оповещали, что пора гасить свет. Наступила осень 1456 года. Закрылись оконные ставни. И вот заскучавший школяр взял в руки тетрадь.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 27. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 83.



В год века пятьдесят шестой  
Я, Франсуа Вийон, школяр,  
Бег мыслей придержав уздой  
И в сердце укротив пожар,  
Хочу свой стихотворный дар  
Отдать на суд людской, — об этом  
Писал Вегетий, мудр и стар, —  
Воспользуюсь его советом!

В год названный, под Рождество,  
Глухою зимнею порой,  
Когда в Париже все мертво,  
Лишь ветра свист да волчий вой,  
Когда все засветло домой  
Ушли — в тепло, к огню спеша,  
Решил покончить я с тюрьмой,  
Где мучилась моя душа\*.

Он развлекался. Вегетий и его «Книга рыцарства» не имели никакого отношения к медитациям Вийона и являлись лишь данью традиции, согласно которой ни один уважающий себя клирик не начинал выполнять задание, не упомянув в первую очередь кого-нибудь из древних. Для любого рассуждения требовался фундамент, а таковым мог быть лишь «авторитет». Вийон, притворившийся послушным учеником и приготовившийся отказать по «Завещанию» отсутствовавшее у него имущество, просто-напросто пародировал своих учителей. Он подражал также стилю нотариусов и насыщенных софизмами преамбул буржуазных завещаний. Вийон приступал к написанию пародии на общество, причем, создавая эту пародию, он говорил только о Вийоне.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 19. Цит. Ф. Менделеева.

## СКАЖУ БЕЗ ТЕНИ ПОРИЦАНЬЯ...

### МУЖ В ЛОВУШКЕ

Любовь. Вроде бы Карл Орлеанский все сказал человеку XV века о любви, но кузен короля жил в том обществе, где мечта о даме сердца не имела ничего общего с политическим актом, каковым являлся брак, и где культура все еще отводила куртуазности, как форме рыцарской чести, первое место в ряду добродетелей. А мечты о любви юного магистра словесных наук, радовавшегося мимолетному поцелую, вряд ли были созвучны надеждам и мечтаниям герцога Орлеанского.

Правда, он был клириком, а клирики считались женоненавистниками. Иногда клириками становились из-за женоненавистничества, но гораздо чаще клирик становился женоненавистником из-за того, что был обречен на безбрачие. Правило действовало в обоих направлениях. Так или иначе, образ женщины в глазах клириков отнюдь не выглядел лучезарным, а ведь клирики были людьми пишущими. Вполне естественно, что литература смотрела на женщину суровым взором и весьма плохо передавала чувства счастливых мужей и сияющих счастьем любовников.

Величайших героев истории губили именно женщины. Вийон повествует об этом без прикрас: по вине женщины согрешил царь Давид, а Ирод совершил гнусный поступок.

Давид, желаньем подогретый,  
Сверканьем ляжек ослеплен,  
Забыл скрижали и заветы...

.....

Под звуки сладостных куплетов —  
Был Иродом Иоанн казнен  
Из-за язычницы отпетой...\*

Поэт не боялся, что, подобно пророку, лишится головы из-за пируэтов какой-нибудь Саломеи. Не мудрствуя лукаво, он

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 63. Пер. Ф. Мендельсона.

напевал песню клириков, довольных тем, что на каждый случай в Священном Писании находится неопровержимый пример женского вероломства.

В этих обстоятельствах женитьба выглядела обманом, а тот, кто попадался на эту удочку, — безумцем. Развивая символизм «Пятнадцати радостей супружества» не столько с горечью, сколько с циничной иронией, хоть и исходил он из традиционных «пятнадцати радостей Богоматери», один анонимный клирик начала XV века высказал свою мысль без обиняков: бракосочетание — это силки, в которые попадаетея мужчина со своей свободой.

«Тот юноша не имеет доброго разума, который располагает возможностью предаваться радостям и наслаждениям мира и который, будучи юным, по собственной воле, без крайней нужды находит путь в тесную, скорбную и наполненную плачами тюрьму и замыкает себя в ней».

Согласно автору «Пятнадцати радостей», получалось, что человек женится не иначе как став жертвой иллюзий, а также из желания поступать как другие.

«Тот, кто женился, попал в вершу, поскольку, когда он находился снаружи, ему казалось, что внутри ее рыбы развлекаются. Он много потрудился, дабы вкусить тех же забав и тех же утех».

В среде клириков с удовольствием, сгущая краски, пересказывали и без того наводящие уныние истории про буржуа-рогоносца и зубоскала-соседа, — истории, мораль которых сводилась к тому, что брак усиливает заложенные в женщине пороки, так как создает благоприятные возможности для развития естественных для прекрасного пола властности и лукавства, за что расплачиваться приходится мужу. Само собой разумелось, что жена имеет склонность вмешиваться во все дела. Управлять домом, тиранить служанок, навязывать свои вкусы и причуды. Ну а муж быстро смиряется с новым состоянием, подчиняется, не ожидая даже приказов.

«Когда кто-нибудь обращается к нему по делу, он отвечает: «Я поговорю об этом с женой» или «с хозяйкой нашего дома». Пожелает она — дело состоится. А не пожелает — ничего не получится. Потому что простак уже настолько укрощен, что становится смиренным, как бык,

которого впрягли в плуг. Таким безнадежно покорным, что дальше и некуда».

Может быть, хоть в профессиональной деятельности удастся найти спасение от властолюбия супруги? Иллюзия быстро рассеивается, и в один прекрасный день муж обнаруживает, что он уже даже не хозяин своего дела. Если жизнь клирика ограждена от женщины надежным барьером, то у торговцев и ремесленников все обстоит иначе. Ну а уж в том, что касается семьи, власть женщины просто безраздельна. Не более чем счастливым исключением является муж, с которым посоветуются относительно замужества его дочерей. Не говоря уже о том, что после того, как дочь выдана замуж, жена постарается настроить против своего мужа и дочь, и зятя. Впрочем, разве он не получил то, чего добивался?

«И оплакивает проstack свои грехи в верше, куда он попал и откуда никогда не выйдет, а останется страждущий и стенающий. И не осмелится он заказать даже мессу во спасение своей души, потому что жену свою любит больше своего спасения. Не делает даже завешания, не вложив душу свою в руки своей жены».

Что же касается блаженного буржуа, то как ни доволен он был своей судьбой, а и то в составленном в ту же пору учебнике примерной супруги, каковым явилась книга «Парижский домовод», нетрудно обнаружить явное беспокойство мужчин перед лицом все возраставшей женской властности. Хотя в принципе супруга «домовода» — слово это означает просто-напросто «хозяин дома» — выглядит там исполненной уважительности, повиновения, внимания, осведомленности в домашних делах и, будучи увиденной глазами своего супруга, предстает перед нами скорее в роли первой из служанок. Буржуа не слишком затруднял себя уклончивыми формулировками.

«Вот вы говорите, что хотели бы служить мне еще лучше, чем делаете это сейчас, если бы были научены этому, и желаете, чтобы я вас научил. Милая моя подруга, знайте, что мне достаточно того, чтобы вы служили мне так же, как наши добрые соседки служат своим мужьям».

Однако лукавицы все же набираются опыта. Служанка превращается в хозяйку. И добряк буржуа оказывается вынужденным подтвердить, что страхи клирика возникли не на пустом месте: старость женатого человека — постоянное подчинение.

«Есть женщины, что поначалу весьма преданы своим мужьям. Потом они видят, как мужья в них влюблены и любезны в обращении, что, кажется, можно радеть меньше, а они и не подумают рассердиться. И дают себе послабление. Мало-помалу начинают меньше их уважать, становятся менее внимательными и послушными, а самое главное, начинают пробовать свою власть, во все вмешиваться и командовать, сначала в маленьком деле, потом в более крупном, и так с каждым днем все больше и больше.

Так они на ощупь двигаются все вперед и все вверх и воображают, что их мужья, которые ничего не говорят из любезности или из хитрости, ничего не видят, а те на самом деле просто терпят».

Буржуа предпочитал поступиться своими правами, чтобы в доме был мир. Холостяк Вийон, которому не нужно было управлять ни домом, ни имуществом, оказался не в состоянии понять эту сторону дела и отождествил женскую авторитарность с наглостью Прекрасной Оружейницы и ей подобных, которые благодаря своей сияющей красоте способны держать в своей власти мужчин, пока не приходит старость, отнимающая у них их главное оружие.

Ведь я любого гордеца  
Когда-то сразу покоряла,  
Купца, монаха и писца,  
И все, не сетуя нимало,  
Из церкви или из кружала  
За мной бежали по пятам...\*

Обращаясь к чувственной стороне взаимоотношений женщины и мужчины, сатирическая литература особо выделяла фигуру священника. По крайней мере с XIII века одной из главных пружин развития действия в фаблю стал сговор замужней женщины и священника, сговор, в результате которого муж обычно оказывался одураченным. Из фаблю в фаблю путешествовали обманутые мужья и женщины, спасающиеся от их побоев в церкви. Властная женщина, которую так боялся даже защищенный обетом безбрачия клирик, способна была нанести мужу еще больший вред: например, принудить его к набожности, сделать завсегдаем церкви, отправить в паломничество к святым местам. Клирик избытком религиозности, как правило, не страдал, а вот жена, стремившаяся безраздельно властвовать в доме, имела в набожности прямой интерес. Кто способен был

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 54. Пер. Ф. Мендельсона.

прийти на помощь бедняге, которому грозило паломничество в Пюи или в Рокамадур? Соседям не оставалось ничего иного, как оставить его наедине со своей совестью, то есть с супругой. Если, конечно, та не отправлялась вдруг в паломничество сама, оставляя дома мужа, лишившегося возможности попутешествовать, между тем как к группе паломников неожиданно присоединился некий так называемый кузен, о котором раньше никто и слыхом не слыхивал... В такой ситуации мужу лучше было оставаться дома — ведь в любом случае правда оказалась бы не на его стороне.

«То она говорит, что одно стремя у нее слишком длинное, а другое — слишком короткое. То ей нужен ее плащ, то она его оставляет. Потом говорит, что у коня слишком резкий аллюр, отчего ей делается дурно. То она слезает с коня, а потом опять на него залезает, чтобы проехать через мост или преодолеть отрезок плохой дороги. То она не может есть. А когда они едут через город, она своего простака, набегавшегося как собака, заставляет бегать еще, чтобы он приносил то, чего ей захочется».

Обманутый муж — прежде всего презираемый муж. Лживость вкупе с властностью делали положение жертвы адюльтера еще более унижительным. Сколько таких жен, что сказываются фригидными в супружеской постели, а на стороне обретают вкус к сладострастию.

«Когда вечером муж ложится спать и у него возникает желание позабавиться, она, вспоминая о своем друге, с коим должна встретиться на завтра в определенный час, находит предлог, чтобы уклониться от общения, сказавшись нездоровою. Ведь она не ценит то, что он ей даст, так как это ничтожная малость в сравнении с тем, что получит от друга, которого не видела неделю либо еще более. А тот придет на завтра изголодавшийся и разгорячившийся за все время, что скитался по улицам и садам, когда они даже поговорить не могли прилично».

Женщина по натуре своей обманщица. Она скрытна. Она вся состоит из уловок примитивного общества, тогда как францисканец, доминиканец или монах из нищенствующего ордена персонифицируют христианское общество, каким его изобразили авторы написанного двумя веками раньше «Романа о Розе». Она способна бить своих детей из одного только удовольствия досадить мужу и злокозненно продемонстрировать ему, на-

сколько мала доля его участия в их воспитании. Как говорилось в приключенческом романе, называвшемся «Амадас и Идуан» и пользовавшемся некоторым успехом в эпоху последних крестовых походов, она «охимеривает народ». Вийон назвал это «злоупотреблением верой». Любимая женщина «заставляет принимать мочевые пузыри за фонари».

Тот буржуазный мир, где экономия слыла главной добродетелью, остро ощущал еще один отождествлявшийся с женской натурой порок: алчность. Ради какого-нибудь платья, драгоценности, вкусного обеда женщина пойдет на все. Та не подпускает к себе мужа, пока он не опорожнит весь кошелек, другая чередует праздники с любовными делами. Горе тому мужу, который поддается шантажу. Наши моралисты его предупредили: конца этому не будет. Он залезает в долги, выбивается из сил. Напрасно он сетует:

«Когда мы устраивали нашу семью, у нас почти не было мебели, и мы договорились купить кровать и все, что положено для постели, а также для комнаты, и много других вещей, и вот теперь у нас осталось очень мало денег».

Разочарования, обиды, ревность — все это в конечном счете прокладывает путь основному женскому пороку: неверности. Будучи легкомысленной, ветреной, супруга обходительна лишь со своими любезниками.

«Подумайте только, как она рвется танцевать и петь и как мало почитает своего мужа, когда видит, что ее так почитают и выхваляют. И тут любезники, видя, как она хорошо одета да убрана жемчугами, каждый идет сам по себе, дабы заявить свои права. Всдь не секрет, что пригожий вид и игривость женщины делают дерзким даже робкого».

У клирика о браке представление особое, и он нагнетает злключения, связанные с женской натурой. В число фатальных для мужской свободы явлений включается им и материнство. У будущей матери появляются «прихоти», она требует; муж пытается удовлетворить ее капризы, а тем временем к ней приходят кумушки и подливают масла в огонь, да еще разносят сплетни по всему кварталу.

«И почему же у меня не сделался выкидыш! Их было вчера пятнадцать степенных женщин, моих кумушек, которые оказали вам честь, когда вчера пришли, и которые оказывают мне честь везде, где бы ни находились. А им

даже не досталось мяса, которое есть у их служанок, когда они болеют. Я хорошо это знаю: я видела. А они ведь умеют смеяться между собой, я сама тому свидетель. Увы! Вот когда они находятся в таком состоянии, в каком я сейчас нахожусь, то, видит Бог, уж за ними и уход лучший, и пища дороже!»

Хорошо еще, если жена не морочит голову мужу относительно отцовства. Ведь глуповатого мужа так легко убедить в чем угодно. И вот наш клирик иронизирует над тем, как беременная девица ловко имитирует потерю невинности.

«Приходит ночь. И тут будьте уверены, что мать хорошо просветила свою дочь и научила ее, как вертеться и кричать, дабы походить на девственницу. Матушка ее научила, чтобы, едва почувствует штуку, она сразу же издала громкий вопль со вздохом, какой издает непривычный человек, вдруг оказавшись по грудь в холодной воде совершенно нагим. Так она и делает, и очень хорошо играет свою роль».

Ну а муж, который не замечает своего рабства, остается единственным человеком, не знающим о своих несчастьях. Так клирик заранее отвечает на возражения тех балуемых женами мужей, что не пожелают признать себя в такой лишенной нюансов карикатуре на супруга и на весь институт брака; они, похоже, просто слепые. И соответственно, под покровом такого ослепления цинизм супруги только усиливается, и чем хуже ведет себя жена, тем смешнее выглядит муж.

Ну а поскольку женщинам не составляет труда представить вещи, как им нужно, родственники и друзья в свою очередь тоже оказываются обманутыми. И все начинают жалеть жену, стонущую по всякому поводу. Великими темами этих стенаний, которые, покачивая головами, выслушивают жители квартала, являются нищета и усталость. Муж выглядит неспособным содержать в достатке семью. Приходится все делать бедной женщине. Мужчина может считать себя еще счастливым, если не вся улица оповещается о его неудачах в постели. В противном случае даже проживающие по соседству мужчины, слепые в том, что касается их самих, присоединяют свои ироничные голоса к хору неудовлетворенных женщин.

За всеми этими делами мужчина утрачивает свободу. И автор «Пятнадцати радостей супружества» с выдающей его личную заинтересованность страстностью формулирует еще



одно опасение, призванное уберечь холостяка от алтаря: брак означает конец всем честолюбивым замыслам. Когда у тебя есть жена и дети, на карьеру просто не остается времени. Отлучаясь из дома даже на самый короткий срок, рискуешь навлечь на себя упреки и стенания. К тому же путешественника ждут неприятные сюрпризы, когда супруга, устав от долгого ожидания, слишком поспешно начинает считать себя вдовой.

## МЕЗАЛЬЯНСЫ

Молодая жена и старый муж испокон веков предоставляли удобный материал для более или менее тонко иронизировавших над ними сатириков. Поскольку роды нередко заканчивались смертью роженицы, вдовцов было много. Повторные браки хотя и забавляли публику, хотя и расшатывали социальные структуры, по существу, никого не удивляли. Однако, как полагает клирик-женоненавистник, разница в возрасте выставляет в смешном свете прежде всего мужа. Муж надеется обрести приятность и благоволение. А получает насмешку. Надо сказать, что в этом месте клирик ощущает некоторое замешательство: ведь должен же был прежний опыт чему-то научить старика. Не имея возможности списать опрометчивость на счет ослепления, автор «Пятнадцати радостей» злорадно перечисляет неприятные неожиданности, встречающие вдовца, остановившего свой выбор на молодой и красивой женщине. Оказывается, по сравнению со вторым браком первый — просто пустяки! Женщина здесь даже выглядит достойной снисхождения — настолько глуп отважившийся на это безрассудное предприятие мужчина.

«Подумайте, как она, молодая, нежная, со сладким дыханием, может терпеть старика, который будет всю ночь кашлять, плевать и жаловаться, который чихает и издает другие звуки. Хорошо еще, если она не порешит убить себя...

Ведь то, что будет делать один, окажется супротив удовольствия другого. Рассудите же, насколько это разумно — ставить две противоположные вещи вместе...

Когда любезники видят красивую молодую девушку, вышедшую замуж за такого человека или за дурака, они начинают ее подстергать, так как думают, что она должна легче внять их доводам, чем другая, у которой муж молодой и ловкий».

Не лучше обстоят дела и тогда, когда молодой человек женится на женщине в летах, например на вдове, имеющей кое-какое состояние, но в то же время и опыт управления мужьями.

«Раз он, молодой, рядом с ней, она становится ревнивой, так как сластолюбие и лакомство плотью молодого человека делает ее прожорливой и ревнивой. И она всегда хотела бы держать его в руках...»

Кроме разницы в возрасте существует еще разница в социальном положении. Она вносит раздор во многие супружеские пары. Ведь мезальянс не является привилегией подавленных преступной страсти аристократов: в реальной жизни союз принца и пастушки встречается не часто. Мезальянс — это порок многочисленных буржуазных браков. Порой служанке удастся женить на себе старика хозяина. Или, например, молодой подмастерье женится на богатой вдове, счастливой оттого, что ей удалось застраховать себя от одиночества в обмен на то богатство, которым она обеспечила своего мужа. Мезальянс — это в такой же мере дитя любви, как и дитя жадности. Так или иначе, но приходит день, когда один из супругов начинает прекращать другого врученными ему благами.

В представлении женоненавистника-клирика, естественно, виноватой оказывается женщина, черпающая аргументы в своем богатстве, дабы притеснять обязанного ей мужа. Неимущий муж превращается в простого работника собственной жены. А его ухаживания отвергаются. Даже славный, хотя и наивный муж, которого некогда удачно нашли, чтобы выдать за него беременную дочь, и тот может быть уверен, что в один прекрасный день с ним тоже поступят нехорошо.

Приходит время, когда вышедшая замуж за неровную женщину призывает на помощь. В дело вмешиваются ее братья. Как, впрочем, и ее дружки. Рано или поздно она все равно идет к любезникам, которых находит в своей первоначальной среде. Подобные браки можно объяснить любовью и сложившимися обстоятельствами, но в конце концов они разрушаются из-за непоколебимости вкусов и социальных привычек. Женщина не изменится только оттого, что вышла замуж.

«Случается, что жена оказывается более родовитой, чем он сам, или более молодой, а это две очень важные вещи, так как нельзя сильнее развратиться, как тогда, когда позволяют сковать себя оковами, коими является отвращение, преодолеваемое вопреки природе и разуму».

Примером непритязательной карикатуры на социальную необходимость, широко представленной в фаблю и соти, является союз богатого простолюдина с благородной дамой, выданной за него насильно. В буржуазном репертуаре плохая роль доставалась тут супругу, тогда как молодая и красивая девушка из хорошего рода молча сносила выходки того единственного мужа, которого смог раздобыть ей отец: как правило, горбатого, жадного и вдобавок ревнивого. Если бы мезальянсы выпадали в удел лишь дворянским дочерям, то все было бы просто и мы имели бы здесь всего лишь определенный литературный тип. Однако следует учитывать, что в разделенном сословными перегородками средневековом обществе все же существовали кое-какие переходные мостки, и брак дочери как раз и был одним из таких мостков. И жертвами мезальянсов становились не только дочери баронов или советников Парламента, но на свой лад также и дочери мясников.

Дать приданое за одной дочерью гораздо легче, чем за шестью. Поэтому зажиточный буржуа без всяких угрызений совести отдавал младшую дочь зятю, согласному взять ее без приданого. А с другой стороны, безденежный обладатель высокого титула тоже не слишком привередничал, если ему выпадало жениться на незнатной, но богатой наследнице. В написанном двумя веками раньше фаблю на это уже обращалось внимание:

Сквернит свой род барон иль граф,  
Простую девку в жены взяв.  
Неужто им и невдомек,  
Что честь менять на кошелек  
И счет вести чужим деньгам —  
Не выгода, а сущий срам?\*

Не следует забывать и то, что у каждой медали есть обратная сторона и что любая «превосходная» партия, рассматриваемая как веха на пути социального восхождения, кем-то другим воспринимается как типичнейший мезальянс.

Ну а в тех случаях, когда речь шла лишь о забаве, мужчины к мелочам не придирались. Вельможи никогда не пренебрегали служанками и пастушками. И буржуа понимал, какая в этом может крыться опасность: кто-нибудь из власть имущих мог пожелать его жену.

«Старайтесь не принимать участия в праздниках и танцах, устраиваемых слишком большими вельможами. Это

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

вам совсем не подходит и не соответствует ни вашему положению, ни моему».

## МАТУШКИ И КУМУШКИ

Одним словом, женатый человек чувствует себя как в осажденной крепости, причем даже и в тех случаях, когда он, подобно автору «Парижского домовода», давшего своей молодой жене этот совет, полностью ей доверяет, а она это доверие оправдывает. Дело в том, что женская солидарность устраивает вокруг супруга настоящий заговор, о котором рассказывали еще фаблио XIII века. Если супруга ветрена, ей дает советы и обещивает алиби ее мать. А если сварлива, то ее стенания лучше всякого эха разнесут кумушки. Женщины с удовольствием организуют кампании поношения, чернящие репутации, а то и разрушающие целые состояния.

«Горничная уходит и говорит кумушкам, что мать их приглашает к себе. И кумушки приходят к матери домой и усаживаются у хорошо растопленного камина, если на дворе стоит зима, или на тростниковые стулья, если дело происходит летом.

А первое, с чего они начинают, это с питья, и пьют, что есть лучшего».

Так обсуждаются дела мужа. Хор женщин под управлением тещи походя превращает семейные невзгоды в заунывное перечисление преступлений. «Как, он не стал есть тот паштет? Ах, какая жалость! Что же, несчастье совсем отбило у него аппетит? Ну и ладно, поправится сам, если Богу будет угодно!» Что бы он ни делал, за спиной над ним постоянно насмеваются. Безмерно рада и челядь поучаствовать в злословии и дать те показания, которые от нее желают услышать. И вот у всего квартала уже сложилось единодушное мнение: жене приходится и дом в порядке содержать, и детей воспитывать, а муж у нее настоящий трутень.

«Сударь, говорит кормилица, вы себе не представляете, как трудно приходится госпоже, как тяжело нам прокормить семью.

Честное слово, говорит горничная, вам должно быть стыдно, что, когда вы приходите с улицы и весь дом должен был бы радоваться вашему приходу, вы только и делаете, что шумите!»

Вся семья настроена против него. Притесняемый со всех сторон несчастный муж видит, что ему ничего не удастся добиться, и он, весь промерзший, голодный, идет спать, не поужинав и не зажигая огня. И тут дети начинают кричать. Хозяйка и кормилица договариваются между собой их не успокаивать. Ночь отца семейства испорчена. Чего и добивались.

«Домовод» знает, чего стоят кумушки, и пытается оторвать от них свою молодую супругу. Он рассказывает притчу про одну больную женщину, которая, пытаясь избавиться от докучливых вопросов посетительницы, говорит ей, что она только что снесла яйцо. Ну а по мере того, как новость передавалась от одной кумушки к другой, яиц оказалось столько, что хватило на целую корзину. И притча заканчивается абсолютно однозначным афоризмом, который среди обычно доброжелательных высказываний «Домовода» звучит вдруг неожиданно резко:

«Самое плохое — это когда женщины начинают рассказывать друг другу истории. Каждая старается добавить что-нибудь новое и к чужим вракам присовокупляет свои».

Этот мужской и женоненавистнический взгляд на вещи свойствен и Вийону. Единственная его похвала в адрес женщин — в первую очередь парижанок — похвала их языку. Женщина Парижа выглядит говорливейшей среди самых болтливых. А ведь у других язык тоже хорошо подвешен.

Не умолкает и в церквях  
Трескучий говорок испанок,  
Есть неумные в речах  
Среди венгерок и гречанок,  
Пруссачек, немок и норманнок...\*

Однако, будь они хоть профессорами красноречия, перед парижанками все должны отступить. Две рыбные торговки на Малом мосту способны заткнуть рот любой болтунье. Восхищение поэта не должно сбивать с толку: он любит поболтать с девицами, но не забывает, что этот острый язык способен больно жалить.

Принц, первый приз — для парижанок:  
Они речистостью своей  
Заткнут за пояс чужестранок!  
Язык Парижа всех острей\*\*.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 102. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 103.

На улице этот язык хорош. Но не в доме... Ну а что касается брака, то о его успехе либо неуспехе судят по прошествии многих лет: итоги всех доводов в пользу матримониального института и против него подводят, глядя на пожилую супружескую пару. И тут, не опасаясь противоречия, циничный автор «Пятнадцати радостей» утверждает, что в конце концов муж оказывается совершенно изнуренным, а жена — торжествующей. Ведь супруга стареет не столь быстро, так как на муже лежат все основные тяготы жизни и заботы о материальном благосостоянии семьи. Похоже, что выжившая после родов супруга лучше мужа защищена от повседневных тягот. В совместной жизни у нее, стало быть, лучшая доля.

«Получается так, что молодой человек, бодрый и здоровый, женится на славной девушке, которая становится степенной женщиной, и они имеют совместно наслаждения, сколько могут их получить за один год, за два года, за три года, пока не охладится их молодость. Но женщина не изнашивается так быстро, как мужчина, к какому бы сословию он ни принадлежал, потому что она не берет на себя все тягости, все труды, все заботы, которые есть у него.

И то верно, что женщина, когда она беременна, движения ее затруднены, и рождает она с превеликим трудом и болью. Но это такая малость, если сравнить с теми заботами, которые сопровождают разумного мужчину, глубоко размышляющего о всех важных вещах, находящихся в его ведении».

У нас, наследников трех картезианских веков, естественно, возникает вопрос к автору: как может мужчина сгибаться под грузом ответственности, если все решения за него принимает жена? Современник Вийона не отличается дотошностью. В действительности же в этом карикатурном описании состарившейся супружеской пары, очевидно, отразилась картина той реальности, о которой уже шла речь: повторный брак вдовца зачастую превращает молодую и еще очень активную женщину в истинную хозяйку дома, в то время как мужу остается лишь горько пенять на свой возраст. Недоброжелательный клирик извлекает из этой ситуации соответствующий его убеждениям вывод: женатый человек вступает в зрелый возраст в дряхлом состоянии. Он вынес на себе всю тяжесть жизни. И у него хватает силы лишь на то, чтобы... покориться жене.

«Умудренный жизненным опытом муж старается не шуметь и не тревожить семью, он все переносит терпеливо и садится далеко от камина, даже если дрожит от холода. А супруга его и дети садятся поближе к огню.

Получается, что за свои великие труды и страдания, бессонные ночи и холод, которые он испытал, чтобы заработать добро и жить в чести, подобно другим людям, или же из-за несчастной случайности или из-за старости бедняга становится больным либо подагрой, либо чем-то еще, так что даже подняться не может с того места, где сидит, ни уйти, или у него отнялась нога или рука, или с ним приключились другие несчастья, которые со многими случаются. И тогда все кончается, и удача его покидает, потому что жена оказывается в более выгодном положении, она лучше, чем он, сохранилась и будет отныне делать только то, что ей будет угодно».

Все завершается торжеством женщины. Поздно сожалеть о том тяжком крестном пути, каковым была супружеская жизнь. В лучшем случае, дабы не выглядеть смешным, старый супруг может сказаться счастливым. Другие его послушают и в свою очередь тоже угодят в ловушку. Возможно, что кто-нибудь из еще не сделавших своего выбора, еще свободных клириков или школяров, извлечет из чтения «Пятнадцати радостей» урок, который уберет его от опрометчивого поступка.

В этой ситуации не следует удивляться тому, что в стихах Вийона мы обнаруживаем тождество брака и смерти. Это не является его отличительной заслугой. Вийон гениально владел словом, а вот идею почерпнул в той среде, которую посещал. Баллады на жаргоне делают это тождество еще более очевидным. «Свадьба», о которой говорится в первой балладе, — это повешение. А «сват» из пятой баллады — это палач. Само собой разумеется, что жених — повешенный.

Подобная символика характерна отнюдь не только для тех отбросов общества, среди которых, став бродягой, вращался поэт. Например, почтеннейшие мастера из корпорации канатчиков, говоря об обеспечении всем необходимым «свадьбы», имели в виду продажу новой веревки палачу.

Если клирики и попадались в кабалу брака или же благодаря своей осведомленности избегали ее, то люди истинной веры держались от нее в стороне. Они лишь изредка соглашались с женоненавистническими речами повес из будущего Латинского квартала. Моралисты и богословы, напротив, гораздо более сурово относились к мужчине, причем обличавшиеся ими пороки в совокупности составляли довольно похожий портрет неко-

его Вийона. Поэт здесь — своеобразный типаж, легко узнаваемый его противниками.

Любитель выпить, игрок в кости, ленив, способен разорить семью, спустив деньги в таверне и у девок, — такое пугало нарисовал в начале XV века крупный богослов Жан Жерсон. Прежде чем стать в Констанце одним из самых внимательно выслушиваемых соборных отцов, Жерсон был в Париже священником церкви Сен-Жан-ан-Грев и канцлером в университете. Занимаясь делами Вселенской церкви, он не забывал в то же время и о ближнем. В частности, он предостерегал своих сестер и племянниц: мужчина — это зло. Не отменяя, но перевертывая рассуждения «Пятнадцати радостей», которые автор никогда и не думал представлять как плод высокой духовности, весьма набожный и весьма ученый кюре церкви Святого Иоанна размечал путь замужней женщины следующими вехами: лень, болтовня и, наконец, нищета. Ей более подобает жить одной и трудиться. Его «Малый трактат, увещающий предпочитать состояние девственности браку» вполне недвусмыслен: идеал — девственность.

Или, точнее, «весьма смиренная девственница». Эти клирики читали послания апостола Павла и несколько скоропалительно усвоили аксиомы, отвечавшие их собственному видению мира: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью!» Они весьма невнимательно отнеслись к Ветхому Завету, где сказано, что нужно искать «сильную жену». И моралисты, и сатирики в конечном счете сошлись на том, чтобы сделать из женщины служанку.

Пессимизм этого клирика, похоже, роднит философию «Пятнадцати радостей» с философией баснописца, выразившегося: «Да зелен виноград...» Так или иначе, но супружеское благочестие «Парижского домовода» отвечает ему по всем пунктам, но не является его абсолютным опровержением. «Домовод», овдовев и недавно вновь женившись, хотел быть советником и своей молодой жены, и своей будущей вдовы, обратить ее внимание на те качества, за которые был бы благодарен любой муж, передать практические рецепты содержания дома в хорошем состоянии. Он рассказал и об искусстве обучения соколов, и о том, как надо бороться с крысами и мухами, и о том, как управлять челядью, не забыл изложить и основные принципы здоровой семейной экономики, а о супружеском счастье упомянул лишь между строк. Хотя надо сказать, что, будучи счастливым супругом, автор предпринимает меры предосторожности, дабы таковым и оставаться. Ярый патерналист, причем начисто лишенный женоненавистничества, этот добрый буржуа смешал воедино настоящее и будущее и вывел на сцену, не отделяя од-



но от другого, возможное и идеальное. Тональность его рассказа выдает человека спокойного и довольного своей судьбой. Он глубоко порядочен, хотя и не лишен фатовства.

«Насколько я припоминаю, все, что вы делали с самого дня нашей свадьбы и до настоящего дня, было благим и для меня приятным... Мне в удовольствие смотреть, как вы ухаживаете за розами, за фиалками, как вы делаете из цветов венки, как вы танцуете и поете».

Клирик писал не столько для того, чтобы действительно предостеречь людей от вступления в брак, сколько для того, чтобы посмешить других клириков. А буржуа писал, чтобы просветить жену и одновременно продемонстрировать свою ученость. Он желал предстать в глазах читателей хорошим домоводом и одновременно показать, какой он проницательный психолог. Перечисляя заботы, которые человек его ранга вправе ожидать от жены, он, по существу, воздвигал собственный пьедестал. Супружеское счастье — это его стихия и образ жизни. Но царящее в зажиточном буржуазном доме счастье помимо материального достатка и крепкого эгоизма включает еще один весьма важный элемент — жену, верную служанку, внимательную и ненавязчивую, трудолюбивую и скромную.

«Мужчинам — труды и старания вне дома. Мужья должны заниматься многими делами, ходить туда-сюда в дождь и снег, в град и ветер: то его вымочит, то высушит, то он вспотеет, то промерзнет, то промочит ноги, то не поест, то не выспится, то не найдет подходящего пристанища.

Но от всего этого он не расстраивается, потому что его укрепляет надежда на заботы, которыми его окружит жена, когда он вернется домой, укрепляют мысли о покое, радостях и удовольствиях, которые она ему доставит, какие сама, а о каких распорядится: разует перед горячим камином, вымоет ноги, обует в новые туфли, хорошо накормит, напоит, хорошо послужит, уложит в белых простынях, накроет тело и голову, положит сверху теплые меха и усладит другими радостями и забавами, приватностями, любовью и тайнами, о коих умолчу. А на завтра — чистое белье и новые одежды».

В том, что касается комфорта, никто из авторов не делает сколько-нибудь заметного различия между тем, что мужчина ждет от супруги, служанки или любовницы. Какое имеет значе-

ние, кто зажжет огонь и постирает белье; суть в том, чтобы тебя хорошо «обслужили», как истинного господина. Но какова же роль брака в забавах и «приватностях»?

Согласие ведет к наслаждениям, ночь требует чистого белья, ванна подготавливает к любви. Все уместается в этом мужском восприятии вещей, где славная трапеза выглядит одновременно и подготовкой, и итогом. После ночи любви молодая любовница, про которую рассказывает тот же «Парижский домовод», не одобряя, однако, ее поведения, подает своему любовнику чистое белье и красивые туфли. Когда предлагают ванну, это свидетельствует о страсти, а когда трут спину, гигиена сочетается с эротизмом. Ублажение плоти — элемент любовной литургии, а любовные удовольствия дополняют общую картину жизнелюбия. Карл Орлеанский так представлял себе спокойное счастье человека перед любовным свиданием:

Обед иль лодка, ужин или ванна.

И эту странную строку он сделал рефреном не менее странного рондо про куртуазную любовь.

Кому услада высшая желанна,  
Кого божественный прельщает хмель,  
Пусть будет насыщаться неустанно  
Речами дам, вкушающих форель\*.

Однако, соединяя в едином образе идеальной женщины супругу и любовницу, наш славный буржуа умолчал об одном. Ожидая от любовницы или жены теплой ванны для ног, чистых полотенец и пирогов с поджаренной корочкой, он оставил за собой право ругать свою супругу. Если санкцией против любовницы было расставание, то санкция против жены — гнев супруга. Единственное, что может посоветовать «Домовод» женщинам, которых ругают мужья, — это пойти в комнату, выплакать там наболевшее, «в тишине и негромко», и пожаловаться Богу.

Этот славный человек в общем и целом был доволен своей женой, и ему казалось, что подобное указание вполне ее удовлетворит.

Естественно, он отнюдь не презирал забавы в супружеской постели. Однако для страсти в его счастье места не нашлось. Чаще всего браки мелкой торговой и судейской буржуазии заключались более или менее по рассудку, и нежность в них тоже была скорее рассудочная. У любви не столь простые пути, и то, что буржуа называл любовью, было, как правило, всего лишь разновидностью подчинения.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

«Повинуясь добровольно, добропорядочная женщина обретает любовь своего супруга и в конечном счете добивается от него всего, чего хочет».

## НАСЛАЖДЕНИЯ

«Домовод» смотрел на вещи трезво. И за его сдержанностью угадывается осведомленность о «красавцах любезниках», которые, как пытался уверить циничный клирик, завладели благо-расположением чуть ли не всех жен.

Так же сдержан он и в отношении измен мужа. Их нужно понять, и «Домовод» помогает это сделать, рассказывая историю одной великодушной женщины, некой Жанны Ла Кентин. У той был муж, Фома Кентин, а у мужа — любовница. Мужчина отнюдь не отличался изысканными манерами. И спокойно смотрел на лишения «бедной девушки, прядильщицы шерсти на прялке», думая лишь о том, чтобы получать удовольствия. Супруга отправилась к любовнице с единственной целью сделать ей выговор. Однако, увидев царившую в доме нищету, предпочла помочь ей одолеть нужду. Дабы «уберечь мужа от всякого осуждения».

Значит, иметь любовницу казалось менее предосудительным, чем оставить ее без припасов, без сала, дров, угля, без свечи. Поскольку этот сюжет с другими персонажами встречается не только у «Парижского домовода», не исключено, что такое действительно имело место, так как личность Жанны Ла Кентин — не плод воображения автора. И вытекающая из рассказа мораль довольно снисходительна, что является еще одним доводом в пользу его достоверности. Хотя история эта и выглядит назидательной, исключительной ее назвать нельзя.

Дело в том, что замужняя женщина нередко потворствовала изменам спутника жизни. В супружеских отношениях она видела угрозу деторождений, опасность которых с годами возрастала, в то время как интенсивность удовольствия ослабевала. Родив до тридцати лет пять-шесть детей, она приходила к выводу, что этого достаточно. Бесплодие периода кормления позволяло избежать ежегодного зачатия, но в зажиточных семьях имелись кормилицы, отчего тяготы быта у жен буржуа уменьшались, а супружеские обязанности становились более плодотворными. Поэтому супруга была заинтересована в изменах, коль скоро они утихомиривали мужа, а рисковала при этом другая. Несмотря на указы, запрещавшие «распутницам» принимать женатых мужчин, буржуа пользовались их услугами как в

банных заведениях, так и на дому, порой имели также и бескорыстных любовниц, и жены были заинтересованы в таком положении вещей.

При этом жены стремились даже обезопасить мужей от неблагоприятных последствий. Жанна Ла Кентин без обвинянок объяснила это бедной прядильщице, а «Парижский домовод» передал ее слова, не заметив комизма ситуации:

«Насколько я могу судить, человек он хороший. И я всегда делала все, что было в моих силах: хорошо его кормила, поила, утешала, согревала, хорошо стелила и укрывала. А у вас, я вижу, мало что есть, чтобы его холить. И мне будет приятнее вместе с вами сбересть его в добром здравии, нежели он у меня одной будет больным».

И Жанна Ла Кентин, дабы муж не возвращался к супружескому очагу с бронхитом, взялась поправлять хозяйство бедной прядильщицы.

В тех случаях, когда супруга меньше опасалась неприятных неожиданностей или она оказывалась защищенной от них противозачаточными «пагубными секретами», неустанно обличавшимися в проповедях и наставлениях исповедника, она получала удовольствия отнюдь не в лоне семьи. Автор «Пятнадцати радостей» относился к женщинам весьма враждебно, и все же ему пришлось признать, что муж ни в какое сравнение с любовником не идет. Надо сказать, что признание это далось ему легко, поскольку он, будучи клириком, признавал вину своего пола, бия в чужую грудь.

Впрочем, здесь впору и удивиться. Ведь один и тот же человек в одной ситуации выступал в роли мужа, а в другой — любовника. Чередуя более тонкий, чем обычно, психологический анализ с циничными рассуждениями, составляющими сущность его аргументации, клирик-женоненавистник объяснил трагедию буржуазной семьи и пришел к выводу, что наслаждения и брак — вещи разные.

«Она делает своему другу множество дел, и показывает любовные секреты, и изображает всякие томности, которые никогда не осмелится ни сделать, ни показать своему мужу. И ее друг тоже доставит ей все наслаждения, которые только в его силах, и сделает множество маленьких ласк, от которых она получит большое наслаждение, которое никакой муж дать ей не сможет. И даже если муж умел хорошо это делать задолго до того, как женил-

ся, то позабыл, потому что обленился и поглупел. А еще потому не хотел бы он делать этого своей жене, что ему казалось бы, что он ее научает тому, чего она не знает совсем.

Когда у дамы есть друг для забав и они могут встретиться, когда наступит ночь, они сумеют доставить друг другу столько радостей, что и сказать никто не может сколько, а муж тут ни во что не ценится. И после таких удовольствий дама от забав со своим мужем получает столько же удовольствий, как знающий толк в вине человек получает от смеси скверных вин после того, как отведал хорошего глентвейна или бургундского вина».

Естественно, смесь скверных вин начисто лишена приятности! Мораль, однако, тут весьма проста: есть такие вещи, которые в браке не делаются. Муж — плохой любовник просто потому, что муж не должен быть любовником.

Вийон говорил в своих стихах именно это: для женщины хорош любой мужчина, причем несколько любовников лучше, чем один. Покидать, возвращаться, любить тайно — таковы правила игры. Искренен ли поэт, говоря об адюльтере как преддверии проституции? Неужели он действительно видел в оплачиваемой по времени любви следствие фантазий «Романа о Розе» — «Все женщины для всех мужчин и все мужчины для всех женщин!» — и неужели предубеждение делало его настолько слепым, что он не замечал нищеты? Вполне возможно, что это именно так. Вийон обличал женскую алчность. Ему как будто и в голову не приходило, что те женщины зарабатывали себе на жизнь. «Оставим потаскух и будем любить только порядочных женщин», — рассуждал буржуа. На что Вийон отвечал: а разве не честны и эти девки тоже. По крайней мере они все были честными. И опустились на дно из-за любви.

Да, были все они честны,  
И честными не зря их звали  
До первой памятной весны.  
Коль правду говорят, вначале  
Они по одному избрали,  
Монаха — эта, та — писца,  
И с ними вместе заливали  
Огонь, сжигающий сердца\*.

А потом стали нечестными. Еще раньше, чем испортилась их репутация. Этим сказано все: честность не в ладах с чувственностью.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 60. Пер. Ф. Мендельсона.

Как Грациан сказал о том,  
Сначала робко и несмело  
Встречались с милыми тайком, —  
Другим до них какое дело!  
Но это скоро надоело,  
Любовь рассеялась как дым,  
И та, что быть с одним робела,  
Теперь ложится спать с любим\*.

От одного любовника переходят к нескольким. От тайной страсти — к публичному разврату. И при этом камнем преткновения оказывается тайная любовь. Хотя Вийон и развлекался тем, что, чтобы оправдать тайну, цитировал «Декрет», свод канонического права, его основная мысль заключается в оправдании физической близости, причем любовнику место отводилось — будь то монах, клирик или мирянин — в сфере дозволенной любви. Репутация любовника от этого не страдает. Нисхождение начинается потом.

Но что влечет их в этот срам?  
Скажу без тени порицанья:  
Всеми виной натура дам,  
Привычка расточать лобзанья...\*\*

Поэт позволяет обличительному порыву увлечь себя. Сначала кажется, что он и действительно не склонен порицать. Но вот он резко заканчивает свою мысль:

И... не рифмуется названье.  
Но вот что говорят порою  
Неверным женам в оправданье:  
«Шесть больше сделают, чем трое!»\*\*\*

Вот мы и подошли к морали «Романа о Розе»: шесть любовников доставляют удовольствия больше, чем трое.

Однако дурное поведение — это не любовь вне брака, а любовь за деньги. Показательна в этом отношении яростная реакция Фомы Кентина, обнаружившего в один прекрасный вечер у своей молодой любовницы неожиданную дотопле роскошь. Набожный человек, каковым был Фома, не мог прийти в себя от изумления, увидев и запас дров, и медный таз, в котором ему помыли ноги, и чистую постель, и чистое белье, полученное после пробуждения. Ему и в голову не пришло, что тут постаралась его жена. Вся эта роскошь, по его представлениям, могла быть нажита только нечестным путем.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 61. *Пер. Ф. Мендельсона.*

\*\* Там же. С. 61.

\*\*\* Там же.

«Он очень удивился, когда все это увидел, и сделался очень задумчивым. И пошел он слушать мессу, как имел обыкновение это делать, а потом вернулся к девушке и сказал ей, что все эти вещи пришли из дурного места, и очень зло обвинил ее в дурном поведении...»

Моралисты того века разделяли практичную мораль нашего славного буржуа: в физической любви нет ничего дурного, пока она проистекает из свободного выбора, является выражением свободной склонности. Долгая литературная традиция отводила дочери хозяина роль почетного украшения постели заезжего героя. Ведь приходила же юная Бланшфлор в легкой сорочке в постель, где спал Персеваль Кретьен де Труа, и предлагала же мудрая Эсколас свои прелести и свое общество Персевалью Жерберу де Монтрею.

«И сказала она ему очень изящно на ухо, что если ему нравится ее проступок, то ляжет она с ним в постель».

А когда Ланселот забирался в постель к королеве Гвиневере, у них были «радость и чудо».

За два истекшие с тех пор века умонастроения не переменились. Люди, не мудрствуя лукаво, делали любовные жесты и столь же свободно о них говорили. Богословы были единственной прослойкой общества, которая категорически осуждала любовь, не освященную брачными узами. Однако, беря на себя функции моралиста, буржуа, несмотря на внешние различия, в конечном счете начинал рассуждать, как Вийон: греховно лишь падение. По крайней мере если речь идет о жене, а наш «Домовод» не скрывал, что заботится о спасении своего потомства.

«Есть два примера добродетели, одна из которых состоит в том, чтобы честно блюсти вдовство или девственность, а другая — в том, чтобы блюсти брачные узы или целомудрие. Знайте же, что в женщине, у которой запятнана или находится на подозрении одна из этих добродетелей, погибают и уничтожаются все ее достоинства: богатство, красота тела и лица, родовитость и все остальное. Конечно же, в этих случаях все погибает и стирается, все умирает без надежды на возрождение, с того самого раза, как на женщину хоть единожды падает подозрение или когда она уже изобличена...»

Видите, под какую вечную угрозу ставит женщина свое счастье и честь рода своего мужа и детей, когда она не избегает, чтобы о ней говорили с таким порицанием...»

В том мире метафор, каковым была средневековая риторика, всему нашлось свое место: и вопросам пола, и вопросам брака. Буржуа знал, что говорил: пусть жена блюдет «брачные узы или целомудрие». Между тем и другим он ставил знак равенства. Вийон и сам был в курсе этой риторики и, предлагая читателям двусмысленные образы и многозначные слова, имел все основания полагать, что его поймут. Все жившие в том мире, включая и самых великих, и самых малых, знали, что такое колбаса между двумя окороками, что такое скачка без седла или игра в осла. И, покидая Париж в 1457 году, поэт совершенно отчетливо сформулировал свое желание найти в другом месте замену той, которую он оставлял или которая оставила его. Говоря, что покидает «Тюрьму любви», и клянясь отомстить «всем венероликим богиням», он играл на несоответствии между внешним и подразумеваемым смыслами слов и пояснял, что отправляется на поиски другой партнерши:

В иное окно постучусь,  
Иные засею поля!\*



## Глава XI

### ВОТ КНИГИ, ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ, БЕРИ...

#### АВТОРИТЕТЫ

«Будь я прилежным школяром...» Вийон был не против убедить своих читателей, что стал жертвой прежней лени и потом исправлять что-либо было уже поздно. Суть его мысли совершенно очевидна: зачем сейчас работать, если потерянного времени не вернешь.

А убедив в этом, нетрудно заставить поверить и в то, что все его творчество состояло из вдохновения, что оно сводилось к жизни и смерти. Вийон любил изображать из себя поэта, никому и ничем не обязанного. Естественно, кое-что он прочитал. И этого не пытался скрывать. Чтобы получить степень магистра, ему пришлось потратить несколько лет на освоение интеллектуального инструментария схоластов. Однако, занимаясь стихосложением, он отзывался о прочитанном с большой иронией. За исключением «Романа о Розе», который он похвалил, правда, не соизволив признать, сколь многим ему обязан, все остальные упомянутые им книги Вийон неизменно высмеивал.

Круг чтения школяра Вийона определялся составом библиотеки его покровителя магистра Гийома, а также, очевидно, и библиотеки капитула Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Должно быть, именно поэтому, внося изменения в один лишенный какого бы то ни было сарказма пункт «Завещания», он счел нужным подарить славному Гийому де Вийону его библиотеку. Библиотека Франсуа Вийона — не что иное, как библиотека капеллана Гийома.

В университете в описываемую эпоху еще не было центральной и доступной всем студентам библиотеки. Каждому студенту приходилось довольствоваться теми книгами, которыми располагали его коллеж или педагогия. Большие возможности по сравнению с другими учащимися были у стипендиатов Наваррского коллежа и Сорбонны.

Существовали, естественно, и книжные лавки, где продава-

лись книги, переписанные писцами. Однако клиентура книготорговцев при университете складывалась отнюдь не из немущих клириков, лишенных возможности попасть в коллеж и получить таким образом комнату, стипендию и учителя. Круг замыкался: тот, кто был слишком слаб, чтобы поступить в коллеж, оказывался одновременно и слишком беден, чтобы купить книги. Оставалось лишь слушать то, что говорилось во время занятий, и по возможности схватывать все на лету.

А вот одалживались книги часто. Для мозга, натренированного такой педагогической системой, где все еще полновластно царил зубрежка, зачастую одного прочтения было достаточно, чтобы запомнить цитаты, отражающие основу диалектики и способы рассуждения, которые в дальнейшем организовывали и закрепляли мыслительный процесс. Все заимствования Вийона — как те, в которых он признавался, так и те, в которых не признавался, — явились результатом таких вот стремительных, несистематических занятий.

Восстановить окружавший Вийона мир книг мы можем без труда. Мы не знаем состава библиотеки славного капеллана Гийома, но зато можем перечислить книги, имевшиеся в распоряжении его коллег. Например, нам известно, какие книги были у Николя де Байе и Клемана де Фоканберга, каноников из Собора Парижской Богоматери, в разное время исполнявших должность секретаря Парламента. У одного из них было двести книг, у другого — двадцать шесть. Гийом де Вийон, вероятно, имел книг десять — двадцать. Сознательно или произвольно использовал поэт применительно к себе фразу Пилата: «Что написал, то написал», ответившего отказом на просьбу иудеев изменить надпись на кресте? Возможно, Вийон вкладывал в эти слова глубокий смысл и, представляя себя жертвой, просто-напросто ждал, чтобы его судили по делам и по тому, что он написал.

Ведь не монах я, не судья,  
Чтоб у других считать грехи!  
У самого дела плохи.  
О Господи, я сир и мал,  
Прости мне грешные стихи, —  
Что написал, то написал!\*

Составляя во славу своего друга Жана Котара каталог оказавшихся в раю великих пьяниц и называя по порядку Ноя, спящего обнаженным в присутствии детей, Лота, совершившего инцест с дочерьми, Архетриклина, подававшего в Кане гостям воду вместо вина, Вийон выуживал шутки, из поколения в

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 44. Пер. Ф. Мендельсона.

поколение повторявшиеся клириками до и после попойки. Не исключено, что так же он поступал и тогда, когда обыгрывал строчки псалма «Deus laudem» («Хвала Господу»), чтобы, не говоря этого открытым текстом, пожелать смерти своему гонителю епископу Орлеанскому. Элементарная шутка церковного певчего — прочитать при епископе псалом, в котором на языке Вульгаты, то есть латинского перевода Библии, «общественная повинность» звучит как «episcopatum», в результате чего получается: «Да достанется его епископство другому!»

А вот когда Вийон поминает «Мудреца», в действительности же Экклезиаста, можно подумать, что он дословно цитирует Библию. Однако поэт приводит лишь начало стиха: «Веселись, юноша, в юности твоей», пренебрегая продолжением, где юность отождествляется с суетой. Однако он говорит то же самое, но другими словами; он хорошо знает и этот текст, и текст книги Иова, выражающего свое отчаяние: «Дни мои бегут быстрее челнока и кончаются без надежды».

Бесследно разлетелись дни,  
И не вернуть уже былого.  
Ткач, сколько нитку ни тяни,  
До края заткана основа...\*

Или вот еще одна типичная шутка клирика, построенная на частичной омонимии слова «спасение» в религиозном смысле и так называемого «сальюдора», золотой монеты с изображением ангела Благовещения, выпущенной во времена английской оккупации:

Ave Decus virginum,  
Ave Salus hominum!

«Слава девичьей чести» — звучит гимн, прославляющий Богородицу. «Слава спасению людей» — означает вторая строчка. А Вийон осуществил чудовищную акрофоническую перестановку:

Ave salus, tibi decus!

В результате получилось: «Слава тебе, золотая монета». Звучит кощунственно, даже если не принимать во внимание особенностей произношения, дающихся с учетом рифмовки («Слава тебе, задница»)\*\*.

На базе Священного Писания выросла целая ветвь литературы, оказывавшая влияние на литургию. Николя де Байе, будучи человеком, интересовавшимся разного рода теологическими спекуляциями, имел в личной библиотеке для углубления

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 42. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Decus (лат.) и Des culs (фр.) произносятся одинаково. Прим. пер.

веры два десятка книг: от трактата Боэция о Троице до антологии сочинений Августина Блаженного. К этой ветви добавлялась еще назидательная литература. «Письма» и «Утешения» святого Бернара, трактат «Сокрушение сердца» святого Иоанна Златоуста, «Послание о таинствах» святого Киприана. «Толкование» Беды, посвященное книге Иова, «История бедствий» Павла Орозия, трактат «О жизни и нравах» святого Ансельма Кентерберийского — все это служило для того, чтобы осмысливать и толковать основополагающие тексты и традиционные формулы веры. Даже Фокамберг, значительно в меньшей степени являвшийся теологом, чем его предшественник на посту секретаря, и тот имел в своей библиотеке трактаты парижского епископа Гийома Овернского, авторитетного автора XIII века, трактат которого «О мире» синтезировал все теологические знания своего времени, тогда как в его же книге «О добродетелях» просто и гармонично излагалась моральная теология. Байе шел гораздо дальше: у него имелись письма Абельяра, «Сумма против язычников» Фомы Аквинского, а главное, ключевые для всей схоластики «Сентенции» Петра Ломбардского. Он был весьма начитанным богословом и располагал даже комментарием мендского епископа Гийома Дюрана к «Сентенциям» Петра Ломбардского.

Читал ли Вийон эти классические книги? Слышал ли хотя бы названия этих трудов, являвшихся основными источниками как литургических, так и университетских проповедей? Во всяком случае ссылался на них магистр словесных наук Франсуа де Монкорбье не часто. Например, однажды он упомянул про повара Макара, способного сварить целиком, «со всеми его волосами», самого дьявола, но это еще не значит, что «Мученичество святого Бахуса», где фигурирует некий повар Макарий, принадлежало к числу его излюбленных чтений. В школярском мире Макаром могли окрестить повара любой харчевни. Для этого достаточно было, чтобы когда-нибудь хоть один какой-то школяр прочитал это самое «Мученичество».

Если не считать нескольких аллюзий, религиозная культура Вийона выглядит не очень богатой. Ему известно, что Соломон из-за любви к женщинам стал идолопоклонником и что филистимляне выкололи Самсону глаза. Знания весьма скудные, причем почерпнутые из назидательных примеров. Имена, образы — и ничего больше.

Влюбленного глупее нету:  
Рабом любви был Соломон,  
Самсон от чувств невзвидел света...\*

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 62. Пер. Ф. Мендельсона.

В библиотеках иных клириков находились и книги античных философов. Правда, большинство текстов было представлено в сокращенном виде, и среди них выделялся свод наиболее необходимых для человека средневековья знаний «Брак Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы, своеобразный синтез интеллектуальных конструкций, создававшихся с V века, в том числе синтез того, что было написано Кассиодором в VI веке или Алкуином в VIII веке. Попадались на тех библиотечных полках и кое-какие фундаментальные тексты в русле платоновской логики, в частности «Грамматика» Присциана, «Риторика» Цицерона, равно как и разного рода компиляции, благодаря которым магистры схоластики имели под рукой античную мысль, сведенную к нескольким формулам; таков был «Поликратикус» Иоанна Солсберийского, краткое изложение политической экономии.

Некоторые из античных авторов были представлены в оригинале. Клирики читали Сенеку, Цицерона и Ювенала. Читали они даже Лукреция, а еще больше — Овидия, чья «Наука любви» среди грамотеев пользовалась популярностью, «Письма с Понта» читались от случая к случаю и чьи «Фасты» имелись в библиотеке Николя де Байе. Вергилий с его «Энеидой» присутствовал всюду. Встречались также Теренций, «Сон Сципиона» Макробия, «Утешение философией» Боэция.

Творчество Аристотеля было представлено достаточно широко, начиная с «Риторики» и кончая питавшими и обновлявшими средневековую мысль «Политикой» и «Никомаховой этикой», известными тогда в латинских переводах, а также во французских переводах епископа Николя Орема, одного из самых незаурядных советников Карла V. Николя де Байе, человек любознательный и имевший возможность пополнять свою библиотеку, был обладателем книги «О правлении князей», сочиненной в свое время епископом Буржским Жилем Колонной, одним из наставников и советников Филиппа Красивого, сочиненной, дабы восславить политику разумной середины и правление мудрых людей. Располагал он также и «Письмами» Пьера де Виня, одного из политических советников императора Фридриха II.

Если не считать Аристотеля, греки в подобных библиотеках отсутствовали. Игнорировались полностью и Гомер, и Пиндар, и Эсхил, и Софокл. А если говорить о римлянах, то предпочтение отдавали относительно легкому латинскому языку Вергилия, а не гораздо более изысканному языку Горация. Причем, встречая те или иные реминисценции, мы вовсе не обязаны принимать их за цитаты. Стихи, перешедшие в поговорки, могли возникать и не из прочитанного.

Чаще всего грамотеи извлекали античные примеры из многочисленных версий и переложений «Романа об Александре», «Романа о Фивах», «Энеаса» и «Романа о Трое», то есть из произведений, обязанных своим содержанием поздним латинским переводам и пересказам, в которых, как правило, терялось главное. Разве «Роман об Александре» не возник из «Эпитомы», являвшейся сжатым школьным пересказом выполненного в III веке Юлием Валерием латинского перевода «Псевдо-Каллисфена», который сам возник как компиляция греческих историй и легенд? Так что читатель XV века находился на весьма приличном расстоянии от Геродота и Гомера.

Перипетии такого рода исказили и смысл произведений, и форму. Вергилий оказался христианизированным. А изяшный Овидий в десятках вариантов «Лекарства от любви», «Искусства любви» и иных «Наук любви», на которые наложили отпечаток и морализаторский, написанный в XII веке на латинском языке трактат «Об искусстве благопристойной любви» Андрея Капеллана, и его французский перевод, выполненный во времена Филиппа Красивого клириком Друаром ла Вашем, стал выглядеть просто жеманным.

#### УЧЕБНИКИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Стало быть, классическая культура Вийона вполне стоила его начитанности в области теологии. То там, то тут в его стихах всплывают имена, обязанные своим появлением то услышанному анекдоту, то необходимости подчеркнуть какую-нибудь черту характера. Ни одно из них не свидетельствует о более или менее серьезном знакомстве с философскими или другими произведениями. Древняя история и мифология, присутствующие в его творчестве, — это то, что он почерпнул, глядя на резные порталы и витражи с изображенными на них сценами из истории.

Орфей, печальный менестрель,  
Покорный глупому обету,  
Сошел, дудя в свою свирель,  
В Аид из-за любви к скелету;  
Нарцисс, — скажу вам по секрету:  
Красив он был, да не умен!  
Свалился в пруд и канул в Лету.  
Как счастлив тот, кто не влюблен!\*

А ведь поэт не читал «Георгики», где Вергилий рассказал о путешествии в ад влюбленного Орфея, неспособного внять на-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 62. Пер. Ф. Мендельсона.

казу бога Плутона, который согласился вернуть Евридику лишь при условии, что Орфей не будет в пути оборачиваться. Очевидно, Вийон читал лишь стихи франш-контийского доминиканца Рено де Луана, являвшегося также переводчиком классической литературы и комментировавшего ее с помощью поздних латинских авторов вроде Боэция.

Орфей, изящный менестрель,  
Взглянул назад, издавши трель.\*

Точно так же не читал Вийон и «Метаморфоз» Овидия. А трагическую историю Нарцисса, погибшего оттого, что ему слишком полюбилось собственное отражение в роднике, он узнал из неперменного «Романа о Розе». И оттуда же, из «Романа о Розе», — «Земля — праматерь наша» — позаимствовал он и одно из своих последних волеизъявлений, украсив образ собственным скептицизмом: слишком уж часто одолевал его голод, чтобы преувеличивать ценность дара, завещанного им земле.

Затем я тело завещаю  
Праматери, земле сырой.  
Червям пожива небольшая:  
Я съеден голодом живой!\*\*\*

Правда, школяр Вийон мог все же порой включить в свои стихи и настоящие цитаты, которые, не задумываясь, видоизменял, дабы подчинить ритму и рифме. Так, в торжественном «Послании Марии Орлеанской» он процитировал слова «*Patrem insiquitur proles*» Катона и включил знаменитый стих Вергилия «*Jam nova progenies coelo demittitur alto*»:

*Nova progenies coelo*  
Как поведал нам поэт  
*Jamjam demittitur alto.*

Однако, когда мы начинаем изучать эту проблему более внимательно, наши иллюзии рассеиваются. Высказывание Катона оказывается взятым из апокрифа, причем у клириков XV века эта фраза стала практически поговоркой. «Ребенок идет по следам отца» — гласила древняя университетская мудрость, и, чтобы процитировать этот стих, отнюдь не требовалось читать «псевдо-Катона», поскольку он автоматически приходил на память любому школяру, стоило ему только подумать про кого-нибудь: «Каков отец, таков и сын!». Что же касается Вергилия, то его на протяжении многих веков из-за этого стиха — «Ныне с высоких небес посылается новое племя», — причем только из-за него, считали одним из языческих пророков, воз-

\* Пер. В. Никитина.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 71. Пер. Ф. Мендельсона. \*

вестивших новую зарю, Царство Божие, пришествие Христа. Поэтому схоластика стала доброжелательно повторять этот стих. И в будущем Латинском квартале он был у всех на слуху. Так что Вийон, не мудрствуя лукаво, повторил его вслед за многими другими.

Он не читал даже «Достопамятные истории» Валерия Максима, откуда якобы почерпнул историю пирата Диомеда, которую с таким же успехом мог обнаружить и в «Республике» Цицерона, и в «Граде Божием» Августина Блаженного. Этот диалог Александра Македонского и пирата, сумевшего ответить, что он не был бы «разбойником на море», если бы владел королевским флотом, это удивительное признание законности власти, располагающей силой, Вийон просто-напросто извлек из средневековых компиляций. Историю эту перевел с латинского на французский во времена Филиппа VI Валуа один госпитальер из Сен-Жак де О-Па по имени Жан де Винье, и затем она вошла в «Книгу поражений» Жака де Сессоля. А одну реплику Вийон взял в более древней компиляции Иоанна Солсберийского «Поликратикус», восходящей к тексту Цецилия Бальбуса. Как мы видим, он черпал сведения то тут, то там, но всегда не из первоисточников.

Стало быть, знания в области классики складывались из сведений, почерпнутых в школьных учебниках, компилятивных сочинениях и сборниках «сказаний», то есть в литературе облегченного типа, предназначенной для второразрядных схоластов. Эта литература не столько приобщала к культурному наследию древних, сколько предоставляла в распоряжение потребителя большой набор цитат, острот и удобных сентенций. Превращаясь в «авторитеты», эти цитаты служили фундаментом для размышлений и питали проповеди. Чеканные формулировки, назидательные истории, удачные шутки — вот багаж, который девять из десяти клириков уносили вместе с титулом магистра свободных искусств.

В результате поэт мог назвать Флору «прекрасной римлянкой», хорошо понимая, что речь идет о проститутке, а то вдруг сравнивал Марию Орлеанскую с «целомудренной Лукрецией», не отдавая себе отчета в двусмысленности подобного сравнения. Он ссылался на Гектора как на пример доблести, но в то же время, подобно многим современникам, принимал Алкивида за женщину.

Среди книг, действительно ему знакомых, следует назвать «Граматику» Доната, о которой он вспомнил, дабы высмеять кого-то из своих знакомых — книга для них слишком трудна! — и «Искусство памяти», низкопробную энциклопедию для недoucек. Цветом своей эрудиции он был обязан составленным спе-



циально для школ компиляциям вроде «Поликратикуса» англичанина Иоанна Солсберийского, книги, оставившей по себе неплохую память, поскольку в XII веке, еще даже до открытия Аристотеля богословами следующего века, она стимулировала изучение экономических проблем.

Имена, и больше ничего... Когда Вийон пожелал обвинить парижанок в том, что они болтают в церкви и больше занимаются там злословием, чем слушают богоугодные проповеди, он противопоставил речам женщин мораль Макробия. Однако Макробий у него — всего лишь имя, ассоциирующееся с моралью. Никакой другой нагрузки упоминание о нем не несет.

Взгляните сами, кто не верит:  
Вблизи церковного двора  
Или у монастырской двери  
Садятся, юбки подобрав,  
Мои красотки и с утра  
Во все вникают так глубоко!..  
Внимай, нет худа без добра, —  
Макробию до них далеко!\*

Получить ученую степень на факультете словесных наук и не знать, кто такой Аристотель, было бы просто невероятно. То, что Вийон читал кое-какие его труды, скорее всего из области схоластической логики, не подлежит сомнению, хотя в «Малом завещании» цитируется Аристотель не к месту и иронично: ученая ссылка как бы ликвидирует самое себя своей несообразностью, так что в тексте снова остается только имя. Поэт сообщает, что от избытка размышлений человек нередко становится «безумным и лунатичным», и к сказанному добавляет:

О том, коль память мне не врет,  
У Аристотеля прочел я\*\*.

Вспомним, что в 1456 году Вийон в общем-то продолжал оставаться теологом-учеником и что все свои знания об Аристотеле он приобрел благодаря Фоме Аквинскому. А из сочинений самого Аристотеля, скорее всего, он прочел лишь небольшие трактаты по элементарной психологии под общим названием «*Parva Naturalia*» («Малая природа»). Именно в них клирик, не любивший перенапрягаться и не желавший вдаваться в диалектические премудрости фундаментального труда «*De anima*» («О душе»), мог почерпнуть более или менее приблизительные представления о том, что Аристотель думал о человеческом разуме. Вне всякого сомнения, Вийон обращался и к трактату «*De somno et vigilia*» («О сне и бодрствовании»), этому небольшому

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 103. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Пер. В. Никитина.

44

опусу, ключевые слова которого обнаруживаются в эпизоде «полузабытья» в конце «Малого завещания».

Мало того, что Вийон охотно заимствовал в рудиментарном томизме и поверхностно усвоенном учении Аристотеля свой философский словарь и колорит познаний в области теологии, он к тому же еще и скопировал, изображая процесс своего «полузабытья», аристотелевскую схему работы интеллекта. Сказанное Аристотелем о деятельности ума Вийон использовал, переставив выражения, для характеристики кризиса функций сознания, каковым явилось его «полузабытье». Аристотелевский переход от восприятия органами чувств образов действительности к их запоминанию, а затем к формированию абстрактных понятий, становящихся основой спекулятивного мышления, это восхождение к «высшей части» души, прочитывается в обратном направлении в описании поэтом собственного кризиса, «полузабытья», внешняя словесная фантастичность которого не должна скрывать от нас внутреннюю стройность схоластической мысли:

Но за молитвой сбился я,  
Как будто мысли мне сковало, —  
Не от излишнего питья,  
Нет: Дама Память отобрала  
Оппинативный род сначала,  
Затем весь род коллатеральный,  
Все категории смешала,  
В ларь спрятав интеллектуальный  
  
Суждений вид эстимативный,  
Что перспективу нам даст,  
Симиятивный, формативный...\*

Чем является здесь Аристотель: символом, шуткой, хвостовством? Возможно, и тем, и другим, и третьим одновременно.

Поэт цитировал также и Аверроэса, арабского толкователя аристотелевской метафизики, но цитировал приблизительно так же, как и самого Аристотеля. Не стоит заблуждаться. Жизнь дала ему больше знаний, чем Аверроэс и его философия. Странствие, увы, учит лучше, чем чтение.

Измучен горькою тоской,  
Не в силах удержать рыданья,  
Я слезы проливал рекой,  
Страдал, не видя состраданья,  
В игре нужды, обид, изгнанья  
Я вечно битым был мячом  
И понял жизнь без толкованья, —  
Здесь Аверроэс ни при чем\*\*.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 31. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 37.

Так же обстоит дело и с редкими у Вийона юридическими цитатами. «Декрет» Грациана, этот основополагающий сборник канонического права, упомянут лишь в связи с женщинами, берущими себе любовников «согласно «Декрету». За аллюзией скрывается студенческая шутка. В действительности же в «Декрете» говорилось о публичном скандале как об отягчающем вину обстоятельстве. Как и следовало ожидать от школяра, порой после выпивки приобшавшегося к проблемам юриспруденции, Вийон сделал вывод, что грешить лучше в тени. «Любить в тайном месте» — вот как следует толковать его слова о любви «согласно «Декрету». Так что не будем принимать эту отсылку за доказательство осведомленности в вопросах юриспруденции.

Что же касается буллы папы Николая V, давшей в 1449 году монахам из нищенствующих орденов право исповедовать и, соответственно, отводить к своим обителям потоки приносимых верующими даров, то она у духовенства наделала немало шума. Стало быть, отказ по завещанию одновременно и декрета «*Omnis utriusque sexus*» («Людьми обоего пола»), — являвшегося в действительности декреталией Григория IX, обязывавшей всех христиан исповедоваться по крайней мере один раз в году, причем именно своему священнику, а не чужому, — и «Кармелитской буллы», перераспределявшей доходы в пользу ординарного духовенства, тоже имел источником вовсе не чтение юридических текстов, а беседы в монашеской и священнической среде.

Единственной логически необходимой и практически точной цитатой является цитата из Вегеция, открывающая «Малое завещание». Теоретик античного военного искусства советовал писать то, что думаешь, дабы узнавать мысли других о том, что пишешь. Выслушивать чужое мнение относительно своих произведений — таков смысл высказывания Вийона, который притворился, что следует совету римского стратега, но не обратил внимания на то, что в законченном виде совет гласил: мысль становится руководством к действию лишь после того, как ее прочтет и одобрит государь.

## РОМАН О РОЗЕ

И тут снова обнаруживается, что Вийон процитировал перевод. Причем вряд ли можно считать случайностью то, что перевод Вегеция, из которого он позаимствовал высказывание, принадлежит не кому иному, как Жану де Мёну. В прологе «Кни-

ги рыцарства», переведенной с латинского языка автором «Романа о Розе», мы читаем следующее:

«Если император не прочитал и не одобрил написанные книги, им будет отказано в признании и в принятии их за авторитетные свидетельства».

С неизбежной закономерностью мы снова и снова возвращаемся к «Роману о Розе», единственной книге, цитировавшейся Вийоном без насмешки. Именно оттуда он извлек основные положения своей философии. Там, в частности, находятся корни его представлений о женщине, отнюдь не совпадающих с теми, которые явились результатом его собственных любовных опытов. Он заимствовал из «Романа о Розе» темы, образы, даже эмоции. Прекрасная Оружейница, прежде чем попасть в «Завещание», была уже в «Романе», где ее звали Праздной Дамой, причем Гийом де Лоррис использовал те же слова и те же образы, дабы обрисовать как красоту, так и безобразие.

Золотых волос струя,  
Гладкий лоб, крутая бровь,  
А в глазах горит любовь.\*

У Праздной Дамы в старости на подбородке появилась ямочка, а у Прекрасной Оружейницы он раздвоился. В молодости у одной нос был «хорош и прям», у другой — «красивый нос прямой». Лоррис изобразил «яркий цветом ротик», а Вийон снабдил портрет «губ алой красотой».

«Роман о Розе» Вийон читал и перечитывал. Он знал из него целые отрывки. И заимствовал целые фразы. «Крепко в зубах узду держи» превратилось в «В зубах узда — рысь ретива». Можно было бы процитировать сотню подобных примеров. Человек средневековья в отличие от нас отнюдь не приравнивал заимствования к плагиату. Вся тогдашняя система образования покоилась на чтении и заучивании, а не на оригинальности мысли. В той мыслительной системе, где принцип авторитетности оправдывал любые диалектические ходы, взять у другого означало воздать ему почести и основать новое высказывание на уже признанном мнении.

А «Роман о Розе» как раз и был суммой общепризнанных знаний. Гийом де Лоррис и сменивший его Жан де Мён, два живших в XIII веке клирика, развили в этом романе все темы усвоенной за десять веков христианства платоновской философии. Начинается роман с большого трактата о куртуазности,

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

являющегося собственным сочинением Гийома де Лорриса, современника Людовика VIII, затем следует обширная панорама схоластической философии, вобравшей в себя и взгляды принадлежавших к белому духовенству преподавателей молодого Парижского университета, и умонастроения наслушавшихся церковных проповедей буржуа. Что же касается части, написанной Жаном де Мёном, современником Филиппа III, то она тоже является памятником клерикальной мысли — это видно хотя бы по тому, какая роль отводится автором женщине, — но мысли, преднамеренно оторванной от прежних авторитетов и доктринальной иерархии. В философской системе «Романа о Розе» человек предстает скорее как действующее лицо в обществе, нежели как божье подобие в мироздании. Произведение явилось также — для не очень отчетливо воспринимавших его новизну читателей XV века — реестром символов и аллегорий. Этот роман выглядит целостной языковой системой. Взяв у Марциана Капеллы идею и темы, авторы романа придали им определенность и законченность.

Во многих отношениях Жан де Мён предвосхитил возрожденческий гуманизм. Конечно, нарисованное им естественное общество, моделью для которого послужил вергилиевский золотой век, обязано некоторыми своими чертами мощному направлению эгалитаристской мысли, породившему с одной стороны францисканское течение, а с другой — антиклерикальные, анархистские устремления Иоахима Флорского и его последователей «духовников». И все же Жан де Мён создал такую схему божественного творения, где человек ценен не только по занимаемому им в Граде Божиим месту, а и сам по себе.

Именно в «Романе о Розе» черпали чаще всего современники Вийона внешние атрибуты своей классической культуры, равно как и внешнее подобие глубины мысли. Неизменный успех романа стимулировал даже самые невероятные мероприятия: через несколько лет после появления «Большого завещания» преподаватель риторики и официальный летописец Жан Молине взял и сделал прозаический пересказ текста Жана де Мёна. Так что у Вийона, бравшего все ему необходимое в «Романе о Розе», не было никаких оснований испытывать по этому поводу угрызения совести. Он, как, впрочем, и все его современники, был обязан роману прежде всего мифологией, отзвуки которой постоянно слышались в беседах на левом берегу Сены. Кто делал заимствования из «Романа»? И кто делал заимствования у заимствующих?

Послушаем Жана де Мёна:

Ведь сладкий стих порой несносен...

Рютбёф, современник, вторил ему: *«...»*

Твердят, что сладкий стих несносен...

Анонимный автор в конце XIV века снова вернулся к этой мысли, используя ту же формулу:

Твердят нам, сладкий стих несносен...

А затем ею воспользовался и Вийон, изменив лишь грамматическую конструкцию:

Чем слаше стих — тем он несносней...\*

Надо сказать, что поэт не скрывал своих заимствований и охотно вручал кесарю кесарево... Не считая нужным давать отсылки по поводу каждой цитаты, порой, однако, когда нужно было опереться на авторитетное мнение, он цитировал почти дословно и называл источник. Например, Жан де Мён писал:

Многое юным сердцам в юности пылкой простится,  
Если Господь им дает к старости остепениться.  
Сколь же блаженнее тот, кто не сумел возгордиться,  
Кто от младенческих лет к зрелости сердцем стремится!\*\*\*

Вийон несколько изменил смысл высказывания. Он отказался суммировать добродетели юности и зрелого возраста. Первый постулат остался: помня о старости, нужно прощать молодость. Однако за этим следует собственная вийоновская мысль о том, что преследователи хотят помешать ему дожить до старости.

Как мудро нас учил «Роман  
О Розе»! Помню, там, в начале,  
Завет нам был прекрасный дан:  
«Чтоб люди молодость прощали,  
Жалели старость...» Но едва ли  
Враги мои считались с ним:  
Меня всегда и всюду гнали,  
Страданьям радуясь моим\*\*\*.

Зрелый возраст позволяет искупить ошибки молодости. Вот этого-то шанса и пытаются лишить Вийона. Из-за страданий «бедный Вийон» умрет молодым. Это совершенно личная тема: у Жана де Мёна ничего подобного не встречалось.

Следует добавить, что в этом цитировании есть одна погрешность: Вийон ошибся книгой. Стихи, частично повторенные Вийоном, фигурируют не в «Романе о Розе», а в «Завещании» Жана де Мёна. Кстати, идея завещания, используемого в качестве предлога для рассказа о своем видении мира — или в качестве предлога для сведения счетов, — впервые пришла в голову тоже не Вийону.

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

\*\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981..С. 38. Пер. Ф. Мендельсона.

Наряду с «Романом о Розе» во всех библиотеках имелись также и книги по истории. На первом месте стоял Тит Ливий, за ним следовали Саллюстий, Цезарь с его «Записками о галльской войне» и нередко Валерий Максим. Встречались там и разного рода версии легендарной истории, например бесчисленные «Истории троянцев», которые монархическая мифология стала в конце концов выдавать за древние истории франков. Можно было верить либо не верить тому, что франки восходят по прямой линии к спасшимся от гибели троянцам, — независимо от этого их историю читали, потому что она вошла в моду.

Естественно, в отличие от просвещенного и состоятельного каноника Николя де Байе не каждый мог похвалиться наличием в своей библиотеке четырех томов книги «О достопамятных событиях» Петрарки и книги Боккаччо «О знаменитых женщинах». Однако не было ни одной библиотеки при капитуле, монастыре или коллеже, которая не располагала бы той или иной хроникой, пересказывавшей приблизительно одни и те же истории с небольшими добавлениями каких-либо фактов местного значения и свежих анекдотов. Везде присутствовали «Жития святых отцов», «Жития философов», «История церкви». Принадлежащая перу Мартина Полония хроника папства под названием «Мартинианская хроника» в каждой своей версии снабжалась местными комментариями и всякий раз обновлявшейся историей церкви. Также везде можно было встретить и «Историю Александра», равно как и «Иудейские древности» Иосифа Флавия.

Вийону до всех этих крупных исторических трудов, необходимых для осмысления прошлого, не было никакого дела. В его классической культуре история смешивалась с легендой. А его «современная» культура исключала историю, хотя, правда, однажды ему случилось обнаружить в хронике манских епископов привлекающее его внимание своей звучностью имя графини Арамбуржис, тут же зачисленной им из-за этого в знаменитые дамы былых времен. Где же они, эти дамы?

Где Бланка, белизной сродни  
Лилее, голосом — сирене?  
Алиса, Берга — где они?  
Где Арамбур, чей двор в Майенне?  
Где Жанна, дева из Лоррэни,  
Чей славный путь был завершен  
Костром в Руане? Где их тени?..  
Но где снега былых времен?\*

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 47—48. Пер. Ф. Мендельсона.

Сам факт, что это имя является его единственным и, по существу, не имеющим никакого значения заимствованием из исторической литературы, красноречиво свидетельствует, насколько малое место занимала история в его вдохновении. В лучшем случае он запоминал иногда какое-нибудь недавнее событие, о котором поговаривали на улице Сен-Жак и в округе. Так, например, случилось с буллой папы Николая V. Поэтому то внимание — плод внушений какого-нибудь учителя или чего-то из прочитанного, — с которым он, похоже, отнесся к старому делу Жана де Пуьи, всколыхнувшему в начале XIV века и без того уже потрясенную церковь — из-за последовавшего за смертью папы Бонифация VIII краха попыток внедрить учение Августина Блаженного в политику и из-за переноса папского престола на берега Роны, — следует назвать исключительным.

В 1321 году папа Иоанн XXII осудил обвинения, выдвинутые богословом Жаном де Пуьи в адрес францисканцев. И Жану де Пуьи пришлось отречься от своих обвинений во время публичной церемонии, запомнившейся белому духовенству — и в частности, духовенству церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне — унижением, нанесенным священникам перед лицом нищенствующих орденов. На протяжении более ста лет после того события Сорбонна по-прежнему считала, что магистр Пуьи был достоин всяческого доверия и пострадал совершенно ни за что.

И вот скромный школяр Франсуа Вийон попрекнул богослова, поставив ему в вину не убеждения, а догматизм. В словах поэта, не посвященного в теологические тонкости конфликта и вовсе не стремившегося в них просветиться, мы слышим упрек в измене. При этом не приходится сомневаться, что в ряде случаев он сражался именно с лицемерием нищенствующих орденов.

И зря бранился мэтр Матье  
Из-за такого пустяка;  
Не лучше был и Жан Пулье,  
Кто проклинал святош, пока  
Его не взяли за бока...\*

Следует заметить, поэт не делал различия между всеми этими орденами. Он собрал в одну компанию нищих, бегунков, «тюрюпенгов» и отказал им по завещанию «жакоппинские супы», то есть превосходный суп с мясом и сыром, получивший в народе название иаковитского в насмешку не над супом, а над нищенствующими братьями, призывавшими

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 86. Пер. Ф. Мендельсона.



жить в бедности и насыщавшими свою плоть не только вкуснейшим супом. Ирония Вийона простирается еще дальше: иаковиты, кармелиты и некоторые другие нищенствующие ордена слыли любителями проводить время с женами в отсутствие их мужей.

Отцы святые испокон  
Веков в Париже всем друзья:  
Пока они лобзают жен,  
Спокойно могут спать мужья!\*

Лучше всего в парижских книжных лавках шли книги по праву: полезная наука. Дело в том, что, например, Библию можно было читать, даже если она и старая, к тому же магистр теологии вполне мог воспользоваться библиотекой коллеги. Хорошо служили и старые «Часословы», особенно тем, кто, не будучи чрезмерно богат, не стремился приобретать все новые и новые, изукрашенные по последней моде экземпляры. А вот тем, кто хотел выиграть процесс, следовало иметь самые последние комментарии прецедентов. Обеспеченная клиентура парижских книжных лавок вроде советников, адвокатов и прокуроров стремилась иметь под рукой базовые тексты и практические руководства, одалживать которые всякий раз было бы сложно. «Судебник», «Декрет», свод постановлений обычного права, сборник форм и образцов, глоссы, «случаи» — багаж юриста, оставаясь неизменным в своей основе, имел различную ценность. Один, например, довольствовался «Дигестой», другой «Сводом» Рофруа де Беневана или даже «Сводом» Танкреда Болонского. Один располагал лишь жалкой компиляцией «Декреталий», а другой имел кроме того еще и «Свод» Реймона де Пеньяфорта. Все зависело от средств или полученного наследства...

Вийон ни в чем таком решительно не нуждался; ему хватило краткого приобщения к праву в качестве писца у одного юриста. Из этой практики он вынес формулы, обороты, звонкие слова. От юриспруденции он взял лишь слова, относящиеся к судопроизводству и завещаниям. А как он пользовался ими, мы знаем.

Из «Декрета», являвшегося фундаментом всех штудий по каноническому праву, он вынес лишь один урок, тот самый, который клирики неизменно повторяли, идя к девицам легкого поведения, а именно: лучше грешить тайно, чем ввязываться в публичный скандал. Грациану, конечно, было бы нелегко узнать в этом суждении свое обличение адюльтера...

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 86. Пер. Ф. Мендельсона.

Что касается доли франкоязычных художественных произведений в тех библиотеках, о которых мы можем составить представление благодаря осуществленной после смерти их владельцев инвентаризации, то здесь можно было встретить буквально все. В этом разнообразии отражались личные вкусы и пристрастия, хотя в общем-то угадать, какие из находившихся там книг действительно читались, а какие — чаще всего — лишь упоминались в разговорах, весьма нелегко. Книга обладала существенной материальной ценностью, и выбросить ее, даже если она вышла из моды, никому в голову не приходило. Следовательно, нужно с максимальной осторожностью зачислить в прочитанные те из книг, что были когда-то приобретены либо получены по наследству. Однако существует и один весьма точный критерий популярности книги, и таковым является количество копий: если переписчики приобретали какой-нибудь текст, это означало, что в тот момент этот текст был в ходу.

В подходе к художественной литературе, зачастую совпадающем с подходом к области чувств, легко выделить несколько социально-профессиональных сред. Например, буржуа столь же страстно, как и принцы, хотя и по иным причинам, любили романы. Парламентские чиновники относились к ним более прохладно, зато не пренебрегали поэзией, особенно если по своей тенденции она примыкала к какому-нибудь крупному направлению мысли, популярному либо при дворе, либо в городе. У Николя де Байе было две книги баллад и «Роман о состоянии мира», являвшийся, возможно, одним из «сказов» Рютбёфа или чьим-нибудь еще аналогичным сатирическим творением. Ведь в конечном счете секретарю Парламента отнюдь не были заказаны ни смены настроений, ни обиды...

Принадлежавшие к этому литературному жанру произведения, к которым с недоверием относились советники — «великие магистры», как называл их Вийон, — и которые редко встречались на книжных полках коллежей, передавали из рук в руки безденежные и мало заботившиеся о своей карьере школяры. Хотя Вийон и черпал свое вдохновение главным образом из наполовину художественного, наполовину энциклопедического «Романа о Розе», эту литературу он ценил высоко. Но и тут эрудиция его складывалась из разрозненных и косвенно полученных сведений.

Он кое-что заимствовал из героических поэм — Берту, Беатрису Прованскую, Алису Шампанскую, — но эти заимствования пришли прямоком из романов, написанных позже, когда аристократия уже перестала быть тем, чем была в героические

времена. Да, кстати, и из этого эпического материала взяты лишь несколько благозвучных имен, за которыми не стояло ровным счетом ничего, равно как и за именем «лама Сидуана», понравившемся поэту, когда он встретил его, скорее всего, в «Романе Понтюса и прекрасной Сидуаны», причем, может быть, даже и не в романе — нет никаких указаний на то, что Вийон его читал, — а всего лишь в названии.

В действительности же рыцарство не слишком привлекало школяра. Его тоска по героическим временам весьма поверхностна. Сколько бы Вийон ни называл вперемешку различных ассоциировавшихся с подвигами имен, к ценностям эпической художественной литературы он остался равнодушен. Фраза «Но где наш славный Шарлемань\*?» нужна была поэту лишь из-за необычайной красоты стиха. Король франков был Вийону в высшей степени неинтересен, и, похоже, ему абсолютно ничего не приглянулось даже в «Паломничестве Шарлеманя», героической песне, прославлявшей подвиги короля и вдохновившей в XIII веке балы Филиппа де Бомануара на написание «Жана и Блонды», а в конце XV века давшей сюжетную основу книге «Роман Жана Парижского».

Единственное, что ему действительно нравилось в эпической литературе, — звучность имен. Это видно, в частности, и на том примере, когда он превратил умершего незадолго до того короля Владислава Богемского в «Ланселота, короля Беэньи». Ланселот здесь является не свидетельством эрудиции, а символом снобизма.

Вкусы Вийона отражали вкусы его среды. Старого «Шарлеманя» и не столь старого фруассаровского «Мелиадора» копировщики переписывали для замков, где культивировалась ностальгия по рыцарским временам, да еще порой для какого-нибудь буржуа, приобретавшего аристократическую культуру в ожидании того момента, когда удастся добиться возведения во дворянство. Что же касается клириков и школяров, то их мечты и создаваемое ими представление о себе ориентировались на иные ценности. «Бедного школяра» или, как он еще себя называл, «сумасброда» Вийона не слишком влекло к этой литературной традиции, где ничто не трогало его сердце; столь мало его интересовали интеллектуальные конструкции вокруг короля Рене, и так сухо он реагировал на ирреалистическую поэзию анжерского двора. «Мелиадор» был полной противоположностью вийоновского реализма.

Есть даже некоторые основания сомневаться в том, что он

---

\* Charlemagne (*фр.*) — Карл Великий.

читал Рютбёфа, хотя тот и является его предшественником в искусстве прислушиваться к голосу Парижа. Рютбёф писал также и о ветрах, проносящихся над бранным миром.

Ломился в двери ветер с воем —  
Ведь все друзья мои давно им  
Унесены\*.

Однако Вийон предпочел использовать в качестве рефрена для своей «Баллады на старофранцузском» слова из одной «Моралите», сыгранной впервые в 1426 году в Наваррском коллеже, куда в более поздние годы Вийон нередко заглядывал. Осуществлялась ли постановка повторно? Или текст просто сохранился в памяти кое-кого из любителей? Не исключено, что ценившие поэзию клирики продолжали цитировать понравившиеся стихи. Вийон взял их себе. Оригинальности он не искал, а само заимствование лишь подтвердило надежность его вкуса.

Принц, не уйди нам от червей,  
Ни ярость не спасет, ни страх,  
Ни хитрость: змия будь мудрей, —  
Развеют ветры смертный прах\*\*

Поэт призывает пренебречь и яростью, и страхом... И придает сыгранной в Наваррском коллеже «Моралите» метафизическую объемность.

Точно так же и факт заимствования им образа «чертог божества», найденного ранее Рютбёфом для прославления Девы Марии, сам по себе не может служить доказательством того, что Вийон когда-то раскрывал «Девять радостей Богоматери». В XV веке их не читал уже никто. Однако многие символические названия сохранила риторика церковных проповедей. Поэт, подобно многим другим, черпал из общего достояния слова и выражения, еще не застывшие в официально признанных нормах. Как и в случае с афоризмом «Чем слаще стих — тем он несносней».

## РЕАЛИЗМ И КУРТУАЗНОСТЬ

Иначе обстоит дело с Аленом Шартье и Эташем Дешаном. Вийон очень хорошо вписывается в традицию Дешана, умершего в начале XV века поэта из Шампани, реалиста, близкого ему и по настроению, и по видению общества, столь же насмешливого и нелюбезного. А по отношению к Шартье с его вы-

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 52. Пер. Ф. Мендельсона.

чурностью формы и идеализмом содержания он, напротив, выглядит антиподом. Шартье олицетворял куртуазное искусство. А Вийон был воплощенным вдохновением, родившимся в таверне и переосмысленным клириком, который хотя и не утруждал себя в школе, но как-никак провел десять лет под началом магистров.

Эташа Дешана Вийон читал. Великие люди, названные им среди «сеньоров былых времен», включая и храброго Дю Геклена, были героями многих поэм Дешана, который, кстати, за долго до Вийона смешивал и эпохи, и имена знаменитостей.

Принц, где теперь Роланд и Оливье,  
Где Александр, Артур и Карл Великий,  
Где Эдуард и прочие владыки?  
Они мертвы, они давно в земле\*.

Задолго до Вийона начал Дешан пользоваться и диалогами в стихах. Когда-то он сделал также портрет потомственного пьянчуги с «жалкими красными глазами», предвосхитивший вийоновский набросок попечителя Жана Лорана. Однажды, будучи больным, но не собираясь еще в ту пору умирать, Дешан, дабы посмеяться над своими современниками, изобрел прием пародийного завещания с соответственно варьируемыми в нем дарами. И вот, предвосхитив щедроты Вийона, оставил он францисканцам свои стоптанные башмаки, а королю Франции — Лувр. опередил он Вийона и в наказе похоронить его на возвышенности, а также завещав пустой сундук или служанку.

А когда меня Бог приберет,  
Пусть кюре мою девку возьмет\*\*.

Вийон унаследовал эту золотоносную жилу и стал разрабатывать ее на свой манер. Перенял он у Дешана и тему завистливых языков, которые подаются в супе злословцам с приправой, составленной из всех ядов мира: купороса, квасцов, ярьмедянки, сулемы, мышьяка, селитры... Впрочем, это средство для сплетниц рекомендовал еще Жан де Мён:

Побольше языков колючих,  
Бесстыжих, ядовитых, жгучих\*\*\*.

Вийон явно находился под впечатлением этого образа «Романа о Розе», когда говорил про «языки жгучие, красные, гадючьи», а вот что касается рецепта похлебки, то его он создавал без помощи Дешана. Однако почерк у них разный. У Дешана — хищная утонченность:

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

\*\*\* То же.

Вот из позеленевшей меди миска  
С похлебкою из мяса василиска,  
Вот из гнилушек и лягушек суп...\*

**А вот почерк составляющего рецепт Вийона:**

В слюне ехидны, в смертоносных ядах,  
В помете птиц, в гнилой воде из кадок,  
В янтарной желчи бешеных волков,  
Над серным пламенем клокочущего ада  
Да сварят языки клеветников!\*\*

Ну а Ален Шартье, напротив, символизировал все то, что школяр Вийон отвергал, — придворное искусство с его стремлением к элегантности. Надо сказать, Вийон и не пытался притворяться. Он сознательно противопоставлял себя галантному поэту с его фантазиями. Чтобы поверить, что красивые слова излечивают от таких несчастий, как одиночество, нищета и болезни, нужно было иметь полный желудок и цветущий вид. Куртуазность излечивала лишь здоровых. Шартье в своей поэме «Безжалостная красавица» тоже кое-что отказал по завещанию:

Больным любовникам я рад  
Пожаловать для исцеленья  
Дар сочинения баллад...\*\*\*

Вийон тоже не остался в долгу перед влюбленными, но в его завещании звучит нескрываемая горечь, причем даже в призыве молиться слышится язвительная ирония. Он предлагает несчастным влюбленным гротескный обмен: они должны будут помолиться за «бедного Вийона», а он откажет им кропильницу, наполненную слезами и плачами. Привычное подмигивание поэта здесь обнаруживается только в одном ироническом условии: дар перейдет к больным от любви любовникам лишь в том случае, если они не позабыли приобрести «Завещание» Алена Шартье. Иными словами: если Шартье при них, все будет хорошо.

Затем, измученным любовью  
Любовникам, уткнувшим нос  
В стихи Шартье, к их изголовью  
Дарю кропильницу для слез  
С кропилом из увядших роз,  
Чтоб каждый в час ночной, бессонный  
Молитву тихую вознес  
За упокой души Вийона\*\*\*\*.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 97. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\*\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\*\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 117. Пер. Ф. Мендельсона.

Исповедуя оптимистическое видение мира, Шартье подчеркивал взаимосвязь человеческих чувств и распределения ролей в обществе. Он считал, что душевное благородство зависит от благородства рода. Поэтому в своих балладах этот поэт благодати прославлял достаток, здоровье, удачливость. Бедность в его сознании ассоциировалась с пороком, причем пороком неизлечимым.

От была вечно жди беды.  
Не жалуй дружбой голытьбу...  
Не пыжься, как скоробогач,  
Хвали приятеля в гробу  
И вместе с плаксами не плачь\*.

Вийон, будучи веселым малым, совершенно не похож на тот тип веселого человека, который импонировал Алену Шартье. Его взгляд на вещи был абсолютно пессимистичным, потому что он просто не располагал средствами, позволяющими смотреть на вещи иначе. Отчетливо этот пессимизм выразился в «Балладе истин наизнанку», где, пародируя Шартье, Вийон обличал отсутствие логики в мироздании. «На помощь только враг придет». Горький вывод человека, тщетно пытавшегося докричаться до людей из глубины своей тюрьмы. А честь воздают, лишь оскорбляя. И истину несет лишь ложь. Гордиться же стоит, только если ты фальшивомонетчик.

Хвались, подделавши чекан,  
Опухшей рожею гордись...\*\*

Говоря о тех, кто изготавливает фальшивые монеты, Вийон имел в виду все общество. Ну а самый большой обман — это, конечно, любовь.

Тем не менее и сам поэт отчаяния тоже порой становился жертвой этого обмана. Он попадался в им же самим выявленные ловушки. Подобно Алену Шартье, Карлу Орлеанскому, десяткам других поэтов, он обращал свои проклятья смерти. Причем здесь Шартье даже превосходил Вийона своей запальчивостью. «Да будешь Богом проклята!» — восклицал Шартье; «Я на тебя обижен», — говорил Вийон. Парадокс заключается в том, что Вийон, излагая причины своей обиды, заимствовал некоторые символы у куртуазной поэзии. Перед лицом смерти условное искусство частично утрачивало свою условность, что Вийона не удивляло.

В других же случаях неприятие поэзии Алена Шартье доходило у него до того, что он, отказываясь на время от реализма мстительной речи, вдруг начинал пародировать стиль куртуазной поэзии. Вийон умел перевоплощаться. И делал это шутки

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

ради, например когда ему понадобилось упрекнуть изменившую любовницу:

Я ей поверил — и пропал,  
Любовным пламенем объят,  
Меня сразили наповал  
Ее улыбка, стать и взгляд:  
Недаром люди говорят,  
Что белоногая кобылка  
Лишь только с виду суший клад\*.

Конь с белыми ногами — это конь с хорошей статью, но выдыхающийся в бою. Белые ноги — символ фальши.

В другой раз, посвящая балладу «фальшивой красавице», которая обошлась ему столь дорого, Вийон снова воспользовался торжественным стилем куртуазной поэзии, словно уже само изображение обмана заставляло его музу прибегать к языку условностей. Новая, не вийоновская тональность речи обличала как бы сама по себе: куртуазная любовь — одна из форм обмана.

Весна пройдет, угаснет сердца жар,  
Иссохнет плоть и потускнеет взор.  
Любимая, я буду тоже стар,  
Любовь и тлен, — какой жестокий вздор!  
Обоих нас ограбит время-вор,  
На кой нам черт тогда бренчанье лир?  
Ведь лишь весна струит потоки с гор.  
Не погуби, спаси того, кто сир!

О принц влюбленных, добрый мой сеньор,  
Пока не кончен жизни краткий пир,  
Будь милосерд и рассуди наш спор!  
Не погуби, спаси того, кто сир!\*\*

Те же обороты почти естественно приходили на ум бывшему школяру и тогда, когда у него возникла вдруг надежда получить субсидию от герцога Орлеанского или когда он благодаря принцу-поэту вышел из тюрьмы. В подобные моменты он говорил тем языком, какого от него ожидали.

В результате нарисованный им портрет Марии Орлеанской получился таким, каким он получился бы у самого что ни на есть законченного придворного поэта.

Народа радость и отрада,  
От зол ограда и защита,  
Владыки царственное чадо  
Единственное, в коем слито  
Все, чем держава знаменита.

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 76—77. Пер. Ф. Мандельсона.



От Хлодвига до наших дней,  
Ты горней славою увита,  
Чтоб век не расставаться с ней\*.

Однако Вийон видел себя в изготовленном им самим зеркале. «В сердце печаль, пустота в животе» — вот что, словно барьером, отделяло его от мира галантности. У кого живот полон лишь «на треть», тот должен покинуть «любви тропинки». И в прямом, и в переносном смысле. Тому заказан путь и к девушкам, и к элегиям.

Не станешь ни плясать, ни петь:  
Пустое брюхо к песням глухо\*\*.

Впрочем, если говорить о галантности, то вечно испытывавший в чем-нибудь нужду поэт умел приспособливаться. Ему приходилось включаться в игру, иногда с едва заметной усмешкой, а иногда и искренне. Когда его освободили из тюрьмы благодаря заступничеству Карла Орлеанского, он был в своих стихах искренен. А вот когда его отвергла Катрин де Воссель, на фоне яростного «отказа от любви» куртуазно-лирический настрой поэзии Вийона стал выглядеть заметно менее естественным. Где начиналась пародия? И где она кончалась? Вполне возможно, что иногда Вийон превращался в двойника Алена Шартье.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 41. Пер. Ф. Мандельсона.

ГЛУПЕЦ, ЖИВЯ, ПРИОБРЕТАЕТ УМ...

ЗАИМСТВОВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВО

Вийон брал у кого только мог. Но его гений принадлежал лично ему. «Это смех, полный слез и плача», — сказал Жан де Мён вслед за Гомером и многими другими. «Смеюсь я, плача», — писал потом Жан Ренье. Ту же самую мысль несколько менее четко выразил Ален Шартье: «Глаза мои плачут внутри, смеясь снаружи». «Смеюсь я ртом и плачу глазом», — написал в свой черед слабый поэт Жан Кайо в «книге» Карла Орлеанского, а тот не отказал себе в удовольствии удлинить фразу:

В притворной улыбке кривятся уста,  
Но сердце дрожит от рыданий\*.

А Вийон взял и своим «смеюсь сквозь слезы» превратил прописную истину в настоящую жемчужину. Из древних хранилищ извлек он и сетования Прекрасной Оружейницы. Быстротекущее время и ужас старения стали темами поэзии едва ли не с тех пор, как люди впервые увидели свое отражение в воде. О незаметно пролетавших годах весьма многословно говорила ворчливая старуха из «Романа о Розе», причем во многом повторяя рассуждения одного из самых удачных персонажей Овидия. А веком раньше прокурор Жан Ле Февр использовал тему разрушительного воздействия времени в дебатах о Женщине, устроенных им и его единомышленниками. Пересказывая Овидия или то, что он принимал за Овидия, прокурор в своем стихотворении «Старушка» нарисовал портрет бывшей красавицы:

Ни кожи у нее, ни рожи.  
А груди дряблые похожи  
На два потертых кошелька:  
Ни крови в них, ни молока\*\*.

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

Попробовал свои силы в лирическом упражнении под названием «Жалобы старухи, вспоминающей свою молодость» и Эташ Дешан, но без особого успеха. Баллада Франсуа Вийона стала единственным созданным в этом русле произведением, где мы видим настоящую человеческую трагедию, взломавшую литературные клише. Тема ее принадлежит всем, а жалость — Вийону, видевшему воочию эту бывшую «красавицу», сидящую на пороге дома со своими подругами-старухами. Эта сцена расстрогала находившегося тогда в расцвете юности поэта или вызвала у него улыбку. Искусство, с которым гений наложил один временной слой на другой и осуществил переход от драматического описания увядающей плоти к жанровой сцене, вызывает эмоциональное потрясение.

Так сожалеем о былом,  
Старухи глупые, седые,  
Сидим на корточках кружком,  
Дни вспоминаем золотые, —  
Ведь все мы были молодые,  
Но рано огонек зажгли,  
Сгорели вмиг дрова сухие,  
И всех нас годы подвели\*.

Незаметно пролетела молодость. Жизнь сгорела так же быстро, как горит зажженная костра — старые былинки от пеньки, за неимением лучшего использовавшиеся, чтобы разжечь костер, и сгорающие, как солома. Старухи, о которых рассказал Вийон, ничему не удивляются, они всего лишь вспоминают.

За не менее избитую тему взялся поэт, когда обратил свой взгляд к высшему обществу, к сеньорам и дамам былых времен. Это очень древний вопрос: куда ушла былая слава? Священное писание ответило на все времена. «Так проходит мирская слава...» («*Sic transit gloria mundi*») — возвешают восходящему на престол папе, напоминая ему о хрупкости земного величия. «Запомни, ты всего лишь пыль...» — говорится в литургической службе первого дня поста, дабы призвать людей к смирению. Перечислив знаменитых дам прошлого, от прекрасной римлянки Флоры, типичной великой куртизанки, от Алкивиада, которого в средние века часто принимали за женщину, и Таис, «ее двоюродной сестры», до «мудрейшей Элоизы», Вийон нашел синтезирующую все эти перечисления гениальную формулировку и сделал ее рефреном:

Но где снега былых времен?\*\*\*

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 56—57. Пер. Ф. Мандельсона.

\*\* Там же. С. 47.

Дам сменяют сеньоры, от папы Калиста III до последнего представителя Люзиньянов. Здесь и уже ставший легендарным Дю Геклен, превратившийся у Вийона в Калкена, и совсем недавно умершие принцы. В этой балладе рефрен выводит повествование за пределы исторического времени. Карл Великий отождествляется с персонажем героических песен и с королем, нарисованным на игральных картах.

Где Дюгеклен, лихой барон,  
Где принц, чья над Овернью длань,  
Где храбрый герцог д'Алансон?..  
Но где наш славный Шарлемань?\*

Включив эти стихи в свое завещание, Вийон вывел на сцену и себя. Умирают ведь не одни лишь великие мира сего. А куда подевались «галантные кавалеры» былых времен? Куда ушла их молодость и молодость поэта тоже?

На этой литании, на вопрошении «Куда ушли...», пробовали свои силы сорок поколений моралистов и поэтов. Уже в V веке Кирилл Александрийский, вероятно подражая святому Ефрему, вопрошал: «Где сейчас цари? Где принцы и вожди? Где мудрецы? Где ученые мужи?» Бозэций, как это часто с ним случалось, передал средневековой античную тему вместе с формулировкой:

Где кости верного Фабриция лежат?  
И Брута? И сурового Катона?\*\*\*

Раньше Вийона задавалась этими же вопросами и Кристина Пизанская: «Что стало с теми, о ком в историях читаем?»

«Что стало с былыми временами?...» — встречаем мы в «Жалобе Судьбы» Шатлена. Интересовался этими проблемами и Ален Шартье: «Во что превратилась Ниневия, великий город с улицами длиною в трехдневное путешествие? А что стало с Вавилоном?» Вспоминая об одном таком вопросе, заданном в свое время царем Соломоном, папа Иннокентий III в свою очередь спросил: «А где сейчас Соломон?» Эсташ Дешан, среди читателей которого был и Вийон, наполнил усопшими знаменитостями целую галерею:

Где ныне Дионисий-самодур,  
Где Иов, где вся слава Моисея,  
Где Гиппократ, Платон и Эпикур,  
Юдифь, Эсфирь, Дебора, Саломея,  
Где ныне Пенелопа и Медея,  
Изольда и прекрасная Елена,

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 50. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Пер. В. Никитина.

Где Паломид, Тристан, Улисс, Цирцея?  
Все стали прахом. Мир исполнен тлена\*.

Гений Вийона заключался не в мысли, которая шла, скорее, проторенными путями духовного конформизма и социального пессимизма, и не в весьма традиционном репертуаре проверенных временем клише и образов, наполненных символами и аллегориями, которые узнавались даже самыми непросвещенными читателями. Его гений проявлялся в языке, в отточенных формулировках, ритме фразы и умении выбрать самое верное слово. Оригинальность других поэтов, обращавшихся к этой теме, состояла в более или менее удачном добавлении новых имен к уже существующему перечню. Даже Дешан и тот не нашел ничего лучшего, как снабдить звучные имена определениями, благодаря чему имена перестали выглядеть простыми абстракциями.

Где ныне Ангильберт-аббат,  
Где царь премудрый Соломон  
И врачеватель Гиппократ?  
Где дружный с музами Платон,  
И кроткий музыкант Орфей,  
Где математик Птолемей  
И узник Миноса Дедал?\*\*\*

Оригинальность Вийона обнаруживается и в сдержанной эмоциональности промелькнувшего образа, и в умении уравновесить драматизм ситуации насмешливым, заговорщицким подмигиванием читателю. Его гений заключался не в философии, которую, сидя на скамейках, вычитывали у Бозция, и не в избитом приеме напевных повторов. Его гений — «в снегах былых времен».

## МОРАЛЬ И МУДРОСТЬ

Его приемы — приемы лиризма, зарождавшегося вне схоластической философии. Подобно большинству стихотворцев его времени, Вийона безудержно влекло к устойчивым словосочетаниям и игре в «вопросы». Факультетские учителя сводили все нюансы мысли к формулам, где вопрос предопределял следующий за ним ответ. Свидетельствуя о триумфе платоновской логики, вопрос стал формой как юридической, так и теологической речи. И естественно, он являлся одним из инструментов вийоновской аргументации. Жанна д'Арк оказалась жертвой семидесяти «статей», сведенных к двенадцати «предложениям», то есть к двенадцати упрощенным вопросам о ее вере и нравствен-

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

ности. Предложение — это синтез, как его понимала средневековая диалектика. Для юриста квинтэссенцией предложения была присловица: «Король Франции в своем королевстве император». Для теолога предложение было статьей догмы. «Оно восходит к Отцу и Сыну» — гласило подправленное Карлом Великим «Кредо».

А для поэтов предложение было тождественно сентенции. И каждый из них играл в игру пословиц, народных поговорок, тщательно отделанных формул, выражавших целую — истинную либо поддельную — философию. Вийон достиг вершины в этом искусстве формулы.

К такому искусству дефиниции поэт добавлял еще один рецепт, неведомый университетской схоластике: игру противоположностей. Некоторым для такой игры достаточно было трения, возникавшего между прилагательным и существительным. Вийону этот прием был знаком, но богатство фантазии позволяло ему превратить его в нечто выходящее за рамки простой антитезы. Мэтр куртуазной поэзии Ален Шартье нередко грешил банальностью сочетаний: «изменчивое постоянство», «подвижное стояние»... Вийон играл более тонко, и у него противопоставление рождалось из подтекста, ирония смягчала противоположности, а иногда читателю вообще приходилось добавлять нечто свое. Пьяницы пьют «из бочек и тыкв», а сам Вийон вслед за многими другими «смеется сквозь слезы». Воздав должное риторике, хотя и не злоупотребляя ею, он создал в «Балладе истин наизнанку» язвительную сатиру едва ли не на всю современную ему поэзию. Похоже, шарж относился в первую очередь к Алену Шартье и другим известным Франсуа Вийону поэтам.

Лентяй один не знает лени,  
На помощь только враг придет,  
И постоянство лишь в измене.  
Кто крепко спит, тот стережет,  
Дурак нам истину несет,  
Труды для нас — одна забава,  
Всего на свете горше мед,  
И лишь влюбленный мыслит здраво...\*

Философия скептицизма, выраженная здесь, далеко не исчерпывается стремлением автора добиться определенного стилизового эффекта. Сталкивание противоположностей — это отрицание окружающего мира. «Чего ради?» — выразил впоследствии это мироощущение еще один поэт.

Кто любит солнце? Только крот.  
Лишь праведник глядит лукаво,

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 135. Пер. И. Эренбурга.

Красоткам нравится урод,  
И лишь влюбленный мыслит здраво\*.

Однако у метафизики Вийона короткое дыхание. Будучи бунтом против нищеты и виселицы, против предательства и глупости, его личный бунт ни в коей мере не был сродни революционности. Поэт возражал не против существующего порядка, а против того, что ему в этом порядке места не нашлось. В своих несчастьях он обвинял планету Сатурн, и никого более: виновата злосчастная звезда, а не ошибка Провидения.

— Мне больно... — Эта боль — судьба моя:  
Гнетет Сатурна тяжкая рука  
Меня всю жизнь!\*\*

Его мораль внешне выглядела более смелой, чем философия. Ведь он не лишал себя удовольствия шокировать благонамеренную публику. Прославлял мошенников, умилялся, глядя на проституток, высмеивал набожную «мадемуазель» де Брюйер и просил всех пьяниц рая втащить к себе наверх «душу покойного славного мэтра Жана Котара».

Однако все это лишь видимость. Аморализм этого проповедника, каковым был в глубине души Вийон, простирался весьма недалеко. В стихах, написанных на жаргоне, границы его терпимости проступают довольно явственно, и у закоренелого шалопая мы неожиданно вдруг обнаруживаем тот же строй мысли, что и у мальчика из церковного хора. Он не осуждал ни воровство, ни мошенничество. Не осуждал ни шулерские игральные кости, ни крюки для вскрытия сундуков. Он просто говорил злоумышленникам, своим братьям по несчастью: расплата предстоит тяжелая и, скорее всего, цена окажется намного большей, чем полученная прибыль. Эта мораль риска была не чем иным, как стремлением сохранить равновесие между разумным и чрезмерным.

Вот Тюска, лейтенант по уголовным делам. Вот «женильщик», то есть тот, кто устраивает свадьбу человека с пеньковой веревкой. Мораль Франсуа Вийона — страх перед жандармом и ужас ожидания встречи с палачом.

Плутающие в плутнях плуты,  
Клянусь: не век вам плутовать.  
Пора отсюда когти рвать,  
Не то, ручаюсь головою,  
Свиданья вам не избежать  
С женильщиком и со вдовою\*\*\*.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 135. Пер. И. Эренбурга.

\*\* Там же. С. 147.

\*\*\* Пер. Ю. Стефанова.

Более сурово Вийон в конечном счете судил смертные грехи добропорядочного общества. Например, зависть, весьма распространенный грех бедняков, он безоговорочно причислил — осуждая «завистливые языки» — к разряду преступлений против духа, где фигурируют и клевета, и жестокосердие, и умышенное злодейство. Так что, позаимствовав из «Романа о Розе» впечатляющий образ «несносных языков», наказанных за злословие, Вийон дал волю воображению, чтобы рассказать, как варят «завистливые языки» во всех ядах мира. Если не брать в расчет лексику, то можно сказать, что наугад взятый ортодоксальный проповедник произнес бы с амвона абсолютно то же самое.

## УРОКИ ЖИЗНИ

Непрятие куртуазного лиризма означало, что школяр Вийон не может и не хочет быть никаким иным поэтом, кроме как поэтом парижским. Мало того, он был человеком левобережья, Университета, где охотно прославляли Женщину, но отнюдь не Даму сердца. В вышедшей из Столетней войны Франции на лиризм смотрели как на явление придворной жизни. Он имел хождение в окружении принцев, там, где Вийону не нашлось места и где он явно ощущал бы себя чужаком. Куртуазный лиризм середины XV века в сознании клирика с улицы Сен-Жак ассоциировался, конечно, с провинциализмом, причем несмотря на то, что в провинции незадолго до этого появилось несколько крупных очагов культуры. В подобное восприятие вещей не подмешивалось ни грана презрения. Оно являлось простой констатацией существования иного мира и его отдаленности.

Вийон жил в жестоком мире, где люди напивались допьяна и умирали от голода, где не было никаких гарантий относительно завтрашнего дня, а места — тем, кто попытался их заполучить, — обходились весьма недешево. А мир лиризма — это такой мир, где дни текли незаметно. Теплое время года отводилось в том мире развлечениям. Зимой у его обитателей всегда были хорошие дрова для камина. Сказать, что один из этих миров был настоящим, а другой фальшивым, значило бы погрешить против истины. Пасторали короля Рене существовали в одном обществе, а скреплявшаяся за столами таверн дружба — в другом. Вийон, кстати, не пытался кого-либо осуждать. Обычно он держался в стороне, за исключением тех случаев, когда можно было как-то заработать на жизнь и когда это предписывалось правилами игры: так, «Балладу поэтического состязания в Блуа» он написал в том стиле, который господствовал при



дворе герцога Карла Орлеанского, и в том стиле, который преопределила выбранная герцогом тема:

От жажды умираю над ручьем\*.

Когда Вийон чувствовал себя влюбленным, он не стремился принять позу, подсказывавшуюся канонами куртуазной поэзии. Не превращался в «вассала» своей Дамы. Томиться под апрельским солнцем, ждать, когда, проходя мимо, она осчастливит его улыбкой, — для всего этого у него не было ни времени, ни возможностей. Он не падал сраженный нарочитым безразличием либо вымышленной изменой жестокой красавицы. Получая удары, он их возвращал: изменившую красавицу менял на другую. Любовь воспринимал как праздник одного вечера, а не грезу целой весны. Ну а дружба выглядела как нечто взаимно рискованное. Друга, отказавшегося одолжить тебе десять су, можно было считать предателем.

Если Вийон и прибегал к лиризму, то лишь пародируя. Действительно ли он хотел отомстить красавице, оставленной им в Париже после того, как сам был оставлен ею? Он имитировал любовную риторику в духе Алена Шартье, чтобы сформулировать в соответствующем тоне соответствующие пункты завещания. «Сердце мое в оправе оставляю» — это ли не насмешка?

Куртуазной лирике физический пыл был неведом. А Вийон знал его и гордился этим. Провести ночь, занимаясь любовью голым и лаская женские соски, — такова нарисованная им картина блаженства. Вийон сделался певцом-реалистом той любви, которую пытались игнорировать предшественники-трубадуры и которую сознательно игнорировал Ален Шартье; например, Вийон мог восхвалять увядшие прелести толстой Марго и напрямик заявлять, что любовник с пустым животом оставляет желать лучшего.

Еще до Рабле, сделавшего потом реализм достоянием интеллектуальной словесности, Вийон явился наиболее ярким представителем того веристского течения народной литературы, где не стыдились употреблять любые слова и где ситуации и вещи выглядели и пахли так же, как в жизни. Целый век несчастий, вызванных войной и эпидемиями чумы, приучил людей смотреть прямо в глаза жизни и смерти, жить бок о бок с мерзостями, от которых нельзя отгородиться. И у любви в том мире обличье тоже было жалкое, а порой даже страшное или гадкое. Анонимное стихотворение XIV века предвосхитило образы жутких вийоновских пар: когда в доме нет ни крошки, а ложе твердое как камень, даже любовь превращается в борьбу.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 140. Пер. И. Эренбурга.

«Люби меня, мой друг», — мне говорит подруга,  
И вздрагиваю я от жуткого испуга,  
Как будто грузный воз с возницей во хмелю  
Скрипит: «Поберегись, иначе раздавлю!»\*

Еще одно, более позднее стихотворение предвосхитило образ старой сводницы, к услугам которой, по словам Вийона, ему случалось прибегать:

Вонь изо рта, сопля из носу,  
Грудь — что говаяжья требуха,  
А на язык меж тем лиха\*\*.

Настоящее царство вульгарности. Однако Вийон, взявшийся за эту тему, сделал из нее настоящую драму:

Да, я любил, молва не врет,  
Горел и вновь готов гореть.  
Но в сердце мрак и пуст живот —  
Он не наполнен и на треть, —  
На девок ли теперь смотреть?  
Когда на дне стакана сухо,  
Не станешь ни плясать, ни петь:  
Пустое брюхо к песням глухо\*\*\*.

Интересно получилось, что свое самое прекрасное лирическое сочинение, прославлявшее вечную Женщину и постоянство в любви, Вийон создал для мужчины: он написал балладу и преподнес ее однажды оказавшему ему серьезную услугу прево Роберу д'Эстувиллю, дабы тот в свою очередь подарил ее подруге своей жизни. Да не придется нам никогда разлучаться. И в вас я уверен, как в себе. Именно поэтому так крепки соединяющие нас узы...

Принцесса, поверьте! Отныне покоя  
От вас вдалеке мне не знать никогда!  
Без вас я погибну, измучен тоскою,  
А поэтому с вами я буду всегда\*\*\*\*.

Вийон все же не настолько мало читал, чтобы совсем не допускать реминисценций. Нет-нет да и встретим мы у него какую-нибудь формулу куртуазной любви. В начале «Малого завещания» мы читаем про «нежный взор и лик прекрасный». Поэт настроился на условный тон, соответствующий избранной им роли достойного жалости «покинутого и отвергнутого любовника». Тот отвергает любовь, «негодует» на нее. Бросает ей вызов. Здесь нетрудно заметить отзвуки «Романа о Розе».

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

\*\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 41. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\*\*\* Там же. С. 96.

Возникло у меня желанье  
Сломать любовную тюрьму  
И прекратить души страданье\*.

Однако парижский шалопай то и дело одерживал в нем верх, так что месть, отвечающая канонам куртуазной поэзии, не получилась. Куртуазный поэт не стал бы называть свою возлюбленную «девицей с носом искривленным». Роза никогда не слышала, чтобы к ней обращались как к «развратному отродью».

Надо сказать, Вийон прекрасно владел искусством словесной игры и каламбура. И перед фривольной шуткой никогда не останавливался. Он стремился к тому, чтобы вызвать либо смех, либо слезы. Но только не улыбку...

В коротком рондо, полный смысл которого мы до конца никогда не поймем, поскольку оно обращено к неизвестному лицу, игра рифм позволила поэту максимально усилить шутливое содержание миниатюры. Жанэн — это традиционный фольклорный рогоносец. «Л'Авеню» означает «пришедший в неподходящий момент». Ну а баня — это место, где можно было и помыться, и найти девиц легкого поведения. Куда же как не туда отправить пришедшего некстати Жанэна? Эта горящая пептарда из слов и трех образов, естественно, не имеет ничего общего ни с «Романом о Розе», ни с унаследованным от трубадуров лиризмом.

Жанэн л'Авеню,  
Сходи-ка ты в баню!  
Ко святому дню,  
Жанэн л'Авеню!

Удиви родню,  
Поплещись в лохани,  
Жанэн л'Авеню,  
Сходи-ка ты в баню\*\*!

В наши дни критика ставит под сомнение принадлежность этого стихотворения Вийону. А если его написал все-таки он, будем считать это просто игрой.

Переделка заимствованных образов, оригинальное творчество в традиционных рамках, осовременивание базовых, уже использованных мифологией тем, фактов истории либо постулатов богословия, полученных, как правило, не из первоисточников, а из созданных за предшествовавшие три века компиляций, — таков исходный материал вийоновского творчества и таковы результаты. Чего у Вийона никак не отнимешь, так это та-

---

\* Пер. В. Никитина.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 139. Пер. Ф. Мендельсона.

ланта и живости характера. Пусть использованные слова достались ему в наследство от кого-то другого, гений языка принадлежал лично ему. Таков общий вывод.

Копия, плагиат — эти понятия никак не подходят для тех времен, когда оригинальность мысли никому не казалась главной добродетелью, и, напротив, добродетелью выглядело гарантировавшее ортодоксальность подражание древним. Ван дер Вейден, писавший сотое в западной живописи полотно «Страшный суд», отнюдь не занимался плагиатом. Находящееся в Эксе «Благовещение» никоим образом нельзя считать плагиатом на том основании, что Богородица изображена там, как и на сотне других «Благовещений», читающей часослов перед церковным налоем. И Жан Фуке, творивший в те же годы, что и Франсуа Вийон, тоже не стал плагиатором, когда по возвращении из Италии использовал для «Часослова» Этьена Шевалье геометрическую перспективу Леона Баттисты Альберти.

## ЗАВЕЩАНИЕ

Сама идея передать свое окрашенное в цвета благодарности либо мщенические видения людей и вещей, используя для этого тесные рамки пародийного завещания, оригинальностью не отличалась. Она возникла еще в эпоху позднеримской литературы. Было свое «Завещание» у Жана де Мёна, которое Вийон знал настолько хорошо, что, цитируя по памяти, смешивал с «Романом о Розе»: именно там Жан де Мён просил, чтобы молодежи прощали грехи, пока она молода, потому что их все равно придется простить, когда молодость пройдет. В свою очередь Рютбёф высказал в своем «Завещании потехи ради», ставшем настоящим шедевром бурлескного жанра, свои последние обиды в форме последних распоряжений. Карл Орлеанский попытался развить эту тему в утонченности куртуазных аллегорий.

Во-первых, всю мою натуру,  
Чьих склонностей я не таю,  
Его Величеству Амуру  
Вручаю, чтоб в своем Раю  
Он душу приютил мою\*.

Пробовали свои силы в жанре завещания, правда с меньшим успехом, и другие поэты, например побывавший в плену у арманьяков осерский байи Жан Ренье. Его поэма в форме заве-

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

щания несколько затянута, но стихи в ней не лишены силы. Трудно сказать с определенностью, читал ее Вийон или нет: она была написана в 1433 году и, похоже, не получила широкого распространения.

«Завещание» Вийона представляет собой синтез. Оно восходит к жанру поэмы намеков, существовавшему в рамках традиции лирических аллегорий. А с другой стороны, оно было тесно связано и с традицией буржуазной реалистической литературы, причем этот реализм оказался многим обязан карикатуре на язык юридических формул. То, что Вийон какое-то время зарабатывал на жизнь в конторе нотариуса, похоже на правду. У него в памяти сохранилось множество юридических изречений, благодаря которым рассказ несет на себе печать подлинности. Тут-то и находится второй компонент синтеза: правдоподобная карикатура.

Вийон начинает свою поэму с места в карьер. Называется. Сообщает даты. Мотивирует свои действия, как если бы речь шла о настоящем документе. Дважды апеллирует к Святой Троице, с чего в соответствии с раз и навсегда заведенным порядком начинали нотариусы любое завещание. Дважды напоминает читателю, что поэма является завещанием: вымысел должны принимать всерьез.

Во имя Бога, как сказал я,  
И Матери его святейшей...\*

На протяжении всего «Завещания» возникают термины из словаря нотариусов и актуариусов: не слишком много, чтобы не вредить художественности, но вполне достаточно, чтобы расставить юридические акценты. То и дело повторяющиеся «затем...» отмеряют дары и волеизъявления. Поэт «дарует право» и «дарует власть». Он желает и распоряжается. Он учреждает. Получает. Вручает. «Декрет», который уже в «Малом завещании» «по пунктам излагает дело», обладал способностью превращать предложения в статьи. Этим пользовались священники, чтобы «получать сверх», что на официальном языке означало «собрать налоги».

Активно служил Вийону юридический язык и в тех случаях, когда ему нужно было поиграть словами с двойным смыслом. Табари, который во время допроса королевскими судьями, вероятно, раздул инцидент с «Чертовой тумбой», как оказалось, не просто скопировал «Роман о Чертовой тумбе», а «укрупнил» его, как поступал любой служащий нотариуса, переписывавший документ «крупным почерком» для клиента.

---

\* Пер. В. Никитина.

Отказывая по завещанию что-то друзьям и родным, сообщая состав душеприказчиков, отдавая распоряжения относительно похорон и места захоронения, Вийон не забыл о главном — о том, что облегчает путь в рай и что непременно фигурирует в каждом завещании: он простил обиды.

На юных и старых обид не держу...\*

Если форма и проистекающий из нее комизм идут от нотариальной конторы, то вдохновение идет от улицы. Вийон больше жил, чем учился, так что его мир — это улица. Поэтому основную массу материала он брал из окружавшей действительности: поэт лучше знал то, о чем говорят в тавернах, чем то, о чем читают в книгах. Да и, как мы уже видели, многим из того, что вроде бы приобретается в книгах, он тоже был обязан болтовне школяров.

Тогдашняя историческая наука находилась не в лучшем состоянии, чем наука клириков. Прислушиваясь к ропоту своего времени, Вийон запечатлевал его как мог, и порой случалось, что он смешивал обрывки информации, ошибался, иногда употреблял некоторые слова совершенно невпопад. Так, например, образ, открывающий «Добрый урок пропащим ребятам», хотя сам по себе и грациозен, не имеет ничего общего с содержанием баллады.

Не потеряйте, вы, красавцы,  
Со шляпы розу-раскрасавицу!\*\*

Проясняет ли это обращение каким-то образом то предупреждение, с которым поэт обращается здесь к шулерам, грабителям, убийцам? Заложена ли в нем мысль, что дурные дела приведут к гибели? Отнюдь. Эта фраза принадлежит к разряду тех выражений, которые люди передают из уст в уста, забыв первоначальный смысл. Это были последние слова, произнесенные Карлом VII на смертном одре в июле 1461 года, слова, столь часто повторявшиеся, что многие из тех, кто их произносил, даже и не знали, что они предназначались графу де Даммартену, одному из самых элегантных придворных: «Ах, граф де Даммартен, в моем лице вы теряете красивейшую розу с вашей шляпы!»

Фразу повторяли на всех углах, и вот, когда несколько недель спустя Вийон принялся за свое «Завещание», его перо почти автоматически запечатлело ее на бумаге. В другом случае, когда он перемешал в «Балладе о сеньорах былых времен» позавчерашних покойников со вчерашними, он сделал это со-

\* Пер. В. Никитина.

\*\* То же.

вершенно сознательно, в пику Эсташу Дешану. Времени, немолимо сокрушающему хрупкие человеческие судьбы, до хронологии нет никакого дела, и Вийон, как бы невзначай перемешавший поколения, позволил увидеть это воочию. Что сохранилось от былых знаменитостей? Из поглотившего их всех забвения всплывают лишь имена да ассоциирующаяся с ними известность. Причем известность нередко умещается в одном эпитете. Иногда в памяти сохраняются кое-какие черты, как в случае с несчастным Яковом II Шотландским, умершим в 1460 году, который запомнился, увь, всего лишь большим красным пятном на лице. А Хуана II Кастильского забвение уже успело поглотить полностью: поэт не удержал в памяти даже его имени.

Папа Калист III, Альфонс I Арагонский, герцог Карл I Бурбонский и герцог Артур Бретонский — он же Ришмон, — равно как и король Кипра Иоанн III Люзиньянский, умерли незадолго до того. Однако Вийон присовокупил их имена к именам только что скончавшихся Карла VII и Хуана II Кастильского, а также славных покойников прошлого вроде Дю Геклена и полумифического героя Шарлеманя. Эсташ Дешан ограничивался древними:

А где теперь Давид и Соломон,  
Мафусаил, Навин и Маккавеи...\*

А Вийон совместил мифическое и прожитое в одном и том же ощущении ирреальности времени и ирреальности славы. Для современников называвшиеся им имена были еще исполнены смысла. Но рефрен уже отправлял их туда же, в вечное безмолвие.

Скажите, Третий где Калист,  
Кто папой был провозглашен,  
Хотя был на руку нечист?  
Где герцог молодой Бурбон,  
Альфонс, чье царство — Арагон,  
Артур, чья родина — Бретань,  
И добрый Карл Седьмой, где он?  
Но где наш славный Шарлемань?  
А где Шотландец, сей папист,  
Чей лик был слева воспален  
И розов, точно аметист?  
Где тот, кому испанский трон  
Принадлежал? Как звался он,  
Не знаю... Где собирают дань  
Все властелины без корон?  
Но где наш славный Шарлемань?\*\*\*

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон. Лирика. М., 1981. С. 49. Пер. Ф. Мендельсона.

## СВИДЕТЕЛЬ

Не будем же принимать Вийона за надежного свидетеля своей эпохи, за летописца случавшихся тогда событий, так как узнавал он о них лишь благодаря слухам. Ему было известно, что прево Робер д'Эстувиль познакомился со своей будущей женой при дворе короля Рене, но в момент написания и включения предназначавшейся для его жены баллады в «Завешание» еще не было известно, что тот впал в немилость. Шутит ли он или действительно не знал, как звали короля Кастилии? Вийон пожертвовал этим именем ради рифмы или же и вправду не смог его вспомнить?

Есть риск увидеть политическую сатиру в лукавом намеке на архиепископа Буржского, в стреле, выпущенной поэтом после того, как он завещал следователю церковного суда Жану Лорану так называемый «буж», то есть сделанную из грубой ткани подкладку от сумки, нечто вроде мешковины, дабы тот утирал им свою физиономию потомственного пьяницы. Если бы Лоран был архиепископом Буржа, то у него был бы шелковый платок! Напомним, что архиепископом Буржским в ту пору был Жан Кёр...

Десять лет спустя после разорения и опалы, постигшей бывшего королевского казначея, его сын продолжал по-прежнему жить на широкую ногу в своем архиепископском дворце. Вполне возможно, что большое состояние, уцелевшее после одного из самых крупных скандалов того времени, порождало всевозможные слухи и что Жана Кёра считали нуворишем, вышедшим сухим из воды. Однако колкость в адрес архиепископа не выглядит здесь логически связанной с фигурой пьяницы, в то время как сетования звучат вполне естественно: бедняк Жан Лоран легче переносил бы несчастья, будь он богат. Когда плачут в шелка, плачут меньше...

А следователя Лорана —  
Его глаза соленым лужам  
Под стать, ведь зачат был он спьяну  
Приверженным к бутылке мужем, —  
Я осчастливорю старым «бужем»,  
Чтоб утирать глазные щели;  
Будь он архиепископ в Бурже,  
Он взял бы шелк для этой цели\*.

У рифм есть своя оборотная сторона: изначально Вийон все не собирался включать в свое завешание архиепископа. Архиепископ возник из-за Буржа. И на этот раз тоже Вийон по-

\* Пер. Ю. Стефанова. 1 191126



читал Дешана и позаимствовал у него несколько слов и образов. У Эсташа Дешана упоминалась, в частности, шелковая ткань, но в иной связи. Фигурировала у него и бросавшаяся в глаза нищета, отличавшая старого священника с минимальным доходом от священника-декана, которому не приходится жаловаться на судьбу. И старый «буж» тоже был, но не для того, чтобы вытирать им слезы, а чтобы прикрыть спину лошади. И уже там Бурж появлялся лишь для того, чтобы составить рифму к «бужу».

Как-то священник мне встретился старый,  
На лошаденке он ехал чубарой,  
Вместо попоны укутанной «бужем»,  
Требник висел у него на луке.  
Все б мне понравилось в том старике,  
Если б не глазки, соленые лужи,  
Если б не веки, красней, чем шелка,  
Если б не в сизых прожилках щека...  
К полудню мы уже были под Буржем\*.

Сцену с бедным Жаном Лораном Вийон выдумал от начала до конца. А под руку подвернулся архиепископ. И то сказать, чтобы зарифмовать слово «буж», Дешану не оставалось ничего иного, как упомянуть город Бурж. Ни Жак Кёр, ни его сын тут ни при чем — Эсташ Дешан умер, когда Жаку Кёру было всего десять лет...

Займствуя слова и образы, Вийон иногда наталкивался на новую мысль и хватался за нее. Бурж возник ради рифмы, но, упоминая о нем, почему бы не поддеть слишком богатого архиепископа.

Хотя Вийон и припомнил славную лотарингскую Жанну, «что в Руане сожгли англичане», которую только что с помпой реабилитировали, политическим наблюдателем он был никудышным. Зато многое подмечал в обыденной жизни. Читал не много, но много повидал. Ему знакомы страдания тех, кто останавливался перед лотком булочника:

Хлеб видят они лишь в окне.

Знакомы ему были и нетопленые комнаты, где даже друзей нечем угостить. А себя он определил так:

Голее камня-голыша,  
Не накопил он ни гроша...\*\*

Вийон не раз видел бездомных перекаати-поле, скитавшихся, подобно ему самому, по дорогам Франции и оставлявших на колючих кустах ключья своей одежды.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 121. Пер. Ф. Мендельсона.

Этот ленивец, влача голодное существование, перепробовал разные ремесла, и у него в памяти запечатлелся тяжкий труд людей без профессии. Если уж каменщик возвращался с работы разбитым от усталости, насколько тяжелее приходилось его помощникам, подавальщикам, чернорабочим, не владевшим мастерством и годным лишь на то, чтобы носить наверх камни и кирпичи. Есть у Вийона один почти неприметный намек, который, однако, выдает близкое знакомство с предметом:

Вот кладчик — невелик сеньор,  
А без подручного — ни шагу\*.

Вийону были хорошо знакомы мелкие драмы повседневной жизни. Такие, например, как конфискация сержантами Шатле слишком красивых поясов, которые, вопреки предписаниям, носили проститутки, желавшие привлечь к себе внимание. Конфискацию поясов производили также и у осужденных, и это дало поэту повод посмеяться над одним судьей, чьему имени он не без задней мысли придал форму женского рода. Судья Массе из Орлеана заполучил пояс осужденного Вийона; если он будет его носить, предупреждает поэт, на него наложат штраф, как на непотребную женщину.

Для судей старый их сарай  
Я после смерти перестрою,  
Чтоб был не суд, а просто рай,  
И всем по креслу дам с дырою  
Из уваженья к геморрою,  
А чтоб покрыть расходы все,  
Пусть будет оштрафован втрое  
Шлюшонка-лейтенант Массе!\*\*

Наблюдательность Вийона, завсегдатая улицы, проявилась и в том, как он описывает внешние признаки блеска и падения девиц легкого поведения. Вот Катрин-кошелечница, отгоняющая от себя мужчин. Вот Гийометта-ткачиха, отвергающая ухаживания своего хозяина. А вот пригожая Колбасница, предпочитающая танцы работе. Приходит день, когда они оказываются никому не нужными.

Придется рано закрывать окно.

Одна из них становится служанкой у кюре. И все они встречаются снова, «на корточки усевшись полукругом». И, сидя на пороге, без умолку болтают.

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 87. Пер. Ф. Мендельсона.

## ПОСЛОВИЦЫ

Единственным уроком, который школяр Вийон действительно хорошо усвоил, был урок, выносимый из совокупной мудрости наций. Пословицы и поговорки с их стремительными уравниваниями и упрощенными парадоксами — вот что легло в основу его практической морали и его мировосприятия. Вряд ли кто сумел бы точно сказать, что он взял от книг, а что от улицы. Вся литература, состоявшая из моралите, соти, мистерий, романов, фаблю, черпала из старых запасов поучительных изречений и естественной логики.

«Баллада пословиц» — всего лишь игра. Стилистическое упражнение сводилось к тому, чтобы многократно варьировать выражения, начинавшиеся с одного и того же слова. К этому добавлялось упражнение просодическое, состоявшее в том, чтобы найти тридцать четыре восьмисложные пословицы либо довести до восьми слогов изначально более длинные. Есть ли за этой игрой какая-нибудь философия? Не в том ли здесь философия, что автор показывает суетность схоластических дебатов? Если баллада и подводит к какому-то выводу, то он гласит: любую мысль можно выразить в восьми слогах, а за народным опытом стоит сила большая, чем за рассуждениями педантов.

Вещь дорога, пока мила;  
Куплет хорош, пока поется;  
Бутыль нужна, пока цела;  
Осада до тех пор ведется,  
Покуда крепость не сдается,  
Теснят красотку до того,  
Пока на страсть не отзовется.  
Гусей коптят на Рождество\*.

Разочарованный поэт выдает себя своим выбором. Последний куплет выглядит как констатация собственных несчастий. У забавника пропало желание смеяться: праздник оказался не для него. Не помогли ни искренность, ни великодушие. Обещания оказались пустыми словами.

В «Большом завещании» раз двадцать в разной форме выражена мысль: «Как каждый убеждается в сердцах: на удовольствие — тысяча страданий». Ну а для любви самым непоправи-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 131—132. Пер. Ф. Мендельсона.  
*Дословный перевод:*

Кто любит собаку, тот ее кормит.  
Кому нравится песня, тот ее заучивает.  
Кто долго яблоки хранит, получает гниль.  
Кто добивается места, тот его получает.  
Кто медлит, тот терпит неудачу.  
Кто торопится, у того дело не спорится.  
Кто много набирает, у того из рук вываливается.  
Кто зовет Рождество, к тому оно приходит.

мым несчастьем является старость: «Ну что за радость — старую увидеть обезьяну».

Приходит Вийону на помощь народная мудрость и тогда, когда ему нужно оправдать свое дурное поведение: когда ты голоден, не до морали.

С пути сбивает нас нужда,  
Волков из леса гонит голод\*.

Однако мораль людская оказывается спасенной благодаря другим поговоркам, и поэт в конце баллады, названной Клеманом Маро «Добрый уроком», предупреждает «пропащих ребят», что:

Дурная прибыль — проку нет.

Религия Вийона тоже уместилась всего в одной поговорке. Самая что ни на есть простейшая вера сына бедной прихожанки заключалась в искренней любви к Богу, и в ней не было ничего от умствований магистров богословия из Сорбонны; именно эта вера удерживала поэта в лоне церкви, что бы он о ней ни думал. Однако слишком уж много любви к Богу требовалось в те смутные и жестокие времена. На заднем плане этой стихотворной строчки, одной из наиболее богатых смыслом во всей «Балладе пословиц», мы угадываем контуры и Великой Схизмы, и соборов, и папского фиска, вспоминаем об индульгенциях, алчности прелатов, невежестве священников. Приверженность церкви у христиан сохранялась лишь благодаря вере.

Дворняга сытая не зла:  
Люб гость, покуда не упьется  
И все не сдернет со стола;  
Покуда ветер — ива гнется;  
Покуда веришь — Бог печется  
О благе чада своего;  
Последний хорошо смеется...  
Гусей коптят на Рождество\*\*.

То есть Вийон говорит, что рано или поздно все заканчивается неизменно плохо. Раз дует ветер, то надует зиму. Побеждает всегда наихудшее. Однако пессимизм этот сглаживается присутствием образов повседневности, поэт не доводит свою мысль до конца, и метафизическое уступает место физическо-

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 132. Пер. Ф. Мендельсона.

*Дословный перевод:*

Кто шутит слишком много, уже не смешит.

Тратишь столько, что не остается даже рубашки.

Показываешь свою щедрость, а у самого не остается ни гроша.

Слово «держи» — это все равно что полученная вещь.

Так сильно Бога любишь, что принимаешь и церковь.

Раздаешь столько, что приходится занимать.

Ветер дует так сильно, что становится зябко.

Кто зовет Рождество, к тому оно приходит.

му: морозу. От ветра «становится зябко». И мы оказываемся на углу улицы Сен-Жак.

Один из даров «Завещания» выражает критическое суждение Вийона не об обществе, а о Боге. Это не значит, что поколебалась его вера, но он оставляет за собой право посетовать на свой удел. Без излишней горечи, но в то же время и без подбострастия он воспроизводит мечтания изголодавшегося человека, которые свидетельствуют об отсутствии справедливости в Божьем мире. Пусть Бог направит на путь благонравия тех, кому Он дал все. У бедняков нет для этого возможностей... Так пусть же этим беднякам Он даст терпение.

Красочное видение праздничного стола не должно скрывать от нас суровой моральной теологии поэта. Богу нечего с него спросить.

Ты знатным дал, Господь, немало:  
Живут в достатке и в тиши,  
Им жаловаться не пристало —  
Все есть, живи, да не греши!  
У бедных же — одни шиши.  
О Господи, полегче с нами!  
Над теми строгий суд верши,  
Кого ты наделил харчами.  
Такие жрут куда как сладко!  
Пулярки, утки, каплуны,  
Фазаны, рыба, яйца всмятку,  
Вкрутую, пироги, блины...\*

Но вот в последний момент появляется надежда. Она — в раскаянии «доброго сумасброда», выраженном в конце «Баллады пословиц». Он так долго потешался. И так низко пал. А если бы взялся за ум... Если бы вернулся... Он истомился, исстрадался.

Выбор рефрена отнюдь не случаен, и вовсе не звучность поговорки привлекла внимание поэта. В этой пословице, выбранной из сотен других, вся надежда Вийона, и выражает она только одну мысль: никогда не надо отчаиваться. Пребывая в беднах своего несчастья, бедный школяр находил силы надеяться. У него еще будет Рождество. Не то Рождество, которое празднуют 25 декабря и которое имеет в виду поговорка, а Рождество собственной жизни, новое рождение.

Принц, дурень дурнем остается,  
Пока не вразумят его  
Иль сам за ум он не возьмется.  
Гусей коптят на Рождество\*\*.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 43. Пер. Ф. Менельсона.

\*\* Там же.

*Дословный перевод:*

Принц, живет безумец, живет и вдруг образумливается.

Ходит он, ходит и в конце концов возвращается.

Так измучился он, что одумался.

Кто зовет Рождество, к тому оно приходит.

### ДЕВИЦЫ, СЛУШАЙТЕ...

#### БРАК И КАРЬЕРА

Побочная любовь при законном браке — отнюдь не то же самое, что брак по любви. Социальное положение, подкрепленное женитьбой, плотские наслаждения, духовные склонности в различных проявлениях — этот комплекс мотивировок образовывал разные комбинации в зависимости от обстоятельств, темпераментов и личных планов.

Выбор, сделанный юным магистром словесных наук, был, скорее всего, продиктован не тщательным расчетом, а простым импульсом, если, конечно, дело обошлось без совета, на которые бывают щедры старшие. Доля рационализма, расчета, очевидно, была в те времена более велика — и более оправданна — на высших ступенях социальной иерархии. Получивший степень сын адвоката или племянник советника шагал по хорошо освещенной дороге, и его шансы заполучить ту или иную должность оправдывали серьезное отношение к проблеме выбора пути. Он не слишком рисковал вернуться из своего путешествия несолоно хлебавши.

Ну а Франсуа де Монкорбье шел наугад. Осознавал ли он, насколько важную роль может сыграть выбор в его дальнейшей судьбе?

Среди возможных вариантов существовали прежде всего мирские профессии. Однако они таили в себе больше риска, чем клерикальные. Не имея средств к существованию, мирянин устраивался с большим трудом, чем клирик, а вступление в брак означало отказ от всех реальных преимуществ школяра. Следовательно, исходящее из жизненного опыта женоненавистничество клирика возникало не на пустом месте: молодой магистр словесных наук, размышлявший о своем будущем ремесле, должен был очень быстро решить, сохранять ему тонзуру или отказаться от нее.

Дело в том, что, становясь клириком, дабы, например, получить степень магистра, человек еще не делал необратимого

выбора. Он мог затем предпочесть какое-либо иное положение. Изменить ситуацию оказывалось невозможным на более высоких уровнях иерархии: отказавшийся от своего статуса дьякон или священник становился настоящим изгоем христианского общества. Ну а молодой магистр мог беспрепятственно войти в мирскую жизнь, удачно женившись. Но при этом ему было над чем задуматься, поскольку брак-то ведь тоже был нерасторжимым.

Одно дело духовный чин, а другое — бенефиций. Духовный чин являлся знаком приобщения к клерикальному сословию, а бенефиций в теории означал обязанности, а на практике — доход. Некоторые были канониками, не являясь священниками, другие — священниками, не будучи канониками. Клирик Арно де Серволь, вошедший в историю как «Протоиерей», чаще работал секирой, чем кропильницей, но при этом, даже имея сан протоиерея, никогда не был священником. Подобно тысячам клириков, которые, прожив славно ли, худо ли свою жизнь, никогда ни непосредственно, ни издали не были причастны к церковным службам, этот протоиерей имел лишь тонзуру, но не доходы.

Соответственно, находившийся на распутье школяр должен был подсчитать свои шансы получить то или иное место в культовой и социальной иерархии: на уровне духовных чинов и доходных бенефициев.

Домогаться чинов можно было, уже обеспечив себя бенефициями. А не имея бенефициев, всегда можно было отказаться от еще не полученного сана священника. Выбор клирика в этом случае не отличался сложностью: он старался отодвинуть момент окончательного принятия решения. При этом парижский школяр так же избегал женщин, как какой-нибудь подмастерье или приказчик, откладывая свадьбу из-за того, что еще не накопил на нее денег. Подобно всем остальным людям, ему случалось влюбляться. Но только подумывать о браке означало потерять надежду на получение бенефициев и навсегда отказаться от карьеры.

Естественно, мужчинам и женщинам XV века была введена страсть, приводившая к алтарю. Однако в большинстве случаев институт брака походил скорее на деловое мероприятие, чем на триумф любви. Чувство не посягало на интерес. В лучшем случае оно подкрепляло его.

Браки принцев скрепляли союзы и мирные договоры. Благодаря им получали отсрочку одни конфликты, но порой зарождались другие. Они обеспечивали счастливые престолонаследия. Например, государство, которым с 1419 года правил «великий герцог Запада» Филипп Добрый, было все соткано из

браков. Для этого потребовалось, чтобы в XIII веке граф Фландрский женился на графине Неверской, в XVI веке граф Бургундский женился на графине Маго д'Артуа и их внучка вышла замуж за герцога Бургундского, наследник которого Филипп Смелый женился в 1369 году на единственной наследнице фламандского престола, обладавшей к тому же правами на Брабант и Лимбург, чем воспользовался в 1430 году их внук, Филипп Добрый...

Тогда же одна из сестер Филиппа Доброго, первым браком бывшая замужем за старшим братом Карла VII, сочеталась вторым браком с коннетаблем де Ришмоном, будущим герцогом Бретани. Вторая его сестра вышла замуж за Карла Бурбонского, а третья, ставшая герцогиней Бедфордской, вплоть до своей смерти в 1435 году оставалась самой настоящей королевой Парижа.

Отвлечемся, однако, от принцев и их матримониальных союзов. В Париже буржуа было больше, чем принцев, а среди буржуа больше было людей женатых, нежели холостых, причем для них брак тоже являлся делом, которое обсуждалось и оформлялось как контракт. Кстати, именно этим определялся парадоксальный характер обручения: хотя оно и выглядело как простое согласие на бракосочетание, но, по существу, оказывалось столь же нерасторжимым, как и само бракосочетание, потому что представляло собой соответствующим образом клятвенно закрепленный контракт. Стало быть, брак вписывался в стратегию буржуазных семейств в такой же мере, как и в дипломатию принцев. В 1386 году Жан Ле Мерсье, обер-камергер Карла VI и один из королевских казначеев в недолговечном правительстве так называемых «Мармузетов», практически сделал карьеру молодому адвокату Жану Жувенелю, устроив его брак с дочерью советника Парламента Гийома де Витри. Племянница того же Гийома де Витри вышла замуж за Жана Люйе, одного из самых богатых парижских менял, чье имя не раз встречалось среди столичных старшин. Их дочь вышла замуж за председателя Парламента Адана Кузино. А в другой среде хорошо устроил свои дела будущий канцлер Людовика XI Пьер Дориоль, женившись на вдове Гийома де Вари, компаньона Жака Кёра.

Ну а что касается судейского сословия, там из брака сделали самое верное средство приобретения должностей. Ни распространять свое влияние, ни утверждать свою власть не представлялось возможным без создаваемой на протяжении нескольких поколений круговой поруки, звеньями которой служили удачные браки. Едва попав в число власть имущих, ново-явленный чиновник торопился закрепить там с помощью ма-



тримониальных уз. Из семидесяти одного человека, заседавшего в Парламенте в 1454 году, сорок два чувствовали там себя как дома и были связаны друг с другом двумястами семьюдесятью восемью более или менее близкими родственными узам.

Карьера и брак взаимно дополняли друг друга: брачный союз открывал дверь перед одним и закрывал ее перед другим. Это хорошо видно на примере Анри де Марля, который, попав в Парламент во времена Карла VI в качестве председателя, поспешил закрепить себя в хорошо известной ему как адвокату среде: выдал замуж своих дочерей. Правда, успех его из-за сопротивления уже укрепившихся на местах семейств был тогда еще неполным. Однако он заполучил в свои руки средства утверждения своего влияния. И пристроил в Судейскую палату брата, зятя и, наконец, сыновей.

Простой клирик Франсуа Вийон прекрасно знал про солидарность такого рода, всегда обращенную против него и стоявшую преградой на его пути при поиске места. Он знал людей и имел представление о барьерах. Иронически упомянутый в «Малом завещании» в качестве примера неимущего клирика магистр Гийом Котен в 1417 году занял место в Парламенте рядом со своим братом Андре, а четыре года спустя благодаря своей популярности был избран адвокатом короля. Со временем он помог проникнуть в Судейскую палату также своим племяннику, зятю и даже зятю зятя. Поэтому-то и сошел в глазах понимавшего, как делаются карьеры, поэта за «бедного клирика, говорящего по-латыни».

#### АМБРУАЗА ДЕ ЛОРЕ

Если брак являлся инструментом семейной политики, то супружеское счастье могло рождаться и укрепляться, несмотря на лежавшие в его основе социальные условности. Вийон, знавший об этом, вспомнил о любимой жене парижского прево Робера д'Эстувилля, дочери одного из предшественников Эстувилля в Шатле Амбруаза де Лоре. Дочку тоже звали Амбруазой, и всему Парижу было известно, что она соткана из достоинств, необходимых для того, чтобы стать идеальной супругой.

Во время войны прево Лоре отличился как храбрый и верный полководец, чьи старания немало помогли Карлу VII одержать победу. Парижем он управлял твердой рукой, благодаря чему снискал популярность среди уставших от войны и жаждавших порядка буржуа. Правда, в его адрес раздавалась критика из-за многочисленных любовниц, но серьезного обвинения предъявить никто не осмеливался.

И вот весной 1446 года король Рене объявил, что устроит при своем дворе прекраснейшее из всех когда-либо виденных состязаний на копьях. Хотя Рене Анжуйский и потерял в Неаполе все земли, которые принадлежали его короне, он по-прежнему сохранял свои позиции одного из крупнейших властителей Запада.

По официальному титулу на издаваемых им указах и по надписи на изготовленных на его монетном дворе деньгах он значился королем Иерусалима и Сицилии, хотя реально являлся герцогом Анжу, Бара, Лотарингии и графом Прованса. Он славился своим искусством организовывать ристалища, а также талантами живописца, поэта и музыканта.

Судьба юной Амбруазы решилась в Сомюре, где король Сицилии проводил турнир, длившийся сорок дней. Отец привез ее туда. И там ее заметили.

Турнир получился превосходный. С утра до вечера рыцари, которых турецкое перемирие обрекло на бездействие — война за окончательное возвращение территорий возобновилась лишь в 1449 году, — состязались в подвигах, разыгрывая что-то вроде рыцарского романа. А ставкой были сердца дам, укрывавшихся от ветра на выстеленных драгоценными коврами трибунах. Устроители обозначили даже перекресток, который ни одной из них не позволялось пересекать, прежде чем кто-то из «чемпионов» не поломает ради нее пару копий. Можно было подумать, что вдруг вернулся XII век. Веселились вовсю. Некоторые вошли в азарт.

По вечерам, закончив турнир, шли пировать в сомюрский замок, причем король Рене стремился поразить гостей великолепием. И там, сменяя игры доблести, вступали в свои права игры любви, искрившиеся остроумием и длившиеся до поздней ночи.

Робер д'Эстувиль отличался и храбростью, и красноречием. И ему удалось покорить сердце прекрасной Амбруазы де Лоре. Восседавая на лошади, покрытой красно-голубой — цвета его герба — попоной, он ломал копья. На его шлем — нашлемник был выполнен в виде головы мавра, украшенной двухцветным покровом, — обратили внимание. Ради прекрасных глаз Амбруазы он бросил вызов министру двора Анжу господину Луи де Бово. И победил. А затем попросил руки дамы сердца.

Прошло десять лет. О Робере д'Эстувиле и его жене всегда говорили как об идеальной супружеской паре. Амбруаза слыла безупречной хозяйкой дома. Цвет парижского общества почитал за счастье бывать в ее особняке на улице Жуи. Там читались стихи. Был ли там принят Вийон? Возможно, супруга превосто просто оказала какую-нибудь помощь бедному школяру, который сочинял стихи.

Затем наступила опала. По восшествии на престол Людовика XI Робера д'Эстувилля бросили в Бастилию; четыре года спустя тот же самый король восстановил его в должности прево. Однако друзей за время тяжких испытаний поубавилось. Платил ли Вийон, сочиняя балладу, какой-то долг? Включив в свое «Завешание» балладу, которую влюбленный муж мог преподнести своей верной жене, он одарил сразу двоих.

Подарок этот очень личный, потому что имя молодой женщины прочитывается в начальных буквах четырнадцати первых строчек, в акrostихе, который тогда любили все, а Вийон особенно. Баллада отвечала всем требованиям моды того времени: сама она изобилует аллегориями и символами, а предшествующий ей куплет, где содержится посвящение опальному прево, богат лестными аллюзиями. Вийон имел представление о том круге людей, он хорошо знал, что больше всего нравится участвовавшим в турнирах любителям деланной и обветшалой «галантности».

Чувствуется, что поэт заставлял себя писать в несвойственной ему манере. И баллада, и акrostих создавались как своего рода упражнение. Однако в предшествующих балладе строчках отчетливо различим голос сердца. Есть даже какая-то дружеская ирония в сравнении Робера д'Эстувилля с Гектором. Мол, лучше уж пусть он прочтет своей жене стихи Вийона; поэт считает, что прево более искусен в турнирных делах, нежели в речах.

Прево парижскому, который  
Жену копьем себе добыл,  
Не тратя слов на разговоры  
(Не то что Гектор иль Троиц), —  
Он короля Рене сразил  
И первым стал в турнирном круте, —  
Сию балладу я сложил  
В честь молодой его супруги\*.

Герой «Романа о Троице», который пересказал сам Луи де Бово, взяв за основу «Филострато» Боккаччо, был до такой степени застенчив, что не осмеливался сообщить даме своей мечты о снедавшей его страсти. И ему пришлось привлекать к себе ее внимание с помощью ратных подвигов. Впору предположить, что он же, Бово, сочинил и эту похвалу супружеской жизни, которую Вийон превратил в двойной подарок чете д'Эстувилей.

Алой окрашено небо зарей,  
Мечется сокол в предчувствии боя,  
Брошенный в небо, мчится стрелой,

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 94. Пер. Ф. Мендельсона.

Ранит голубку и мнет под собою.  
Участь нам эту всевластной рукою  
Амур уготовил. Ваша звезда,  
Знайте, уже не затмится другою,  
А поэтому с вами я буду всегда.

Душу мою не отдам я другой,  
Если уйдете — расстанусь с душою.  
Лавры сплетутся венком надо мной,  
Оливы излечат страданье любое;  
Разум твердит, что с вами одною  
Это, возможно, будет, когда  
Станете вы моей верной женою,  
А поэтому с вами я буду всегда\*.

Все смешалось в этом старательно выполненном упражнении: метафоры любовной риторики и символы, позаимствованные в Священном Писании. Амбруазе де Лоре достаточно было прочесть стихотворение вертикально, чтобы не только обнаружить собственное имя в виде посвящения, но и почувствовать игру слов, где по созвучию символом фамилии Лоре выступает лавр, соединяющийся с оливковым деревом, которое в Библии олицетворяет верность избранного народа своему союзу с Всевышним.

Поведение мелкой буржуазии, занимавшейся торговлей и ремеслом, в вопросах брака мало чем отличалось от поведения высокопоставленных чиновников. Для галантерейщика и бакалейщика в такой же мере, как и для судьи из Парламента или должностного лица из Шатле, брак являлся средством уточнения, укрепления, расширения, а иногда и некоторого усиления обычной солидарности. Оригинальность профессиональных и соседских взаимоотношений состояла здесь в том, что границами им служили не турниры, а либо ремесло, либо перекресток. При таком положении вещей, когда рамки, ограничивавшие сферу обычного общения и профессиональных контактов, нередко совпадали, любовь оказывалась в более выгодной позиции, чем в аристократической и судейской среде, где расчеты производились на расстоянии.

Хотя, естественно, и здесь претенденты охотились за приданным, а вдовы злоупотребляли притягательной силой оставленного мужем наследства. Поэтому порой препирательства в суде вели родственнички с весьма усложненной генеалогией: например, некто, женившийся пять раз и четырежды промотавший состояния своих жен, судился с братом пятой жены, которая в свою очередь выходила замуж трижды!

А что уж говорить о любви подмастерья, вдруг получившего возможность жениться на вдове своего хозяина! В основе подоб-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 95. Пер. Ф. Мендельсона.

ных союзов редко лежала страсть, хотя иногда была нежность. Частенько итогом их являлись неблагодарность и обиды. Главным в такого рода браках была уверенность, проистекавшая из обладания орудиями труда, доступа к профессиональным учреждениям, а также права занимать хорошую комнату на втором этаже. И еще люди избавлялись таким образом от призрака одиночества. Выгоду в этом находили и мужчина, и женщина.

Некоторые браки заключались и по расчету, и по любви одновременно. Так случилось с Томассой Ла Моэт, молодой вдовой седельного мастера, которая вдруг стала хозяйкой превосходно оборудованной мастерской, не обладая при этом ни силой, ни искусством набивания изготовлявшихся из твердой кожи седел. Испытывая большую потребность в умелом подмастерье, Томасса без труда его нашла: им оказался молодой мастеровой по имени Колен Менар. Она наняла его, пообещав платить восемь су в неделю и выделив ему соломенный тюфяк. Однако зима в тот год случилась суровая, а сердце у дамы было нежное. И через пять дней после найма на работу Колен перенесся с кушетки в ее постель.

«Так как поведение у него было приличное и работу делал он хорошо, позволила она ему спать на кушетке в своей комнате, поскольку время было холодное. И тогда увидел он, что вдова она еще крепкая.

А после кушетки она позволила ему спать в большой кровати в продолжение четырех месяцев.

И был он таким хорошим работником, что каждый день набивал от четырех до пяти седел. А она была очень довольна, что у нее такой удачный работник, и заговорила с ним о том, чтобы пожениться с ней, и говорила она про это со своими родителями. Потом они сочетались браком, и были при этом свидетели».

Стоит ли напоминать, что в те времена еще не регистрировались ни рождения, ни браки? Специалисты по церковному праву требовали, чтобы свадьбы были публичными, но на практике все обстояло иначе. Спустя несколько лет доказать наличие либо отсутствие брака оказывалось задачей непростой. Соответственно, двоеженство и двоемужество были явлением не столь уж редким. Распространенная поговорка гласила: «Если вместе спать, пить и есть, то, кажется, женитьбой это можно счесть». Независимо от наличия либо отсутствия детей сожителство могло приниматься за брак.

Проблема усложнялась, когда один из супругов пытался оставить другого. Так случилось с мастером седельного дела Ко-

леном Менаром. Весна поубавила у него усердия в труде, которое раньше стимулировалось безработицей и холодом.

«Наступил Великий пост. Не то время было, когда он имел привычку набивать шесть седел, и он два оставил, а стал набивать четыре.

Тогда она сказала ему, что он больной и что работает не так, как раньше. И нашла удобные слова, чтобы с ним распрощаться.

И взяла она в дом человека по имени Бланшфор, у которого было большое желание взять ее в жены».

Женитьба и развод из-за недостаточного усердия в работе. Из-за двух седел в день... Тогда Колен Менар заявил, что не уйдет, потому что они женаты. Томасса это отрицала. Прево оказался с ней в сговоре и под каким-то предлогом отправил беднягу посидеть пятнадцать дней в Шатле. А когда Колен вышел из тюрьмы, место оказалось уже занято. Причем все стали клясться и божиться, что ему все приснилось, будто бы никто ничего не знал про его женитьбу, и что к тому же он прихвастнул: больше двух-трех седел в день ему ни за что не набить. В дело вмешались эксперты, заявившие, что набить шесть седел в день — задача невыполнимая.

И тут Менар, чересчур возомнивший о себе, потерял вообще все, ибо стали разбирать его дело еще с одной вдовой по имени Симона Шляпница, на которой он пообещал жениться накануне. Во всяком случае, так она заявила в Парламенте. Как бы то ни было, шляпница седельщицы не стоила. Кое-что на этом деле заработали адвокаты. А Томасса Ла Моэт взяла себе лучшего из двух седельных мастеров: он и мужем оказался весьма подходящим.

Для многих буржуа, принадлежавших к этому маленькому миру лавок и мастерских, брак и комфорт были понятиями синонимичными. Нехорошо, когда брак есть, а достатка нет, но и при достатке комфорт без брака невозможен. Чтобы холостяку организовать себе уютное существование или же чтобы вдова могла вести беззаботную жизнь, только отдавая распоряжения сыновьям и зятям, нужно было иметь состояние покрупнее. В большинстве же случаев вдовство означало возврат к одиночеству, печальному уделу, усугублявшемуся с возрастом. «Женщина без мужа — это такая малость», — выразился, выступая в Парламенте, адвокат одной красивой вдовы, слишком скоро после смерти мужа снова вышедшей замуж.

Так что для вступления в брак одного желания было мало. Отцы зачастую безуспешно изыскивали средства на приданое

дочерям. А муж должен был решить сложную проблему с жильем. Подмастерье, живущий у хозяина, равно как и служанка, не имеющая никакой личной жизни, не так-то просто решались отказаться от того, чем располагали, дабы создать семью, ибо это означало необходимость найти жилье, а потом и прокормить детей. Комната в городе или проживание на постоялом дворе могли поглотить весь заработок ремесленника. А появится ребенок — вот тебе и нищета.

К тому же расходы начинались со дня свадьбы. Жених либо тесть — в зависимости от обстоятельств и возраста — не могли рассчитывать на хорошее к ним отношение, если угощение оказывалось скудным. Свадебная трапеза до такой степени походила на застолье для всего квартала, что в смутные времена правительство регента Бедфорда придумало такое правило: жених кормил еще и агента, призванного следить, чтобы свадьба не превратилась в заговор. Выдававший замуж дочь аристократ налагал на вассалов дополнительную пошлину, как правило санкционированную законодательством. Ну а буржуа, не имевшему подобной возможности, приходилось тратить на это дело свои сбережения, а то и изымать часть капитала. Тот же, у кого ничего не было, от свадьбы отказывался.

Либо на долгие годы влезал в долги. Однако кто захочет одалживать тому, кто не имеет ничего, кроме своих рук? Только хозяин, только он один мог согласиться принять в качестве залога то, что отвергал даже самый стоворчивый ростовщик: будущий поденный труд. Однако, становясь должником, работник или подмастерье уже больше не мог торговаться относительно стоимости своей рабочей силы. Работник, залезший в долги, навеки оставался работником малооплачиваемым. И он об этом знал. Поэтому, прежде чем идти к алтарю, ему было о чем подумать.

Что и должен был бы сделать тот подмастерье-шорник, который приехал в 1460-е годы из Турне в Париж в надежде увеличить свой заработок. В течение двух лет он жил с одной девушкой-землячкой. И хотел на ней жениться, тем более что она со своей стороны тоже его поторапливала. Новый парижский хозяин, человек добрый, не заставил себя просить и одолжил денег и на свадьбу, и на жилье. Молодая чета собиралась выплатить долг из заработка. Точнее, надеялась это сделать, потому что аванс разошелся очень быстро. А работник остался без единого су и стеснялся попросить причитавшийся ему заработок.

Драматическое развитие событий ускорила одна вроде бы совсем второстепенная деталь: молодой жене очень не понравилась двухмесячная борода мужа. А визит к парижскому цирюль-

нику был недоступной роскошью. Вот бородач и надумал выйти из положения, украв в мастерской кусок кожи, который затем попытался продать. Ну а от таких попыток до тюрьмы путь очень близок. Став вором только из-за того, чтобы разок побриться, несчастный парень на свободу все-таки вышел, но место потерял.

При таких расходах можно понять сдержанность большинства столичных жителей по отношению к браку. В демографическом балансе Парижа в среде состоятельной буржуазии более или менее уравнивались рождения со смертями. Ну а бедный люд по рождениям отставал. Гораздо чаще работавшие в мастерских подмастерья были не уроженцами Парижа, а либо приезжими из другой провинции, либо жителями деревень Боса или Иль-де-Франса.

## ВЫБОР КЛИРИКА

У клирика дела обстояли нисколько не лучше, чем у наемного работника, а из всех клириков школяр находился в самом невыгодном положении. Начать с того, что он не имел представления о том, какое будущее готовит ему выбор профессии ученого, юриста, священника или врача. Подмастерье, несмотря на изменение конъюнктуры найма, хотя бы в общих чертах знал, что бросает на чашу весов: и по выходе из периода ученичества, и после десяти лет работы подмастерьем он без труда мог себе представить, как будет выглядеть его холостая жизнь в сорок лет. Так что ему оставалось лишь взвешивать и решать. Неожиданности случались редко, а иллюзии в расчет не шли. А вот любой молодой магистр словесных наук и знал, и прокручивал в уме, сколько председателей судов, докторов и архиепископов начинали так же, как он. Блестящие карьеры встречались не часто, но иллюзии выглядели вполне правдоподобно.

Мартен Бельфе, получивший степень бакалавра в том же 1452 году, когда Франсуа де Монкорбье стал магистром словесных наук, сделал карьеру в миру и шесть лет спустя стал тем самым лейтенантом уголовного ведомства при парижском превостве, которого Вийон при известных нам обстоятельствах сделал одним из своих «душеприказчиков». Бельфе не пришлось сожалеть об утраченной им тонзуре. Однако натопленное жилье и никогда не пустовавший стол магистра Гийома де Вийона тоже должен был искушать школяра в момент выбора. А ведь магистр Гийом не обладал никакими талантами. Иные его однокашники стали епископами.

Мир холостяков, каковым являлся будущий Латинский



квартал, отличался одной особенностью, состоявшей в том, что люди там старались не вступать в брак и из неуверенности, и из осторожности, и из-за безденежья. Клирики-школяры, в большинстве своем не слишком уверенные в собственном религиозном призвании, хуже, чем сверстники из других сфер, представляли себе, как должно складываться их социальное становление. Однако они знали, что в миру клирику, согласному отказаться от даваемых тонзурой привилегий, доступны все виды деятельности, но отказ от оной закроет все пути в мире клириков. Знали они и то, что силы клерикального nepотизма не столь велики, как силы мирского чадолюбия, поскольку дядя заботится об устройстве племянников все же меньше, чем отец об устройстве сыновей и благополучии своего рода. Среди советников-клириков, заседавших в Парламенте в те времена, когда Вийон рифмовал свои дары, родственники, попавшие туда прежде, имелись лишь у каждого третьего. Ну а у советников-мирян все обстояло иначе, поскольку у них по следам одного либо нескольких родственников в Парламент попадали четверо из пяти. Так что задуматься безродному школяру было о чем.

Между магистром словесных наук, заканчивавшим свои дни в облачениях доктора-«регента» либо каноника, и магистром словесных наук, сделавшим «практическую» карьеру в миру, различия лет через двадцать стирались. А вот дистанция, которая отделяла молодого магистра словесных наук, исходившего слюной перед лотками колбасников и мерзшего на сквозняках, от магистров преуспевших, была поистине огромна. И все это учило осторожности. В результате клирик старался как можно дольше оставаться клириком.

В городской суете одиночество клирика, не имевшего денег, но имевшего много друзей, скрашивалось посещениями трактиров, таверн, борделей... Никто не смог бы пересчитать все таверны, которыми славился Университет — район левого берега Сены — район Франсуа Вийона. Некоторые из таверн были знамениты и имели свою историю. Другие же представляли собой просто поставленные у входа скамейки перед прикрытой навесом бочкой, принадлежавшей какому-нибудь буржуа, изготовившему вина больше, чем ему требовалось.

## ДЕВИЦЫ

Украшение таверн составляли девицы не слишком строгих нравов, с которыми Вийон мог шалить, не тратя денег. Трактирные служанки, горничные из домов буржуа, работницы самых разнообразных необходимых столице профессий — все они тоже жажда-

ли бесплатных развлечений. Служанки и белошвейки, прачки и перчаточницы изо дня в день покоряли все новые сердца, а обслуживавшие столы девушки, стремясь сохранить место и не очень заботясь о том, что кто-то может осудить их поведение, давая себя ушипнуть, хохотали, впрочем, чаще всего вполне искренне.

Заниматься самой древней профессией эти девушки вовсе не собирались. Единственное, чего им хотелось, — это повеселиться в редкие часы, свободные от тяжелой и более продолжительной, чем у мужчин, работы. Попить вина, потанцевать, посмеяться — вот из чего состояла их программа, где мужчина уместен лишь в том случае, если хорошо знает свою роль. Именно так понимали веселье горничные, которые, едва хозяйка укладывалась спать, уходили в погребок к своим друзьям. Час «игры в осла» наступал значительно позже. А до того можно было насладиться прелестями полуночного пиршества: пирогами с сыром, сдобными булочками, пирожными. Ухажерам подобное угощение стоило порой немало, но все же девичья добродетель доставалась им не за деньги, а как праздничный подарок.

Затем, служанкам и лакеям  
Я завещаю: пировать,  
Господской снеди не жалея!  
Фазанов, уток — все сожрать,  
Напиться так, чтобы не встать,  
К утру еще опохмелиться  
И на хозяйскую кровать  
С любезным другом завалиться\*.

В «Книге трех добродетелей» Кристина Пизанская еще до Вийона писала про загулы слуг и горничных в часы, когда буржуа занимались делами или слушали мессу. Пиршества устраивались на кухне. Приходили подружки. На столе появлялось хозяйское вино.

«А иногда она относила пирог в свою комнату в городе и туда приходил ее любезный покупатель. Так вот они веселились».

Хозяйка, будь то трактирщица или владелица мастерской, порой тоже принимала участие в любовных играх, где не столько целовались, сколько подмигивали другу, не заходя слишком далеко. Правда, некоторые девушки получали за любовные услуги подарки, слегка увеличивая таким образом сумму своих доходов. Один из современников Вийона чуть было не попал на виселицу за то, что раздавал девицам украденные простыни и

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 104. Пер. Ф. Мендельсона.

платья. Симпатичная перчаточница, получившая от любовника в подарок пару простынь, проституткой себя, естественно, не считала...

Это дело заставляет нас вспомнить про вийоновских чаровниц, тех продавщиц — хозяек либо наемных работниц, — которыми старая, познавшая жизнь Оружейница не столько с горечью — как быстро летит время! — сколько с нежностью читала наставления.

Внимай, ткачиха Гийометта,  
Хороший я даю совет,  
И ты, колбасница Перетта, —  
Пока тебе немного лет,  
Цени веселый звон монет!  
Лови гостей без промедленья!  
Пройдут года — увянет цвет:  
Монете стертой нет хождения\*.

Симпатичная ткачиха совсем молода, еще вчера она была ученицей. А завтра уже будет стоять не больше, чем стертая монета. Отсюда мораль: пользуйтесь, пока молоды.

Пляши, цветочница Нинетта,  
Пока сама ты как букет!  
Но будет скоро песня спета. —  
Закроешь дверь, погасишь свет...  
Ведь старость — хуже всяких бед!  
Как дряхлый поп без приношенья,  
Красавица на склоне лет:  
Монете стертой нет хождения.

Франтиха шляпница Жаннетта,  
Любым мужчинам шли привет.  
И Бланш, башмачнице, про это  
Напомни: вам зевать не след!  
Не в красоте залог побед,  
Лишь скучные — в пренебреженье,  
Да нам, старухам, гостя нет:  
Монете стертой нет хождения\*\*.

Поэт весьма категоричен. Женщину, утратившую привлекательность и пытающуюся привлечь внимание мужчин, ждут одни лишь насмешки. А о любви не стоит и мечтать.

Значит, нужно пользоваться своим капиталом, и без промедления. Наиболее отчетливо завет старой куртизанки сформулирован там, где она цинично советует Жаннетте не обременять себя любовью к мужчине. Мораль Вийона здесь перекликается с лишенной каких бы то ни было иллюзий философией «Романа о Розе»: женщину, ограничивающую себя любовью к единственному мужчине, ждут разочарования.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 58. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же.

Крик тоски раздается лишь в конце стихотворения, в нарушающем традицию обращении. Там стоит не «принц», как обычно, а «девки», и баллада написана не как просьба о помощи, а с целью дать совет подружкам, и в рефрене повторяется: старая куртизанка никому не нужна.

Эй, девки, поняли завет?  
Глотаю слезы каждый день я  
Затем, что молодости нет:  
Монете стертой нет хождения\*.

Оружейница, башмачница, колбасница, ткачиха, шляпница, кошелечница — эти названия профессий заменяли в глазах покупателей и поклонников настоящие имена женщин, вынужденных в зависимости либо от обычаев, либо от официально установленных порядков того времени носить то фамилии отцов, то фамилии мужей. Жанну Ла Жансьенн, вдову управляющего налоговым ведомством Арнуля Бушье, называли Жансьеной, тогда как Жанна Ла Рабигуаз получила свою фамилию, выйдя замуж за адвоката Гийома Рабигуа. Ну а в маленьком мирке лавочек эти тонкости никого не смущали. Причем часто верх одерживала профессия. Названия ремесел превращались в фамилии или, скорее, имена мужчин и женщин, но превращения были неполными, так что человеком XV века они воспринимались иногда как разновидность широко распространенных имен, а иногда как эпитет с весьма конкретным смыслом. И коль скоро, например, имя Ла Бурсьер означает «кошелечница», его носительницу воспринимали прежде всего как торговку сумками.

Естественно, имели место и ошибки, и недоразумения. Мы, вероятно, так никогда и не узнаем, почему у парижского булочника Жана Сенто было прозвище Ле Барбье («цирюльник»). Может быть, в свободное от основной работы время он еще и брил. Или же в какой-то момент сменил тазик цирюльника на квашню. А кроме того, по мере смены поколений менялись и профессии, а имена оставались. Жан Бушье («мясник») занимался изготовлением обуви, Жан Шанделье («свечник») исполнял функции прокурора в Шатле, Пьер Кордье («канатчик») был мясником, а его брат Жан Кордье имел бакалейную лавку, Этьен Фурнье («печник») был суконщиком, а Гийемен Ле Фурнье — бакалейщиком. Жан Ле Шанжер («меняла») тоже работал суконщиком, Жан Ле Мерсье («галантерейщик») — пекарем, а Роже Ле Пеллетье («скорняк») — ткачом.

Такая вносящая путаницу передача имен по наследству практически не касалась замужних женщин. Надо сказать,

---

\*Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 59. Пер. Ф. Мендельсона.

что у мужчин наследование благоприобретенных имен порой происходило параллельно с наследованием ремесла, что объяснялось передачей по наследству инструментов труда. Никто не удивлялся, когда какого-нибудь проживавшего рядом с церковью Сент-Андре-дез-Ар цирюльника звали Колен Ле Барбье.

Поскольку фамилии тогда еще несли на себе печать своего происхождения, они менялись по родам и склонялись как простые существительные или прилагательные. Так, нотариус, записывая имя сестры Жана Ле Гуа, ставил его в родительном падеже, в результате чего получалось «сестра дю Гуа». А хорошо известные в Гревском порту братья Ле Норман, специализировавшиеся на торговле дровами, при записи — когда речь шла о них обоих — меняли артикль единственного числа на артикль множественного числа, и сама фамилия ставилась тоже во множественном числе. При таком положении вещей не было ничего удивительного ни в том, что имя супруги Гийома Рабигуа ставилось в женском роде и превращалось в Рабигуаз, ни в том, что прозвища Оружейница, Перчаточница или Колбасница становились практически настоящими фамилиями.

Оружейница, которой Вийон предоставил слово в своем «Завещании», считалась в Париже начала века личностью весьма популярной. Родилась она, похоже, в 1375 году, а уже в 1393-м имя Оружейница замелькало в скандале, поскольку ее квартирному хозяину Николя д'Оржемону, очевидно, любовнику, пришлось выгнать ее из расположенного близ Собора Парижской Богоматери дома под вывеской «Лисий хвост». Пятьдесят лет спустя от бывлой Оружейницы осталась только тень, и вот на ней-то Вийон и остановил свой выбор, дабы она рассказала о тяготах существования женщины, наблюдающей за бегом времени.

Мне никогда не позабыть  
Плач Оружейницы Прекрасной,  
Как ей хотелось юной быть  
И как она взывала страстно:  
«О, увяданья час злосчастный!  
Зачем так рано наступил?  
Чего я жду? Живу напрасно,  
И даже умереть нет сил!\*

Кто же мешал ей наложить на себя руки? Кто мешал покончить с собой? Старуха не пожелала ответить. Только она сама, и это ей прекрасно известно. Так или иначе, но любовник ее умер, и на свете не осталось ни одного человека, который хранил бы ей признательность за былые радости.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 54. Пер. Ф. Мендельсона.

Он умер тридцать лет назад,  
И я с тоскою понимаю,  
Что годы вспять не полетят  
И счастья больше не узнаю.  
Лохмотья ветхие снимая,  
Гляжу, чем стала я сама:  
Седая, дряхлая, худая...  
Готова я сойти с ума!\*

Не будем опрометчиво зачислять в проститутки девиц, живших в очень неласковом к женщине мире. Вийон этого не делает. Оружейница и ее последовательницы не столько подрабатывают, сколько развлекаются. История сохранила для нас сведения о ткачихе Гийометте: это была типичная представительница мелкой буржуазии, торговавшая вышитыми изделиями в большом зале дворца — в будущей «галантерейной галерее», — а ее муж Этьен Сержан изготовлял из твердой колокольной бронзы печати для высокопоставленных парижских буржуа. Вийон не ошибается: одна из них любит танцевать, а другая вообще отгоняет от себя мужчин. Никто из них за деньги себя не продает. Оружейница когда-то любила одного велеречивого хитреца и на склоне лет сожалеет, что кормила своим трудом лентяя, который ее к тому же бил. Ее никак не обвинишь в том, что она отдавалась кому попало.

Ведь я любого гордеца  
Когда-то сразу покоряла,  
Купца, монаха и писца,  
И все, не седуя нимало,  
Из церкви или из кружала  
За мной бежали по пятам,  
Но я их часто отвергала,  
Впадая в грех богатых дам.

Я чересчур была горда,  
О чем жестоко сожалею,  
Любила одного тогда  
И всех других гнала в три шеи,  
А он лишь становился злее,  
Такую преданность кляня;  
Теперь я знаю, став умнее:  
Любил он деньги, не меня!\*\*

## ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ

Однако от всего этого до проституции расстояние невелико. Служанки прирабатывали. Матери эксплуатировали дочерей. Вдовы получали средства к существованию. Вийон находит в

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 55. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 54 — 55.

себе сокровища снисходительности и по отношению к этим женщинам, которым было не до развлечений, а нужно было просто прокормиться. Так уж у них сложилась жизнь.

С любимым ложатся спать за грош,  
Но ласкам этим грош цена.  
Приди, когда в кармане вошь, —  
Захлопнут двери, как одна!\*

На улице Катр-Фис-Эмон проживала прекрасная Марьон Л'Идоль по фамилии — если это действительно фамилия — Ла Дантю, а ее квартирохозяином, а также, похоже, любовником и, несомненно, сутенером был буржуа Колен де Ту. Человек скользкий, проницательный, занимавшийся темными делишками. В 1461 году духовный судья при епископе проведаль, что Ту является клириком и при этом занимается сводничеством. Ту поклялся, что он честный квартирохозяин, что дело не приносит ему никаких доходов и что он, наведываясь к своей квартиро-съемщице и пользуясь ее прелестями, платит свой пай, как любой другой. Обмануть судью, естественно, не удалось: тот обратил внимание, что у Колена де Ту не одна, а несколько квартирнок. Ту заплатил штраф и продолжал заниматься тем же самым.

Сутенер, приятель, привилегированный клиент — в этой ситуации побывал и Франсуа Вийон, когда в 1461 году вернулся в Париж после пяти лет бродяжничества и нескольких месяцев тюрьмы. Правда ли, что он жил на средства, заработанные «Толстухой Марго»? Нам ничего об этом не известно, не известно даже, была ли Марго реальной женщиной или простой вывеской на доме. Близ Собора Парижской Богоматери стоял дом, гостиница «Толстой Марго», вертеп, находившийся там и после того, как Вийон и его любовные дела ушли в прошлое.

Однако независимо от того, звалась ли подруга Вийона Марго или как-то еще, вполне вероятно, что она принимала его любовь между свиданиями с клиентами. Посвященная этой теме баллада сделана не в форме рассказа, а в форме эпизодического воспоминания. Поэт воссоздает сцену и берется исполнять в ней роль. В результате получилась настоящая трехактная пьеса про жалкую торговлю сомнительными прелестями проститутки, с которой он живет, деля ее скромные доходы. Первый акт: успех, угодливость, гармония. Радости, естественно, убогие, но дела идут неплохо. Второй акт: неудача, ярость, взбучка. Пара находится на грани разрыва. Третий акт: примирение, ласки, отдых.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 60. Пер. Ф. Мендельсона.

В балладе есть сценическая игра: вот Вийон открывает дверь, держит свечу, приносит клиенту еду и напитки. Есть диалоги, из которых до нас доносится только одна-другая реплика. Если все идет хорошо, то: «Vene stat» («Добрый путь»). «Возвращайтесь, когда снова возникнет потребность...» Тон меняется, если любитель наслаждений оказался скрягой. Тогда грубиян бьет ее по лицу, отбирает одежду. Женщина пытается сохранить хотя бы пояс. Начинает даже плакать: она беременна. Мелодрама в полном разгаре.

Вийон не скрывал обиды на ту, которую называет Розой и которая постоянно что-то у него выпрашивала. К Марго, давшей ему помимо всего прочего еще и немного животного тепла, он, напротив, полон нежности. Можно быть потаскухой и не быть дурным человеком, как можно кормиться от потаскухи и оставаться ее любовником. Мораль поэта проста: «Не считайте меня ни за дурака, ни за подлеца».

В той совместной жизни, которую воссоздает «Баллада о Толстухе Марго», жизни, о которой невозможно сказать, длилась ли она два месяца или два года, мэтр Франсуа предстает как маргинальная личность, как изгой, но не эксплуататор. Он товарищ по несчастью, а не сутенер. Он «ходит за вином». Это выражение употреблялось по отношению к мужу, потворствовавшего изменам жены и уходившему из комнаты — будь то действительно в погреб за вином либо куда-нибудь еще — на то время, пока жена развлекалась или зарабатывала деньги в супружеской постели. Говоря о том, что идет за вином, Вийон подчеркивает свою активную роль в деле, которое даже называет «нашей коммерцией». Уточняя, что действует «от чистого сердца». Еще немного, и он назвал бы это работой!

Слуга и «кот» толстухи я, но, право,  
Меня глушом за это грех считать:  
Столь многим телеса ее по нраву,  
Что вряд ли есть другая, ей под стать.  
Пришли гуляки — мчусь вина достать,

Сыр, фрукты подаю, все что хотите,  
И жду, пока лишатся гости прыти,  
А после молвлю тем, кто пощедрей:  
«Довольны девкой? Так не обходите  
Притон, который мы содержим с ней».

Но не всегда дела у нас на славу:  
Коль кто, не заплатив, сбежит как тать,  
Я видеть не могу свою раззяву,  
С нее срываю платье — и топтать,  
В ответ же слышу ругань в Бога мать  
Да визг: «Антихрист! Ты никак в подпите?» —  
И тут пишу, прибегнув к мордобитью,  
Марго расписку под носом скорей



В том, что не дам на ветер ей пустить я  
Притон, который мы содержим с ней.

Но стихла ссора — и пошли забавы.  
Меня так начинают шекотать,  
И терebить, и тискать для растравы,  
Что мертвецу — и то пришлось бы встать.  
Потом пора себе и отдых дать.  
А утром повторяются события.  
Марго верхом творит обряд соитья  
И мчит таким галопом, что, ей-ей,  
Грозит со мною вместе раздавить и  
Притон, который мы содержим с ней.

В зной и в мороз есть у меня укрытье,  
И в нем могу — с блудницей блудник — жить я.  
Любовниц лучших мне не находите:  
Лиса всегда для лиса всех милей.  
Отрепье лишь в отрепья и рядите —  
Нам с милой в честь бесчестье... Посетите  
Притон, который мы содержим с ней\*.

Вийон не был исключением в своем снисходительном отношении к публичным женщинам. Их считали «распутницами», но зла на них не держали. Лица, наблюдавшие за общественным порядком, то есть прево и его сержанты, старались сконцентрировать «девоchек» в нескольких горячих местах, на нескольких улицах, где проституция разрешалась с утра до вечера, а с наступлением ночи за нее штрафовали. По правде говоря, бордели при тавернах либо в домах — иногда составлявших целые улицы — имелись в каждом квартале. Большое их сосредоточение наблюдалось на острове Сите, рядом с северной башней Собора Парижской Богоматери и с улицей Глатиньи. Несколько десятков заведений насчитывалось на левом берегу, вокруг площади Мобер и рядом с монастырем кордельеров, а также сразу за мостом Сен-Мишель, где располагался так называемый «бордель Макона». На правом берегу проституция организовывалась вокруг центрального рынка и тянулась от него до самых подступов к Лувру, а также располагалась между Гревской площадью и Бастилией. На левом берегу ее клиентами были холостяки, а на правом — временно одинокие приезжие торговцы.

Не следует забывать и про бани. Все были ими недовольны, и все туда ходили. Помыться и позаниматься любовью означало одно и то же.

Время от времени столичные жители начинали возмущаться. Из-за обитательниц борделей падали цены на дома и снимаемые квартиры. Из-за них возникали разлады в семье. Прево и Парламент получали жалобы.

\* Вийон Ф. Избранное. М., 1984. С. 364. Пер. Ю. Корнеева.

Проститутки старались увеличить временной диапазон, пытались распространить свою деятельность на другие улицы помимо уже освященных обычаем, королевскими указами и предписаниями Шатле. Они принимали клиентов у себя дома, воздвигали импровизированные таверны, занимались любовью в своих комнатах. Еще куда ни шло, когда все делалось втихую; хозяин обычно притворялся, что ничего не знает о сути происходящего. Хуже было, когда возникали ссоры, драки. Скандал становился известен всей улице. Хозяин рисковал попасть в смешное положение. Когда солдаты начинали ломиться в дверь какой-нибудь девицы, решившей, что ее рабочий день закончен, или когда клиент избивал до полусмерти обрезающую у него кошелек «возлюбленную», соседи начинали волноваться и приходилось вызывать сержантов.

Приставания на улице были запрещены, но на запрет никто не обращал внимания. Похоже, они как бы даже поощрялись, особенно когда должность прево занимал Амбруаз де Лоре; этот славный воин, доказавший свою верность в мрачные дни буржского королевства, выглядел главным сводником возвращенной Карлу VII столицы — он чувствовал свою силу и ничего не боялся. Более опасным приставание стало тогда, когда после смерти Лоре в Шатле появился менее покладистый прево Робер д'Эстувиль, не разделявший ни вкусов, ни интересов своего тестя. Жак де Вилье де л'Иль-Адан, сменивший его по восшествии на трон Людовика XI, оказался столь же непреклонным. «Девочкам» приходилось остерегаться, действовать с оглядкой на закон, платить штрафы, проводить ночи в тюрьме.

По сути дела, указы были направлены прежде всего на то, чтобы избежать путаницы. Прохожий должен был знать, где порядочная женщина, а где развратная. Если на женщине позолоченное серебро и дорогие меха, значит, порядочная. Обманывать общество считалось более серьезным грехом, нежели незаконно развратничать в частной обстановке. Проститутку, пытавшуюся приодеться получше, наказывали не за то, что она торгует ласками, которые не освящены браком, а за то, что вносит путаницу в установленный порядок вещей. Как показывают ведомости Шатле, обновление гардероба стоило проституткам немалых денег.

«Маленький поясик, пряжка, застежка с четырьмя серебряными зацепками обнаружены и конфискованы у Гийенны Ла Фрожьер, женщины любовного промысла...

Несколько женских поясов с серебряными застежками и серебряными пряжками конфискованы в пользу короля у женщин любовного промысла, которые носили эти пояса в Париже, несмотря на соответствующий указ...

Пояс с серебряными, позолоченными пряжкой, застежкой и зацепками, весящими вместе две с половиной унции, с напоясником, тоже имеющим пряжку, застежку и зацепки из позолоченного серебра, коралловые четки, серебряная ладанка, женский «Часослов» с застежкой из позолоченного серебра, а также атласный, беличий воротник конфискованы в пользу нашего короля у девицы Лоране де Вилье, женщины любовного промысла, арестованной за ношение вышеперечисленных вещей».

Речь здесь шла, по существу, о социальной морали. Коралловые четки конфисковывались не потому, что проститутку считали плохой христианкой, а потому, что коралл внушает почтение, из-за чего можно составить ошибочное представление о самой женщине. По этой же причине у буржуа конфисковывались незаконно носимые шпаги и кинжалы. Каждый должен выглядеть таким, каков он есть!

Несмотря на предписываемую указом скромность, незаметней проститутка не становилась. Ее узнавали и по походке, и по осанке.

«Ходят они с вытянутой вперед шеей, как олень в степи, и смотрят презрительно, как дорогая лошадь».

Понимать эти слова следует так: безденежному клирику приходилось смотреть на искусительниц лишь издалека, потому что они были ему не по карману. Женоненавистничество тогдашней интеллигенции, отразившееся и в трактатах, и в песнях, частично объяснялось тем, что «девочка» стоила дорого. Да и к тому же если бы она еще довольствовалась тем, о чем условились! А то ведь чаще всего клиент вообще лишался кошелька. Первейший упрек со стороны сатирической и более или менее морализаторской литературы в адрес проститутки касался ее алчности. Прибегая то к вымогательству, то к воровству, она демонстрировала свое истинное ремесло, состоящее в выманивании денег.

Почти все литературные тексты сходились в одном: священник наряду с дворянином и буржуа был одним из самых типичных клиентов борделя. Священник, но не клирик. Профессиональные любовницы были доступны только зажиточным слоям населения, к коим не принадлежали ни подмастерье, ни простой клирик-школяр. Война поставляла еще одну типичную разновидность клиентуры — солдата. Гражданские службы тоже вносили свою лепту — сборщиков налогов и секретарей суда. Вийон мог попасть в бордель лишь в качестве компаньона «Толстухи Марго».

ПРОЩАЙТЕ! УЕЗЖАЮ В АНЖЕР

ОТЪЕЗД

Жизнь обходилась с ним жестоко. Ему было с кем сводить счеты: с женщинами, неверными друзьями. Что касается остальных, друзей по коллежу или кабаку, он так же легко развлекался без них, как и с ними. Он завещает им все, чем владеет.

Однако о смерти речь пока не идет. В данный момент Вийон «отмечает» Рождество 1456 года. В своей комнате близ Сен-Бенуа-ле-Бетурне он изнывает от тоски, дрова здесь редкость, а на дворе — зимний вечер.

Некто хочет его смерти, он бежит от него. Образ, целиком заимствованный у риторики труверов, где столкновение страстей разыгрывается в духе военной стратегии, как в нравоучительных трактатах о столкновениях добродетели и порока. Дама — в центре крепости. Оскорбленный любовник — словно поверженный в бою. Изменница, не желающая слышать его жалобных стенаний, — это «Безжалостная красавица». «Живой сплав» — это живая связь Дамы и ее вассала. Он рвет ее. В средневековом словаре есть одно слово для характеристики сеньора, который отлынивает от своих обязанностей по отношению к вассалу: он — «изменник».

Увы, мне душу полонил  
Тот взор жестокий и неверный...  
Напрасно я в тоске молил,  
Томился в муке беспримерной, —  
Она меня высокомерно  
Отринула, не вняв мольбам.  
Тогда я понял: дело скверно!  
И вверил жизнь своим ногам.  
  
Чтоб не страдать превыше меры,  
Осталось мне одно: бежать.  
Прощайте! Путь держу к Анжеру!  
Она не хочет мне отдать  
Свою любовь, — чего ж мне ждать?  
Довольно мне обид, обманов!

Я мученик любви, под стать  
Героям рыцарских романов\*.

Действительно ли он отправляется в Анжер? Или Анжер тут для рифмы? Привлекает ли нашего поэта двор короля-мецената Рене — из-за его объемистого кошелька — или прельщает просвещенная публика, всегда готовая ему аплодировать? Позже пойдет речь о возможном коварном ударе и об анжевенском дяде поэта, чей выход на сцену окажется очень кстати. Вопрос остается открытым, без сомнения, потому, что все сошлось воедино одновременно.

Остается неясным вопрос: от чего он бежал? Не надеялся ли Вийон за год до написания этих стихов на оправдательные письма, без которых ему не быть в Париже?

Бежит ли поэт от своей «жестокосердой»? Или более прозаически — от наказания короля? А может быть, у него на совести новое «дело»? Когда знаешь, что бегство из наваррского коллежа совершилось в рождественскую ночь 1456 года, дата «Малого завещания» — рождественская — наводит на мысль, что Вийон серьезно озабочен тем, как избежать виселицы. Возможно, «Малое завещание» — лишь осмотнительное алиби гениального хулигана, пытающегося внушить как анжевенцам, так и другим, что его бегство лирического свойства.

Вне зависимости от того, есть или нет объяснение, предназначенное для публики, о «Малом завещании» безусловно можно сказать, что это — деньги на расходы: при каком бы дворе это ни происходило, поэт зарабатывает себе на пропитание лишь своим талантом. Однако рассчитывать лишь на вдохновение было бы неразумно. Человек, взывающий к авторитету многоумного Вегеция, знает, что ему неплохо привести, где бы то ни было, доказательства своего мастерства.

#### «МАЛОЕ ЗАВЕЩАНИЕ»

Естественно, что в сумраке надвинувшейся ночи поэт принимает необходимые для всякого путешественника меры, связанные с отъездом. И тогда полуреально, полупризрачно вырисовывается своего рода завещание. «Малое завещание». Вийон раздаст «добро». Разговор короткий. Несмотря на то имя, которое ему вскоре даст толпа и которым вновь воспользуется в 1489 году издатель Леве, главное, что завещает поэт, не в «Малом завещании». «Завещанием» будет нечто другое, более существенное: оставленные им ценности впишутся в общий рисунок, который по-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 20—21. Пер. Ф. Мендельсона.

эт намеревается оставить вечности; настоящее завещание — как бы совокупность мер, предпринятых человеком, чтобы обеспечить себе место в жизни. Публике «Малое завещание» стало известно раньше, чем «Большое», и она сбита с толку; но автор протестует, он хочет, чтобы знали его «Большое завещание».

Как помню, в пятьдесят шестом  
Я написал перед изгнанием  
Стихи, которые потом,  
Противно моему желанью,  
Назвали просто «Завещаньем».  
Но что поделать, если всем  
Присловье служит оправданьем:  
«Никто не властен ни над чем»\*.

Вийон ничего не пожалел, чтобы «Малое завещание» выглядело как настоящий документ. Дата, установление подлинности завещания, обращение к Троице — все тут убедительно, всего достаточно, в том числе обращений к нравственности и набожности, которыми встречает свой предсмертный час любой буржуа, когда высказывает свою последнюю волю.

Он уходит, а не умирает. Сначала он включается в хорошо известную игру из куртуазного репертуара, которую называют «любовная отставка». Начиная с XII века возникает постоянная традиция описывать эти, часто вымышленные, отъезды, являющиеся литературным эквивалентом выражений любви и дающие повод для несостоятельных обещаний, столь же несерьезных, как и сам «побег». «Подарить» свое сердце — наиглавнейшее обязательство любовника. У Вийона этого предостаточно; он «оставляет» красавице «плененное» сердце, но сперва оставляет магистру Гийому де Вийону свою репутацию и, возможно, настоящее имя, поскольку его имя он взял себе.

Реализм Вийона вырисовывается уже в теме завещания. Он вводит в него формулировки нотариальной конторы, говорит, как распорядиться ценностями, истинными и вымышленными. Порвав с условностями любовной куртуазности, он соединяет таким образом два сюжета: уход и завещание.

А кроме того, он оплакивает иллюзию. Среди «затем», наполовину шуточных, его «Малого завещания» школяр вкрапливает напоминания о своем «предназначении». Надежда на церковные бенефиции была мизерной. А превращение клирика в правонарушителя свело на нет всякую надежду. Помилование не позволяло тем не менее забыть об убийстве священника Сермуза. Кража добавляет свой мазок к картине. Мэтр Франсуа не осмеливается представить себя в роли монаха. Но имя свое завещать может.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 67. Пер. Ф. Мендельсона.

Магистру словесных наук нечего оставить, кроме химер, и он дает волю слову. Он не удовлетворен тем, что изобретает забавные истории, как это уже делал Рютбёф, рассказывая о своем осле, чей хвост походил на пояс францисканцев, а голос был совсем как у певчих. Вместе с забиякой и сорванцом Вийоном «влюбленный» и «неудачник» сочиняют пародию на завешание, то есть официальный документ, и в этой необычайной поэма-пародии из трехсот двадцати стихов, имеющей множество оттенков, Вийон запутывает следы и осмеивает все подряд. Мы находим здесь карикатуру и на мироздание и на видение мира, карикатуру на схоластическую науку и на юриспруденцию; изображая условности куртуазной любви и правила поведения рыцарской аристократии, Вийон обращает в фарс поведение человека перед лицом смерти. Осмеяние в стихах нахальства и кичливости дающего в залог составляет настоящее театральное действо: в нем представлено и кажущееся, и очевидное.

Отточив перо, Вийон смеется и над собой, и над другими; он выставляет на обозрение целую вереницу истинных друзей и истинных врагов, фальшивых ярлыков и фальшивых правдоподобий. Над всеми этими двойными и тройными значениями царствует парадокс, который смешивает лексику и играет намеками. «Малое завешание» написано для посвященных — они знакомы со схоластической игрой образов с тремя смыслами: историческим, нравственным и теологическим, — для тех, кто знает этот мир. «Бедный грамотей» Робер Валле — богатый человек, «трое нагих сироток» — трое ростовщиков, сеньор Гриньи и благородный Ренье де Монтиньи обратились в нищих бродяг и не знают, что делать с собаками, которых поэт оставил для охоты на землях, им уже не принадлежащих. Нужно очень хорошо представлять себе парижскую улицу, чтобы знать, что наследник водопойни Попена — спуск к Сене ниже Моста менял — не кто иной, как известный пьяница, «родной брат» другого подобного же типа. И нужно быть очень осведомленным, чтобы знать, что у шевалье Жана де Арлея оспаривают его благородное происхождение, когда поэт выводит его на сцену под видом наследника «Шлема», являющегося одновременно и кабачком под этим именем на улице Сен-Жак, и геральдическим знаком, коим рыцарь может украсить свой герб.

А завешание Жану Трувэ — образец формулы с двойным смыслом. Следует, вероятно, признать, что анализ стихов не совсем проясняет, почему среди фантастических наследников маленького оборванца с улицы Сен-Жак обязательно должен быть мясник.

Для мясника, а также и для изголодавшегося писца баран, бык и корова — прежде всего жаркое, котлета. Но «Жирный ба-

ран», «Круторогий бык» и «Корова» — также и вывески: множество таверн на том и этом берегу носят такие имена, и не раз можно было видеть, как школяры объединялись в группы, несмотря на их различия. Для обитателей района Университета пойти в таверну «Баран» означало пойти выпить вина.

Затем я завещаю Жану  
Трувэ три славных кабака:  
«Корову», «Жирного барана»  
И «Круторогого быка».  
А если кто у мясника  
Угнать захочет это стадо,  
Пускай повесят дурака,  
Чтоб не хватал, чего не надо!\*

«Баран, породистый и нежный»\*\* — это выпад против Жана Трувэ, про которого все знают, что характер у него необузданный. Во всем квартале мясников Трувэ известен вспыльчивостью, и у многих на памяти, как не один раз, чтобы успокоить, его приходилось отводить в Шатле. Возможно, Вийону или кому-нибудь из его друзей доводилось драться с мясником. Кто знает Трувэ, вдоволь посмеется над этими словами: чистопородный и нежный.

Гурманам известно также, что породистый баран — это баранина, из которой готовят отбивные. «Хлопушка для мух» — это хлыст, чтобы наказывать. Хлыст волопаса для «круторогого быка»? Ну да, ведь его хотят продать! Еще одна неудача для томимой жаждой молодежи: таверну закрывают. Ну а при чем тут мясник Трувэ? А при том, что завещать пьянице закрытую таверну — это насмеяться над ним.

Конец восьмистишия еще более мрачен. Негодяй, который обнимает корову, может также попасть на вывеску. Улице «Корова» на правом берегу дано название по вывеске не вполне приличной. В конце стиха, очень дерзком, содержится намек на того, кто знает, какому врагу обещана веревка. Кто будет повешен: негодник (*vilain*) — игра слов с фамилией автора — или мясник Трувэ? Насмешники, которые в один прекрасный день переместили «Чертову тумбу», на сей раз подшутили над вывеской «Корова»?

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 26. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Дословный перевод:

А также Жану Трувэ, мяснику,  
Оставляю *Барана*, породистого и нежного,  
И хлопнушку, чтобы отгонять мух,  
*Венценосного быка*, которого хотят продать,  
И *Корову*, которую может взять себе  
Негодяй, обнимавший ее за шею:  
Если он не вернет ее, пусть его повесят  
И удушат крепкой веревкой!



Вывески, эти наивные картинки, вырезанные из крашеного дерева или позлащенного полотна, занимают существенное место в социальном облике средневековья. Они стали развлечением учащейся братии, но еще раньше они давали имя дому, служили рекламой лавочек. Сами по себе они — адреса. Люди живут не только в доме с «Образом святой Екатерины», но и напротив него или рядом с ним. В городском лабиринте, где названия улиц никак не обозначены и где у домов нет номера, вывеска — главный ориентир городской жизни. Образы святых, фигурки животных, символические предметы в конце концов дают свое имя человеку, который живет в доме, лавочник или ремесленник, — это «магистр из «Образа святого Николая», «сеньор из «Барана», даже «Пьеро из «Мула». Некоторые сделают потом название дома частью своего имени.

Естественно, когда парижанин хочет пошутить, он отдает предпочтение вывескам-животным. В то же время многие хозяева обнаруживают при пробуждении, что у них пропала вывеска и необходимо водворить ее на место, а тем временем весь квартал потешается на их счет. «На их счет» — точное слово, ибо, если потешаются над ночной «свадьбой» «Кобылы в полоску», ее хозяин в конце концов должен хорошо угостить соседей, дабы восстановить мир.

Подобные «свадьбы» часто отличаются дурным вкусом. В 1452 году всю потешались над тем, как молодые бездельники публично поженили «Медведя» и «Бегущую свинью» — таинство совершалось в «Олене». Благоразумные жители будущего Латинского квартала подали жалобу.

Шутка иногда превращается в сведение счетов. Так, например, было с Робером Валле, однокашником Вийона, — если помните, он быстро перескакивал с одной ступени своей карьеры на другую. Валле принадлежал к самой знатной финансовой и судебной элите, уже в 1449 году он магистр словесных наук, тремя годами раньше, чем Вийон; затем в 1452 году становится кюре и в 1455-м — прокурором в Шатле. Он владелец нескольких домов. Бывает на людях с доброй подружкой, известной всем благодаря нашумевшему судебному процессу в 1454-м. В отличие от своих менее удачливых старых друзей Валле не знает забот. Друзья молодости забыты. Возможно, они ему просто в тягость. Дела есть дела; к черту попрошаск.

И тут Вийон становится жестоким. Два завешания клеймят предательство и скопидомство — два качества, наиболее ненавистные поэту. Он завещает Валле подштанники, чтоб тот мог сделать из них головной убор для своей дамы. Присоединяет к этому трактат «Искусство памяти». И, словно не насытившись

шутками, бедный клирик хочет продать свою кольчугу и купить этому «мальчугану» лавку публичного писца, «оконце», какие можно увидеть меж контрфорсов Сен-Жак-де-ла-Бушри. Будет чем заняться!

Нет нужды говорить, что богатый наследник не станет корпеть над изготовлением копий — а Вийону приходится это делать, и, кроме того, у бедного школяра нет кольчуги, этой примитивной ячеистой одежды, за которую теперь, во времена гибких доспехов, старьевщик не дал бы и десяти су.

Один мотив, как рефрен, вырывается из-под пера Вийона: все продается. За усмешкой поэта видится некая навязчивая идея: у нищего школяра старьевщику есть еще что взять. Книга, которую он завешает, называется «У Мопансе» — имя, конечно, вымышленное, бессмыслица. Подштанники, завешанные Валле, есть «У Трюмельеров», в таверне, что находится на Рынке; выбрал ее Вийон потому, что нашел тут рифму, и потому, что читатель, интересующийся устройством парижского общества, будет чувствителен к ассонансу: Валле — близкий родственник богатого советника Пьера де Тюийера, который в свою очередь породнился благодаря женитьбе с известной династией финансистов Браков, Тюийеров, Трюмельеров; и сведущий парижанин посмеется над Жанной де Мильер, даже если хорошо знает, что никакой содержатель таверны не примет в залог штаны от Франсуа Вийона. Как, впрочем, и Святые Дары, оставленные монахом из «Игры в беседке»...

Эта двойная аллегорическая фигура включает в себе все, что хочет выразить Вийон: ему не остается даже того, что таверна взяла бы как плату за горшок варева, а Валле может украсить свою подружку чепцом из кальсон, иначе говоря — надеть на нее штаны наизнанку. И если Робер Валле ушел от своих старых друзей в сомнительное будущее, то, значит, Жанна де Мильер сыграла здесь не последнюю роль.

Игра продолжается, порой еще более упрощаясь. Сутенеру — три охапки сена. Не имея других занятий, он найдет, как его использовать. Цирюльнику — «обрезки волос». Сапожнику — «старые туфли». Бакалейщику — другую таверну, с громким названием «Золотая ступка». А богатому меняле бедный школяр завешает алмаз, которого у него, конечно, никогда не было.

Горечь достигает высшего накала, когда ее меньше всего ждешь, — когда Вийон размышляет о более несчастных, чем он сам, людях. Завешая этим обездоленным свои дары, Вийон клеймит не нравы общества. Его злые шутки — разочарование человека, не верящего в добро. Завешание — не насмешка. Скорее, это — покорность судьбе.

Затем приютам и больницам  
Свою каморку я дарю,  
А тем, кто в дым успел упиться, —  
Под каждый глаз по фонарю:  
Быть может, путь к монастырю  
Отыщут хоть тогда бедняги,  
Привыкшие встречать зарю  
Кто в подворотне, кто в овраге...\*

Вот что не радует пациентов в больнице и нищих под навесами: сквозняки — в окнах, затянутых паутиной, а не плотным вошенным холстом, — и вдобавок они получают синяк под глазом, дабы дрожать не только от холода. Здесь завешание — отражение социального зла, жестокий взгляд человека средневековья на самый жалкий тип бродяги — слепорожденного. Сочувствие испытывают к больным, выздоравливают они или находятся при смерти. Но калек это не касается. Сколько их шатается, и настоящих, и притворщиков! Вот и повод для развлечения. В 1424 году парижане устроили удивительное состязание на обнесенной оградой площадке: четверо слепых против сильного борова. Свинья предназначалась тому из них, кто ее убьет. Успех не выпал никому: они яростно исколошматили друг друга, к большой радости празднующихся. Парижане еще долго говорили об этом.

Так пусть же сквозняки леденят хворого, и пусть бродяга получает оплеухи, лишь бы было смешно, лишь бы увидеть, как им худо. Вийон здесь больше чем сатирик. Это признание без прикрас: бедный писака, чья свеча гаснет от ветра, выстуживающего каморку, не шадит тех, у кого нет ни каморки, ни свечи. Так он, сгущая краски, безжалостно ополчается на нужду. Но приглашает и нас посмеяться вместе с ним. Вот типичная «острота» из злой пьесы мещанского репертуара: слепцу повезло, он может экономить. Например, ложиться спать, не зажигая свечи.

«Малое завешание» было бы неполным, если бы автор не высмеял показную набожность. Святое дело — вывести на сцену лицемерие, жадность, разврат. «Добывать себе на хлеб», сказали бы мы, но речь идет о звонкой монете. Проповедовать «пятнадцать знамений», которые возвестят о Судном дне, и в то же время зубоскалить, обеими руками загребать подношения, шупать девок — вот какова картина. А девки — это меньшее из зол.

Затем, монахам-попрошайкам,  
Монашкам-нищенкам с крестом,  
Как богомольная хозяйка,

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 29. Пер. Ф. Мендельсона.

Дарю заплывшего жирком  
Гуся и зайца с чесноком, —  
Пускай нажрутся до отвала  
И досыта клянут потом  
Греховность пирогов и сала\*.

## ПОЛУЗАБЫТЬЕ

Вийон прерывает нить своих размышлений и хватается за другую. Лишился ли он чувств? Или забросил свои «завещания», эту полуправду, в угоду настоящей мечте? Но разве «завещания» — это простая придумка? Разве потрясение не есть факт возвращения к реальности? Трудно сказать, что произошло с поэтом, но внезапный кризис личности он воспринимает всерьез, и мы, видимо, должны поступить так же.

Но за молитвой сбился я,  
Как будто мысли мне сковало, —  
Не от излишнего питья...\*\*

Вспоминая свое прошлое, рассказчик повествует о том, что пережил и физическую и психическую травму. В Вийоне-человеке внезапно нарушилось интеллектуальное равновесие. Слово затормозилась работа мозга. Вийон, верный постулатам аристотелевой логики, говорит: «Суждений вид эстимативный, что перспективу нам дает».

Усвоив законы логики — единственное, чем он обязан университету, — Вийон знает, что способности человека образуют единое целое и атрофия одной способности ведет к гипертрофии другой.

А чувства, как на грех, проснулись;  
Затем — фантазия; за ней  
Все органы вдруг встрепенулись!\*\*\*

Поскольку разум застыл, фантазия увлекает поэта. Что такое фантазия, забытые ли грезы, а может, фантазия — не что иное, как само «Малое завещание»?

Что это было: потеря сознания, галлюцинация, эпилепсия? Над этим еще будут размышлять. Сам он впоследствии вспоминал о своем «потрясенном рассудке». Он достойно перенес испытание.

Последним воспоминанием был звон колокола Сорбонны. Он отложил перо, помолился. И с этой минуты наступило по-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 29. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 31.

\*\*\* Там же.

мутнение рассудка. Пробуждение не может не быть тяжким, ибо действительность не имеет ничего общего с фантазией. Чернила замерзли. Очаг без огня. Как же поэт «раздобыл» — оплатил — поленья и хворост? Он поплотнее закутался: так греются бедняки.

Тут мысли спутались в клубок  
И разум мой вконец затмило.  
Я дописать строки не мог:  
Замерзли у меня чернила,  
Порывом ветра погасило  
Свечу, — хотел огонь я вздуть,  
Да где уж там!\*

Таков образ бедного школяра. Не будем делать из него бродягу. Зима жестока и для самых именитых; люди видели, как секретарь Николя де Байе писал в своих бумагах, между двумя заседаниями Парламента, о трудностях жизни профессионала, когда чернила замерзают в чернильнице.

«Реки сковало льдом, и народ в Париже специально переходил во многих местах Сену по льду, как по проезжей дороге. Все время шел снег, причем такого обильного снегопада никто никогда не помнил.

И было очень холодно, так что писцы рядом со своим стулом держали жаровню, где разводили огонь, чтобы не замерзали чернила, но чернила застывали на кончике пера через каждые два-три слова, так что записывать удавалось с большим трудом».

У секретаря есть жаровня. У поэта ее нет. Остается только посмеяться над его невезением. Так как пришло время заканчивать «Малое завещание», он прибегает к выражениям, столь милым сердцу судейских крючкотворов, и берет в качестве заглавия атрибуты своей нищенской жизни. Он вкладывает в эти слова не только всю свою целомудренную скромность, но и жестокий реализм. У него осталось лишь несколько медных монет, однако и эти деньги уже на исходе. Но кто в Париже XV века всегда имел палатку или павильончик, служившие во время войны жилищем, пристанищем для самых знатных баронов? Кто, даже если он не «тош и черен», как шепка, всегда ест фиги и финики из Испании, которые первоклассные бакалейщики предлагают богатым клиентам? И Вийон не нищ, ибо сам себя относит к «средним» парижанам, как если бы был из удачливых монахов.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 32. Пер. Ф. Мендельсона.

Сие в означенную дату  
Преславный написал Вийон;  
Дворцы, поместья и палаты  
Без сожаленья роздал он,  
А сам, — не сливками вскормлен, —  
И тош, и черен, как голик,  
Деньгами скудно наделен,  
Предела бедности достиг\*.

## НАВАРРСКИЙ КОЛЛЕЖ

Дела идут неважно. И однако он отправляется в Анжер и даже уточняет, что едет в «далекую страну». По правде говоря, для этого есть причины; одна из них такая: в Париже взломщика Вийона будут искать, а другая — этот самый Вийон собирается устроить в Анжере еще один грабеж со взломом. Он во всеулышание объявляет о поездке в Анжер, возможно, для того, чтобы его не искали там, где он будет на самом деле, то есть или в Бур-ла-Рене, или еще где-нибудь неподалеку от Парижа. Во всяком случае, он, кажется, чего-то боится, но в то же время спокойно, в ожидании Рождества, пишет свое «Малое завещание». Однако человек, который знает, что его ищут, вряд ли будет сочинять стихи, перед тем как улепетнуть. О краже в Анжере вскоре заговорят в Париже, судьи оставят о ней память в своих книгах; но пока что это всего-навсего проект.

Истинная причина, скорее всего, та, о которой он говорит: Вийон уезжает, чтобы не видеть больше Катрин. Раненый любовник покидает страну своих горестей. Но прежде чем покинуть Париж, он дает, или дал, дополнительное объяснение сей меры предосторожности — «удаления»; дело в том, что он распотрошил сундуки университета. Можно ли предпринимать путешествие в Анжер, когда твой кошелек пуст?

У магистра Франсуа де Монкорбье нет средств, чтобы стать студентом, и в особенности чтобы стать учеником очень известного наваррского коллежа, единственного, который ни разу не закрыл своих дверей в самые трудные времена, когда Париж вел войну. Что касается Вийона, то его связывали с Наваррой достаточно прочные узы, так что там он себя иностранцем не чувствовал. Его бывший учитель Жан де Конфлан ведает теологией. А Жофруа ле Норман — бенефициант Сен-Бенуа-ле-Бетурне — собрал под свое крыло всех грамматиков Наварры. Эти места и новые люди не пугают Вийона: он знает, что в коллеж входят, как на мельницу, и что через него проходит такое мно-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 32. Пер. Ф. Мендельсона.

жество учащихся, что никто ничему не удивляется. Всяк, кто хочет выпить и закусить, приезжает в Наварру. Впрочем, возможно, туда приезжают и чтобы послушать лекции.

Эволюция превратила и старый коллеж, основанный в XIII веке Робером де Сорбоном, в настоящий теологический научный центр, где возрождение христианского аристотелизма — как Фомы Аквинского, так и мэтров, пришедших из нищенствующих орденов, — в 1460-е вновь дает жизнь схоластической науке, которую слишком часто замуровывали в формализм логических рассуждений.

У Сорбонны и Наварры одна общая черта: туда не берут юристов. Оба университета проповедуют бесплатный интеллектуализм. Нет — судьям, адвокатам и нотариусам! Там обучают ораторов, писателей, философов — их называют логиками — и теологов. Оттуда выходят образованные люди, способные мыслить и анализировать. Достаточно сказать, что Сорбонна и Наварра поставляют парижскому обществу элиту и довольно много безработных.

Наварра отличается менее выраженной склонностью к «Священной странице» — теологии. Там акцент ставится на логике и сопутствующих ей свободных «искусствах» «трех ветвей»: грамматике, риторике и диалектике. Коллеж играл не последнюю роль в великие времена истории — в блистательные годы становления французского гуманизма при Карле VI и его брате Людовике Орлеанском. Здесь похоронен Никола Кламанжский, под одной из плит бокового придела. Гордость библиотеки составляют книги, завещанные Пьером д'Айи и Жаном Жерсоном.

Гордо возвышаясь в начале улицы Сент-Женевьев и занимая большую площадку, специально оставленную для этой цели Жанной, которую нарекли королевой Наваррской и чье мужество с Филиппом Красивым сделало ее королевой Франции, Наваррский коллеж забыть о себе не дает. Совершенно естественно, что Вийон и его друзья вспомнили о нем, когда стало нечего есть. В коллеже, про который говорили, что в большом сундуке ризницы было чего хранить, денюжки водились. И молодые хулиганы рассудили: чем умирать с голоду, лучше украсть.

Их было пять школяров с разным достатком. Колен де Кейо был клириком и без особых призваний; знали его больше как искусного игрока — он крапил кости, — университетских заслуг у него не было. Епископ без конца вырывал его из когтей судебных чинов, но поистине Колену де Кейо нужно было очутиться в большой опасности, чтобы приняться за учение. В детстве он прекрасно изучил искусство, необходимое при отсутст-

вии монет в кошельке; отец у него работал слесарем. Его напарник Пти-Жан был экспертом по части «взлома». Вечером под Рождество 1456 года два человека ужинали в таверне «Мул» близ улицы Матюрен и столкнулись там с двумя школярами, которые довольствовались весьма скромной едой, — с Франсуа Вийоном и его старинным приятелем Ги Табари.

В «Завещании» поэт завещает Табари переписку некоего «Романа о «Чертовой тумбе». Может, Табари заработает несколько монет перепиской.

Вийон и Табари пришли поужинать в «Мул» и принесли с собой кое-какие припасы: так было дешевле; соседи по столу убедили их пойти на одно очень выгодное и безопасное дело: обобрать ризницу в Наваррском коллеже. Один мошенник — монах, более или менее порвавший с монастырем, — примкнул к группе; звали его Дом Никола.

Пятеро грабителей начали с того, что сменили одежду. Они перепрыгнули через стену, окружавшую двор дома одного буржуа, нашли там лестницу, оставили то, что их выдавало как клириков — длинные платья, плащи — поручив их заботам Табари. Была холодная декабрьская ночь, они переоделись в легкие платья. Лестница оказалась бесполезной: стены Наваррского коллежа были высокими. Пробил час отхода ко сну, все стихло. Два взломщика взяли на себя заботу проникнуть в часовню и открыть сундук. Вийон стоял на страже во дворе. История умалчивает о том, что делал пикардийский монах.

В полночь все оказались подле богатых одежд. Табари увидел маленький мешок из холста, его приятели сказали, будто в нем около ста экю. Табари за участие в этом предприятии выделили десять экю, он посчитал себя счастливецом, ведь несколько часов назад у него и одной монеты не было, так что он не смог даже пообедать по-настоящему. Когда заговорили о том, чтобы завтра вместе пообедать, все изменилось.

Понял ли Табари, что за десять экю покупали его молчание? Чтобы поставить все на свои места, ему пригрозили: если он проговорится, его попросту убьют.

Когда Табари ушел, оставшиеся разделили между собой добычу. Всего оказалось пятьсот экю.

Сундук ризницы коллежа открывали не каждый день. Только в марте забеспокоились, обнаружив, что замки на сундуке не в порядке. Но открыть его, как ни старались, не смогли. Полиция немедля начала розыск: занимались делом двое судейских из Шатле.

Розыски ни к чему не привели, установили только, что ворами были учащиеся. Они пытались, но тщетно, взломать замок на тяжелой крышке сундука с утварью, правда, в конце концов



им удалось открыть его с помощью рычага. Четыре замка большого деревянного сундука, обитого железом, и три замка шкапулки из ореха, находившейся в большом сундуке, были испорчены. Девять слесарей, призванных для экспертизы, сошлись на одном: у воров не было ключей...

Персонал коллежа почувствовал некоторое облегчение: ключи хранились надежно. Оставалось только признать, что грабители хорошо знали, где и чем можно поживиться. В сундуках валялись лишь списки сумм, недавно хранившихся в нем: сто экую принадлежало старому декану факультета теологии, шестьдесят накоплены церковным сторожем, триста сорок экую составляли неприкосновенный фонд коллежа.

В Париже быстро разнеслась весть о том, что из Наваррского коллежа похищено пятьсот экую, чему Ги Табари немало удивился.

Прошло два месяца. Однажды, выпив, Табари расхвастался. Он завтракал в «Стуле», недалеко от Малого моста, где встретил одного славного сельского священника, только что прибывшего в Париж, а именно Пьера Маршана из Парэ-ан-Бос, и, почувствовав себя большим ловкачом, решил просветить его. Священник был и не глуп, и не наивен. Он заставил Табары разговориться.

Табари представился как «мэтр Ги» и заявил, что большой специалист по взломам. Он говорил, что совершил пропасть разных взломов. Правда, некстати выбросил в Сену весь свой инструмент, так что показать его не может, но это и неважно: священник должен ему верить, впрочем и продавец инструментов известен.

Табари доставляло удовольствие выставлять себя знатоком воровского дела. Так как он сам увлекся своей игрой, ему показалось, что он завербовал ученика. Пьер Маршан выказал самый живой интерес, объявил, что хочет войти в столь процветающее дело, и захотел узнать о нем побольше. Табари привел его в «Сосновую шишку» в Ла-Жюиври, где они встретили нескольких маленьких мошенников, скрывавшихся в этом доме — ведь полиции и в голову бы не пришло их там разыскивать. Маршан был представлен эксперту по взломам, «молодому человеку» — тому стукнуло уже двадцать шесть, — речистому и длинноволосому. Священник из Парэ сделал вид, что в восторге от столь рано созревшего таланта новых друзей. На самом-то деле все было враньем, начиная с инструментов и кончая делами.

Мэтр Ги наконец предложил один надежный план. Они пойдут к августинцам грабить мэтра Робера де ла Порты. Их соучастник, августинец, введет их под видом монахов, в монашеских рясах.

Пока шли, священник узнал, что совсем недавно они очистили жилище другого августинца, Гийома Куафье. Он подумал: автором содеянного был не кто иной, как его компаньон. Безмерно счастливый от того, что без труда так высоко вознесся, Табари расхорохорился и приписал себе вышеупомянутую кражу: деньги Куафье, в частности, понадобились ему для того, чтобы выйти из Фор-л'Эвека, куда его спровадили из-за всех этих наделавших шуму дел. Были и соучастники, но он один воспользовался украденным. Он счел нужным уточнить: тюремщик епископа стоил ему восьми экю.

Частично рассказ оказался правдивым. Но был ли Табари замешан в последних кражах, о которых говорил весь Париж? Кое-что он придумывал, особенно упирая на свою, якобы главную, роль в описываемых событиях.

Вот так-то юре Маршан и познакомился с тайной наваррского дела. Они похитили сокровища, но оставили, по недоразумению, нетронутым сундук, где хранилось четыре или пять тысяч экю. Непременно нужно к ним вернуться! Табари ведь забыл сказать, что его роль сводилась к роли сторожа у вешалки...

За другими сокровищами понадобится пойти в церковь Матюрен. В первый раз собаки подняли такой лай, что пришлось убежать, но Табари и его друзья не прочь повторить. В этом деле Табари не проявил большой активности. Однако действительно о многом слышал и был в курсе событий.

Мало-помалу Пьер Маршан познакомился со всеми причастными к успехам и неудачам, о коих с таким удовольствием поведал болтливый мэтр Ги. Так его знакомцем стал мэтр Жан; Пти-Жан, конечно, настоящий эксперт по взлому в наваррском деле. Маленький, темноволосый, бородатый, Пти-Жан рассказывал подробности как профессионал. Он предложил Ги Табари и его новому другу участвовать в одной *экспедиции*, бесприкрышной, по его словам. Свидание было назначено в Сен-Жермен-де-Пре.

Речь шла о непростом деле. Предстояло освободить от содержимого сундука одного старого священника, у которого в Анжере был свой дом и у которого точно водились деньжата. Его кубышка насчитывала от пяти до шести сотен экю. Один из членов банды уже отправился в путь, дабы все как следует разузнать. Когда он вернется, станет ясно, стоит ли игра свеч. Разведчика звали магистр Франсуа Вийон. А пока, в ожидании оного, готовили инструмент.

А что же наш священник? Хотел ли он стать взломщиком? Не закрался ли страх в его душу? Или он решил все-таки удовлетворить свое любопытство? Как бы то ни было, но 17 мая

1457 года он явился в Парламент и попросил, чтобы его выслушал дежурный следователь, им в тот день был Жан дю Фур.

Табари арестовали 25 июня 1458 года. Он сознался во всех кражах, совершенных в Париже, и отрицал анжевенские планы. 7 июля его подвергли допросу, он клялся, что никогда не знал никакого Пьера Маршана, но признал, что служил посредником между лжеавгустинцем и ловким изготовителем отмычек по имени Пти-Тибо. Пти-Жан, Пти-Тибо и мэтр Жан, по всей вероятности, был одним и тем же лицом.

Когда ему прочли донос Маршана, Табари стал защищаться иначе. Петушиться было ни к чему. Он признался в участии в наваррском деле, но утверждал, что его роль была незначительна. И на этот раз он не лгал.

По мере того как допросы под пыткой продолжались, мэтр Ги умножал свои признания. Когда же его голым положили на «доску», он открыл все. Его отправили на кухню, где напоили теплым бульоном. Вся операция велась под названием «кухарничать». Важно было, чтобы подсудимому достало сил; пытка должна была заставить его разговориться, она не была самоцелью.

Болтливый Ги Табари выпутался. Его мать выплатила дважды по пятьдесят экю, и теологический факультет этим удовлетворился. Примитивному мошеннику Ги были благодарны за то, что правосудие смогло выбить из него истину. Колен де Кейо, которого к этому времени полиция разыскала и допросила, тоже выпутался.

Но был ли в Анжере Вийон? Действительно ли «Малое завешание» — грезы разочарованного в Париже и парижанках влюбленного юноши? Или так развлекался вор, вынужденный бежать и попытавшийся облечь свое бегство в поэтическую форму «бегства», предписываемого канонами куртуазной любви? А «опасности», которым он подвергался, что это: желание умереть из-за «жестокой» или боязнь виселицы? Ни Вийон, ни Табари не придумали путешествия в Анжер. Нам неоткуда узнать о мотивах, толкавших мэтра Франсуа к дому его дяди, анжевенского священника: забыть? забыться самому? пополнить кошель? Можно полагать, что и то, и другое, и третье.

Поэт узнал о признаниях, сделанных Табари. Он представил себе, как его приговаривают к пытке и к веревке, и не стал упрекать своего друга. Кто поступил бы лучше на его месте? Но какого черта Табари так разболтался и все преувеличил? Позже он ответит за это: Вийон изъязвит его в «Завещании», совершенно так же, как и в случае с мэтром Гийомом де Вийоном. Франсуа завещал ему... книги, которых у этого вечного должника, понятно, никогда не было.

Вот книги, все, что есть, бери,  
Возьми роман мой «Тумбу Черта»,  
Который мэтр Ги Табари  
Переписал рукой нетвердой.  
В нем я рассказываю гордо,  
Без нежных рифм и плавных стрóf,  
О том, как страже били морды  
Ватаги буйных школяров\*.

Хотел ли Вийон отомстить Табари этими стихами, над которыми еще долго будут ломать голову толкователи? Такого «романа», конечно, никогда не существовало. Вийон не считает Табари достойным такого «наследства» или недвусмысленного упрека. Но он играет на слове «переписал» и вкладывает в это понятие иронию, бичующую человека, который предал своих товарищей. В отношении Вийона к измене есть место состраданию. В глубине души Вийон отдает себе отчет в своей удачливости: в июле 1458 года лучше было находиться в Анжере — или другом месте, — чем в Париже.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 71. Пер. Ф. Мендельсона.

**ИБО ТОТ, ЗА КЕМ ОХОТЯТСЯ, БЫЛ  
КРАЙНЕ НЕРЯШЛИВ...**

**КОКИЙЯР**

Мэтр Франсуа оказался на распутье. Он убил человека, но он не убийца. Он украл деньги в Наваррском коллеже, но в данную минуту он не мошенник. Образ мирного писца, сидящего на пороге своего дома вечером в день праздника Тела Господня, еще не вытеснен образом того, по ком плачет виселица. Они друг от друга на почтительном расстоянии. С обществом людей уважаемых связь еще не прервана.

Каковы бы ни были причины, заставившие его отправиться в Анжер, удача, о которой он мечтает, зависит не только от лома и отмычки. Его старый сосед по улице Сен-Жак, парижский прокурор короля Рене, много говорил ему о короле-меценате, каковым был Рене Анжуйский, и Вийон призадумался над судьбой поэта, которому не приходится воровать ради куска хлеба. Этот прокурор в Шатле по имени Эндри Куро, живущий под вывеской «Золотой лев», раздобыл даже рекомендации, благодаря которым перед Вийоном откроются двери двора, где поклоняются литературе и искусствам. В «Завещании» Вийон будет размышлять на эту тему: человек закона оказал ему поддержку.

Однажды именно в это время Вийон, несмотря ни на что, стал скатываться к профессиональной преступности. Как и многие другие, побоявшиеся оказаться жертвой этих смутных времен, он избирает легкий путь. Семья богача Робена Тюржи, обитавшего в доме под вывеской «Сосновая шишка», где привык бывать Вийон, конечно, без всякого удовольствия узнала сперва о репутации Кристофа Тюржи, игрока и мошенника, а затем о его публичной казни на Свином рынке у ворот Сент-Оноре за то, что он сбывал фальшивые монеты. Благородное семейство писца Ренье де Монтиньи пришло в отчаяние, когда понадобилось объединить усилия всей семьи — людей, состоявших членами Парламента и Ратуши, — дабы попытаться — тщетно! — вырвать из рук палача незадачливого Ренье.

Вийон завещал ему трех охотничьих собак, в насмешку, без сомнения, ибо Монтиньи не имел средств для охоты. Он шесть раз сидел в тюрьмах. Официальное мнение склонялось не в пользу писца, о котором было известно прежде всего, что он один из крапильщиков костей и один из самых ловких во всем королевстве взломщиков сундуков. Епископ Парижа отправился за ним в Шатле, где Ренье сидел отдельно от людей светских, не для того, чтобы его помиловать, а для того, чтобы казнить. На этот раз — а было лето 1457 года — королевский прокурор отказался выпустить мошенника. Писец он или нет — все равно: груз преступлений слишком тяжел, чтобы его могли еще раз оправдать. Украд потир в ризнице Сент-Жан-ан-Грев, он лишний раз подтвердил, что он преступник, а епископ уже от него устал.

Семья Ренье обзаводится прошениями о помиловании виновного. Суд, отметив, что еще никогда перечень столь тяжких преступлений не представляли королю, объявляет письма недействительными. Приговор суда утвержден.

Ренье Монтиньи отказывают даже в праве, которое имел всякий человек благородного происхождения, а именно — чтобы ему отсекали голову. Раз он всего-навсего писец, он не может быть благородным! И вот скандал: его повесили как обыкновенного мошенника.

В это же время у многих на устах было имя Франсуа де Монкорбье по прозвищу Вийон; Вийон осознает, как низко пал, но упрямо стоит на своем. Впоследствии в одной из баллад, которую он напишет на воровском жаргоне, мы увидим в качестве примеров печального конца избранного им пути преступлений тех же самых людей, которые затащили Вийона на этот путь и во многих отношениях превзошли его, — это Ренье де Монтиньи, Колен де Кайо — сын слесаря, бойко орудовавший в Наваррском коллеже. Колен «Лекайе», «L'Ecailler»\* — игра слов тут прозрачна — надеялся, что выкарабкался, заговорив под пыткой. Но он не смог «снять шелуху», то есть провести правосудие. Дело кончилось тем, что палач отрубил ему голову.

Ребятам, рыщущим в Рюэле,  
Даю совет: умерьте пыл,  
Пока туда не загремели,  
Где Лекайе Колен гостил.  
Добро б на дыбу вздернут был —  
Нет, раскололся перед нею,  
Но луковку не облупил,  
Палач сломал бедняге шею.

Напяльте поновой одежду  
И в храм чешите прямиком,

\* «Ecailler» — буквально: «снимать шелуху» (фр.).

А шляться в Монпипо негоже,  
Чтоб не попасть в Казенный дом,  
С которым Монтиньи знаком;  
Там солоно пришлось злодею:  
Как ни вертелся он волчком,  
Палач сломал бедняге шею\*.

Вийон скитался по стране, и его язык — язык шайки, которая орудовала во Франции в послевоенные годы. Однако жаргон Вийона, этот «веселый жаргон» воров, — словесная игра, где поэт блистателен, и ничего другого в этом нет.

Существует три языка Вийона. Язык «Малого завещания», «Большого завещания» и баллад: это словарь магистра литературы и словесных наук, который читал «Роман о Розе» и писал одинаково хорошо как для принцев, так и для судей. Язык баллад — жаргонный, это язык, заимствованный у случайного бродяги, выросшего не в этой «среде», как будет принято потом говорить; и поэт развлекался, смакуя слова с привкусом новизны. Повседневного языка Вийона мы не знаем, это язык Латинского квартала в пору, когда он перестает говорить на латыни. Но в «Завещании» арго отсутствует, так же как и в последних стихотворениях.

В течение этих пяти лет, когда, разыскиваемый за кражу, Вийон стал еще более своим в воровской среде, голова у него оставалась холодной. Точно так же, как он фиксирует каждую ступень своего падения и всякий раз предупреждает об опасности своих дружков, он контролирует свою лексику и не смешивает жанров. Вор с ворами, он благороден с благородными. Арго — не его язык, это просто новая гамма в арсенале выразительных средств. Таким образом, одна и та же мораль находит свое выражение и в воровском жаргоне баллады-обращения к убийцам-кокийярам, и в литературном языке баллады «Добрый урок пропащим ребятам», своеобразного «утешения» из «Большого завещания».

Красавцы, не теряйте самой  
Прекрасной розы с ваших шляп!  
Сомнет ее судья гнусавый,  
Останется вам конопля;  
В Рюэле холодна земля,  
И в Монпипо грязь по колено,  
И всюду вервие смолят  
Для вас, как для Кайо Колэна.

Играют там не в дурака,  
Там ставят жизнь и душу тоже,  
Честь проигравшим высока  
И смерть тяжка, — помилуй Боже!  
И тем, кто выиграл, на ложе  
С Дидоною из Карфагена

\* Пер. Ю. Стефанова.

Вовек не лечь... Так для чего же  
Все отдавать за эту цену?

Теперь послушайте меня,  
Совет я добрый дать хочу:  
Пей днем, пей ночью у огня,  
Пей, если пьянство по плечу,  
И все, что есть, — сукно, парчу, —  
Спусти скорей! Придет пора,  
Кому оставишь? Палачу?  
От воровства не жди добра\*.

Вийон опытный исследователь в школе аналогий: он играет разными языковыми оттенками, как художник, разрисовывающий собор, играет символами. На хорошем французском пишет он, что Колен спал с лица после своих развлечений в Монпипо и Рюэле. На жаргоне — как в Рюэле с его друзьями из «шайки» сняли шелуху. Рюэль расположен у входа в Париж, это селение, часто посещаемое злоумышленниками, а Монпипо находится рядом с Мен-сюр-Луар, это крепость, которую и не разглядишь издалека. Но отправиться в Монпипо — значит изготовить крапленные кости, а «брыкаться» в Рюэле — значит отбиваться, то есть применить оружие. Ошибка Колена в том, что он «развесил уши», поверил, будто игра стоит ставки. Мораль извлекается, таким образом, на двух языках: кого «плохо приняли», тот уж не отыграется, сказано на одном, и «принц, остерегись», — на другом.

Следует ли рассматривать произведения Вийона на жаргоне как своеобразный моральный итог, как полагают некоторые комментаторы? Было бы преувеличением как считать, что Вийон слишком серьезничает в своих сочинениях, написанных на жаргоне, так и полагать, что жаргонные баллады принадлежат научной схоластике. Он не более озабочен передачей разговорной речи, чем попыткой «зашифровать» язык своих «обращений». Людям, привыкшим к жаргону, недоступна многозначность смыслов — исторического, теологического, этического — любых схоластических текстов и религиозных образов в поэзии. Человека, привычного к жаргону, «мэтром» не назовешь, точно так же говорящие на правильном языке «мэтры» не знают воровского жаргона. Вийон искушен жизнью — и как человек искусства, и как вор, — и он легко обращается и со словами, и с идеями. Но людей, владеющих обоими языками, мало, и поэт об этом не забывает.

Игра идет дальше. Дурные знакомства Вийона — одно, а его фантазия — другое. Возможно, он выучил аргю, играя в труппе бродячих актеров, к которой присоединился во время скитаний, а возможно, в шайке шалопаев, где встретился с молодыми людьми, гораздо худшими, чем он сам. Жулик, связавшийся с

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 110—111. Пер. Ф. Мендельсона.



еще большими жуликами, поэт вряд ли был таким же бандитом, как профессионально говорящие на жаргоне «кокийяры».

В поэте-бродяге, которого обстоятельства бросили в тряси-ну преступлений, многие готовы видеть отпетого бандита. Конечно, пути Вийона и матерых преступников в какое-то мгновение пересеклись. Однако воровской язык — недостаточная улика. С таким же успехом Вийон пользовался и диалектом жителей Пуату, но ведь никому не пришлось в голову считать его жителем этого городка.

Решили, что нашли убийственный аргумент, заметив имя Вийона среди множества преступников, зарегистрированных магистром Жаком Рабателем, который составил анкету деяний шайки проходимцев. Читаем: «Симон Ле Дубль, у которого рассечена верхняя губа». Всем известно, что Вийон поплатился за участие в «деле» во время праздника Тела Господня рассеченной губой. Что касается самого имени «Симон Ле Дубль», то его вывели из анаграммы «мэтр Франсуа Вийон», так что «Симон Ле Дубль» превратился в «Мэтр Вийон». Ведь и у самого Вийона Колен де Кайо становится Колен дес Кайо, или Колен д'Эккейе, и даже Колен де Л'Экай или Колен де ла Кокий.

Следует напомнить, что слово «мэтр» обычно ставится перед собственно именем, а не перед фамилией или псевдонимом. Разве не говорят «мэтр Франсуа» вместо «мэтр Вийон»? И разве не правда, что среди тысячи с небольшим преступников найдется не один, у кого на верхней губе шрам? Ничто, впрочем, не доказывает, что у Вийона остался от удара кинжалом именно такой шрам, как его описывают. В заявлениях самого Вийона, которые дали жизнь второму прошению о помиловании, он отрицает, что у него кровоточила губа, хотя и признавался в этом несколькими днями раньше. Пораненная губа не означает, что лицо изуродовано на всю жизнь. Вийон осторожно рассказывает о себе в стихах, в некоторых из них рисует свой подлинный портрет, совершенно не заботясь о том, чтобы выставить себя красавцем, но нигде он не говорит о рассеченной губе. Он видит себя маленьким, темноволосым и невзрачным. Но никогда — со шрамом. «Бедняга Вийон» уж наверное воспользовался бы случаем, чтобы вызвать к себе сострадание.

## БРОДЯГА

Не подлежит сомнению, что в 1457—1461 годах Вийон был обыкновенным бродягой, и больше никем. Его обращение к сильным мира сего, как мы увидим дальше, потерпело неудачу. Его средства существования сомнительны, но они еще не самые

позорные. Он — нищий. И это приводит его в тюрьму. Промышляя всякими уловками, иногда прибегая к мошенничеству, он не гнушается и воровством, участвует в ночных вылазках, однако это не бандит с большой дороги. Он вымогатель, может торговать женским телом, но настоящим сводником никогда не был, может участвовать в какой-нибудь аванюре, но он не распутник. Да, он мелкий вор, но не разбойник.

Здесь историк должен, впрочем как и везде, остерегаться смешения времен. Речь не идет больше об эпохе, когда Карл VII организовывал свои «приказные роты» и привлекал к себе на службу лучших военных, обращая их против других военных. Именно при Карле VII в 1445 году был выпущен указ, в котором предлагалось «провести» одну за другой пятнадцать — а вскоре и восемнадцать — кампаний, дабы создать королевскую армию, коей не свойственны были бы слабости армии временной, и распустить все наемные группы, готовые пожить за счет населения, как во время войны, так и в мирное время, освободить от них дороги, на которых грабят и разоряют, имея лишь два резона: во-первых, надо жить, а во-вторых — чем-то заниматься.

Грабежи, конечно, так вдруг не прекращаются. На больших дорогах Французского королевства всегда околачивались люди без ремесла, кормившиеся лишь надеждой на новые конфликты. После Столетней войны, окончившейся в 1453 году, возмущение дворян пошло на убыль, уже с 1441 года набор в армию был редок. Лига «Общественного блага» 1465 года, решение споров между Бургундией и Лотарингией обеспечивали профессиональным военным лишь краткосрочные контракты. Для большинства французских наемников Бедфорда и короля Буржского оставался в конце концов один выбор: стать либо крестьянином, либо нищим.

Франция 1460-х годов — страна, вновь отстраивавшаяся. Везде требовалась рабочая сила. Спрос на строителей в Париже между 1440 и 1460 годами удвоился. Среди «старых солдат», в большинстве своем взявшихся за возделывание земли, а она все еще в цене, и ставших оседлыми благодаря указу короля, мало осталось тех, кто рыщет по дорогам — где и Вийон искал счастья, — тех, кто грабил и наводил ужас на предыдущее поколение.

Конечно, бандитизм не исчез вовсе. Несколько организованных банд все еще гуляют по стране. По милости одного чрезвычайно усердного прокурора мы хорошо знаем о «кокий-ярах», сеявших страх в Бургундии в 1455—1456 годах. А есть еще и «акулы» в долине Луары, и «распутники» в Лангедоке. Они внушают ужас, и о них говорят. Возможно, им приписыв-

вают больше злодеяний, чем они совершили. Без сомнения, они не слишком-то организованы, ведь это вовсе не соответствует духу авантюризма.

Дороги средневековой Франции, которые бороздил Вийон, не имели ничего общего с разбойничьими. Двадцатью годами раньше крестьянин, идя к своему полю, рисковал жизнью, так же как и гонец, отправляясь из Парижа в Этамп. В 1460 году были восстановлены торговые отношения. По Сене и Луаре сновали корабли. Дороги были удобны и для повозок, и для вьючных животных. Но до благоденствия было еще далеко, и в Париже пока сокрушались: преступники все еще совершали небольшие вылазки. Однако они были у всех на виду, и никто не жаловался, как прежде, на перехваченные средь бела дня обозы, ограбленные экипажи, торговцев не трясли, как грушу, на каждом перекрестке. Судов было пока не очень много, но они приходили в порт, а набережные порта, как речного, так и морского, были заново вымощены.

Бродяге Вийону довелось повстречаться с другими шалопаями, но он не из-за бродяжничества занимался грабежом.

Он скорее докучает, чем внушает опасения, скорее бродяга, шатающийся без дела, чем задира, скорее школяр-голодранец, чем представитель «кокийяров»; то есть поэту хотелось казаться тем, чем он на самом деле не был. Не являются ли баллады, написанные на жаргоне, школьным упражнением, только в особом смысле: жалкие потуги мелкого воришки, который ставит на «большую шайку»? Как если бы случайный актер играл роль нищего, удалившегося от дел...

Мораль жаргонных баллад подтверждает эту мысль. С чего бы вдруг «акуле» обращаться к себе подобным с такими наставлениями? Кстати сказать, воры никогда не слышали таких призывов к осторожности: баллада — не письмо, смешно думать, что какого-либо стихотворения Вийона было достаточно, чтобы всполошить шалопаев, коим угрожала опасность. Вообразить, что баллады предупреждают об опасности, — в высшей степени надуманно. Преступники, действовавшие в районе Парижа, не нуждались в напоминании о том, что полдюжины их коллег принародно повешены.

Речь идет о морали, о морали, систематически навязываемой — школяру себя не переделать, — и о галерее преступников, а она не что иное, как «типологизация» вора, под стать трактату о пороках и наказании.

В Париже, на веселеньком глаголе,  
Черным-черны, болтаются шуты,  
Развеской этой перекатной голи  
Лихие ангелочки заняты.  
Глядят шуты на землю с высоты,

Их ветер тормозит, едят их мухи —  
Ах, незавидна участь горемык!  
Ведь в бездну ада рвутся напрямик  
Злодеи эти, эти корноухи.  
Не лезь, не лезь в пеньковый воротник!\*

Мошенникам, ворам, голодранцам Вийон кричит: «Берегитесь веревки!» Разбойникам, убийцам и другим любителям пользоваться разного рода оружием он напоминает о том же, но в других выражениях.

Принц, коль от музыки блатной  
Я вас отвадить не сумею,  
Спознаетесь вы со вдовой,  
Когда палач вам сломит шею\*\*.

Взломщикам, специалистам по сундукам он советует беречь сон буржуа:

Принц-медвежатник, принц-пролаза,  
Разуй глаза, беря сундук:  
А вдруг хозяин спит вполглаза  
И вскочит на малейший стук?\*\*\*

Он дает всем мудрый совет: быть всегда начеку. И перво-наперво: не доверяться трактирщикам, которые спаивают бедолагу, опустошают кошелек и передают в руки полиции.

Берегись, гольтыба,  
Столба,  
Бойся пеньковой петли,  
Лги и юли,  
Чтоб не спать на соломе сырой,  
Вовремя хайло закрой\*\*\*\*.

Тем, кто взламывает печати на больших сундуках, кто открывает замки — изготовителям «фомок», — поэт напоминает, играя на двух смыслах слова «кофр» (coffre)\*\*\*\*\*, что тяжелые укрепленные двери ведут к закрытым наглухо темницам. Риск в том, что тут много лишних: всякий соучастник — возможный болтун.

Принц с козьею ножкой, будь всегда на стрёме,  
Не доверяй подельщикам ни в чем:  
Сплутуют в кости — и в казенном доме  
Окажетесь все вместе под замком\*\*\*\*\*.

Фальшивомонетчикам достаточно назвать пытку, которую обычно к ним применяют. Подделывать королевскую монету —

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

\*\*\* То же.

\*\*\*\* То же.

\*\*\*\*\* Французское слово «coffre» означает как «сундук», так и «грудная клетка».

\*\*\*\*\* Пер. Ю. Стефанова.

это покушаться на верховную власть суверена: монета — знак публичной власти, и не стоит вносить смуту в общественный порядок, где все экономические взаимоотношения предполагают наличие твердых эталонов. Чаще всего фальшивомонетчики кончают в котле Свиного рынка.

Принц, дай Бог ноги из свинарен,  
А если не поможет Бог,  
Ты будешь, как свинья, ошпарен:  
Ох, ну и крут там кипятик!\*

Мораль бесхитростна. Глупый малый, играющий в бандита на большой дороге, прекрасно видит, что опыт одних ничему не учит других. К чему приводить перечень преступлений и наказаний! У бандита все равно один конец — повенчаться с веревкой. Можно сколько угодно втолковывать ему все, что угодно, — он лишь пожимает плечами.

О принц плутов, не слушай тары-бары,  
Что, мол, дружны с удачей кокийяры:  
Придет конец — волосья поздно рвать,  
И нет для них гнусней и горше кары,  
Чем свадьба со вдовой. —  
А мне плевать!\*\*

Несмотря на скудость наших знаний об этих годах Вийона, когда он метался по всей Франции из-за боязни вернуться домой, вполне возможен один вывод: речь идет, скорее, об отсутствии удачи, чем о преступлениях. Всюду — провал, для мэтра Франсуа не было выхода. Вийон хотел видеть себя поэтом, мечтал о дворах. Однако туда его не допускали. Он занимался кое-каким ремеслом, но общество его не поощряло. Вийон влачил жалкое существование. Попрошайка у принцев, временный работник, бредущий от деревни к деревне, — вот каковы его занятия и взаимоотношения с обществом, и вряд ли такого человека назовешь бандитом. По своей склонности он забуддыга, а по необходимости — вор; Вийон знает, что такое тюрьма, где обретаются мелкие воришки.

Однако между 1455 и 1457 годами в сети правосудия попадают главари шаек, жертвы энергичного прокурора города Дижона Жана Рабастеля. Из своей комнаты в Сен-Бенуа-ле-Бетурне, из ее затишья, Вийон наблюдает, как банда постепенно рассеивается. Все говорят об этом, сперва в Бургундии, затем в Париже. Сама собой Вийону приходит в голову мысль, будоражащая его воображение, сыграть роль кокийяра, чтобы попы-

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

таться определить границы честного и бесчестного. Но, пожалуй, Вийон больше думает, как бы ему наесться теплых булочек, — стихи всегда при нем.

## МАРШРУТ

Сначала Вийон направляется в Анжер, бежит от кары короля и принимает вид путешествующего любовника — условный тип, так хорошо известный из куртуазной поэзии; в это время он возвращается к последним стихам «Малого завещания», на дворе разгар зимы 1456/57 годов. Набожный дядя поэта питает к нему сдержанную враждебность. Так что — обворовать дядю или кого-либо другого? Город богат возможностями всякого рода.

Для такого школяра, как Франсуа, Анжер — это место, где находится университет, основанный веком раньше братом короля Карла V герцогом Людовиком I Анжуйским. Репутация Анжевенского университета во время царствования внука Людовика, короля-герцога Рене, превосходна. Кабаков в городе много, вралей тоже. Пословица говорит, к радости парижских писцов: «Анжер — город с невысокими домами и высокими колокольнями, с богатыми шлюхами и бедными школярами». Анжевенцы не согласны, но Вийон не анжевец. Бедный школяр будет там как у себя дома, хотя сам хотел бы поскорее снова приступить к занятиям.

Поэт мечтает о том, чтобы ему платили за его талант. Двор Рене Анжуйского блестящ, и герцог-король, поэт, художник и музыкант — столь же просвещенный меценат, сколь и великодушный человек. Что ж из того, что герцог Анжуйский, граф Провансальский, король Иерусалимский и Сицилийский, король Рене потерял свое итальянское королевство и никогда не видел своего гипотетического восточного королевства; он все равно самый великий из французских принцев после герцога Бургундского. В Анжере, как в Тарасконе, при его дворе собраны прекрасные умы, занятые проблемой, как приятно убить время. Сам король Рене — средний поэт, талантливый художник, в общем разбирающийся в искусствах меценат. Если Анри Куро порекомендует Вийона своему хозяину королю Сицилийскому, это не вызовет удивления. А для поэта путешествие в Анжер может сослужить добрую службу: он заработает себе на жизнь.

Причины провала нам неизвестны. Очевидно, что меценат ничего не сделал для поэта, приехавшего из Парижа. Вийон вновь уезжает в поисках удачи, но ведь он не столько шалопаи, сколько поэт, а потому бродит по дорогам, ведя тяжкую жизнь, не имея ни ремесла, ни покровителей. Грабитель без

призвания, он входит в мир профессиональных бандитов, когда банда стала уже рассеиваться. Он будет воспевать бандитов, но чего от висельников ожидать? Друг прокурор приоткрыл ему двери двора. И двор он покинул таким же бедняком, если только, конечно, входил туда.

Маршрут этих его пяти лет нам известен. Вийон покидает Париж в первые дни 1457 года и возвращается обратно в последние недели 1461-го. Между этими двумя датами он появляется то здесь, то там. Он исходил вдоль и поперек долину Луары, эту Францию принцев, откуда продолжительные войны и парижские потрясения вымели на какое-то время некоторую часть аристократии. От герцога Бретонского Вийон попадает к герцогу Бурбонскому, минуя герцога Анжуйского и герцога Орлеанского; Франция 1430 года была поделена на множество герцогств: поэт прошел и через ряд высоких судов, довольно равнодушных к тому, что скажет прево Парижа. Нетрудно понять, чего мог там добиться беглый бродяга. Франция 1460 года — не Франция 1430-го, но правосудие не меняется, как и нравы принцев. Тот факт, что часть знати еще не совсем восстановленной столицы проживает в долине Луары, оправдывает утрату интереса к Парижу. Мода следует необходимости: нет больше нужды устраиваться в Париже.

Дошел ли Вийон до Бретани? По крайней мере, он похваляется своей удачей в Сен-Женеру близ Сен-Жюльен-де-Вувант, поэтому можно предполагать, что названия этих деревень употребляются им не только для рифмы. Может быть, поэт устроил наконец свою жизнь в качестве разносчика? В «Завещании» он скажет «бедный разносчик из Рена» — известно, что множество воров принимают обличье бродячих торговцев, чтобы наметить себе жертву и подготовить свой «выход», а затем — чтобы сохранить краденое и скрыть его перепродажу.

Очень похоже, что Вийон дважды посещал двор герцога Орлеанского в Блуа и нашел там гостеприимство, аудиторию и, кажется, даже пансион. Но вот в Бурбоннэ он как будто бы не попал, и при муленском дворе не обрел того, чего так недоставало в Анжере и что чуть не далось ему в Блуа: безопасности.

Он путешествовал. Он видел Сансерр и заметил в деревне, соседствующей с Сен-Сатуром, любопытный памятник; это, скорее всего, были римские руины, а фантазия местного люда сделала из них великолепную могилу легендарного гиганта Футеора.

Где окончилось путешествие: на берегах Роны или в центре Дофинэ? В последнем прощальном слове «Завещания» Вийон говорит о своей жизни как о блуждании по пыльной дороге. Его судьба была лишь скитанием изгнанного отовсюду оборванца-поэта, оставляющего на всех кустах «отсюда до Руссильона» ключья своей незамысловатой одежки.

По правде говоря, мы ничего не знаем об этих скитаниях поэта и у нас нет ни одного точного свидетельства о его пребывании где бы то ни было, если только не считать Блуа и тюрьму Мён. Сен-Женеру, Сен-Жюльен-де-Вувант, Рен, Руссильон постоянно у него на языке, но поэт извлекает эти названия из своей памяти, возможно, не благодаря бродяжничеству, а в связи с рассказами своих братьев. Они его поразили. Почему? Необычный взгляд на вещи всякий раз заставляет его утверждать то одно, то другое, историку же остается теряться в догадках.

## ДОРОГА И ВЫМЫСЕЛ

Итак, из Сен-Сатюра в Берри. Хорошо известно, что из Блуа в Мулен дорога идет вдоль Сансерра. Путешественник знает, что Сансерр расположен буквально над Сен-Сатюром, а потому кажется, что образ «под Сансерром» родился у очевидца. Но главное для него не точность в деталях, а нескрываемая злоба и желание оскорбить свою «дорогую Розу», к которой он обращается. Поэт полагает, что у нее нет ни сердца, ни чести. Она не знакома с этими понятиями даже понаслышке. И предпочитает другое. Что именно? Любовь ради денег. Он горько иронизирует: она богаче, чем он. И у него нет ни эю, ни щита: ведь щитом называют монету, а венерин холмик — эю Венеры. Вийон устал от жестокой чаровницы и готов уступить ее гиганту Футеору.

Припомни лучше о Мишо —  
И в Сен-Сатюре под Сансерром  
Ты порезвишься хорошо  
С его наследником Футером\*.

Мишо — это родовое имя, имя распутника. «Прыжок Мишо» — половой акт. Футеор — это персонаж фаблю, хорошо известный любителям своей кипучей мужественностью. Где же ему еще быть похороненным, как не в Сен-Сатюре, который по звучанию напоминает слово «сатир», между тем как Сансерр рифмуется с Футер?

«Большое завещание» завершается темой нищеты, где слово поэта особенно полновесно, ибо речь идет о нем самом. Вийон перестает шутить. Вся его одежда — лишь лохмотья, но не потому, что «ветер дружбы» отнял у него весь гардероб. Какое уж тут завещание, ведь поэт живет в нищете; оплакивая свое несчастье, он заявляет о желании умереть. Близкая смерть — не следствие

\* Пер. Ю. Стефанова.



болезни. Если прочесть внимательно последнюю балладу, поэт умирает как «влюбленный мученик», то есть добровольно.

Когда решил сей мир оставить.

Захотел уйти... Подумал о самоубийстве? Риторическая фигура поэзии влюбленных? Без сомнения, и то и другое. Главное — скорбная гримаса бродяги, умирающего в лохмотьях. И здесь, вероятно, поэт черпает слова из своих воспоминаний.

Его отправили в изгнание,  
Но что Париж, что Руссильон.  
Везде о нем воспоминанья  
Остались у девиц и жен.  
Нигде не унимался он,  
Любой красотке угождая,  
И был по-прежнему силен,  
Юдоль земную покидая...\*

Никого не обманешь, и Вийон хорошо это понимает. Его последнее волеизъявление, составленное по форме настоящего завещания, звучит торжественно; Вийон здесь использует общепринятые формулировки нотариальной конторы, с установлением подлинности личности завещателя и исполнителей, с обращением к Богу и наказом выпить за него глоток вина «из черного винограда». Человек всегда на грани отчаяния. Поэт смеется, но ему не до смеха. Нищета — не иллюзия, она реальна. Однако мы не услышим в этом литературном упражнении отзвука отчаяния. Вийон как будто не принимает себя всерьез. Он кричит «всем спасибо» и делает им нос.

Добрался ли поэт до Дофинэ? Праздный вопрос, даже неуместный. Из всего сказанного по этому поводу Вийоном следует принимать всерьез лишь то, что вырвалось непреднамеренно. Не всегда можно принимать на веру его философствования, тем более когда он подписывается акростихом своего имени. Вот какую истину он нам поверяет:

Велел апостол позабыть вражду  
И вместе мыкать горе и нужду,  
Любить друг друга, попусту не споря,  
Лишь в мире счастье, нет его в раздоре.  
Об этом не напрасно речь веду, —  
Написано злодеям на роду:  
Кто сеет зло — пожнет позор и горе!\*\*

Бессмысленно без конца вопрошать себя о галантерейной торговле, о Ренне, Сен-Женеру, Вуванте. Все это связано с одним: поэт ищет слово, образ. Ему и в голову не приходит подтверждать свой маршрут. То, что он обозначает какое-то место, еще ни о

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 127. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 130.

чем не говорит. «Пойти в Рюэль» означает вооруженное нападение, а не прогулку в деревню. «Монпипо» — от глагола «piper» (пипе) — «обманывать, подделывать», и можно лишь предполагать, что Вийон знает крепость с таким названием. Галантерейщик из Ренна (Рен) — «бедный малый», и название города рифмуется со словом «règne» (рень) — королевство, государство.

Папы, короли, сыновья королей,  
Зачатые во чреве королев,  
Погребены, мертвые и холодные,  
Руинами былого становятся их государства —  
А я, бедный галантерейчик из Ренна,  
Я ль не умру? Да, если Богу так угодно,  
Но мне хотелось бы всем раздать подарки,  
Тогда смерть не страшна\*.

Лишь бы успеть свести со всеми счеты, а там можно и умереть. Люди более значительные, чем он, не ускользают от смерти. Галантерейщик в стихах обозначен не для того, чтобы установить чью-то профессию, а Ренн упоминается не для того, чтобы определить чье-то местонахождение. «Маленькому галантерейщику — маленькая корзина», — с покорностью говорит герой современного Вийону романа Антуана де ла Салья, озаглавленного «Маленький Жан из Сентре». И этот маленький галантерейщик дважды выводит на сцену герцога Карла Орлеанского, чтобы дать жизнь персонажу из простонародья.

Я зарабатываю по одному денье,  
Но мне далеко до венецианских сокровищ!  
Маленькому галантерейщику — маленькая корзина...\*\*

«Корзина» как таковая Вийону не нужна, но он сохраняет образ, имеющий хождение в литературном языке его времени. Однако в отличие от Карла Орлеанского или Антуана де ла Саль Франсуа Вийон толкует по-своему понятие «галантерейщик». Герцог и сеньор могут рассудить так: галантерейщик — это хорошо для людей маленьких! А бедный школяр в Париже презирает зажиточного буржуа уже за то, что он галантерейщик. В то время когда Вийон составляет свое «Завещание», его долгое путешествие завершилось. Он возвращается в Париж. Он может называть себя кем угодно, хоть бретонцем. Но галантерейщик в Париже — это человек благородный, твердо стоящий на ногах торговец, продающий и оптом, и в розницу внешние знаки буржуазной зажиточности: шелковые ленты, золотые нитки, перламутровые пуговицы, пояса с заклепками, серебряные застёжки, ножи с кольцами на рукоятках, гребни из слоновой кости, алебастровые дощечки... Галантерейщик в Париже не жалуется на свою долю...

\* Дословный перевод.

\*\* То же.

На своем пути поэт встретил других продавцов галантерейных товаров; среди них и крестьяне, и «тюконосы», таскающие на спине в «тюках» предметы торговли. Эти галантерейщики продают чепчики и вязаные носки, костяные гребни и карманные ножи. Об этих «тщедушных лоточниках», у которых никогда не будет крыши над головой, об этих горемыках думает Вийон, когда просит, чтобы его пожалели. И тогда, вместо того чтобы использовать слово «галантерейщик», он изобретает «галантерейчик» и называет себя «бедным галантерейчиком из Ренна».

Удачно продать товары с Запада — проблема. Сен-Женеру находится в Пуату (сегодня в Де-Севр), а Сен-Жюльен-де-Вувант — на границе Бретани и Анжу (сегодня в Ла Луар-Атлантик). «Возле» — это около сотни километров: несколько дней пути для «бедного галантерейчика». Вийон или ошибается, или насмешничает.

На самом деле речь идет о том, чтобы завешать кабатчику Робену Тюржи, в качестве платы за выпитое, право стать старшиной и добрый совет: пусть приходит, коли найдет жилище поэта. Если он его найдет, станет сильнее, чем любой колдун...

Две дамы из Сен-Женеру или Сен-Жюльен-де-Вувант упомянуты едва ли к месту, но поэту непременно хочется дать одно четверостишие на пуатвенском диалекте, который иногда слышат на берегах Сены, как слышат там лимузенский диалект, над которым будет потешаться Рабле. Совершенно очевидно, что во время своих скитаний Вийон немного научился пуатвенскому языку. Но где происходит событие — там или где-либо еще, — для него не имеет значения. И вот снова появляются зарифмованные имена собственные.

Они прекрасны и милы,  
Живущие в Сен-Женеру,  
У Сен-Жюльен-де-Вувант.  
Я всех их посещал, от Бретани до Пуату,  
Но не скажу вам точно,  
Где они живут.  
Клянусь душой, я не безумен,  
Чтобы сообщать вам адреса моих любовниц\*.

Он хочет сказать, что, где бы ни искали, его не найдут. Он не скажет и где проживают все его подружки. «Клянусь своей душой!» Но он не так уж безумен, как кажется. Одно дело — что он хочет утаить адреса «своих любовниц» и совсем другое — то, что сам прячется ото всех, и это больше похоже на правду, и разгадка кроется, скорее всего, в Париже. Главное — Вийон немного поразвлекся, «поговорив на пуатвенском наречии», то есть скрываясь от кредитора. Две дамы появились в стихах для полноты образа, а посему они «красивы и милы». Приземленности слов «горшки плохого неоплаченного вина» поэт проти-

---

\* *Дословный перевод.*

вопоставляет возвышенность риторического цветка, настолько же условного, насколько несвойственного двум деревенским жительницам. Но не будем забывать: поэт — шутник.

От любви куртуазной к любви деревенской — всем этим переходам есть лишь одно объяснение. Пусть все увидят этого Тюржи с его долгами... Первые читатели «Завещания», друзья Вийона, тоже завсегда и «Сосновой шишки», поняли бы, о чем речь.

Мы были бы не правы, толкуя все буквально. Но рискнем и попробуем понять, на какие два обстоятельства намекает поэт в нескольких стихах. Первое — это когда он отказывается посвящать нас в свою жизнь. Его душа в другом месте, она с «великими мастерами», с которых Господь еще спросит, ведь у них на столах добрые пироги, яйца всмятку и огромные рыбы.

Вот каменщик и невелик сеньор,  
А без подручного — ни шагу:  
То подавай ему раствор,  
То разливай по кружкам брагу\*.

И вот возникает образ подручного. Он носит кирпичи и черепицу на верх лесов. А когда мастера-каменщика обуревают жажда, он идет за свежим вином и подает наверх бурдюк или кувшин.

Вийон и сам зарабатывает себе на жизнь, подымаясь со ступеньки на ступеньку и поднося то вино, то балки, то черепицу. В начале одной поэмы, современной «Завещанию», он говорит, что, когда лицом к лицу встречается с Фортуной, та плохо обходится с ним, как с худшим из худших рабочих карьера.

Я прозвана Фортуною была,  
А ты, Вийон, зовешь меня убийцей —  
К лицу ли мне подобная хула?

И не таким, как ты, чтоб прокормиться,  
Пришлось в каменоломнях потрудиться,  
С какой же стати мне тебя жалеть?  
Ты не один — всем суждено терпеть\*\*.

Но худший и лучший становятся равными на лестнице, по которой движется человечество, а саморазоблачением занялся писец, мирно сидящий за своим столом, в то время как лучшие убиваются на работе в гипсовой яме... Однако утверждать это было бы большой смелостью. Два образа свидетельствуют о том, что «бедный Вийон» — действительно «бедный» в жизни, а не в поэтическом вымысле. Тут каменщик, там — чернорабочий, тут роют, там носят груз на спине — вот действительность, с которой столкнулся поэт за пять лет бродяжничества. Примерно известно, что можно получить за такой труд: совсем немного денег и сколько угодно ломоты во всем теле.

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

НЕТ БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ,  
ЧЕМ ЖИТЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ...

КОРОЛЬ РЕНЕ

Он ходил от двора ко двору. Это, пожалуй, самое достоверное из того, что мы о нем знаем: он не столько искал случая украсть что-нибудь, сколько случая быть по достоинству оцененным. Незвестный в Париже, Вийон ожидал лучшей участи на Луаре. Он не стал настоящим вором и хотел быть принятым при дворе поэтом. Но и тут его постигла неудача.

Тем временем король Рене, которого знают в Париже, имеет все, чтобы привлечь к себе поэта. Он сам и стихоплет, и художник, и меценат как из любви к искусству, так и из желания сделать свой двор роскошным, — последний из рода неапольских анжевенцев, он намерен окружить себя пышностью, победить одолевающую его скуку, ибо в политике он инертен и терпит поражение за поражением. Он друг артистических натур. Люди блестящего ума — желанные гости как в Анжере, так и в Тарасконе, — ведь король Сицилии ищет таланты.

Когда в начале 1457 года Вийон покинул Париж, король Рене проживал в Анжере. Он прибыл туда в августе 1454 года, а в апреле 1457-го уехал в Прованс. И мэтра Франсуа не было среди тех, кто сопровождал его в поездке.

Для парижанина все складывалось не слишком хорошо. В те времена правители открывали для себя буколизм не только у Вергилия, тогда — за три века до Марии-Антуанетты — принцы предавались играм в пастухов и пастушек, ибо до этого слишком долго они забавлялись войной. Бургундский летописец Жорж Шателен, отменный льстец, сочинил такую идиллическую картину:

В Сицилии счастливой  
Король стал пастухом.  
Жена его прельстилась  
Таким же ремеслом.

На грубый плащ сменяла  
Роскошный свой наряд

И на траве дремала  
Средь ярк и ягнят\*.

Мораль в ту пору была такова: что естественно, то и хорошо. Восторженный летописец царствования Карла VII Марциал д'Овернский восклицал:

Завидуй пастушатам,  
Овечкам и ягням!\*\*

Рене Анжуйский не отстает от других. Он покинул темные своды крепостей и суровые куртины готовых к осаде укрепленных городов. Он предпочитает теперь удобные и приятные помещения, ажурные фасады, широкие окна, выходящие на цветущие сады. Бойницы превращаются в окна. Балюстрада отныне — не зубчатая стена с бойницами, а легкая терраса. С появлением пороха и артиллерии рвы уже не служат надежной защитой, теперь они становятся зеркальными прудами.

Король Рене сам выращивает растения. Рассуждая о любви и войнах, он ловит рыбешку и собирает полевые цветы. Но из-за игр в пастухов и пастушек двор не перестает быть двором. К 1455 году король заканчивает свою пастораль «Реньо и Жаннетт», а в 1457-м «Влюбленное сердце», которое представляет собой собрание самых изысканных аллегорий куртуазной любви. Мастер устраивать турниры и прекрасный знаток правил рыцарской чести, он придает большое значение искусству быть щедрым. Его государственная казна не слишком тяжела, зато двор блестяш.

Этикет соблюдается очень строго. Пастушок не забывает, что он король, даже несмотря на то, что Сицилия с 1282-го, а Неаполь с 1442 года принадлежат арагонцам. При его дворе любят поэзию, а не бродяг, которые могут читать стихи. Обычно для монахов делается исключение, и по одежде каждого можно определить, сможет ли он свободно проникнуть во дворец. Там сверкают и переливаются ткани, галуны, позументы, драгоценности, перья, обозначающие социальное положение облаченных в них людей и устанавливающие иерархию их отношений с окружающими.

Король не пренебрегает возможностью вмешиваться в эту игру, устанавливая ее правила: когда в 1453 году умерла королева, он самолично отобрал по качеству черную материю, выдавая ее в соответствии в дворцовой иерархией, с учетом происхождения и места при дворе. Придворным не приходится брать на себя слишком много, в противном случае достаточно

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

усилий небольшой группы приближенных, чтобы всех поставить на свои места.

У Вийона не лежит душа к дворцовой службе. Наличие жесткой иерархии означает, что его место в стороне. Не столь явно, как при бургундском дворе, где артист официально приравнен к слуге, из поэта здесь делают менестреля, а из художника — лакея. Благожелательный, но безучастный к тому, что талант и фортуна часто ходят разными дорогами, Рене Анжуйский заставлял одного и того же художника и заново разрисовывать свои стены, и оформлять «Часослов»...

Если бы Вийон остался при дворе короля Рене, с ним обращались бы неплохо. Камердинер — это звание, и питаться на кухне — это никогда не знать, что такое голод. Платья, которые король дарил своим художникам, были сшиты из атласа либо дамаска. Искусство — занятие достойное, а король Рене умел ценить таланты. Но двор — это клетка, а мэтр Франсуа не из тех, кто даст себя в ней запереть.

Парижанин, возможно, дивился приверженности анжуйского двора ко всему итальянскому, которая легко объяснялась тем, что король и его приближенные подолгу жили в Неаполитанском королевстве. Итальянизация пока не была знакома Парижу; Пико делла Мирандола заявит о себе лишь четверть века спустя, а возвращенный в тени коллегей школяр еще не знает, что происходит во Флоренции. Или, вернее, это уже не итальянизация: волна репрессий и ссылок развеяла в начале века первые дуновения французского гуманизма, того гуманизма, что процветал в окружении герцога Людовика Орлеанского. Вийон застал отголоски итальянизации в Анжере в первые недели 1457 года, это веяние было сродни снобизму: вместо куртки с поясом, модной тогда в Париже, здесь носили камзол с пышными, вздымающимися рукавами и короткую накидку.

Но если бы дело было только в пасторали или камзоле на итальянский манер! При дворе короля Рене много фальши, и парижский поэт мечтает не о тихом прибежище от жестокого мира. В каком-то безумном наваждении он ищет иного забвения. Рене вовсе не похож на принцев-меценатов и коллекционеров, каковыми были Карл V и Жан Беррийский. Он из породы неутомимых любителей необычного, собирателей всяких диковинок. Этот великий путешественник много повидал, но не насытился сполна. Он собирает все, нужное и ненужное, и заставляет других делать то же самое.

Через несколько лет двор короля переместится в Прованс, и жизнь двора в Провансе лишь с большой натяжкой можно сравнить с пребыванием в Анжере, о чем свидетельствуют сохранившиеся счета анжевенского казначейства; ту ничем не оп-

равданную пышность не могли воспринимать такие чувствительные люди, как Вийон. Во Флоренции и Венеции закупились атлас и бархат, в Турции — тонкий камлот, в Александрии — тафта, расписанный золотом фарфор. Для двора продавали и покупали всевозможные «дикийные вещицы».

«Некоторые тунисские птицы и другое, что он повелел купить в варварских странах.

Удивительная лошадь, газели, страус, тунисские птицы и другие вещи...

Мавританская юбка и два мавританских колпака с приятно пахнущими духами из Леванта.

Три графинчика мускатной воды и пастуший плащ из Турции».

И даже если поставщики турецких шелков более редки в Анжере, чем в Тарасконе, все это свидетельствует о пристрастиях прямо противоположных тем, что царили на парижских мостовых, — к схоластическим играм и застольным песням. Другие поэты, не Вийон, без труда находят себе место при дворе, где творческого человека, как и повсюду, всегда привлекают, но при условии, что он принимает правила игры. Так происходит в Нидерландах с Яном Ван Эйком и Петрусом Кристусом, у которых Рене Анжуйский учится искусству видеть мир и запечатлеть его в красках. Так ведут себя в Тарасконе и в Анжере многие художники, поэты, музыканты, переводчики...

Нет таких талантов, которыми не восхищался бы Рене Анжуйский, стремясь развивать их и у себя. Он хорошо говорит на латыни, по-каталонски, на итальянском и прованском. Владеет пером и кистью. Любит пение, равно как и турниры. Рене для принцев то же, что Пико делла Мирандола — для философов. Девиз последнего известен: «*De omni re scibili et aliquibus aliis*», то есть: «Знать обо всех вещах, о которых что-либо известно, и еще кое-что о других».

Любознательность анжевенского мецената объясняется его общественным положением. Его корреспонденты — люди знатные. Его сотрапезники — любители турниров и галантных увеселений, не потасовок и борделей. В парижских тавернах за поцелуй девчонки готовы драться. Согласно кодексу чести, принятому при дворе короля Рене, свое благородное происхождение и доблесть своего оружия отстаивают в законной битве, дабы снискать «благодарность, милость и большую любовь своей великодушной дамы». Вийону, завсегдатаю «Сосновой шишки», было до всего этого далеко.



Вдохновение разбитого сердца — какой бы высокой ни была поэзия воздыхателя Франсуа Вийона — не так понятно двору Рене, как интеллектуальные пассажи куртуазной любви. «Несчастный влюбленный» будет присутствовать в «Большом завещании», так же как и во «Влюбленном сердце», но разница между этими двумя персонажами понятна уже из интонации, с которой о них говорится. Вийон — поэт, но он певец страдания и смерти. Его поэзия чужда тем, кто воспекает весну и жизнь. Пастораль не для него, так же как и любовь, обставленная тысячью условностей.

### «ФРАНК ГОНТЬЕ»

Разочарование вдохновило его на одну из самых прекрасных поэм, которую он посвятил, с шутливой благодарностью, тому самому Анри Куро, который так неудачно рекомендовал его своему господину королю Рене; речь идет о «Балладе-споре с Франком Гонтье».

Франк Гонтье — это Жак Простак аристократических пастухов и пастушек. Созданный епископом Филиппом де Витри на радость современникам Карла V, этот персонаж являл собой образец изначальных добродетелей. Гордый и любезный, строгий и сильный, верный и честный. Из поколения в поколение единение с природой Франка Гонтье и его возлюбленной Елены служило сюжетом для современной поэзии.

Вот масло, свежий сыр, вот брынза с ветчиной,  
Лучок и чесночок, улиточки в сметане  
И с крупною солью простой ломоть ржаной —  
Уж тут, как ни крепись, на выпивку потянет\*.

Вийон, как и все, читал «Сказ о Франке Гонтье». Он даже помнил спор, который в течение полувека велся вокруг морали, выведенной после Вергилия и до Руссо славным Филиппом де Витри: истинная добродетель заключается именно в простоте. Точно так же, как вокруг «Романа о Розе» или «Послания Богу Любви», посвященного разоблачению клерикального эпикуреизма «Романа» и написанного первой женщиной-писательницей Кристиной Пизанской, литераторы эпохи Карла VI спорили по поводу «Франка Гонтье». В те времена среди бури вдруг воцарилось затишье; кульминацией стал 1400 год, когда интеллигенция вышла на авансцену общественной жизни. Изабелла Баварская у себя в деревне Сент-Уэн изображала пастушку. На балдахине своей кровати Людовик Орлеанский велел вышить пас-

\* Пер. Ю. Стефанова.

торальные картинки с «пастухами и пастушками, вкушающими орехи и вишни».

Тогда-то и появилась Кристина Пизанская со своим «Сказом о Пастухе», подхватившим тему «Франка Гонтье». Теологи делали то же, что епископ и доктор Пьер д'Айи. В особенности старались поэты, рифмуя буколическое счастье беззаботного пастушка. Одним это нравилось, других возмущало. От увлечения Золотым веком перешли к увлечению природной простотой.

Евангелие с его искусственными лилиями и застывшими птицами служило защитой «Франку Гонтье». Политики соглашались с теологами и их недобрыми воспоминаниями о Жакерии 1358 года и Тюшенах 1392-го: пусть крестьянин будет всегда доволен, надо ему это как следует втолковать! Не в силах убедить в этом Жака Простака, ученый муж убеждал себя, что времена бедствий миновали, народ счастлив и владелец замка может жить в свое удовольствие.

Отныне мораль всей человеческой истории держится лишь на этом, с той лишь разницей, что Витри, обновивший «Георгики», не обладал при этом гениальностью Вергилия. Тот, кто ничего не имеет, наслаждается своим простеньким счастьем, каким оно представляется тому, кто живет на добрую ренту. В анонимной поэме говорится как раз об этом: нет денег, нет и забот. Сапожник Лафонтена станет рассуждать так же:

«И деньги есть?» — «Ну, нет, хоть лишних не бывает,  
Зато нет лишних и затей»\*.

Второе требование морали истории — это искренность того, у кого нет никакой корысти. У пастуха и пастушки не будет даже могилы. А на что им она? Ведь они друг для друга — целый мир.

Елену я люблю, ей без меня невмочь,  
И что нам до гробниц, коль счастливы мы оба?\*\*\*

Вийон этот вздор читал. Но мягкое обращение короля-пастуха приводит к тому, что он вынужден оправдывать «Сказ». Плохо принятый, не нашедший себе места при дворе, не вписавшийся в пастораль, парижский проказник найдет утешение в «Споре». Все его чувства и весь его опыт делают его чужим в мире придворных, где весной развешивают гирлянды цветов, а осенью — венки из виноградной лозы. Он не приспособлен для жизни в деревне, но еще менее ему подходит жизнь в деревне, где кустарники всегда осыпаны цветами, деревья переплетены одно с другим и где постоянно танцуют пастухи и пастушки.

\* Крылов И. А. Сочинения. М., 1984. С. 508.

\*\* Пер. Ю. Стефанова.

Веком раньше Фруассар в своих «Сказах» уже создал этот фальшивый сельский мирок, предвосхитивший деревушку Марии-Антуанетты. Но поэт-летописец был придворным, как позже Кристина Пизанская или Эсташ Дешан, который восхищался замком Ботэ-сюр-Марн.

Чу, соловей запел. Крутом луга...\*

Дешан — буржуа, заставь его кто-либо заняться крестьянским трудом, ему это быстро прискучило бы, но он — придворный, для него деревня — «обворожительные сады»: сады, возвращенные для улады.

Современники Вийона обратили свой взор на природу, обнаружив в ней целый мир. Но это не тот мир, в котором живет Франсуа де Монкорбье, парижский школяр Франсуа Вийон, поэт в бегах. Вийону не до забав в цветущих лугах, ему бы супу похлевать.

Завещав в «Большом завещании» прокурору Андри Куро «Спор с Франком Гонтье», Вийон поставил его в затруднительное положение. Он насмотрелся на судейских крючкотворов, и ему хорошо известна вся процедура: говорит такой-то, возражает такой-то, отвечает на возражение такой-то... Однако его ирония — в другом: в притворной покорности, напоминающей подвластному Куро, что тиран — образ классический для короля — в действительности ничего не сделал для своего друга. Вийон так же беден, как и Франк Гонтье. И пусть его не пытаются убедить, что он должен радоваться своей нищенской доле.

Затем, Андри Куро мой «Спор  
С Гонтье» дарю, с кем невозбранно  
И смело спорю. С давних пор  
Страшусь лишь близости тирана,  
Похвал, наград, сетей обмана;  
В Писанье сказано не зря,  
Что гибнет поздно или рано  
Бедняк от милостей царя.

Конечно, мне Гонтье не страшен,  
Он, как и я, бедняк нагой,  
И знатностью он не украшен.  
Так что ж он славит жребий свой?  
Без крова летом и зимой  
Страдать и упиваться горем?  
Как можно хвастать нищетой?  
Но кто же прав? А ну, поспорим!\*\*

Его доводы будут опровергать. Но Вийон не сдастся и может сокрушить любые преграды. Сравнения сыплются градом. Вос-

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 98—99. Пер. Ф. Мендельсона.

торженные хвалы деревенской простоте злят поэта, и тогда он воздаёт хвалу парижской улице. Он не выносит запаха чеснока, который отравляет поцелуй. Спать под розовым кустом? Пусть под ним возлежат те, кому это нравится. Лично он предпочитает хорошую кровать, да еще и с приставленными стульями, для подстраховки. Утолять жажду водой? Все чудеса мира, райские птицы всех времен не заставят его ни на день остаться в подобной харчевне. И если других все это забавляет — тем лучше; и тем лучше, что Гонтье играет Елене на лютне под шиповником. Мэтр Франсуа предпочитает другие радости, и они — в другом месте.

Когда б Гонтье, с Еленой обрученный,  
Был с этой жизнью сладкою знаком,  
Он не хвалил бы хлеб непеченный,  
Приправленный вонючим чесноком.  
Сменял бы на горшок над камельком  
Все цветики и жил бы не скучая!  
Ну что милей: шалаш, трава сырая  
Иль теплый дом и мягкая кроватка?  
Что скажете? Ответ предвосхишаю:  
Живется сладко лишь среди достатка.

Лишь воду пить, жевать овес зеленый  
И круглый год не думать о другом?  
Все птицы райские, все роши Вавилона  
Мне не заменят самый скромный дом!  
Пусть Франк Гонтье с Еленюю вдвоем  
Живут в полях, мышей и крыс пугая.  
Вольно же им! У них судьба другая.  
Мне от сего не кисло и не сладко;  
Я, сын Парижа, здесь провозглашаю:  
Живется сладко лишь среди достатка!\*

## КАРЛ ОРЛЕАНСКИЙ

В другом месте — это значит в Блуа, при дворе Карла Орлеанского. Устав от войн, борьбы, интриг, герцог дразнит муз, пытаясь забыть, что большую часть жизни он потерял безвозвратно. У него было трудное детство, так как никто не принимал его всерьез. В 1407 году убили его отца, Людовика Орлеанского, брата Карла VI, в тот момент, когда он выходил из дворца Барбетт, где королева Изабелла только что разрешилась от бремени. Его мать и вдова Людовика Орлеанского Валентина Висконти была полна решимости отомстить за мужа. Молодой Карл женился на дочери Бернара Арманьяка, и вскоре всех, кого считали сторонниками герцогов Орлеанских,

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 100—101. Пер. Ф. Мендельсона.

стали называть «Арманьяками». Оказалось, что Карл не в состоянии твердой рукой проводить свою политику, и он вынужден был мириться с тем, что это делал за него тесть, в то время как ему в том противостоянии отводилась весьма скромная роль. Герцогу показалось, что он предназначен для военного поприща. Но в битве при Азенкуре, потерпев сокрушительное поражение, он попал в плен и стал самым знатным пленником той войны.

Это случилось в 1415-м, когда Карлу, герцогу Орлеанскому, был двадцать один год. Прекрасный возраст, чтобы повелевать...

Когда в 1440 году, четверть века спустя, он вернулся из Англии, для него было очевидно, что царственный кузен Карл VII не собирался выкупать его из плена пораньше. Франко-бургундское перемирие в 1453 году было заключено на следующих условиях: король Франции осудил убийц герцога Бургундского, Жана Бесстрашного, сделав вид, что забыл, что именно по наущению Жана Бесстрашного был убит Людовик Орлеанский. Хуже того, Карл должен был еще и выказывать благодарность герцогу за то, что тот в конце концов расплатился с англичанами, которым задолжали еще со времен Азенкура.

Недовольному, пресыщенному, усталому герцогу было уже под пятьдесят. Потерпев неудачу в попытке играть какую-то роль в политике, он рассудил, что пришла пора просто наслаждаться жизнью в приятном обществе новой супруги, юной, но уже искушенной в амурных делах Марии Клевской.

Герцогиня Орлеанская любила роскошь, туалеты, драгоценности, украшенные миниатюрами книги. Карл любил играть в шахматы, беседовать с сочинителями, переписываться в стихах, охотиться и совершать длительные прогулки. Он наслаждался изысканным слогом, куртуазным обществом и хорошей музыкой. Оба они писали стихи.

Старый муж подустал от жизни, молодая супруга была легковерна. Один легко предавался меланхолии, другая — любовным утехам. Герцог преспокойно прощал ей грехи молодости, относясь к ним с мудрой снисходительностью.

Амур, которому нетрудно  
И старцу голову вскружить,  
И юношу привадою чудной  
В свои тенета заманить,  
Тебе ль не знать, что безрассудно  
С влюбленными так говорить.  
И жлет меня их суд прилюдный,  
Но я прошу меня простить,  
Повременив с судом, покуда

Не поубавится их прыть  
И им придется рассудить  
Что страсть — лишь милая причуда\*.

Карл слишком долго жил в неволе, а потому знал цену свободе и свежему воздуху. Но он оставался человеком своего времени, которому столь же чужда была буколическая идиллия, как и увлечение его предшественников — грандиозные охоты. Куропатка была ему более по вкусу, чем соловей. И потому он славил замок Савоньер, это старое сельское жилище.

Через поля, через холмы  
За дичью понесемся мы,  
А там придет черед рыбалке\*\*.

Самый приятный месяц — май. Но не для игр в пастухов и пастушек. Май — месяц любви, а любовных побед чаще всего можно добиться во время прогулки. Поэт думает об удовольствиях, «увеселениях».

Где мне обещана услада,  
В тиши полей, в тени дубрав,  
Яви, Амур, свой резвый нрав,  
А большего мне и не надо\*\*\*.

Карлу Орлеанскому не по себе в мире, который так изменился, пока он томился в плену. Он все еще живет образами «Романа о Розе» и «Мелиадора» Фруассара, ему мил Ален Шартъ с его «Безжалостной красавицей». Любимые слова в поэзии старого герцога — «меланхолия», «томность», «увеселение»... Каждый стих расцвечен аллегориями. Сентименталистская грамматика — элемент любовной схоластики; пытаюсь выявить последнюю в куртуазной поэзии, богословы тщетно старались доказать, что эти символы на самом деле ничего не означают.

Любитель веселых прогулок и всяческих развлечений в деревне на берегах Луары способен бодро пройти путь, ведущий к Радости, как Жан де Мён искал дорогу, которая должна была привести его к Розе. Язык поэзии Карла Орлеанского нов, но оригинальных мыслей он не выражает. В основном это словарь верховой езды:

Вперед, любовное Желанье,  
Спешу в садах Очарованья  
Ты замок Радости найди,  
А чтобы не скучать в пути,  
Возьми с собой Воспоминанье.

Это также и словарь судейский:

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

\*\*\* То же.

Тебя на суд, прямой и скорый,  
О Старость, вызываю я:  
Предстань пред Разумом, который  
Нам и Закон, и Судия\*.

И хотя Вийон уже пародировал в «Малом завещании» юридический язык, он очень далек от подобных аллегорий. Традиционная куртуазность не самая сильная его сторона, хоть он и обращается к ней в «Балладе о своей подружке», которая, возможно, и послужила ему ключом к дверям дома герцога Орлеанского. Здесь вся азбука куртуазной Любви с ее наиболее условными фигурами: Гордость, Суровость, вероломная Прелесть, Жалость, Смерть... Но что бы Вийон ни писал, из пышных зарослей риторики неизбежно пробивается простота его поэзии. Он насмехается над цветением весны, а зима для него — прежде всего отмороженные ноги, а не белое безмолвие.

К счастью, двор в Блуа гостеприимен, а у Карла Орлеанского широкая душа. Здесь найдется место и для бедного парижского писца, выдающего себя за скитающегося поэта — то есть скорее менестреля, чем кокийяра с дурной репутацией. Более того, ему есть на что жить: в его распоряжении небольшое денежное пособие и письменные принадлежности. Об этом по крайней мере позволяет думать поздний и довольно смутный намек в «Балладе о поэтическом состязании», которая датируется вторым пребыванием поэта в Блуа.

## СОСТЯЗАНИЕ В БЛУА

Слишком громко сказано: «Состязание в Блуа». Обычно гости герцога Карла записывали в специальной книге свои стихотворения, сочиненные на предложенную тему. К тому же состязание в стихах — не представление и уж тем более не судилище.

Идея организовать и провести состязание поэтов несколько не оригинальна для того времени. В нем участвовали и музыканты; некоторые этим и жили. Такие состязания проходили как при дворах, так и в присутствии случайной публики, и тут и там ценились оригинальность мысли и точность суждений. В том, чтобы подвергать публичному обсуждению различные выражения одного и того же чувства, не было ничего шокирующего и необычного для современников Карла Орлеанского.

Как рыцарский турнир, поэтическое состязание было зрелищем, гарантирующим высокий уровень мастерства участников.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

Это действо возвращало придворным их изначальную роль: давать советы сеньору, который принимал окончательное решение. Прошло уже два века с тех пор, как придворные, вассалы благородного происхождения, уступили профессиональным юристам свое право участвовать в судебной деятельности сеньора. Единственное, на что они еще могли влиять, — на политику. Несколько процессов, проведенных в присутствии пэров, были настолько драматичны, что никакого удовлетворения их участникам не принесли. В основе же ничего не изменилось: суд короля или принца оставался судом, осуществлявшимся его собственными судьями.

К счастью, оставалась еще придворная жизнь. Но жить при дворе было принято иначе, чем в те времена, когда сеньор, окруженный своими подданными, правил и судил, скликал на войну или вел переговоры о мире. Двор теперь лишь отчасти состоял из «людей», положение которых определяла феодальная иерархия. Двор — это придворные, среди которых кого только не встретишь; все вместе они и составляют двор, определить который проще на практике, нежели исходя из четких политических понятий. Одни находят свое место сами, других туда устраивают. Друзья, просители, верноподданные — все образуют подвижную группу, где взаимоотношения так же зыбки, как и ее контуры. Что касается «жизни двора», то это — спектакль, который сами для себя играют принц и его окружение.

«Жизнь замка» содействует успеху этого спектакля, если только жилище достаточно вместительно и может гостеприимно принимать весь двор на протяжении долгого времени.

В феодальные времена жизнь сосредоточивалась на тесном пространстве, ограниченном донжонами и стенами крепостей. Пребывание у сеньора длилось ровно столько, сколько это нужно было вассалу. Сослужив свою службу, всяк возвращался к себе. Большие ассамблеи были редки, как и замки, в которых для всех придворных находилось удобное пристанище.

Позже жизнь стала сосредоточиваться в Париже и на XIV век приходится один из пиков такого развития, так что жизнь двора делилась тогда между отдельными аристократическими домами. Король и его окружение останавливались то во дворце Сен-Поль, между Сеной и Бастилией, то в соседнем дворце, Пти Мюск, — впоследствии, в конце века, получившем название Нового дворца, — если только не отправлялись в Венсен или, что случалось реже, в прекрасный дом, построенный Карлом V напротив северной куртины старого Лувра. У Парижского двора был свой дворец в Бургундии — от него осталась одна башня на улице Тюрбиго, — в Наварре, был Анжуйский, Бурбонский дворец, Беррийский дворец в Бретани. Был даже Ар-



маньякский и тот самый Сицилийский дворец возле Сент-Катрин-дю-Валь-дез-Эколье, на севере Сент-Антуанской улицы, который одно время являлся собственностью Людовика I Анжуйского, дедушки короля Рене.

В распоряжении Карла Орлеанского был старый Орлеанский дворец — украшение улицы Сент-Андре-дез-Ар; в этом дворце жили герцог Людовик и его супруга Валентина Висконти. Смута смела эти аристократические резиденции. Париж перестал быть городом, где все на виду, где нет ничего тайного, где всякий, кто занимает видное общественное положение, должен иметь собственный дом и своего стряпчего. Раздел Франции ускорил децентрализацию. Тулузский парламент приобрел во время войны подлинную самостоятельность, вот-вот такие же парламенты должны были появиться в Гренобле и Бордо. Вскоре была создана палата высшего податного суда в Руане и такая же в Монпелье. По мере того как появлялись новые независимые институты, развивались местные органы управления. Бретань и Бургундия даже начали чеканить золотые монеты, хотя всем было хорошо известно, что это — прерогатива суверена; никто уже не помышлял о том, чтобы представлять свои дела парижским судам, хотя прежде эти дела можно было решить только в королевском суде.

При новом разграничении функций, когда университеты стали достоянием других городов, интеллектуальная жизнь в провинции стала более насыщенной и целенаправленной. Когда принц жил в Париже, эти города являлись административными центрами, теперь же они приобрели столичный облик, а практика созыва генеральных штатов предоставляла им такие же возможности, как городам королевским. Так произошло и с Анжером, где правил герцог Анжуйский; Нант стал столицей герцога Бретонского, а Тулуза при правителе Лангедока Карле Анжуйском, графе Мэнском, приобрела подобный статус для наследника престола, дофина Людовика, будущего Людовика XI.

Времена величественных башен миновали. Конец тесным жилищам, где придворный, лежа на охапке соломы, мечтал, когда же закончится его служба. С появлением артиллерии укрепленные крепости, расположенные на равнине, уже не гарантировали безопасности их обитателей. Они оказались открыты врагу и так же ненадежны, как перемирие. Старые крепости по-прежнему устремлялись ввысь. Но уже не было нужды так высоко искать защиты для огороженного от мира тесного пространства. А вот привольную жизнь двора, сообразную наступившим временам, замок мог обеспечить.

Искусство жить в этих рамках неплохо отражает честолюбивые замыслы и капризы принца. Бургундский двор во времена

«великого герцога Запада» Филиппа Доброго был средством управления и способствовал политическому расцвету. Дворы Тараскона и Анже являлись прибежищем для короля Рене, уставшего от ненужных битв и впечатляющих поражений. Рене потерял все, что оставалось еще от итальянского королевства; его удел был тихо радоваться жизни и проводить досуг, извлекая пользу из своих и чужих талантов. Рисовать, танцевать, сочинять стихи — вот в чем состоял его реванш за утрату неаполитанского королевства.

Карл Орлеанский по части рисования не был так одарен, как его анжевенский кузен. И он не был королем. Ему не пришлось бы в голову составить «Книгу турниров», прославляющую рыцарскую честь и восхваляющую храбрость. В годы заточения у него было больше чем достаточно времени для поэзии, и в обществе поэтов он находил утешение, печалась об утраченной жизни. В свою «книгу» он вписывал стихи, свои и чужие. Ему по душе было читать, писать и перечитывать.

Таким образом, «состязание в Блуа» не имеет ничего общего с конкурсами Любви, которыми развлекалось рыцарское общество французского XIII века, так что праздники эти проходили довольно часто. Особенно известен конкурс 1207 года в Вартбурге, в Тюрингии, в котором принимали участие лучшие миннезингеры Германии; у этого состязания не было ничего общего и с Двором Любви, учрежденным 6 января 1400 года Карлом VI — а на самом деле Изабеллой Баварской и ее окружением, — дабы осудить «всякий выпад, или насмешку, или непочтительность, или игривый упрек», а более точно, дабы проводить литературные тяжбы, в которых была замешана честь дамы.

Но формы поэтического соперничества не сводятся к зрелищному конкурсу. До возобновления войн и даже именно из-за отсутствия военного духа у аристократии Карл VI прославил свое время множеством поэтических сражений. В 1389 году приезд молодого короля в Авиньон всколыхнул общество и дал толчок к написанию Жаном Ла Сенешалем «Ста баллад», где рыцари, такие, как граф д'Э и маршал Ла Менгр, прозванный Бусико, столкнулись в решении такого простого вопроса: «Как любить?»

В том, что Карл Орлеанский предлагал своим гостям тему для сочинений, нет ничего необычного. В свою книгу он вписывал сочиненные строчки, а его примеру следовали и остальные. Здесь и речи не было о зрелищном состязании, даже если двор и собирался вокруг того, кто читал свою балладу или рондо. Слушатели собирались бы и в том случае, если бы темы были разные.

Возможно, что и «Баллада неправдоподобий» тоже родилась ради упражнения на тему неожиданного аргумента. Карл Орлеанский, как и король Рене, с большим уважением относился к Алену Шартье, охотно слушал этого поэта, который вдохновлял его; возможно, именно Шартье и предложил тему, сформулированную в известном сочинении:

Опасен только негодяй...

Вийон подхватывает мотив, перефразирует его и создает свою литанию.

Мы вкус находим только в сене  
И отдыхаем средь забот,  
Смеемся мы лишь от мучений,  
И цену деньгам знает мот.  
Кто любит солнце? Только крот.  
Лишь праведник глядит лукаво,  
Красоткам нравится урод,  
И лишь влюбленный мыслит здраво\*.

В то же время Вийон, чувствуя отвращение к буколическим шалостям анжуйского двора, пишет об этом стихи.

Нет большего счастья, чем жить в свое удовольствие.

И вот он в Блуа, а двор герцога Карла занят тем, как бы передать в стихах страдания неудачливого любовника и чтобы в этих стихах присутствовала привычная аллегория: человек, умирающий от жажды у источника. Но зеркало воды навевает поэту другие образы, нежели ощущение жажды и муки отверженного. Постараемся определить, какие именно.

Герцог уже упражнялся на тему родника. Около 1450 года он писал:

От жажды и томлюсь над родником,  
И стыну от любовной лихорадки;  
Сльвя слепцом, служу поводырем...\*\*

Несколькими годами позже, когда приехал Вийон, при дворе Блуа все говорили о воде: герцог только что приказал произвести большие работы, дабы наполнить водой колодец замка. Заговорить о воде — значило дважды похвалить его. Впрочем, он сам возобновил разговор на ту же тему в стихах, написанных по всем правилам научной риторики.

Не жажду больше, хоть иссяк родник,  
Пылаю без любовной лихорадки.  
И зрячим стал. Никем я не ведом...\*\*\*

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 135. *Пер. И. Эренбурга.*

\*\* *Пер. Ю. Стефанова.*

\*\*\* То же.

«Состязание», которое разворачивалось вокруг этой темы, имело в виду лишь чистую форму и чистую лирику. Речь совершенно не шла о том, чтобы приводить новые доводы и противопоставлять их прежним. Здесь не сражались, как при Дворе Любви Карла VI, за или против идеального образа. Лирические состязания не мешали турнирам, часто сопровождая их и отвлекая от войн. Что же рисовалось воображению уставшего от войны принца в его мирной старости? Главное — игра слов, ритма, звуков, составляющих мелодию стиха. Навязчивые мысли не витали в голове герцога Карла: дело не в том, чтобы знать, можно ли умереть от жажды подле родника, и не в том, чтобы знать, чему подвластна Любовь, разуму или эмоциям, является она упованием или чувством, а Женщина — объектом этой Любви или ее повелительницей. Целью состязания для Карла Орлеанского было словесное искусство, а не искусство мыслить отлично от другого.

Результат вдохновения придворных, вовлеченных в игру, — две-три строки, но и они требовали больших усилий.

Умираю от жажды подле источника,  
Довольный всем и полный желания...\*

Другой не лучше:

От жажды я томлюсь над родником,  
Чем больше ем — тем больше голод мучит...\*\*

Третий того пуще:

Не жажду больше, хоть иссяк родник,  
Я досыта наелся мясом знанья...\*\*\*

Десять поэтов придумывали стихи на заданную герцогом тему. Вийон пополнил этот список. Мы никогда не узнаем, что об этом подумал Карл Орлеанский. Узрел ли он, за условностями игры, необычную глубину анализа взаимоотношения людей? Ибо поэт вызвал к жизни образ человека, столкнувшегося со своей судьбой, а не просто повстречавшего возлюбленную. Вийон сам выходит на сцену, полный целомудрия, воображение не уводит его далеко, а обращает к великодушью герцога.

От жажды умираю над ручьем.  
Смеюсь сквозь слезы и грузюсь играя.  
Куда бы ни пошел, везде мой дом,  
Чужбина мне — страна моя родная.  
Я знаю все, я ничего не знаю.  
Мне из людей всего понятней тот,  
Кто лебедицу вороном зовет.

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

\*\*\* То же.

Я сомневаюсь в явном, верю чуду.  
Нагой, как червь, пышнее всех господ,  
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всем.  
Я жду и ничего не ожидаю.  
Я нищ, и я кичусь своим добром.  
Трещит мороз — я вижу розы мая.  
Долина слез мне радостнее рая.  
Зажгут костер — и дрожь меня берет,  
Мне сердце отогреет только лед.  
Запомню шутку я и вдруг забуду,  
И для меня презрение — почет.  
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не вижу я, кто бродит под окном,  
Но звезды в небе ясно различаю.  
Я ночью бодр и засыпаю днем.  
Я по земле с опаскою ступаю.  
Не вехам, а туману доверяю.  
Глухой меня услышит и поймет.  
И для меня полыни горше мед.  
Но как понять, где правда, где причуда?  
И сколько истин? Потерял им счет.  
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не знаю, что длиннее — час иль год,  
Ручей иль море переходят вброд?  
Из рая я уйду, в аду побуду.  
Отчаянье мне веру придает.  
Я всеми принят, изгнан отовсюду  
Пристрастен я, с законами в ладу.  
Что знаю я еще? Мне получить бы мзду\*.

Получил ли он мзду? В жалованье, сперва обещанном, ему отказали. Что ему пришлось заложить, вещи или книги? Или отдать в залог любовь?

Вийон вполне был способен совершить какую-нибудь глупость. Слова последней строки каждой строфы позволяют так думать. Как бы то ни было, он не понравился.

«Милостивый принц» — обращение необычное. Строфы начинаются чаще всего словами «Принц», определение встречается редко. Центральная строфа с подтекстом: Вийон — политик. Вероятно, ему приходилось сталкиваться с недовольными придворными. Но закон одинаков для всех. Заблудший подчиняется общему правилу, моля только о том, чтобы его простили.

Как бы то ни было, Вийон уезжает. Стихотворчество в Блуа возобновляется, другие поэты развлекают двор. Другие вписывают свои стихи в альбом герцога Карла, книжицу, которую тот со свойственной ему элегантностью минувших времен закрывает, когда настанет минута простых слов прощания:

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 140. Пер. И. Эренбурга.

Скажите мне «прошай» все вместе!

Карл Орлеанский — а вместе с ним и его поэзия — умрет 4 января 1465 года и не узнает, что в конце века его сын станет королем Франции.

Хорошо ли, плохо ли ему платили, Вийон не из тех, кто умеет приспособливаться.

«Изгнанный отовсюду», он пошел искать лучшую долю.

Судьба бродяги, увы, чаще приводила его в тюрьму, чем к достатку. Именно в тюрьме и застанем мы снова мэтра Франсуа: на этот раз ему грозила потеря как звания, так и жизни.

## МАРИЯ ОРЛЕАНСКАЯ

Кажется, он был уже в тюрьме, когда 17 июля 1460 года молодая принцесса Мария, дочь Карла Орлеанского и Марии Клевской, торжественно въезжала в Орлеан. Перед ней парадным маршем прошли войска, был дан бал. Заключенные были выпущены на свободу. Вийон принадлежал именно к той категории бродяг, которые по случаю торжественного въезда в город маленькой принцессы были помилованы и вернулись к своим обычным занятиям. Так как он чувствовал себя спасенным от веревки, ему показалось уместным выразить свою благодарность.

Я думал: мне спасенья нет,  
Я чуял смертное томленье,  
Но появились Вы на свет,  
И это дивное рожденье  
Мне даровало избавленье  
От смерти и ее тенет\*.

Он решает вставить в оправу длинной и путаной похвалы принцессе стихи, созданные не так давно из угодливости. Тремя годами раньше Вийон приветствовал рождение Марии Орлеанской: он обогащает это сочинение балладой, где в каждой строчке проглядывает ученость школяра, а муза явно задыхается. Этот литературный опус — не самое сильное произведение поэта, он увязает в нем. Цитирует Вергилия и псевдо-Катона в одном ряду с псалмами Давида. Карлу Орлеанскому, якобы происходившему по прямой линии от Хлодвига, внушается, что он новый Цезарь; историческая ошибка тут невольна, а образ по меньшей мере неадекватен. Что же до молодой Марии, которую родители ждали шестнадцать лет, она обозначена как «манна небесная». И каждая строка дышит подобострастием.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

Не побоюсь здесь повториться:  
«Nova progenies celo», —  
Ведь таковы слова провидца, —  
«Jamjam demittitur alto».  
Из женщин древности никто  
Вовеки с вами не сравнится  
Ни мудростью, ни красотой,  
Моя владычица-царица!\*

Вид виселицы заставил поэта забыть о всякой сдержанности. Лысец и попрошайка, он осмелел, но чувствует себя не в своей тарелке. В этих стихах, взятых из поэмы в честь рождения Марии, он делает ложный шаг, утешая герцогиню, что родилась девочка, — ведь герцог ожидал мальчика, и будущий Людовик XII родится только в 1462 году, — так что вся поэма сводится к резюме: на все воля Божья, а значит, все хорошо!

А те, что истины не знают,  
Уподобляются глупцам  
И спорить с Господом дерзают,  
Когда желают сына вам.  
Но все Господь решает сам,  
Его решеньям нет замены,  
И все сие — во благо нам:  
Дела Господни — совершенны\*\*.

Лучшая часть поэмы состоит, вне всякого сомнения, из этих стихов, написанных, и это очевидно, перед состязанием; здесь Вийон без всякого кривлянья возносит похвалу Марии Орлеанской, сливая ее образ с традиционными образами Девы Марии. Это смешение не навязчиво, но достигает ушей только тех слушателей, для которых такой словарь обычен. Поэт словно вспоминает молитвы своего детства, и его вдохновение сродни тому, коим проникнута баллада Деве Марии, которая в «Большом завещании» превратится в балладу, посвященную старой матери поэта; похоже, он писал ее для себя в минуту тоски и отчаяния. Прежде мудрствований и пошlostей, прежде чем поэт обнаружил в девочке мудрость тридцатилетней женщины, открыв в ней посланницу Иисуса Христа, прежде чем повторил в тяжеловесном рефрене «О добре должно доброе говорить», он описал (и это самая большая его удача, полет вдохновения) слияние образов двух Марий: небесной и земной, — обе спасли его от гибели.

Да будешь ты благословенна,  
Небесной лилии росток,  
Дар Иисуса драгоценный,  
Мария, жалости исток,  
Спасение от всех тревог,

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

Подмога и утеха сирым,  
Любви и милости залог,  
Что мирно правит нашим миром!\*

Напрасно Вийон, заимствуя образ у Вергилия, говорит о Золотом веке, за ним, вышедшим из тюрьмы, по пятам следует нищета. Торжество по случаю приезда принцессы Марии вновь вывело Вийона на большую дорогу, и кошелек его пуст. Освобожденный из орлеанской тюрьмы в июле 1460 года, годом позже он вновь оказался в тюрьме в Мён-сюр-Луар. И снова его хотят повесить.

Что же он натворил? Урожай 1460 года был не очень удачным, цены устраивали только продавцов. Возможно, ему вменили в вину какую-то прежнюю проделку. Но это не имеет значения. Позже пройдет молва о краже в ризнице. Что ж, возможно.

На этот раз Вийон — пленник епископа. Мён — светское владение орлеанских епископов, а задняя часть окруженного рвом укрепленного замка, куда прелаты больше не ходят, — темница, пребыванием в которой никак не мог наслаждаться человек, скучавший в деревне и насмешничавший над пастухами и пастушками короля Рене. Теперь-то он был бы рад предаться сну под дубом или под каким-нибудь цветущим кустом, высаженным в мае, чтобы водить вокруг хороводы. В отчаянной мольбе о помощи, обращенной к друзьям, нет больше ни грама иронии — в тюрьме не до веселья, — в удачу Вийон уже не верит.

Я к вам взываю: сжальтесь надо мною  
Хотя бы вы, любимые друзья.  
Ни свежим майским древом, ни сосною  
Не осенен тот гнусный ров, где я  
Теперь гнию, судьбу свою кляня\*\*.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.



## СМЕРТЬ, НЕ БУДЬ ТАКОЙ БЕСПОЩАДНОЙ...

### СМЕРТЬ

Вийон и его современники не затрудняют себя тем, чтобы думать об общечеловеческой судьбе: смерть вездесуща, она расставляет вехи в семейной жизни, она элемент жизни общественной. Переступив порог детства, где смертность ужасающа, всякий может сказать, что ему повезло, но его надежда на жизнь невелика. Одна за другой косят людей эпидемии. Умирают от переохлаждения или переедания. Раненые умирают от заражения крови. Перед человеком XV века смерть маячит постоянно.

Много говорили о временах черной чумы 1348 года и ее рецидивах. Теперь чума поутихла, но слово это склоняют на все лады. Всякая эпидемия — чума. Но есть болезни, которые стоят черной чумы. К примеру, по-прежнему свирепствует оспа. В 1418 году она косила парижан: около пятидесяти тысяч человек умерло, из них пять тысяч только в одной больнице. Оспа возвращается в 1422 году, потом в 1433-м. Наконец, в 1438-м от оспы умирают почти столько же, сколько в 1418-м, среди ее жертв много аристократов, их не спасают ни замки, ни загородные дворцы. Среди умерших — шесть советников Парламента, таких, как парижский епископ Жак дю Шателье, настолько высокомерный, что простолюдину в голову не пришло бы оплакивать его. Суды насчитывают лишь половину своего состава. Город парализован. Порт опустел. При похоронах не звонят больше колокола.

Для обьятого ужасом зеваки эпидемия означает мрачные кортежи, опустевшие дома, рвы, в которых находят свой приют те, кто победнее, костры, в пламени которых сжигают одежду умерших. Она означает также отправляемые обратно обозы с провизией, блокированный в порту товар, закрытые лавки. Эпидемия — это голод и безработица.

Мелкий люд ест суп из травы, набивает себе желудок крапивой, сваренной без масла, за украденную краюху хлеба можно схлопотать веревку на шею.

Кто плохо ест, плохо сопротивляется болезни. Парижский буржуа с горечью констатирует: «Эпидемия убивает, как назло, самых сильных и самых молодых». Будущее в опасности. Буржуа считает вполне естественным, что умирают старики и слабые.

Беда возвращается в 1445-м. Франсуа де Монкорбье четырнадцать лет, и он чудом спасся — ведь чума в первую очередь охотится за детьми. Точно так же ему удастся избежать и гриппа, который тоже собирает свою жатву, и коклюша, который часто поражает рожениц и малолетних детей.

Однако в его творчестве нет ни слова о чуме. Вийон и не думает обвинять болезнь, которая унесла столь многих из его сверстников. Эпидемия — дело естественное. От нее умирают, но что толку это обсуждать? Смерть, о которой говорит поэт, — это та участь, которая ожидает каждого человека. Ее приносит старость — или виселица.

Вийон не восстает против участи, ожидающей всех, он обвиняет Судьбу: на него она обрушилась, а другим позволяет процветать. Она убивает, как убивают в бою: разборчиво. И, если верить поэту, она еще и хвастается этим.

Ты вспомни-ка, мой друг, о том, что было,  
Каких мужей сводила я в могилу,  
Каких царей лишала я корон,  
И замолчи, пока я не вспыхнула!  
Тебе ли на Судьбу роптать, Вийон?

Бывало, гневно отвращала лик  
Я от царей, которых возвышала:  
Так был оставлен мной Приам-старик  
И Троя грозная бесславно пала...\*

Эгоисту Вийону нет дела до смерти, покуда он здоров. В «Малом завещании» 1456 года о смерти ничего не говорится. Зато пятью годами позже мысль о ней беспокоит автора «Большого завещания». Он по-настоящему озабочен лишь своей смертью, своей старостью, мысли о которой отвлекают от любви, своей собственной болезнью, которая тащит его к небытию. Проходят эпидемии, но каждый умирает только раз.

Огромна власть моя, несметна сила,  
О, скольких я героев встарь скосила...\*\*

Старость для Вийона — конец жизни. Время, говорит он вслед за пророком Иовом, исходит, как горящая нить. Ничто не вечно в этом так гнусно устроенном мире. Час удовольствий минует. Приходит печаль, и воцаряется нищета. В конце — смерть.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 148. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Пер. Ю. Стефанова.

Жизнь в городе жестока для старца без определенных занятий. Уже в XIII веке фаблю «О разрезанной полоне» представляло нищету как естественный атрибут конца жизни буржуа. С этим согласны все: стариков отторгают, изгоняют. С легким оттенком жалости поет об этом Тайеван в «Прекрасном путешествии».

Он не прочь бы в пляс, да все прочь тотчас,  
Он бы в щечку — чмок, да его — за порог\*.

Худшее в старости — это жизнь. И Вийон принимается набрасывать опус о самоубийстве. Страх ада — единственное, что останавливает старца. Но не всегда...

Ничто не вечно под луной,  
Как думает стяжатель-скряга,  
Дамоклов меч над головой  
У каждого. Седой бродяга,  
Тем утешайся! Ты с отвагой  
Высмеивал, бывало, всех,  
Когда был юн; теперь, бедняга,  
Сам вызываешь только смех.

Был молод — всюду принят был,  
А в старости — кому ты нужен?  
О чем бы ни заговорил,  
Ты всеми будешь обесужен;  
Никто со стариком не дружен,  
Смеется над тобой народ:  
Мол, старый хрен умом недужен,  
Мол, старый мерин вечно врет!

Пойдешь с сумою по дворам,  
Гоним жестокою судьбою,  
Страдая от душевных ран,  
Смерть будешь призывать с тоскою,  
И если, ослабев душою,  
Устав от страшного житья,  
Жизнь оборвешь своей рукою. —  
Что ж делать! Бог тебе судья!\*\*

Однако в конце концов смерть убивает старость. Она уравнивает всех, сильных и слабых. Кого и чего бояться, если смерть у порога?

Чего же мне теперь бояться,  
Коль смерть кладет предел всему?\*\*\*

Старость легко представить себе в образе увядшей Прекрасной Оружейницы. У смерти лицо тех несчастий, что угрожают самому Вийону. Малодушного морализатора интере-

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 52—53. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\*\* Пер. Ю. Стефанова.

сует лишь смерть, которой удается избежать. Смерть — это поражение, а поражение свидетельствует о допущенной ошибке. Баллады, написанные на жаргоне, являют тому странное подтверждение: поэт боится веревки и пытается избавиться от нее тех, кого он любит. Берегись палача, говорит одна из них.

А если влипнете, ребята,  
Вам тошен будет белый свет  
Под грабками лихого ката\*.

Больше не увидеть «жестокую» — вот что тревожит Вийона с той поры, как почувствовал на шее веревку в Мёне, а в Париже, куда вернулся, на его бедную голову посыпались всевозможные несчастья. Из-за виселицы теряешь почву под ногами. Задушить прохожего, чтобы обобрать его, — неплохо. Но быть в свою очередь задушенным пеньковой веревкой — совсем не так весело.

Кто в лапы угодил злодею,  
Тот на воздухах поплясал:  
Палач сломал бедняге шею\*\*.

Парижанину не надо много усилий, чтобы вспомнить о смерти или о виселице. Город состоит не только из горожан, но и из мертвецов. На кладбище живут, как на перекрестке. Кладбище Невинноубиенных младенцев — место собраний, тайных сборищ, галантных рандеву. Кладбище святого Иоанна со стороны улицы Сент-Антуан буржуа посещают даже чаще. Здесь молятся и собирают пожертвования, и все смеются при виде груды трупов, не задумываясь ни на миг о том, что развлекаться перед таким количеством мертвых — просто кощунство. Смерть — это конец жизни, и все.

Поэт размышляет на кладбище о бренности жизни и лишний раз убеждается в этом, созерцая образ, нарисованный в «Пляске смерти» и наводящий на мысль не столько о вечности, сколько о тщетности всего сущего. Все черепа в могиле равны. Принадлежали ли они могущественным людям или беднякам? Какое это имеет значение? Все в одной земле.

Я вижу черепов оскалы,  
Скелетов груды... Боже мой,  
Кто были вы? Писцы? Фискалы?  
Торговцы с толстою мошной?  
Корзинщики? Передо мной  
Тела, истлевшие в могилах...  
Где мэтр, а где школяр простой,  
Я различить уже не в силах.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.

Здесь те, кто всем повелевал,  
Король, епископ и барон,  
И те, кто головы склонял, —  
Все равны после похорон!  
Вокруг меня со всех сторон  
Лежат вповалку, как попало,  
И нет у королей корон:  
Здесь нет господ, и слуг не стало.

Да вознесутся к небесам  
Их души! А тела их стнили,  
Тела сеньоров, знатных дам,  
Что сладко ели, вина пили,  
Одежды пышные носили,  
В шелках, в мехах лелея плоть...  
Но что осталось? Горстка пыли.  
Да не осудит их Господь!\*

### ВИСЕЛИЦА В ГОРОДЕ

Виселица, эшафот, позорный столб — неотъемлемая часть городского пейзажа. Хороший ли, плохой ли год — правосудие парижского прево и высоких церковных властей отправляет на тот свет не менее шести десятков бродяг и воров. Это число, понятно, сильно увеличивается во время политических смут. И уменьшается, когда эпидемия берет на себя заботу сокращать население и клиенты палача и судьи без их помощи находят дорогу на тот свет.

В каждом квартале Парижа есть виселица или позорный столб, или и то и другое. У епископа своя «лестница» на паперти Нотр-Дам, у кафедрального капитула — своя в порте Сен-Ландри. У аббата Сен-Жермен-де-Пре виселица расположена прямо в центре округа, у приора Сент-Элуа — за городской ратушей, у ворот Бодуайе, невзрачных ворот забытого местечка, которое на самом деле — одно из самых посещаемых мест в городе. Что касается короля, то он вешает осужденных на Гревской площади или перед позорным столбом Рынка, на Круа дю Трауар — перекрестке улиц Сент-Оноре и л'Арбр Сек — или в Монфоконе, одном из самых высоких зрелищных мест подобного рода.

После двух веков безупречной службы виселица Монфокона всерьез угрожает рухнуть вместе со своей ношей — повешенным. Поэтому не так давно соорудили новое деревянное орудие правосудия в том же самом районе: виселицу Монтиньи, которую обновила в 1460 году целая группа бродяг.

Вешают живых. Вешают даже мертвых, и без малейшего

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 114—115. Пер. Ф. Мендельсона.

стеснения. Так, 6 июня 1465 года повесили одного доброго буржуа с улицы Сен-Дени по имени Жан Марсо, торговца вязаными изделиями, преклонных лет человека. Старик обвинялся в том, что сам себя «повесил и задушил» дома, перед вывеской «Золотая борода». Его уже окоченевшего отнесли в тюрьму Шатле — таким образом он ее «посетил», констатировали кончину — и «отнесли, чтобы повесить».

Если же «изменник» принимает участие в заговоре против короля или нарушает общественный порядок, спектакль требует более сложной постановки. Виновного сперва обезглавливают, а потом подвешивают за подмышки. Если дело очень серьезное, осужденного волокут по городу: тело превращается в мешок костей, так как лошадь скачет галопом, но это еще почти живой для последних мучений человек. Если изменника обезглавливали на Гревской площади, а вешали в Монфоконе или в Монтиньи, весь город считал, что ему повезло. Так поступили в 1409 году с Жаном де Монтэгу — одно время он был управляющим финансами королевства, и никто среди налогоплательщиков не сожалел о том, что ему устроили такой торжественный выезд.

Исключительное всегда привлекает толпу. Так, в 1445 году люди явились, чтобы посмотреть, как распинали одну женщину, украшавшую ребенка и выдавившую глаза у своей жертвы, чтобы сделать из этого несчастного удачливого нищего. И долгое время зеваки задавались вопросом, почему прево избрал для нее именно такую пытку.

Иначе происходит казнь фальшивомонетчика. Чтобы отдать должное одному из основных прав короля, фальшивомонетчика заживо варят. Спектакль этот происходит за воротами Сент-Оноре, на территории Свиного рынка. Плоский камень, прочно установленный, образует основу очага, который устраивают для «кипячения»; смысл пытки заключается в том, что немедленная смерть не наступает: крики осужденного усиливают яркость события. Так и случилось 17 декабря 1456 года с «кокийяром» Кристофом Тюржи, близким родственником содержателя кабачка «Сосновая шишка», где любил проводить время Вийон.

Некоторых преступников сжигают на костре. Это участь отравительниц, колдуний, еретиков и тех, что упорствуют в содеянном, — воров-рецидивистов. Прежде чем сжечь, их выставляют у позорного столба, чаще всего возле Рынка.

С женщинами правосудие обращается особо, не слишком милостиво. Обезглавливать их кажется невыносимым, вешать их тоже не любят. Женщин не сжигают и не варят в кипящем котле, а просто без жалости «закапывают», как, например, воровок.

Случается, посылают «экспертов» к осужденной женщине, показавшей, чтобы избежать смерти, что беременна. Так, в то время когда Вийон сидел в тюрьме в Мёне, была осуждена скупщица краденого Перетта Може; в тюрьме ее посетили «матроны, знающие толк в животах, и они объявили правосудию, что Перетта не отяжелела». Перетту закопали.

Если даже проступки незначительны, парижанину все равно есть чем поразвлечься. Отрезание уха, наказание бичом — хороший предлог для потехи, и удовольствие, получаемое бродягой-зрителем, не меньшее, если даже вор всего-навсего слуга. Впрочем, народная хроника проявляет особый интерес к мелким наказаниям, ибо правосудию известно множество различных наказаний, и у кого память в порядке, тот может проследить за перемещениями одного и того же вора, переходящего от столба к столбу. За первую кражу — ухо, за вторую — второе, и уж веревка или костер — за третью.

Добрый люд развлекается и тогда, когда виновный должен публично покаяться. Так, в августе 1458 года за фальшивые заявления и клятвопреступление в деле, касающемся собственности корабля «Карреле», пришвартованного в порту, был осужден человек по имени Жан Бланшар; в то время он был приведен на Гревскую площадь и повинился перед собравшимися там старейшинами.

«С непокрытой головой, с тяжелым — три фунта горячего воска — факелом в руке».

Этого оказалось недостаточно. Он должен был еще подойти к Сент-Эспри на Гревской площади и поднести свой факел к воротам больницы. После этого, так как у него нечем было расплатиться с королем — десять ливров — и с своим противником — сто су, — его отправили в Консьержери.

Юриспруденция выказывает себя более или менее снисходительной к детям, совершившим первое преступление, им оставлено нетронутыми оба уха. Но бьют смертным боем.

Все это почти каждую неделю дает возможность парижанам насладиться отменным зрелищем; их не надо долго упрашивать: они выходят на порог или бегут на перекресток. Несчастному, который проезжает в роковой повозке через весь город, задают вопросы. Его мимика и посылаемые им проклятия вызывают смех. За кортежем бегут, желая посмотреть на казнь, если только не приходится ждать вечера или следующего дня, чтобы увидеть, как он качается на веревке. Среднего парижанина, по всей видимости, утомляет монотонность спектакля. Синие языки

повешенных никого не удивляют. И не вызывают изумления. Буржуа находит, что сработано неплохо, зато, пока он смотрит, как казнят вора-карманника, кокийяр вытаскивает у него из кармана кошелек.

Палач Анри Кузен — один из персонажей этого театра. Его силу все оценили, ведь, чтобы проделывать такие упражнения, нужны отличные мускулы. Его ловкость обсуждают, хвалят, когда ему удастся отрубить голову одним махом. Его имя всем известно. Буржуа, пожалуй, не отдал бы ему в жены свою дочь, но зато ему дали прозвище «Мэтр».

В «Большом завещании» Вийона есть строки, посвященные палачу, его именем автор пользуется, дабы свести счеты с Ноэлем Жоли, коварным свидетелем происшествия, когда поэта здорово поколотили. В завещании так описывается это событие:

Затем тебе, Ноэль Жоли,  
Я двести розог завещаю,  
Что словно для тебя росли,  
Дождаться дня того не чая,  
Когда назначу палача я,  
Чтоб высек он тебя. Смотри, —  
Я это дело поручаю  
Достопочтенному Анри\*.

Вор знает, какого наказания достоин. В балладах на жаргоне Вийон не перестает кричать об угрозе, но не дает совета следовать честным путем: речь идет о том, чтобы вовремя увернуться.

Придурок гадам попадется —  
И марш на встречу со вдовой,  
А уж у той всегда найдется  
Горбыль с пеньковой бечевой.  
Волосья дыбом, вой не вой,  
А из петли куда деваться?  
Уж тут ты вспомнишь, милый мой,  
Как в сундуках чужих копаться!\*\*

В заклинании Вийона больше суеверия, нежели назиданий. Держитесь подальше Монтины и Монфокона... Единственный приговор, который он выносит, — приговор глупцу, позволившему себя взять, и болтуну, выдающему все секреты. В то время много говорят о доме терпимости, и таков последний мудрый совет поэта:

Не будь же треплом,  
Не то поделом

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 108. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Пер. Ю. Стефанова.



Залетишь на Веселый бугор.  
А там разговор  
Скор,  
А там тебя цап-царап —  
И в глотку кляп:  
За треп, за баб...\*

## ТРЕВОГА И БОЛЬ

Физическая боль не заглушает тревогу. Умереть «в муках» — мысль, не безразличная для поэта, портрет умирающего, принадлежащий его перу, — упадок духа и одиночество — проливает свет на настроение поэта. Человек одинок перед лицом смерти, рядом с умирающим — никого. В то же время Вийон оправдывает раба Божьего Франсуа де Монкорбье за единственный упрек, который тот осмелился сделать Богу: упрек за разрушение к концу жизни такого шедевра Творца, каким является женское тело. Как пережить то, чего сам Бог не смог вынести по отношению к своей Матери? Чтобы узаконить нетленность Пресвятой Девы, Бог взял ее на небеса: Успение оправдывает в плане божественном мятеж человека перед таким кощунственным явлением, как разложение нежного человеческого тела.

Чувство, с которым написаны эти стихи, исключает мысль об эпатаже. Магистр словесных наук, логики, хранящий воспоминания о годах ученичества, ограничивает силлогизм определенными рамками, но аллюзия понятна.

Будь то Парис или Елена,  
Умрет любой, скорбя умрет,  
Последний вздох задушит пена,  
Желчь хлынет, сердце обольет,  
О Боже! Страшен смертный пот!  
Тогда, кого ни позови ты, —  
Хоть сын, хоть брат к тебе придет, —  
От смерти не найдешь защиты.

Смерть скрутит в узел плети вен,  
Провалит нос, обтянет кожу;  
Наполнит горло горький тлен,  
Могильный червь скелет обгложет...  
А женщин плоть? О, правый Боже!  
Бела, нежна, как вешний цвет,  
Ужель с тобою станет то же?  
Да! В рай живым дороги нет\*\*.

Умирая, всегда скорбят: не только у обезглавленных или повешенных бывает «последний вздох». В жестоком описании по-

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 46. Пер. Ф. Мендельсона.

вешения Вийон не оставляет места для физического страдания. Небесные птицы и ненастья атакуют мертвых. Время страданий прошло. Повешенные Вийона — не умирающие. Когда можно посмеяться над этими пугалами, их телесные муки уже закончились.

Поэт не обращается более к судье и не надеется избежать веревки. Говоря от имени мертвых, их устами, он умоляет выживших «не презирать их». У Вийона, довольно перенесшего, чтобы не бояться новых ударов, очень чувствительная душа. Он страшится двух вещей на том свете: ада и насмешки. Больше, чем рокового палача, страшится он зеваки, ибо и сам часто бывал в этой роли. Достоинство повешенного остается человеческим достоинством. Веревка — что ж. Но не «издевка».

Над нашим несчастьем не смеется никто,  
Но молитесь Бога, чтоб не сделал нас дураками\*.

Безразличный к смерти, которую часто видел, покорный перед лицом слишком привычной смерти, — таково представление у современников о поэте, хорошо усвоившем, что возраст — тридцать лет — не спасет. Лишь бы насладиться жизнью, «честная смерть» его не пугает. Что его ужасает, так это виселица и насмешка: мало того, что жизнь не удалась, еще и над смертью издеваются. Вийону не так уж страшна смерть, идущая рядом, или смерть, ожидающая впереди, лишь бы она не была смертью-спектаклем. Спустя век после черной чумы спектакль, творимый прежде Смертью, стал деянием рук человеческих.

Тысячелетняя традиция иконографии, основанная на Священном Писании, стала предлагать свое видение смерти, начертанное на фронтонах соборов, — смерти, побежденной искуплением. Страшный суд, воскрешение из мертвых — явления одного порядка. Король и епископы, солдаты и крестьяне, все общество пробуждается при звуках труб, и единственно, в чем заключается неравенство, — в том, что одни — избранники Божьи, а другие — проклятые грешники. Тут и ростовщик со своей мошной на шее. Тут и обжоры. Иллюстрация смерти — лишь предупреждение о семи смертных грехах.

Все меняется, когда на сцену выходит поколение, познавшее наваждение чумы и военные беды. Смерть перестает быть переходом к вечным мукам или вечному спасению. Она сама по себе большое несчастье. Смерть — это Судьба. Теперь уже не Бог забирает жизнь, чтобы потом воскресить, ее самовольно забирает смерть.

Смерть — не состояние, она — враг. И иконография быстро

---

\* *Дословный перевод.*

отводит ей то место, которое в течение тысячелетия принадлежало дьяволу и иже с ним.

С изображений смерти Христа и детей человеческих сходит налет просветленности, присущий ранее. Появляется трагическая маска смерти, отражающая муки, пережитые в момент перехода от жизни к смерти. Тлен довершает дело, становясь главным итогом смерти.

Несмотря на очень личностную интонацию — интонацию человека, чувствующего, что конец близок, Вийон только воспроизводит уже известную тему, тему нового восприятия жизни и смерти. Одновременно с созданием «Пляски смерти», а может быть, и раньше болезненный дух XIV века породил изображение «мертвеца» — разлагающееся тело, разрушаемое смертью не в момент кончины, а уже в вечности. Так перед современниками Вийона появляется множество изображений усопших, либо нарисованных, либо вылепленных из гипса, которых еще совсем недавно изображали умиротворенными, упокоенными, и с атрибутами тех дел, которые они вершили в жизни. Изображения усопших — как на могильных плитах (в частности, каноника Ивера в Соборе Парижской Богоматери), так и на первой странице модного Часослова. Нагота, отсутствие телесных знаков силы или процветания — все способствует тому, чтобы представить мертвеца как символ всеобщего равенства в загробной жизни. «Пляска смерти» — предыдущий этап. Смерть одинакова для всех, но люди разные. Для мертвеца же нет отличий. У Вийона свой образ мертвеца. Это его он будет представлять, описывая повешенных, — «ибо они мертвецы», — и ничего ужаснее люди не знали.

...То хлещет дождь, то сушит солнца зной,  
То град сечет, то ветер по ночам...

...Над нами воронья глумится стая,  
Плоть мертвую на части раздирая...\*

## ПЛЯСКА СМЕРТИ

Будь Макабр поэт или персонаж театра, художник или мифическое лицо — это дела не меняет: пляска Макабра\*\* — пляска на кладбище. В большинстве своем иллюстрацией к ней являются росписи на стене часовни: это пляска мертвых, такая, какую танцевали живые, чтобы выразить свою веру, свой страх и свою надежду. Папа и король, писец и офицер, торговец и

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 151—152. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* По-французски «пляска смерти» звучит как «ла данс макабр» (La danse macabre).

крестьянин — все они в одеждах живых, с соответствующими атрибутами — вовлечены в бесконечное рондо, где сама Смерть держит их за руки.

У каждого своя Смерть, и вот в чем заключается добровольный самообман, до самого конца заставляющий на что-то надеяться: невозможно получить окончательный ответ на вопрос, мертвец ли тащит за собой в небытие живого или то сама бестелесная Смерть, которая для всех одинакова, разит всех по очереди?

То, что именно так был поставлен этот танец-спектакль, в котором главные роли отводятся тщеславию, основанному на столь непрочной иерархии, и самонадеянности, вообще не имеющей никакой опоры, не должно удивлять, как, впрочем, и то, что танец этот исполняли на кладбище. Танец — заклинание, кладбище — место встречи, танец на кладбище с начала средних веков вписывается в ритуалы скорее сатанинские, нежели литургические; христианство не смогло отказаться от этого духовного наследия языческой античности.

Впрочем, смех — не улыбка. Над смертью смеются, но не насмеваются; никто не стал бы ей улыбаться. «Смеюсь сквозь слезы», — главное противоречие Вийона — не лишено смысла. Смеяться над смертью столь же непристойно, как смеяться над уродством карлика. Назвать злым общество, рассматривающее себя в выбранном им самим зеркале, — значит ничего не понять в смехе Средневековья. Безумец, глупец и фигляр — три ипостаси зеркала, которые мир переносит и через которые проповедуется мораль. То, что Смерть в обличье фигляра пляшет фарандолу, — насмешка не над Святостью, а над устройством Мира. Танец — это обряд, и смеяться над ним — значит понимать его.

Обряд стал темой. Ею завладели поэт и художник. «Пляска смерти» появилась на стене часовни кладбища Невинноубиенных младенцев в 1425 году; Гийо Маршан опубликовал ее текст с великолепными гравюрами в 1485-м. Во времена Франсуа Вийона «Пляска смерти» так же известна, как «Последний Судный день» во времена святого Бернара. В праздники ее исполняют на площадях. Каждый вводит в нее свой персонаж, соответствующий его фантазии или положению в обществе. Главенствует монах. Доминиканец и францисканец выступают на равных. Все радуются, когда среди действующих лиц обнаруживают сержанта, сборщика налогов и ростовщика.

Есть там и женщины, которым отдают дань учтивости в последний раз. Неизвестно, действительно ли автором «Пляски смерти для женщин» был утонченный Марциал Овернский, со-

здавший «Приговор Любви», но это и неважно, а важно то, что произведение как нельзя лучше говорит о глубоком смысле действия, отнюдь не кощунственного. Насмешка здесь — суждение о человеческих ценностях, а гротеск — всего лишь барочное выражение чувственности, на которую Аристотель не оказывает более сдерживающего влияния. Герцогиня плачет оттого, что в тридцать лет ей приходится умирать, а маленькая девочка откладывает в сторону куклу, веря, что у праздника будет продолжение.

Строфы Вийона вписываются в традицию «Пляски смерти», и не только потому, что смерть всюду вмешивается в жизнь. Смерть с косою тоже танцует, и если начало было Неизбежным, то конец становится Неумолимым. Принижение веры — пожалуй, но и возвышение человеческих ценностей. Судьба людей измеряется эталоном жизни, не вечности. Равенство перед смертью заменяется равенством перед Божьим Судом.

На тимпанах XIII века изображен кортеж испуганных осужденных, а также процессия избранников, ведомых к свету, в Авраамово царство. Поэт пребывает во власти разочарования, в стихах появляются епископ и папа, школяр и торговец. «Пляска смерти» не различает, где доброе семя и где плевелы: ничто не отличает избранных и обреченных. Вийон может устанавливать среди ее участников собственную, насмешливую иерархию.

Первым идет папа — «самый достойный сеньор», говорит Гийо Маршан. Потом черед императора, вынужденного оставить знак императорской власти в форме золотого шара: «Оставить надо золотой, круглый плод!» Затем следует кардинал, за ним — король.

И в заключение, словно подчеркивая тщету славных подвигов прошлого, Вийон задается вопросом: «Но где наш славный Шарлемань?»; в своей «Балладе на старофранцузском» он соединяет архаические выражения и устаревшие формы, отдавая все на волю ветра, уносящего кортеж, более всего похожий на сатанинскую фарандолу. Черт тащит за ворот апостола, папу, императора, но прежде других — короля Франции, ведь он во всем первый. Слуг папы, надутых, словно индюки, уносит ветром, как и их хозяина, возглавляющего пляску. Папа титулуется не как обычно, а «слугою из слуг Бога», что на старофранцузском частенько звучало довольно причудливо: «служитель из служителей монсеньора Бога». Император же у Вийона погибает, сжимая в кулаке позлащенный шар — символ высшей власти, ибо суетно и тщетно даже дело короля, строящего церкви и монастыри. Мощь и благочестие не спасают: их уносит ветер.

А где апостолы святые  
С распятыми из янтарей?  
Тиары не спасли златые:  
За ворот шитых стихарей  
Унес их черт, как всех людей,  
Как мытари, гниют в гробах,  
По горло сыты жизнью сей, —  
Развеют ветры смертный прах!

Где днесь величье Византии,  
Где мантии ее царей?  
Где все властители бывшие,  
Строители монастырей,  
Славнейшие из королей,  
О ком поют во всех церквах?  
Их нет, и не сыскать костей, —  
Развеют ветры смертный прах!\*

«Пляска смерти» Вийона — это то же, что «Завещание». Ее персонажи — люди из его жизни, друзья и недруги, о которых он говорит с легкой иронией.

Я знаю: бедных и богатых,  
И дураков и мудрецов,  
Красавцев, карликов горбатых,  
Сеньоров щедрых и скупцов,  
Шутов, попов, ерстиков,  
Дам знатных, служек из собора,  
Гуляк и шлюх из кабаков, —  
Всех смерть хватает без разбора!\*\*

Равенство перед Судом — компенсация для праведников. Равенство перед смертью — реванш бедняков. Вийона утешает, что умрет не только он, но и все остальные, в том числе и богачи. На этот раз он уверен, что у него одна судьба с сильными мира сего.

Всех смерть хватает без разбора!

Это месть голодных животов. Она выльется у Вийона в литанию, посвященную развеявшейся, как дым, славе былых времен; речь идет о двух балладах: «Баллада о дамах былых времен» и «Баллада о сеньорах былых времен». Смерть уничтожает иллюзии, из которых и состоит мир живых.

Увы, без толку я речист:  
Все исчезает, словно сон!  
Мы все живем, дрожа как лист,  
Но кто от смерти был спасен?  
Никто! Взываю, удручен:  
Где Ланселот? Куда ни глянь —  
Тот умер, этот погребен...  
Но где наш славный Шарлемань?\*\*\*

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 51. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 46.

\*\*\* Там же. С. 49—50.

Любовь к жизни — вот благодаря чему бедняк чувствует себя отомщенным. Лучше жить в бедности, чем умереть в богатстве. Обращение к имени Жака Кёра говорит об этом реванше отверженного.

Что нам тягаться с Жаком Кёром!  
Не лучше ль в хижине простой  
Жить бедняком, чем быть сеньором  
И гнить под мраморной плитой?\*

Из своего путешествия на кладбище Невинноубиенных младенцев, где на стене часовни изображена «Пляска смерти», Вийон вынес один урок: жизнь и смерть — две сменяющие друг друга формы одной реальности, которая отражает условность бытия. Смерть — или мертвец, об этом будут долго рассуждать, — увлекает живого, две фигуры сменяют одна другую в течение долгой фарандолы, как и в «Завещании», где под конец появляется несчастный, умирающий поэт: его «я» проглядывает сквозь вереницу других лиц, тех, для которых достаточно несуществующих даров поэта как атрибута их существования. Ростовщик из «Пляски» несет на шее кошель, а ростовщики Вийона получают добрый совет, сопровождаемый игрой слов...

Пируэты, выделяемые поэтом, стоят упражнений акробатов. Гротеск, который мы у него находим, — свидетельство человеческой приниженности. Смерть в «Пляске» не оставляет надежды, в иконографии XV века Воскресение встречается крайне редко. Смерть жива, а живой мертв. Движение живых к Смерти порождает иллюзию жизни. Ответ Вийона мы находим в «Балладе истин наизнанку»: нет ничего истинного в этом мире. Поэт, покорный судьбе, не славословит отчаяние, однако оставляет Судьбе право высказать свою точку зрения:

Тебе ли на Судьбу роптать, Вийон\*\*.

Одной из «истин наизнанку» в балладе нет: она в «Большом завещании», и вот как поэт квалифицирует «скачки», иначе говоря — забавы любовников: «Что плохо для души, то хорошо для тела». Вийон так определил программу этого малого эпикуреизма: «Всё, всё у девок и в тавернах!» Но в час сведения последних счетов с жизнью это кажется ему слишком дорогой расплатой.

Вам говорю, друзья, собратья,  
Кто телом здрав, но хвор душой:  
Тесны пеньковые объятья,  
Бегите от судьбы такой!

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 45. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 148.

Вам «Со святыми упокой»  
Уже никто не пропоет,  
Когда спознаетесь с петлей...  
А смертный час ко всем придет.\*

Смысл специально затемнен благодаря двойственному пониманию. Что означает стих: «Passez-vous au mieux que pourrez!»? «Passez-vous» — это «попытайтесь жить». То есть пользуйтесь удовольствиями, а там видно будет? Или это совет не идти до конца: дорого обойдется?

Вийон довольно насмотрелся на «Пляску смерти» на стене кладбища Невинноубиенных младенцев, так же как на рай с ангелами-музыкантами и ад, «где будут кипеть в котлах проклятые», у монахов-целестинцев и в других местах. Обо всем этом уже сказано в «Мистерии» Арнуля Гребана. Вийон, хоть и подхватывает на лету основную мысль, выделяет ее особо. Когда он думает о вечном спасении, он взывает к Деве. Это традиционное восприятие, когда заступники предстают перед Судом и святые не отказывают каждому в праве на молитву и на добродетели. Когда он думает о смерти, он не может найти прибежища. В «Пляске смерти» нет ни Девы, ни святых. Бог — судья, а Смерть — враг, и она заранее побеждает. Современник Вийона, автор «Пляски слепых» Пьер Мишо пишет не без вызова:

Я Смерть, врагиня всей природы,  
Я подвожу черту всему\*\*.

Вийон взывает к смерти. В действительности же он обвиняет. Человек беспомощен перед косою.

О Смерть, как на душе темно!  
Все отняла, — тебе все мало!  
Теперь возлюбленной не стало,  
И я погиб с ней заодно, —  
Мне жить без жизни не дано.  
Но чем она тебе мешала,  
Смерть?

Имели сердце мы одно,  
Но ты любимую украла,  
И сердце биться перестало,  
А без него мне все равно —  
Смерть\*\*\*.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 113. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 78. Пер. Ф. Мендельсона.



## ОСТАВИТЕ ЛЬ ЗДЕСЬ БЕДНОГО ВИЙОНА?

### ЕПИСКОП ОРЛЕАНСКИЙ

Узник Мёна обвиняет судьбу, потому что не осмеливается бросить вызов Богу, но он и не помышляет винить самого себя. Да, он зол особенно на епископа Орлеанского и несколькими месяцами позже отведет ему должное место в своем «Завещании»: пусть Бог будет так же милостив к епископу Тибо д'Оссињи, как тот был милостив к «бедняге Вийону». Не стоит объяснять далее, читателю ясно, о чем речь: это просто парафраза из молитвы «Отче наш», которую использовал здесь поэт, помышляя о возмездии: «и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим»... Вийон переиначивает паразрафу — это риторическая фигура из арсенала магистра словесных наук.

И если такая инверсия означает проклятие, то кто в этом виноват? Епископ был и неприступным, и жестоким, и Вийон считает, что они квиты. Он не против того человека, который благословляет толпу, он против тюремщика. И если тюремщик — епископ, тем хуже.

Сила возмущения не оставляет места ни юмору, ни иронии. Ненависть Вийона доказывает искренность оправданной в его глазах идеи. Пожалуй, главное проявление духа Вийона в самых жестоких словах памфлета.

Мне шел тридцатый год, когда я,  
Не ангел, но и не злодей,  
Испил, за что и сам не знаю,  
Весь стыд, все муки жизни сей...  
Ту чашу подносил мне — пей! —  
Сам д'Оссињи Тибо, по сану  
Епископ Мёнский; тем верней  
Я почитать его не стану!  
Ему не паж и не слуга я\*.

\* По-французски здесь дословно: «Je ne suis son serf ni sa biche», то есть: «Я не олень его и не козочка» («serf» также означает «крепостной»). — *Прим. пер.*

Как в ошил кур, попал в тюрьму.  
И там сидел, изнемогая,  
Все лето, ввергнутый во тьму.  
Известно Богу одному,  
Как щедр епископ благородный, —  
Пожить ему бы самому  
На хлебе и воде холодной!

Но чтоб никто из вас не думал,  
Что за добро я злом плачу,  
Что вовсе я не зря в беду, мол,  
Попал и зря теперь кричу, —  
Лишь об одном просить хочу:  
Коль это было добрым делом,  
Дай Бог святоше-палачу  
Вкусить того ж душой и телом!\*

Мэтр Франсуа не собирался молиться за своего тюремщика. Если это грех, что ж, одним больше; тем хуже. Процесс над епископом Орлеанским кончается сентенцией, которая опять же восходит к юридической формуле, застрявшей в голове прежнего школяра. Только суд над ним вершит не дюжина людей, как было принято в судебных палатах. Суд вершит Бог.

А он был так жесток со мною,  
Так зол и скуп — не счесть обид!  
Так пусть же телом и душою  
Он в серном пламени горит!  
Увы, но церковь нам твердит,  
Чтоб мы врагам своим прощали...  
Что ж делать? Бог его простит!  
Да только я прошу сдва ли!\*\*

К концу «Большого завещания» гнев поэта нарастает. Поэт все еще рисует себя таким, каким создала его злая фортуна, — слишком рано состарившимся и износившимся, и с первых же строк, рожденных в порыве вдохновения, в стихах чувствуются горечь и ярость. За свое несчастье Вийон благодарит Бога и епископа Така Тибо. Епископ выставлен у позорного столба.

Благодаря воспоминаниям Фруассара мы знаем, что Тибо вообще-то звали Жаком, Таким его прозвал презренный люд. Он не был епископом. Он был немного известен как чулочник, но главным образом в Париже Карла VI его знали как приближенного герцога Жана Беррийского. Меценатство принца обходилось дорого, а любовь к мальчикам вызывала недоумение.

«Рядом с герцогом сидел Так Тибо, к которому чаще всего обращался любящий взор. Этот Так Тибо был слугою и чулочником, к которому герцог Беррийский прики-

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 33—34. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 34.

пел душой неизвестно почему, ибо у вышеназванного слуги нет ни ума, ни разума и чего бы то ни было полезного людям, ему важна лишь его собственная выгода. Герцог одарил его прекрасными безделушками из золота и серебра стоимостью в двести тысяч франков. А за все расплачивался бедный люд Оверни и Лангедока, который вынуждали три или четыре раза в год удовлетворять безумные прихоти герцога».

Вийон далек от того, чтобы полагать, что всяк хранит воспоминания о том подмастерье, современнике его дедушки. Читал ли он сам Фруассара? Упоминалось ли имя «Так Тибо», когда речь шла о нравах тех времен? Поэт не делает никакого хотя бы легкого намека, но его справка стоит того, чтобы быть принятой всерьез: он обвиняет Тибо д'Оссиньи в мужеложестве, или в том, что тот — вор, или и в том и в другом. Он же, Франсуа Вийон, — конченный человек. И он знает, кого ему благодарить.

Я славлю Господа везде  
И д'Оссиньи-злодея тоже.  
Меня на хлебе и воде,  
В железах (вспомнишь — дрожь по коже)  
Держал он... Но скулить негоже:  
Мир и ему, et reliqua.  
Так дай же, дай ему, о Боже,  
Что я прошу, et cetera\*.

Вийон использует здесь классические аббревиатуры нотариуса и секретаря суда, чтобы не растекаться мыслью по древу. Это не мешает ему быть правильно понятым. Слова «так дай же, дай ему» как бы усиливают угрозу.

Впрочем, Вийон уже сказал, чего желает для епископа — смерти. Довольно церемониться! Пусть смерть не медлит. Школяр дает себе волю и смеется над своим преследователем, играя словами цитаты, хорошо известной тем, для кого он пишет. Епископ просит, чтобы за него молились? Пожалуйста! Поэт декламирует псалом.

Если он хочет узнать, что просят для него (в этой молитве),  
Ясно, что всем я этого не скажу,  
Поклявшись верой, которой обязан моему крещенью.  
Он не будет разочарован.

Епископ не обманется в своих надеждах.

В моей Псалтири,  
Которая не переплетена ни в воловью кожу, ни в кордуан,  
Я выберу на свое усмотрение маленький стих,

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

За номером семь\*.  
Из псалма «Deus laudem»\*\*.

Нет такого писца, привычного к церковной службе и требнику, который бы не понял, о чем речь. Псалом «Deus laudem» поют в субботу вечером — а «малый часослов» предназначен специально для клириков, у которых есть дела поважнее, чем распевать псалмы целый день, как это делают монахи, — это псалом гнева Господня.

И когда в псалме царя Давида говорится об «общественной повинности», латынь Вулгаты, на которой написан и требник, переводит его не иначе как «episcopatum»\*\*\*.

«Пусть он уйдет осужденным, если его судили, и пусть его молитва будет ему грехом.

Пусть дни его будут сочтены, и пусть другой возьмет на себя его ношу».

Не осмеливаясь, однако, просто написать, что желает смерти епископу, Вийон эту тему постарался скрыть. С одной стороны, он произносит псалом для прелата, и это можно было бы принять всерьез, если бы тот псалом со смехом не распевали потихоньку дети в церковном хоре: «Episcopatum accipiat alter...» Всем понятно: «Пусть другой получит епископство». С другой стороны, он явно иронизирует, имея в виду классическое пожелание: «Пусть Бог дарует ему долгую жизнь!» Ну а выразить то, что он думает на самом деле, ему помогают судейские словечки. «Не доверяй этому и прочее нотариуса», — гласит пословица. И прочее Вийона проходит через весь псалом: «Пусть он содохнет и пусть назначат другого епископа!»

Лишний раз убеждаешься, как внимательно надо вчитываться в эти строчки, прежде чем толковать тему, которую разбирает школяр, приученный к изыскам риторики и библейской символики. Вот так, в шутивных выражениях, кои можно было бы принять за безобидные, не зная мы всего «Завешания», Вийон продолжал сводить счеты с правосудием епископа Тибо д'Оссиньи.

И все же зла желать не след  
Его дружкам-официалам.  
Один из них на целый свет

---

\* Стих, в котором говорится: «Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой» (Псалтирь, 108). Вероятно, в текстах того времени этот стих действительно был седьмым, а не восьмым. — Прим. пер.

\*\* Дословный перевод.

\*\*\* Епископство (лат.).

Не зря слывет добрейшим малым.  
Да и других вокруг навалом,  
Но всех милей — малыш Робер.  
Я их люблю с таким запалом.  
Как любит Бога малонер\*.

Он ни на кого не сердится. Ни о ком не думает плохо. Но все знают, что епископский судья Орлеана, «официал», зовется Этьеном Плезаном\*\*, а «малыш» Робер — по всей видимости, сын и помощник орлеанского палача мэтра Робера. Палач вешает, сын пытается. С остальными Вийону не хочется возиться. Для того, кто преодолет ненависть, остается презрение.

Пародия на юриспруденцию ощущается повсюду в «Большом завещании». Как человек, которому осталось жить недолго, Вийон протестует против того, чтобы ему навязывали любовь к людям, причинявшим ему зло. Он их любит так же, как ломбардец любит Бога. А всем известно, что любит ломбардец, — ведь он чаще всего ростовщик, а церковь запрещала получать долги с процентами, основываясь на Евангелии от Луки: «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Прав он или не прав, но ломбардец или не очень-то печется о своем спасении, или спохватывается, но слишком поздно. Он чересчур любит деньги.

В самом разгаре повествования и на стыке юридических формулировок мы вдруг замечаем лукавую усмешку. Поэт любит всех «в одной мере». На судейском языке это классическое описание прекрасных земельных владений.

Одаривая всех благами, поэт сидит в подземной тюрьме епископского замка в Мёне, и епископ Тибо д'Оссины не спешит выпускать его на волю. Насколько известно, Оссины хоть и был человеком высокомерным, но был при этом весьма справедлив — он совсем не тот тиран, каким рисует его Вийон. Но епископ Орлеанский — жесткий администратор, любящий порядок, для которого плохой писец — всего лишь плохой писец, и он предпочитает видеть вора в наручниках, а не скитающимся по большим дорогам.

## БЕДНЯГА ВИЙОН

Теперь все помыслы мэтра Франсуа о парижских друзьях. Некоторые из них — вполне добропорядочные люди, уважаемые и у себя дома и на улице. Не всем ведь быть шалопаями. Его друзья исправно несут службу и водят почетные знакомст-

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Plaisant (фр.) — «любезный».

ва. Это им, или одному из них, посвящается написанное в тюрьме «Послание», крик о помощи, когда на кон поставлена веревка и грамота о помиловании. Эти люди радуются солнышку, танцуют и попивают молодое вино. Неужто они позволят повесить шалуна, с которым когда-то были дружны? И когда они протянут руку помощи? Неужто когда он будет уже мертв?

В длинном послании, обращаясь к прежним, забывчивым друзьям, Вийон рисует картину былого счастья: счастья беззаботности, разных уловок и маленьких удовольствий. Любить, танцевать, пить, понемногу сочинять стихи и чуточку размышлять; критиковать другого — значит составлять программу для себя. Простое счастье — это когда живешь, не замечая его, — оно становится заметным, когда его утрачивают.

Ответьте, баловни побед,  
Танцор, искусник и поэт,  
Ловкач лихой, фигляр холеный,  
Нарядных дам блестящий цвет,  
Оставьте ль вы здесь Вийона?\*

Это тоже образ счастья, но это — такое утоление жажды, когда в пересохшей глотке рождается звук, похожий на щелканье погремушки.

Ваганты, певуны и музыканты,  
Молодчики с тугими кошельками,  
Комедианты, ухари и франты,  
Разумники в обнимку с дураками,  
Он брошен вами, поддыхает в яме.  
А смерть придет — поднимете вы чарки,  
Но воскресят ли мертвого припарки?\*\*\*

Поэту уже не хочется смеяться, на этот раз ему не удастся даже подмигнуть. Его не веселит мысль о теплом бульоне, который ему принесут, когда его не станет! Единственное, в чем проявилась ирония, — в автопортрете узника, который постится по вторникам и воскресеньям, когда никто и не думает поститься. Ни смеха, ни улыбки: это, проще говоря, скорбное одиночество обреченного, покинутого друзьями.

Взгляните на него в сем гиблом месте\*\*\*.

Вийон очень изменился. Какова бы ни была причина его заточения, он считает себя жертвой ошибки. Когда он шатался по дорогам, был нищим, когда его искали и даже арестовывали, он не чувствовал настоящей горести. Теперь он скис. Его внутреннему взору представляется новый образ Вийона как жертвы об-

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 144. Пер. И. Эренбурга.

\*\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\*\* То же.

щества. В сердце беззаботного шутника, писавшего «Малое завешание», а потом бежавшего от незавидной судьбы, была лишь нежность по отношению к друзьям и ирония по отношению ко всем остальным; и не без гордости он называл себя школяром. Узник Мёна сплетает колючий венец из всех пережитых страданий и предлагает его самому себе, но уже совсем другому человеку.

Этот другой — «бедняга Вийон». Человек, потрепанный жизнью, о существовании которого уже можно было догадываться в «Балладе подружке Вийона» с ее тихим плачем, горестными предчувствиями. До сего времени Вийон употреблял слово «бедняга» только чтобы поразвлечься, даже когда будущий певец горестных минут уже виден был сквозь личину забавника, написавшего «Малое завешание». «Бедные писцы, говорящие по-латыни» из «Малого завешания» — это откормленные монахи, а «бедные беспризорные сиротки» — это богатые ростовщики. Теперь слово «бедный» уже не вызывает смеха. Вийон сетует на судьбу и определяет свое новое положение другими словами. Несправедливость Фортуны, тщета усилий, постоянно повторяющиеся неотвратимые падения — все это высказано в одном стихе и названо одним словом. В рефрене «Баллады Судьбы» Вийон дает сам себе совет, выражающий его новое мироощущение.

И замолчи, пока я не вспыхнула!  
Тебе ли на Судьбу роптать, Вийон?\*

Он нашел это слово: «бедный»; он «бедный школяр» и воображает себя «бедным галантерейчиком», а в эпитафии ко всему прибавляется еще «бедный маленький школяр». Он нравится себе в этом облике и дважды повторяет слово «бедный» в двух стихах «Большого завешания». Чтобы представить себе облик этого нового Вийона, достаточно слова «бедный», звучащего все время, пока заключенный в тюрьме Мёна взывает о помощи:

Оставьте ль вы бедного Вийона?

Бедным родился, бедным умирает. Не писал ли несколькоми годами раньше Мишо Тайеван: «Бедственное положение хуже смерти»? Одураченный Фортуной, наказанный людьми, обманутый женщинами, истощенный голодом, побежденный болезнью, он заранее оплакивает себя в предчувствии смерти, которая ничего в мире не изменит. Утешает одно: все через это пройдут.

Но с той минуты, как он сам себе становится жалок, для него все приемлемо. Физическая немощь, дряхлость — неотъем-

---

\* Вийон Ф. Лиррика. М., 1981. С. 148. Пер. Ф. Мендельсона.

лемые части общей картины. В «Большом завещании» он добавит к этому и мужское бессилие, о котором безо всякого стеснения он скажет на двух языках — реалистическом и куртуазном. Его «плоть уже не пылает», а голод «отбивает любовные желания».

Изобразив свою мать молящейся, он и о ней, набожной старухе, говорит так же, как и о себе, «бедная» и «маленькая», как бы признавая свое поражение и в то же время наслаждаясь своей горечью. Она «бедненькая, старенькая», «бедная мама», «бедная женщина», «скромная христианка». Она ничего не знает, ни о чем не просит. Вийон говорит о ней так, чтобы не показаться набожным, выбирает для нее судьбу, уготованную себе: он умаляет значительность ее личности.

Нишета не лишает надежды. Один и тот же рефрен повторяется на протяжении всей баллады, когда тревога становится особенно сильной. Может быть, его все-таки не оставят? Даже свиньи, говорит он в другом месте, помогают друг другу. Придет ли наконец грамота о помиловании, которую так просто получить, живя в Париже и имея доступ во дворец?

Живей, друзья минувших лет!  
Пусть свиньи вам дадут совет:  
Ведь, слыша поросенка стоны,  
Они за ним бегут вослед.  
Оставьте ль вы здесь Вийона?\*

Узник ждал весточки. Но дождался большего, так что ему не пришлось расточать благодарности ни родственникам, ни друзьям. Явился новый король.

## ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ ЛЮДОВИКА XI

Карл VII умер 22 июля 1461 года. Дофин Людовик был в Авене и готовился войти во Францию. Еще прежде его короновали в Реймсе. Праздник был великолепен. Каждый присматривал за соселом.

В течение пятнадцати лет дофин открыто выражал недовольство своим отцом. Все отталкивало их друг от друга, а долголетие Карла VII породило феномен, дотоле неизвестный Франции, — нетерпение наследника. Карлу VII было пятьдесят восемь, а будущему Людовику XI уже тридцать восемь! Таких принцев во Франции еще не бывало. Карлу VII было девятнадцать, когда, не без труда, он взшел на престол. Карлу VI было двенадцать — вот почему за него правили его дядья. Карл V в

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 145. Пер. И. Эренбурга.



восемнадцать взял на себя управление страной после поражения короля Иоанна; в двадцать шесть он уже сам стал королем. И лишь добравшись до Иоанна Доброго, можно было найти наконец принца, коронованного более чем в тридцать лет. А Людовику XI было уже под сорок.

В детстве он много страдал. Атмосфера двора была удручающей, со множеством интриг, с которыми отец не боролся в силу того, что оспаривалось не только его наследственное право на престол, но и законность его монаршей власти. Людовик пользовался любой возможностью, чтобы отличаться, играть особую роль, удержать за собой свое место и свое положение. У него образовались связи при дворе, и он вероломно составил заговор против своего отца-короля. Он на деле был правителем своих вьенских владений, так что ему было на что расходовать энергию. В Лангедоке и Савойе, в Италии и Фландрии он вел независимую политику и использовал всякую возможность, чтобы противопоставить себя королю Франции. Наконец, испугавшись за свою безопасность, он принял решение войти во двор Филиппа Доброго, где стал обременительным гостем, которого герцог Бургундский вознамерился было использовать как пешку.

Карл VII был в ярости. Филипп Добрый не раз совершенно искренне задавался вопросом, как выйти из тупика. Советникам короля Франции приходилось выбирать между верностью господину настоящему и желанием услужить господину завтрашнему. И впрямь, все было ненадежным: дофин Людовик достиг возраста, когда большинство его предшественников уже перешли в мир иной.

Конец ожидания все приветствовали с большим облегчением. Коронованный в Реймсе 15 августа, 31-го Людовик XI торжественно вошел в Париж, три недели провел в столице и отбыл из нее 24 сентября.

Его пребывание в Париже привело всех в замешательство. Парижане сначала забеспокоились. Как сложатся их отношения с новым королем Франции? Ведь на следующий день после смерти Карла VII, а именно 23 июля около девяти часов вечера, все видели комету, сверкнувшую в небе.

«Комета с очень длинным хвостом светилась столь сильно и ярко, что казалось, будто весь Париж в огне, весь объят пламенем. Да сохранит его Бог от этого!»

Обеспечить безопасность короля в столице было нелегким делом, ведь столько лет в Париже не держали двора, да и общественный порядок оставлял желать лучшего. Горожане охраня-

ли все ворота опоясывающего город вала по шестеро, стража набиралась из буржуа, живших по соседству. Возле каждого ворот стояли по два капитана, и два отряда вооруженных людей сменяли друг друга днем и ночью. На случай непредвиденной атаки имелись два стрелка из лука и два — из арбалетов. Смысл этих предосторожностей сводился к следующему:

«Следует помнить, что никакая группа вооруженных людей не должна входить в город, если их больше двадцати человек, и эти люди не будут пропущены в город, если они будут одеты в военную форму».

Равным образом следовало помнить о расквартировании военных в предместьях. С тех пор как аристократия удалилась из Парижа, дома баронов остались без присмотра, если только не перешли в руки других владельцев. Гостиниц за отсутствием клиентов было меньше, чем в период, когда все дела королевства решались в Париже. Начальники отрядов в сорок человек произвели, квартал за кварталом, учет свободных комнат. Сосчитали кровати, так же как и «места в стойлах». Потом ответственные за жилье распределили документы на проживание. И тут следовало успокоить буржуа: эти документы на проживание лишали привилегий лишь тех парижан, кто был свободен от обязательств такого рода. Несмотря на согласие, которое в конечном счете дала купеческая гильдия, было немало недовольных.

Следовало еще раз реквизировать зерно. Купеческий старшина запретил торговлю зерном во время пребывания короля в Париже: зерно, доставлявшееся в город, поступало в распоряжение общественных властей. Торговцы расценили это как посягательство на свои интересы.

Выборы были отложены. У купеческого старшины и советников ратуши истек срок мандатов. Времена были спокойные, и городу было важнее всего поскорее выслать навстречу новому королю послов, а затем подготовиться к въезду короля и его пребыванию в городе.

Людовику XI пришлось ждать двое суток. Он устроился в Поршероне — нынешний Нотр-Дам де Лорет, — у верного Жана Бюро. Это не всем понравилось. Когда он наконец направился в город, парижане облегченно вздохнули.

Зеваки, конечно, получили удовольствие. Они стали свидетелями многочисленных выездов, праздников, зрелищ. Символика была в чести. Так, например, «Прямодушное Сердце» представили королю пять богато одетых горожанок, каждая из которых являла собой одну из букв, составлявших слово «Па-

риж»; аллегория была такова: Покой, Амур, Рассудок, Искренность, Жизнь. Все смогли насладиться зрелищем — у подъемного моста возле ворот Сен-Дени — серебряного ковчега с представителями дворянства, духовенства и буржуазии. У моста на улице Сен-Дени развлекалась большая толпа: женщины и мужчины, одетые как дикари, «сражались перед фонтаном и принимали различные позы».

«И еще были три очень красивые, совершенно обнаженные девицы, изображавшие сирен; и все любовались их торчащими твердыми сосками, смотреть на которые было так приятно. А перед ними разыгрывались небольшие пьесы и пасторали, и множество музыкальных инструментов исполняли звучные мелодии.

И для удовольствия входящих в город из различных трубок, ответвленных от фонтана, били молоко, сладкое и кислое вино, и каждый пил что хотел.

И немного ниже вышеназванного моста, подле Троицы, молчаливые персонажи изображали Страсти Господни».

Король не испытывал большого удовольствия при виде своей столицы. Ему надлежало явить себя королевству, которое так долго оставалось для него недоступным. Добавим, что герцог Бургундский был склонен полагать, что король ему обязан за те услуги, которые герцог оказывал Людовику в бытность его дофином: Людовик XI был полон решимости напомнить королевству, кто здесь хозяин. Филипп Добрый покровительствовал ему во время коронавания, он вводил короля в Париж, который всегда был настроен пробургундски. Постепенно у всех сложилось впечатление, что королю приходилось беречь свое королевство от герцога. И лишь достигнув Турена, Людовик понял, что наконец свободен.

По правде говоря, Париж и парижан, двор и придворных он ненавидел. Его резиденции вдоль Луары защищали его от них. В замках отца, а затем в замке в Плесси-де-Тур король находил и уют, и простоту, и свободу. Правда, ему и в голову не приходило кончить там свои дни, как его соседи из Анжера или Блуа, в приятном окружении блестящего двора. Людовику XI необходимо было место для работы. И именно Турень подходила для этого больше всего.

Дорога на Тур идет по правому берегу Луары. Тридцатого сентября король прибыл в Орлеан. Четвертого октября — в Божанси, седьмого — в Амбуаз, девятого — в Тур. Второго октября он остановился на ночлег в Мён-сюр-Луаре.

Само собой, как и в других местах, на бархатной подушечке ему преподнесли ключи от города. Он получил подарки: семгу и севрюгу, жирных гусей и каплуна, несколько бочонков местных вин, несколько сетые пшеницы. Людовик XI был прост в обращении, а потому его повеления были всем понятны: одной рукой он даровал, зато другая была загребушей; он слез с мула, поблагодарил жителей города и отдарился всем, что было ему только что подарено. Людовик вошел в церковь в момент начала мессы. Звонили колокола, и все кричали: «Слава благоденствию!» и «Да здравствует король!» — и он, как водится, повелел освободить заключенных.

Король Франции, вероятнее всего, не знал, что возвратил в тот миг свободу магистру Франсуа де Монкорбье, нарежнему себя Вийоном. Правда, присутствие рядом с королем Карла Орлеанского рождает некоторые сомнения. Но ведал ли сам герцог, кем стал его давешний гость?

Зато поэт знал, чем обязан Людовику XI. В начале «Большого завещания», тотчас после проклятия епископу Тибо, рядом с похвалой Создателю, воздается похвала королю:

Дай Бог Людовику всего,  
Чем славен мудрый Соломон!  
А впрочем, он и без того  
Могуч, прославлен и умен\*.

О желаниях поэта всем известно по «Завещанию», и все знают, что эти желания совпадают с желаниями короля и его окружения: продление дней немолодого уже человека и процветания, прибавления в семействе Валуа, который вовсе не был уверен, что у него наконец появится наследник.

Но жизнь — как мимолетный сон,  
И все, что есть, возьмет могила;  
Так пусть живет подольше он, —  
Не менее Мафусаила!

Пусть дюжина сынов пригожих,  
Зачатых с верною женой,  
На Карла смелостью похожих,  
На Марциала — добротой,  
Хранят Людовика покой\*\*.

Людовик XI не проживет 969 лет, как патриарх Мафусаил. Но шестьдесят все же протянет и оставит корону сыну, Карлу VIII, родившемуся только в 1470 году.

Все это не простое расшаркиванье, вынужденная вежливость, умышленная предосторожность. Благодарность Вийона

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 35. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 35—36.

искренняя, он подчеркивает это, ведь королю он обязан жизнью. Официальные акты датируются согласно праздникам, помеченным в церковном календаре. Поэт датирует завещание своим вторым рождением:

Пишу в году шестьдесят первом,  
В котором из тюрьмы постылой  
Я королем был милосердным  
Освобожден для жизни милой.  
Покуда не иссякли силы,  
Я буду преданно служить  
Ему отныне... до могилы, —  
Мне добрых дел не позабыть!\*

### ГЕРЦОГ БУРБОНСКИЙ

Итак, Вийон выходит из мёнской тюрьмы 2 октября 1461 года. В конце года он в Париже. Просьбу, обращенную к герцогу Бурбонскому, — если только речь не идет о путешествии в Бурбоннэ, хотя, впрочем, с точностью сказать нельзя, — следует отнести примерно к ноябрю того же года. Намек на Сансерр не вполне определенно свидетельствует, что Вийон посетил Мулен, и совсем не обязательно предполагать, что поэт отправился к герцогу Бурбонскому, дабы воззвать к его великодушью.

Жан Бурбонский и в самом деле держит в Мулене двор, к которому мог бы прибиться поэт, оставшийся без средств к существованию. В своей «Просьбе к герцогу Бурбонскому» Вийон вспоминает, что некогда получил «вознаграждение» в шесть экю. Ему бы хотелось получить еще хоть что-то. И это все, что нам известно. Так как род Монкорбье происходил из Бурбоннэ, можно предположить, что, выйдя из тюрьмы, поэт направился к своему настоящему сеньору. Можно даже предположить, что путешествий было два: одно после убийства Сермуаза — «шесть экю» — и другое после мёнского дела.

Но предполагать следует осторожно. Меньше трех месяцев на путешествие в пятьсот километров — гораздо больше, чем потребовалось бы хорошему ходоку, и в то же время этого вполне достаточно для изможденного горемыки, который только что вышел из своей «ямы».

Но нет нужды отправляться в Мулен, чтобы протянуть руку своему сеньору — Вийон как будто забывает, что чувствует себя гораздо в большей степени парижанином, чем бурбонцем. Герцог Жан останавливался в августе в Реймсе, поблизости от нового короля Франции. Все видели, как 31 августа он гарде-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 36. Пер. Ф. Мендельсона.

вал «с чепраком из черного бархата, усеянного серебряными и золотыми листьями с колокольчиками». В это время под радостные крики въезжал в свою столицу король Людовик XI. Известно, что Бурбон — один из немногих принцев, парижский дворец которого, расположенный между Лувром и Сен-Жермен-л'Осеруа, не пострадал в период всеобщего упадка. Жан де Руа, нотариус Шатле, автор «Хроники», именуемой «скандальной», извлек свою выгоду из усердной службы у герцога: он одновременно и парижский секретарь, и привратник дворца Бурбона.

Итак, если он отправился после своего освобождения прямо в Париж, то, никуда не сворачивая, Вийон вполне мог повстречаться со своим сеньором герцогом или найти случай постучать в ворота его пристанища.

Однако не исключено, что поэт попытался в Мулене получить то, чего в лучшие времена ему не довелось получить в Анже или Блуа. Ибо в те годы двор Жана Бурбонского имел первостепенное значение. Для всех герцог все еще был графом Клермонским. С победителем англичан при Форминьи в 1450 году, организатором последних гийеннских кампаний в 1453-м, никто не мог соперничать в славе, кроме Ришмона. Король Рене потерпел поражение, Карл Орлеанский — также, Ришмон же только что, в 1458-м, умер. И теперь именно Жан Бурбонский управлял его герцогством и держал в Мулене двор, который стоил многих других. Принц, обожавший роскошь, просвещенный меценат и поэт, был не слишком талантлив, но зато вполне благожелателен. Про него было известно, что он большой поклонник рондо. Вийон тут же рискнул обратиться к нему:

Сеньор мой и принц благородный,  
Лилии цветок, королевский отпрыск,  
Франсуа Вийон, укрошенный Работой,  
Ее тычками позлащенными,  
Умоляет вас этим скромным посланием  
Дать ему милостиво вознаграждение\*.

Поэт явно лукавит. Это чувствуется по подбору слов, хоть он и употребляет формулы, целиком составленные из традиционных прошений, где главное — не отличиться оригинальностью, а задержать на мгновение взгляд герцога Бурбонского. Зато Вийон играет словами: «вознаграждение» — это вовсе не долг, который он намерен возвернуть, это жалованье солдата, аванс за службу, который, конечно, никто никогда не возвращает. И Вийон предлагает — свою службу в обмен на кошелек.

---

\* *Дословный перевод.*

Работа — страдание — укротила его с помощью многочисленных «побоев», мы бы сказали — «оплеух», от которых остаются голубые и желтые разводы. Эта Работа — на самом деле пытка. На своем тягостном пути Вийон встречал уже мёнского палача. Возможно, он имеет в виду долгие страдания, трудные дороги, грубые окрики и тумачи...

Если изучить словарь поэта, становится очевидным, что его поэтическое дыхание сбивчиво. Мы уже не на состязании в Блуа. И это уже не баллада о Любви или жалоба на Судьбу. Он говорит более естественно, ошеломляя герцога письмом с изложением обстоятельств дела, которое талант не позволил написать в прозе.

Не получил от принцев ни денье, —  
Не считая вас, — ваше скромное создание.  
Шесть экю, которые вы ему пожаловали,  
Пошли у него на еду,  
За все расплатится сполна, честно.  
И это будет сделано легко и с готовностью;  
Ибо как попадают в лесу желуди,  
В окрестностях Патэ, и каштаны, которыми легко  
торговать,  
Точно так же тот, кому вы заплатите,  
Отдаст вам все безотлагательно.  
И, по существу, вы ничего не потеряете.  
Надо только подождать\*.

Впрочем, стихи написаны в шутливой форме. Вийон знает, что Патэ находится на равнине и там нет ни желудей, ни каштанов. Прием не нов, уже в «Малом завещании» поэт завещал Жаку Кардону желудь с ивы...

Все это говорится лишь для того, чтобы подчеркнуть: долг не будет возвращен. И опять Вийон заимствует слова из лексикона крючкотворов: «отдаст безотлагательно»; и клянется, что герцог ничего не потеряет — «надо только подождать», то есть процентов не будет.

Вийон все тот же мечтательный попрошайка, каким был в Блуа, когда, склонившись над родником, писал: «Смеюсь сквозь слезы». Теперь его забава — попрошайничанье, и он с юмором надписывает на своем послании удивительный адрес: это четверостишие явно предпослано всему письму и должно тронуть герцога:

Стихи мои, неситесь вскачь,  
Как если б волки гнались сзади,  
И растолкуйте, Бога ради,  
Что без гроша сию, хоть плачь!\*\*

\* Дословный перевод.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 143. Пер. Ф. Мендельсона.

До чего доводит отсутствие денег... Он еще продолжит в том же духе. Двор Бурбона имел также ту особенность, что деловые люди там охотно изображали аристократов. Пьер де Нессон, сын суконщика, долго силился задавать тон и для этого написал «Поэму Войны», дерзко откликнувшись на «Поэму Мира» Алена Шартье. Но Нессон не смог скрыть, что был новичком в рыцарском деле, и его опусы смешили как буржуа, так и представителей древних аристократических фамилий.

Но разве можно в среде, славящейся своей неискренностью, быть столь прямодушным? Если ему хочется быть своим среди разбогатевших торговцев, может ли он позволить себе выказать к ним пренебрежение? Голодный поэт страшно далек от мира, где место каждого определяют деньги. «Куртуазность» здесь — всего лишь личина, и придворные Жана Бурбонского честно примеривают ее, а личное влияние герцога создает действенное равновесие между обществом и той жизнью, о которой оно грезит. Он нанимает артистов, собирает поэтов, организует праздники. Жан II Бурбонский менее склонен к роскоши, чем герцог Бургундский, ибо не так богат, к тому же он не так уж молод и не столь знаменит своими победами, как герцоги Орлеанский и Анжевенский, зато умеет объединять людей и мысли.

## КОНЕЦ ИЛЛЮЗИЯМ

И снова поражение. Можно подумать, что дорога Вийона вымощена неудачами или что ему постоянно мешает собственный независимый нрав. Он не попадает на службу к герцогу Бурбонскому так же, как прежде не смог услужить герцогам Анжуйскому и Орлеанскому. И неважно, дали ему шесть экю или нет. И к концу жизни Вийон не приоденется в ливрею, не будет менестрелем, нанятым для того, дабы знатная особа в любой момент могла располагать его поэтическим даром. Все отъединяет его от этих людей — тот играет на виоле, этот искушен в шахматах. Он сам к этому времени определил свое место в жизни; Вийон перечисляет недуги, которые одолевают человека, не способного заработать даже трех су. Он пишет стихи, насмешничает, «прославляет», борется. Он придумывает фарсы, игры, наставления. Он из тех, кого хорошо принимают и чей талант оплачивают, но не из тех, кого причисляют к многослойной, но единой социальной группе, именуемой двором. Рефрен «Баллады поэтического состязания в Блуа» — четкое осознание собственной судьбы:



Я всеми принят, изгнан отовсюду\*.

Теперь с миражом покончено. Тот Вийон, который возвращается в Париж осенью 1461 года, растерял иллюзии, но возмужал от страданий. Он размышляет над своей судьбой. Это обращение к своему прошлому отражено уже в «Споре Сердца и Тела Вийона», где поэт беседует с самим собой и где в диалоге души и тела к разочарованиям примешиваются добрые воспоминания. Мы не можем с уверенностью сказать, могла ли концовка этого произведения просветить архиепископа Орлеанского, в чем действительно виновен заключенный в тюрьму бродяга. Во всяком случае, особая тональность разговора убеждает нас, что «Спор» не обычное словесное упражнение в диалоге с самим собой, приеме, которым более или менее удачно пользовалось столько риториков до и после Вийона.

Одна мысль превалирует в размышлении бедолаги, вырвавшегося из заточения: он чувствует, что конец уже близок. Он скажет об этом в «Большом завещании»: силы его на исходе. Так начинается «Спор» — с признания в своей немощи. Сухой и черный — так характеризовал он себя недавно. Теперь мужество его покидает. Он слишком хотел жить.

— Кто там стучится? — Я. — Кто это «я»?  
— Я, Сердце скорбное Вийона-бедняка,  
Что еле жив без пищи, без питья,  
Как старый пес, скулит из уголка.  
Гляжу — такая горечь и тоска!..  
— Но отчего? — В страстях не знал предела!  
— А ты при чем? — Я о тебе скорбело  
Всю жизнь\*\*.

Вийон мыслит трезво. Его жизнь прожита, а ведь он мог бы жить иначе. Он сам все испортил. Он «бедняга Вийон», забывшийся в угол, как старый пес. Вот и «скулит» из своего угла. Он одинок.

— Чего ты хочешь? — Сытого житья.  
— Тебе за тридцать! — Не старик пока...  
— И не дитя! Но до сих пор друзья  
Тебя влекут к соблазнам кабака.  
Что знаешь ты? — Что? Мух от молока  
Я отличаю: черное на белом...\*\*\*

Возраст не прибавляет мудрости. Все, чему научился поэт, — признавать очевидное. Винить во всем надо лишь самого себя — но если бы он был просто дураком!

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 140. Пер. И. Эренбурга.

\*\* Там же. С. 146.

\*\*\* Там же.

— Мне горько, а тебя болезнь твоя  
Измучила. Иного дурака  
Безмозглого еще простило б я,  
Но не пустая ж у тебя башка!\*

Покорно, даже обреченно Вийон все же корит Судьбу за свою нищету. Больше, чем в мудрость, дающую разуму власть над миром, Вийон верит в неблагоприятное расположение светила, которое предопределило его жизненный путь. Как все сложилось, так он и живет.

— Мне больно... Эта боль — судьба моя:  
Гнетет Сатурна тяжкая рука  
Меня всю жизнь! — Сужденье дурачья!  
Всяк сам себе хозяин, жив пока,  
И... вспомни Соломона-старика:  
Он говорил, что мудрецу всецело  
Послушен рок и что не в звездах дело...  
— Вранье! Ведь не могу иным я стать,  
Как никогда не станет уголь мелом!  
— Тогда молчу. — А мне... мне наплевать\*\*.

Мораль диспута в следующем: перестанем философствовать. Ну что ж, пусть так! Вийон заканчивает спор акростихом. К чему советы? Уже слишком поздно.

— Ведь жить ты хочешь? — Мне не надоело.  
— И ты раскаешься? — Нет, время не приспело.  
— Людей шальных оставь! — Во как запело!  
Людей оставь... А с кем тогда гулять?  
— Опомнись! Ты себя загубишь. Тело...  
— Но ведь иного нет для нас удела...  
— Тогда молчу. — А мне... мне наплевать\*\*\*.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 147. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же.

\*\*\* Там же.

## ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ЗАВЕЩАНИЕ...

### ЗАВЕЩАНИЕ

К концу осени 1461 года Вийон вновь в Париже. Но в Париже нищих и убогих, хоть поэт и признает, что уже пользуется некоторой известностью. Что бы ни говорили о «Малом завещании» в Париже школяров, со стихов он дохода не имеет.

В одном из домов монастыря Святого Бенедикта магистр Гийом де Вийон принимает его по-прежнему гостеприимно. Автор «Большого завещания» в споре между капитулом Сен-Бенуа-ле-Бетурне с капитулом Нотр-Дам явно принимает сторону первого. В это время все еще ищут жуликов, ограбивших Наваррский коллеж, и Вийону надлежит вести себя скромно: о нем говорил Табари, и имя мэтра Франсуа засело в памяти тюремщиков Шатле. Самое лучшее для него — держаться от всего в сторонке.

За пять лет колесо повернулось. Давешний школяр может узнать немало интересного. Едва став королем, Людовик XI убрал многих из тех, кто был советником у его отца. Люди, недавно стоявшие у власти, впали в немилость, некоторые оказались в тюрьме. Недаром видели в небе комету: вот что она предвещала. Среди жертв — хранитель королевской печати Гийом Жувенель дез Юрсен, а также первый президент Ив де Сено и генеральный прокурор Жан Дове. Прежние фавориты Антуан де Шабан и Пьер де Брезе арестованы; арестованы советники Гийом Кузино и Этьен Шевалье. В немилость впал всем известный Андри де Лаваль, сир де Лозак и маршал Франции.

Но чистка была незначительной, так что большинство королевских чиновников гонений избежали. Очень скоро многие мнимопострадавшие вновь оказались на прежних местах. Из семидесяти восьми членов Парламента всего четверо попали в опалу, тем более что генеральный прокурор Дове снова стал председателем Счетной палаты, а один из уволенных адвокатов отличался крайне преклонным возрастом. Но пока что все говорили об арестах.

Говорили о том, какой удар нанесен могущественному в столице человеку Роберу д'Эстувилью. Он был смещен в самый день приезда короля в Париж, 30 августа 1461 года, и на его место назначили Жака де Вилье де л'Иль-Адама. Пока что Вийон не чувствовал себя в Париже как дома, а тот, чью радость по поводу счастливого брака он когда-то разделял и кто, без сомнения, оказал ему кое-какие услуги в обход королевского правосудия, находился в тюремном застенке, сначала Бастилии, а затем Лувра.

Все это не означает, что Париж переменялся, хотя на Сене коммерческая активность возросла, а в городе в течение всего дня раздавались удары молотков каменотесов и плотников. Квартирная плата поднялась, лавки ломались от товаров, молодежь бегала на занятия. На глазах парижан возводились нефы соборов Сен-Северен и Сен-Медар. Творение музыкального мастера Жана Бурдона, новый орган звучал в Соборе Парижской Богоматери. Известно также, что старую тюрьму в Монфоконе заменила новенькая — в Монтиньи.

Развитие Парижа идет ускоренными темпами, подгоняемое новым веком, веком испытаний. Но Париж Людовика XI в основе своей — это Париж Карла VII.

Для человека, который втихомолку возвращается к прежним занятиям, очевидно следующее: чтобы выжить, ему надо попасть в другой мир. Власть имущие — уже не те, что были раньше. Головы забиты совсем другими проблемами. В университете заканчивается реформа, и, несмотря на забастовку 1460 года, вызванную арестом церковного сторожа, это уже совсем другой университет, тот, где через несколько лет будет открыта типография и где будет исповедоваться гуманизм Платона.

Вийон давно не школяр и больше не писец. Судя по всему, по каким-то неизвестным причинам магистр Франсуа де Монкорбье решением епископа Тибо д'Оссины лишился своей должности — возможно, это было связано с его принадлежностью к труппе бродячих актеров. Работа писца давала некоторое положение. Ярость, которую испытывает поэт по отношению к епископу Орлеанскому, таит в себе одновременно и его безмерное унижение и угрозу.

Бывший клирик, школяр без содержания, Вийон вынужден прибегнуть к крайним мерам. Не тогда ли решил он попользоваться прелестями толстухи Марго? Как бы то ни было, он болен — лучше тюрьма, чем плохое здоровье, — и не в состоянии работать: ничуть не лукавя с самим собой, он подумывает о том, что, вероятно, конец его близок.

У него в друзьях один славный малый, Фремен Ле Мэн, сын книгопродавца — присяжного и нотариуса Совета при еписко-

пе. Фремен — общественный писарь. Вийон берется за перо, изображая — и ничего при этом не имея в виду, — что Фремен — его секретарь.

И сей завет да не осудят!  
Его я девкам завещал,  
Хорош ли, нет ли, — будь что будет, —  
За что купил, за то продал.  
Притом не я, Фремен писал, —  
Беспутнейший писец на свете,  
И будь он проклят, коль наврал:  
Ведь за слугу сеньор в ответе\*.

Не диктовал ли он свои 2023 стиха «Большого завещания», уже лежа в постели? Это очень сомнительно. Риторические приемы, выведенные послушным пером писца, свидетельствуют об отсутствии какого бы то ни было помутнения рассудка. «Большое завещание» — произведение человека, который прекрасно владеет ресурсами своего ума, который сохранил копию «Малого завещания» 1456 года и подытожил свои счета с обществом, властями и друзьями.

Его болезнь — одиночество, покончившее с любовными приключениями. О чем он и говорит, не красуясь:

Да, я любил, молва не врет,  
Горел и вновь готов гореть.  
Но в сердце мрак, и пуст живот —  
Он не наполнен и на треть, —  
На девок ли теперь смотреть?\*\*\*

Впрочем, в своем окончательном виде «Большое завещание», возможно, состоит из стихов, сложенных зимой 1461/62 года затворником из Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Мы не знаем позднейших переделок; некоторые комментаторы склонны полагать, что следует отнести к 1463-му и последующим годам всю первую часть произведения — приблизительно 728 стихов.

Как бы то ни было, Вийон постоянен в своем вдохновении и доверяет писцу Фремену трижды переписать «Большое завещание», и его перо старательно фиксирует безнадежную нищету старого изгнанника. Смерть Вийона — факт литературы, хоть человек Вийон и чувствует себя побитым жизнью. Фремен дремлет, и тут уже ничего не поделаешь. С этого момента кончается исповедь и начинается завещание в собственном смысле слова. Поэт говорит теперь о своей мести не прямо, а лишь экивоками. Да поймет, кто сможет. Время памфлетов — против епископа Орлеанского прежде всего — прошло: отныне Вийон всего лишь завещатель.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 59. *Пер. Ф. Мендельсона.*

\*\* Там же. С. 41.

Пора, однако, приступать.  
Еще лишь слово, но не боле:  
Фремен, когда не лег он спать,  
Запишет всех, кто недоволен;  
Никто не будет обездолен,  
А коль гарантия нужна,  
Пусть обеспеченьем сей воли  
Послужит Франции казна!

Фремен, тебя с трудом я вижу  
И чувствую — мой близок час.  
Возьми перо и сядь поближе,  
Дабы никто не слышал нас.  
Все, что диктую, без прикрас  
Пиши, — мне жить осталось мало!  
Я говорю в последний раз  
Для вас, друзья. И вот — начало...\*

Стоит ли говорить, что спящий писец не может переписывать распоряжения и что в словах «Большое завещание» заключается ирония; ведь «Большое завещание» — это предписание вроде тех, что читают во время проповеди по воскресеньям во всех приходах Франции. Слабеющее сердце также введено в мизансцену: это завещание *in articulo mortis*\*\* . И в вымысле поэт идет до конца.

Строфы, появившиеся в конце 1461 года, — частично переделка «Малого завещания» 1456-го. Вийон высмеивает и ваших и наших, повторяет удачные образы. Он в ярости, но главное — он забавляется. Больной ли, здоровый, Вийон обдуманно осуществляет свой литературный выход. И вполне сознательно включает в новое произведение перечисление всего, что прежде написал. Стихи на случай находят в этом новом «Завещании» место наряду со стихами, где автор развивает новые темы — темы подлинного завещания.

Когда Вийон вызывает к жизни или пересматривает прошлые завещания — в этом тоже участвует вымысел, как и в сведении счетов. Поэт — человек с жизненным опытом, ему знакомы предосторожности юриста, состоящие в том, чтобы сделать манеру изложения предельно ясной, дабы избежать будущих судебных процессов, основой коих стала бы противоречивость толкования текстов. Используя благоприятную возможность, поэт, не могущий пожаловаться на отсутствие вдохновения, не желает добровольно отказаться от 320 стихов «Малого завещания» и помещает их в новой антологии. Вийон как бы возобновляет «Малое завещание» и оглашает его.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 68. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* При последнем издыхании (лат.).

В отсутствие Вийона парижская молва превратила «Малое завещание» в действительное завещание поэта. Возможно, все поспешили представить Вийона перешедшим в мир иной. Но он высоко поднимает древко «Малого завещания», так что мало-мальски внимательный читатель понимает, что к чему.

Как всегда, вымысел у Вийона имеет двойной смысл. Несмотря на то, что его философия не особенно оригинальна, это произведение 1456 года все кому не лень представляли действительным завещанием. «Оставляю волею Господа Бога...» Однако Вийон не собирался умирать, и те, кто расценил его как завещание, глубоко заблуждались. Иначе говоря, завещание 1456 года — это игра, а кто принял ее всерьез, сам повинен в ошибке. Завещание же 1461 года — чистосердечно.

Правда, Вийон и тут подмигивает. Он не думает дарить уже подаренное: всем известно, что это чистейшая фантазия. Но он вновь возвращается к своим старым шуткам, только делает их более тонкими. И приступает к главному: речь идет о бастарде де ла Барре. Этого сержанта Шатле на самом деле зовут Перренэ Маршан, а парижане знают его больше как сутенера в борделях и служащего королевской юстиции. В «Малом завещании» ему отказывают мешок с сеном, дабы он мог заниматься любовью.

— Затем... но что мне дать Маршану?  
Ему ла Барр слывет отцом,  
Да, видно, согрешил он спьяну:  
Маршан, увы, не стал купцом!  
Дарю ему мешок с сенцом, —  
На этом ложе досветла  
Он может прыгать вниз лицом,  
Раз нет иного ремесла\*.

«Большое завещание» вернется к этой теме, чтобы подтвердить сказанное. Вийон закладывает «всю свою землю» для выполнения завещаний былых времен. Маршан получает дополнительные дары: старые циновки. Смысл даров остается прежним: быть наготове, то есть сжимать, обнимать, душить\*\*. Цинковка — для любви наспех...

Ну что ж, я не лишаю дара  
Тех, кто его заполучил,  
И, скажем, к пащенку ла Барра  
Я стал еще добрей, чем был:  
Тогда ему я подарил  
Сенник. Теперь же, для обновки,

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 26. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* По-французски: tenir serré, c'est enseigner, embrasser, êtreindre. В поэтическом переводе этих слов нет.

Чтоб ноги он не застудил,  
Добавлю старых две циновки\*.

«Завещание», своего рода школьное упражнение, призывает публику подумать, а публика уже привыкла к двусмысленностям. Когда Вийон говорит, что оставил любовные игры, он в том же самом стихе сетует на невезение и обвиняет своего неверного друга:

Другой, кто сыт и пьян,  
Воспользуется этим\*\*.

Другой занимает его место, потому что его желудок полон. Это один смысл. Но каждый парижанин знает, что *chantier* — это подпорка для винной бочки, уже початой. И значит, тот, кто занял место Вийона, полон до краев вином. Тот, кто занимает место голодного, ко всему еще и пьяница.

Есть и такой смысл: некоторые толкователи считают, что стих несет в себе эротическое начало. *Chantiers* — это деревянные палки, которыми затыкают бочки... Не один только желудок здесь имеется в виду.

Если разделить на части слова, чему с охотой предаются толкователи текстов Вийона, то получается вот что: *RAMpli sur les CHANTiers* — это Маршан (*MAR-CHANT*). Если верить некоторым поэтам XX века, и прежде всего Тристану Цара, известному своими изысканиями в игре слов, то любителям каламбуров откроется такой смысл: Вийон уступил свое место Итье Маршану.

Подобные манипуляции позволяют прийти к новым толкованиям прежних или новых стихов поэта Вийона. И Вийон, как мы видели, окажется кокийяром, известным под именем вишельника Симона Ле Дубля.

Но не следует увлекаться разного рода толкованиями: публика XV века чаще состояла из слушателей, нежели чтецов, а слушатель, понятное дело, не может вернуться к первым строкам, как читатель.

## ТВОРЧЕСТВО И ИТОГ

Помимо шуток и сведения счетов это также время прозрения. «Большое завещание» — экзамен на здравомыслие; Вийон пока еще не при смерти, но он знает, что конец близок. Даже если иметь в виду лишь смерть для литературы, то и тут выра-

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 67. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* По-французски этот стих звучит так:

Au fort, quelqu'un s'en récompense  
Qui est rempli sur les chantiers.



жаемое им сожаление вполне искренне. Подводя итоги, он оправдывает себя.

Родись он богатым, он был бы честен. Совсем как пират Димед. И коли бы Вийон занимался науками, а не безумствовал, жил бы в собственном доме и спал бы на мягкой постели. Он расплачивался за все мудрыми изречениями Екклезиаста, забывая последнее из них.

То, что Екклезиаст святой  
Велел, я выполнил давно.  
Он говорил: «Ликуй душой,  
Пока ты юн годами!» Но  
Прибавил он еще одно, —  
И это горькое признание! —  
«Что в молодости нам дано?  
Одни соблазны и незнание!»\*

Он думает теперь о своих друзьях, врагах, о своей жизни и судьбе. Всех и вся закружило в бесконечной «Пляске смерти», Смерть за всеми следует по пятам, как на той стене кладбища Невинноубиенных младенцев.

Что это, автобиография? И не являлся ли сей рассказ ярким образом, иллюстрирующим глубокие размышления о жизни и смерти? Если только это не пародия на суд, судейских чиновников и заявителей... Сводит ли Вийон счеты или разыгрывает новый фарс? Что это — смотр друзей и врагов или возведение храма, уже охваченного пламенем?

Такие интерпретации «Завещания» предлагают или предлагали толкователи его творчества, и это хорошо. Было бы ошибкой назвать истинной лишь одну, исключив все другие. Не вернее ли полагать, что поэт и фантазировал и размышлял о собственной жизни? Не ставят ли подобные размышления во главу угла собственный жизненный опыт и собственные переживания?

Наследники из «Завещания», конечно, обозначены в нем не просто так, и большинство из них не могли бы символизировать собой общество, закрытое для «бедняги Вийона». Все вместе они, несомненно, тесно связаны с правосудием, но нам хорошо известно, что в средневековом обществе окончательное решение принимал судья. Достаточно ли того факта, что епископ Орлеанский пять лет занимал место в суде с выгодой для себя, чтобы объяснить личную неприязнь Вийона? И было бы нелепо предположить, что всех наследников «Завещания» объединяет лишь то, что их имена встречаются в судебных реестрах в качестве имен судей, адвокатов или заявителей...

Если бы поэта ни с кем не связывали личные отношения, стоило ли ему в «Большом завещании» набрасываться на тех,

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 42. Пер. Ф. Мендельсона.

кого за пять лет до того он избрал жертвами и в «Малом завещании»? Легко заметить, что особенно достается от него знатым людям, с которыми он вряд ли сталкивался и которые, скорее всего, никогда с ним даже не говорили. Но ведь финансист-скряга сыграл свою роль в жизни человека, который зависел от его подаяния! И разве учитель не причастен к злоключениям школяра-неудачника?

В часы раздумий все, что пережито, питает воображение. Жизненный опытставляет примеры из плоти и крови, как и положено по правилам такой игры — в завещание. Персонажи из «Малого завещания» появляются и здесь, и это зависит от того, какое мнение сложилось у Вийона об окружающем мире: о том мире, который он исходил вдоль и поперек и который познал.

Все это вовсе не означает, что Вийон создает собственное жизнеописание. Он поэт, не мемуарист. Из пережитого, коим он насыщает свое воображение, он без малейшего стеснения убирает то, что ущемляет образ, который создает художник. Он много страдал и много об этом говорит, но нигде не дает читателю «Большого завещания» даже намек на те ошибки, что привели его к несчастью. Он стонет из своей тюрьмы, жалуется на перенесенные пытки и близкий конец. Он забывает о священнике Сермуазе, убитом, возможно, по недоразумению, но тем не менее покоящемся в могиле. Вы не найдете ни слова, ни даже намек на дело, из-за которого беглец-школяр за несколько минут превратился в убийцу и бродягу. Этот невинный Вийон ничего не знает и об ограблении Наваррского коллежа, если не считать нескольких двойственных упоминаний о Табари, который «раздул» историю с «Чертовой тумбой», то есть возвел напраслину на людей, до той поры слывших невинными шутниками. Если верить автору «Большого завещания», то выходит, что он оказался в мёнской тюрьме ни за что ни про что. Вийон забывает и об этом, третьем по счету, своем проступке. Да, он упал; только вот обо что он споткнулся?

Вийон все время готов корить себя за то, что заигрался, от души наслаждался, но не желает остаться в глазах потомков вором и убийцей. Всему виной Судьба. «Большое завещание» — не автобиография, это документ, в котором бедняга Вийон представил себя в лучшем свете. Бродяга охотно учит жить, и сведение счетов подается под знаком высокой морали. Хоть автор и не окончательно лишен способности мыслить здраво:

Не вовсе безумец, не вовсе мудрец.

Он не из тех поэтов, которые небрежно относятся к своим трудам и не сохраняют копий. Вийон дорожит своими произведениями. Возможно, бродя по дорогам, он носил с собой собра-

ние поэм, которые могли бы стать вступлением к «Завещанию». Лучшего Сезама для двора Рене Анжуйского или Карла Орлеанского, чем багаж из рондо и баллад, не найти. Сохранив его во время странствий или отыскав по возвращении, Вийон всегда имел под рукой эти стихи и использовал их в «Завещании». Совершенно естественно, что ему пришла мысль поместить старые вещи в новой поэме. Не лучшее ли это из того, что можно завещать?

«Завещание» перестает быть завещательным вымыслом. Это сам Вийон в двух тысячах стихов, со своими надеждами, крушениями и несчастьями. Раздаривая добро, он делает сотни умозаключений из истории, рассказанной стихами, которая содержит вехи его жизни.

То, что он хочет подвести итог своей жизни, не вызывает сомнения, даже если он плутует, скрывая то, что ему не нравится, и не признает ответственности за собственное банкротство.

На этот раз речь идет о завещании, а не просто о серии даров. То, что невозможно объединить, он отбрасывает: несколько юношеских сочинений, несколько стихов по случаю, как, например, поэма, посвященная Марии Орлеанской, или прошение, обращенное к герцогу Бурбонскому, несколько поэтических вещиц, таких, как баллада пословиц.

Калят железо добела,  
Пока горячее — куется;  
Пока в чести — звучит хвала,  
Впадешь в немилость — брань польется;  
Пока ты нужен — все дается,  
Не нужен станешь — ничего!  
Недаром издавна ведется:  
Гусей коптят на Рождество\*.

Точно так же Вийон не вводит в «Большое завещание» пародию на излишний педантизм, которую он написал, будучи молодым, и где иронизировал над недомыслием всезнаек.

Я знаю летопись далеких лет,  
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,  
Я знаю, что у принца на обед,  
Я знаю — богачи в тепле и в сухе,  
Я знаю, что они бывают глухи,  
Я знаю — нет им дела до тебя,  
Я знаю все затрешины, все плюхи,  
Я знаю все, но только не себя\*\*.

Не считая примерно десятка вещей, поэт берет все, что сохранил из своих работ, и, не имея намерения демонстрировать

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 131. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 133. Пер. И. Эренбурга.

в антологии разносторонность своего таланта, он объединяет их в нечто цельное, что можно назвать судьбой Франсуа Вийона. Поскольку у нас есть «Малое завещание» 1456 года, мы знаем, что он делал из воображаемой последней воли завещателя, которому нечего завещать. Что мы узнали бы из первоначального текста других поэм, включенных в «Большое завещание» в разное время? Мы знаем их такими, какими они попали в последнее произведение, и не можем сказать, перерабатывал ли их Вийон, как переработал тему завещаний.

Читая окончательный вариант «Большого завещания», мы найдем баллады, изданные в 1533 году Клеманом Маро, которые по большей части запомнятся своим рефреном. Посвятив свое перо вдохновению творчества или любовным разочарованиям, поэт в них более раскован, чем в риторических упражнениях, коими являются восьмистишия завещаний с двойным или тройным смыслом. Когда он обращается к традиционной лирике и народной морали или когда наполняет своим вдохновением уже устоявшиеся поэтические формы, использованные Аленом Шартье, Эташем Дешаном или Карлом Орлеанским и Рютбёфом, Франсуа Вийону удастся передать весь блеск своего гения. Вспомните только...

«Баллада о дамах былых времен» появляется первой после наводящего тоску описания смерти.

Скажи, в каких краях они,  
Таис, Алкила, — утешенье  
Мужей, блиставших в оны дни?  
Где Флора, Рима украшенья?..  
Но где снега былых времен?\*

За этим тотчас следует «Баллада о сеньорах ~~былых времен~~».

Скажите, Третий где Калист,  
Кто папой был провозглашен..  
Но где наш славный Шарлемань?\*\*\*

Затем идет «Баллада на старофранцузском».

А где апостолы святые  
С распятыми из янтарей?..  
Развсюют ветры смертный прах!\*\*\*\*

На фоне размышлений о времени и жизни появляются «Жалобы Прекрасной Оружейницы» — вещь исключительная, не заимствующая свою форму ни у какого определенного типа стихов и не дающая возможности скандировать рефрен.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 47. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 49.

\*\*\* Там же. С. 51.

Сгорели вмиг дрова сухие,  
И всех нас годы подвели!\*

А вот «Баллада-завет Прекрасной Оружейницы гулящим девкам» — образец эмоционального обращения, в котором прошлое высвечивает печальное настоящее, показывая преемственность поколений.

Внимай, ткачиха Гийометта,  
Хороший я даю совет...  
Монете старой нет хождения\*\*.

И подводит всему итог «Двойная баллада о любви».

Люби, куда бродит хмель,  
Гуляй, пируй зимой и летом...  
Как счастлив тот, кто не влюблен\*\*\*.

Кончается остроумное завешание, за ним следуют «дары». Своей матери Вийон оставляет «Балладу-молитву Богоматери», на самом деле являющуюся молитвой самого Вийона.

О Дева-мать, владычица земная,  
Царица неба, первая в раю...  
И с верой сей мне жить и умереть\*\*\*\*.

Еще один подарок, с которым все непросто: и то, как он появился, и то, ради чего написан, — «Баллада подружке Вийона».

Фальшивая душа — гнилой товар,  
Румяна лгут, обманывая взор...  
Не погуби, спаси того, кто сир!\*\*\*\*\*

Ненавистному сопернику Вийон посвящает поэму, которую Маро назовет рондо:

Смерть, зову твою я кару...

В память о Жане Котаре написана великолепная «Баллада за упокой души мэтра Жана Котара», где восхваляется дружба пьянчуг.

Отец наш Ной, ты дал нам вина,  
Ты, Лот, умел неплохо пить...  
Я вас троих хочу молить  
За душу доброго Котара\*\*\*\*\*.

«Баллада о Робере д'Эстувиле» — песнь любви и верности.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 57. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 58.

\*\*\* Там же. С. 62.

\*\*\*\* Там же. С. 73.

\*\*\*\*\* Там же. С. 76.

\*\*\*\*\* Там же. С. 89.

Занялся день, и кречет бьет крылом  
В предчувствии утехи благородной...  
Вот почему должны мы быть вдвоем\*.

Вийон подводит итоги. Прежде всего следует обратить внимание на исполненную ярости «Балладу о том, как варить языки клеветников».

В горячем соусе с приправой мышьяка,  
В помоях сальных с падалью червивой...  
Да сварят языки клеветников!\*\*

Следом идет ироничная «Баллада-спор с Франком Гонтье», где легкими мазками изложена философия наслаждения.

Толстяк монах, обедом разморенный,  
Разлегся на ковре перед огнем...  
Живется сладко лишь среди достатка\*\*\*.

Следующее завещание — всего лишь предлог, чтобы написать о парижанках в «Балладе о парижанках».

Идет молва на всех углах  
О языках венецианок...  
Но что вся слава итальянок!  
Язык Парижа всех острей\*\*\*\*.

Наконец, автора увлекает тема «бедняги Вийона». Он поет о печальном финале своей любовной эпопеи в «Балладе о Толстухе Марго».

Толстуху люблю, ей служу от души,  
Хоть вовсе не глуп и собой не урод...  
В борделе, где стол наш и дом\*\*\*\*\*.

Засим следует поэма неопределенной формы, которую Марго назвал «Урок Вийона».

Красавцы, не теряйте самой  
Прекрасной розы с ваших шляп!\*\*\*\*\*

И этот «урок» заставит появиться на свет «Балладу добрых советов ведущим дурную жизнь» — наставления, где ясно высказаны пожелания всех баллад, написанных на жаргоне.

В какую б дудку ты ни дул,  
Будь ты монах или игрок...  
Где все, что накопить ты смог?  
Все, все у девок и в тавернах!\*\*\*\*\*

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 97. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\*\* Там же. С. 100.

\*\*\*\* Там же. С. 102.

\*\*\*\*\* Там же. С. 106.

\*\*\*\*\* Там же. С. 110.

\*\*\*\*\* Там же. С. 112.

Конец истории известен. Вийон смягчает его «Пастушкой», написанной в стиле классической любовной шутки, перегруженной аллегориями куртуазной любви — Карл Орлеанский от такой бы не отказался, — которая приобретает другой смысл, ибо поэт вышел из мёнской тюрьмы и ему не до интрижек.

Вернувшись из страшной тюрьмы,  
Где чуть не оставил жизнь...  
Вернувшись\*.

Включение в сборник стихов, иногда стародавних, — возможность лишний раз отказаться от завещательного вымысла. Нотариус тут ни при чем, простому человеку возвращают его права: на любовь и дружбу, на ярость и месть. В этом подведении итогов вновь обретают жизнь стихи молодости и в то же время снова занимают свое место утерянная любовь и дружеские кабацкие связи. Имя любимой женщины обозначается в акrostихе для того, кто умеет читать по вертикали: тут есть стихи, каждый из которых можно расшифровать во всех направлениях и во всех смыслах. Так, Франсуа перепутывает свое имя с именем Марты в стихах «Баллада подружке Вийона»; точно так же подписывает «Балладу о Толстухе Марго».

В этой цепочке баллад во всех звеньях — слова дружбы. Такое слово нашлось для доброго малого, завсегдатая таверны Жана Котара, и написано оно, вероятно, на другой день после попойки. То же самое и с прево Робером д'Эстувилем, который был снисходителен к бродяге Вийону, барахтавшемуся в волнах немилости.

Точно так же, как и прежде, Вийон играет в очевидность нового и старого. Ключ к этой игре — в «Большом завещании», в восьмистишии XLIV, где проглядывает тоска человека, измотанного жизнью, которого избегают и грубо одергивают.

Когда он говорит, ему велят молчать.

## ПЕРЕСМОТР

Когда в 1461 году измотанный жизнью Вийон возвращается в Париж, находит ли он там прежний прием? В «Большом завещании» он заявляет о своей готовности превзойти самого себя. Он подхватывает тему комических завещаний, которые не соотносятся с размышлениями о жизни, но могли бы стать демонстрацией ее многообразия. «Бедняга Вийон» показывает, что сейчас способен глубже и серьезнее рассуждать на ту же тему, чем полный сил наивный сочинитель, в 1456 году создавший «Малое завещание».

---

\* *Дословный перевод.*

Однако вымысел по-прежнему в чести. Разочарование в любви и обманутая дружба находят свое выражение в таких дарах, которые сводят на нет великодушные «Малого завешания». Ничуть не наслаждаясь ею, Вийон берет на себя роль того старика, который наказывает своих близких, вычеркивая их имена из своего завешания.

Это происходит и с богатым писцом Пьером из Сент-Амана, которому были завешаны некогда «Белая лошадь» с «Муллом», или, иначе говоря, жеребец-импотент и стерильная кобыла (в оригинале мул здесь женского рода). «Большое завешание» более определено, чем «Малое», — ярость поэта растет. Вийон пересматривает свои дары, говоря более определено о Жаннетте Кошро, жене могущественного чиновника. Это из-за нее поэт превратился в «каймана», бродягу. Не говоря уж о том, что она ввергла его в отчаянье. О чем тут речь: о деньгах, о любви? Как знать...

Вийон изощряется в своей игре. Он использует подмену. Когда-то он завещал Итье Маршану «стальной кинжал» — шпагу, конечно, но также, на жаргоне добрых парижан, мужской член и еще фекалии. Короче, непристойный дар для счастливого соперника... Теперь поэт возвращается к завещанному. «Кинжал» предназначается адвокату Шаррю, несчастному герою недавнего происшествия — неожиданной смерти сына, — но также товарищу по лицею, ставшему модным адвокатом. Возможно, Шаррю отказался помочь старому товарищу, впадшему в нищету. А возможно, стал вероломным соперником влюбленного Вийона, более удачливым, чем его друг. Что касается Маршана, он удовольствуется «De profundis»\* в память о своей возлюбленной.

Итье Маршану подарил  
Я в дни былые свой кинжал;  
Теперь стихи я сочинил,  
Чтоб он мотив к ним подобрал,  
О той, кого Итье знал,  
Сей De profundis без имен:  
Я называть ее не стал,  
Чтобы меня не проклял он\*\*.

«De profundis» — это только для отвода глаз. Вийон оставляет новому любовнику своей прежней подруги Катрин де Воссель — если речь идет о ней — рондо «О смерть, как на душе темно!», сочиненное им, Вийоном, ради прекрасных глаз другой своей подруги. Катрин живехонька, а та, кого любил Вийон, мертва. Но можно полагать, что с его смертью — или отъездом (не будем забывать двойственный смысл слова «смерть») —

\* «Из глубины» (лат.) — начало католического псалма.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 77. Пер. Ф. Мендельсона.



следующему любовнику не хватит таланта, чтобы воздать должное даме сердца. Вийон завещает Итье Маршану навсегда лишиться силы в любви. Эта пощечина, полученная глупцом Маршаном, задевает Катрин, которая предпочла его другому.

Но Вийон все же щадит даму, оскорбляя ее нового любовника. Лишив его «кинжала», который мог бы быть ему полезен, Вийон умалчивает о «ножах». Нетрудно догадаться, что это такое...

Затем, получит пусть, вдвоем  
С Итье Маршаном, мой кинжал  
Наш адвокат Шаррьо Гийом,  
А сверх того один реал  
Ему за труд я завещал;  
И пусть еще получит, коль не  
Доволен тем, что мало дал,  
Звон тамплиерской колокольни\*.

Шаррьо так просто не отделается от сих даров. К «кинжалу», отданному на службу тому, кто в нем нуждается, поэт добавляет реал, золотую монету. Ее подняли с пола храма или украли на большой дороге. У читателя не остается никакого сомнения насчет дополнительных «даров»: «чтобы кошелек раздуло». Так что Катрин или кто-нибудь еще может перейти из рук Итье Маршана в руки Гийома Шаррьо.

По мере того как шутка превращается в откровенную атаку, Вийон делает ее все более язвительной, отказываясь от простой игры слов наподобие той, что велась в «Малом завещании», когда он обыгрывал название лавок и возникавшие в связи с этим образы. Теперь он заменяет имена партнеров в этих гротесковых дарах именами животных, что изображены на вывесках таверн. «Мул» становится «Клячей». «Белый конь» превращается в «Красного осла», супруга меняет таким образом «ленивого» мужа на распутного любовника.

Не является ли это плутовство пересмотром подношений? Нисколько. Просто Вийон переходит от иронии «Малого завещания» к оскорбительным выпадам, которые понятны только проницательным друзьям, разбирающимся в языке «Большого завещания» и знающим факты, о которых говорится в стихах. Знатоки легко разгадают, что поэт ведет речь о муже-рогоносце и распутной жене.

Затем, подарок всех щедрей,  
К чете Аман любовь храня,  
Им оставляю, чтоб детей  
Они плодили и, меня  
Напрасно больше не кляня,  
Утешились любовным пылом:

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 80. Пер. Ф. Мендельсона.

Ей дам не «Зебру», а коня,  
Ему — не «Мула», а кобылу\*.

Постепенно продвигаясь вперед, поэт, который становится все более красноречивым, поистине дает образцы словесной эквилибристики. Тем хуже для читателя, если он этого не замечает. Так, наполняется значимостью завешание сутенеру сержанту Перренэ Маршану. В «Малом завешании» просто употребляется имя человека, данное ему при рождении. Рифма бедная, поэт не мудрствует.

Затем... но что мне дать Маршану?  
Ему ла Барр слывет отцом,  
Да, видно, согрешил он спьяну:  
Маршан, увы, не стал купцом!\*\*\*

«Большое завешание» усиливает оскорбление и усложняет чтение.

Пернэ Маршан, ла Барра чадо,  
Кто всех знатнее и честней,  
Получит от меня награду:  
В герб — пару шулерских костей  
И карты с крапом всех мастей.  
Но если, где-нибудь играя,  
В штаны навалит рыцарь сей,  
Чумою труса покараю!\*\*\*\*

Среди тех, кому завешают, есть новые лица, но есть и друзья, которым Вийон не завешает ничего, и это часто гораздо хуже. У семьи Пердые печальное преимущество: они относятся и к тем, и к другим. В точной бухгалтерии долгов и претензий поэта в 1456 году для них еще счет не открыт. Сыновья менялы с Большого моста, ставшего одним из именитых парижских финансистов, конечно, современники мэтра Франсуа, но совершенно ясно, что пути их не пересекаются. Ни Жан, который добьется благородного сана, ни Франсуа, который так и останется торговцем, не пытались получить образование. И однако в 1461 году в «Большом завешании» промелькнули две посвященные им строфы, которые послужили зачином для небывалой силы баллады.

Пердые — люди богатые. Франсуа чем только не торгует, от рыбы для простых горожан до соли для королевских амбаров. Было бы преувеличением говорить об огромном состоянии Пердые, но они, без сомнения, занимают видное положение в деловом мире. Шлепок, который они поначалу получают от поэта, не случаен: они отказались ему помочь. В чем именно — мы не знаем.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 79. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 26.

\*\*\* Там же. С. 83.

Точно так же мы не знаем, почему болтовня Франсуа Пердье чуть было не привела поэта на костер. Что он сделал? Вернее, что сказал? Костром наказывали еретиков...

Пережитое потрясение вызвало поток слов, ярость взяла верх над разумом. Видя себя уже поджаренным, Вийон взывает к авторитету Тайевана, повара Карла VI, чья «Мясная кулинария» является одной из первых наших кулинарных книг.

В конечном счете неосторожность или недоброжелательство Франсуа Пердье, которого поэт называет кумом, дали нам возможность увидеть любопытный рецепт, «ресипт», который явно не в компетенции Тайевана. Вийон обязан этим рецептом злому повару из «Хвостов Макэра», сатиры XIV века.

Затем, ни Франсуа, ни Жану  
Пердье, хоть с ними и знаком,  
Я ничего дарить не стану,  
На гроб земли не брошу ком!  
Их злобным, лживым языком  
Перед епископом из Буржа  
Я выставлен был дураком —  
Нет в мире униженья хуже!

Я книги Тайлевана взял,  
Искусство поваров постиг,  
С усердием рецепт искал,  
Как мне сварить такой язык.  
Но только маг Макэр, кто вмиг  
Хоть черта превратит в жаркое,  
Мне вычитал из черных книг  
И средство передал такое...\*

Эти стихи толковали вкривь и вкось. Какое преступление чуть было не привело поэта на костер? Каково участие в этом деле Пердье? Почему речь идет о Бурже? Но явно эта история и привела к тому, что в результате явилась на свет «Баллада о том, как варить языки клеветников».

В горячем соусе с приправой мышьяка,  
В помоях соляных с падалью червивой...  
Да сварят языки клеветников!\*\*\*

## ПОСЛЕДНИЕ НАМЕРЕНИЯ

Как и положено, в завещании, надлежащим образом оглашенном перед свидетелями, Вийон распорядился и своим имуществом, и своими творениями. Теперь он желает подняться из низов общества.

\* Вийон. Лирика. М., 1981. С. 96. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 97.

Прежде всего он поручает нотариусу привести все дела в порядок. Его выбор падает на одного из тех, кого он никогда не видел, но чья компетенция соответствует тому представлению, которое складывается отныне у Вийона о себе самом. Жан де Кале — толкователь светских завещаний. Прежде чем поразвлечься скучным перечнем услуг, которыми нотариус зарабатывает себе на жизнь, Вийон уточняет, что его выбор означает следующее: он больше не клирик. Бедный школяр хочет видеть себя светским человеком. Не из-за епископа ли Орлеанского принял он это решение?

Затем, чтобы меня узнал  
Нотариус Калэ (чей дом  
Я тридцать лет не посещал  
И с коим вовсе незнаком),  
Все завещанье целиком  
Ему оставлю на расправу:  
Коль что неясным будет в нем,  
Он объяснять получит право

И обо всем судить, рядить,  
Все проверять, сопоставлять,  
Соединять или дробить,  
Приписывать иль сокращать,  
А если не учен писать,  
То каждую строку мою  
К добру иль к худу толковать, —  
На все согласие даю\*.

Он еще вернется к этому нотариусу из Шатле, коему специально поручено заниматься завещаниями писцов.

На какое-то время вновь проявляет себя набожность. Не упоминая о чистилище, Вийон думает о душах, которые еще ждут Искупления. Но сатира не уступает своих прав, и поэт вперемешку помещает в это чистилище всех, кого ненавидит: хамов и судей. Они жили ради общественных интересов; именно поэтому они и мучаются в преисподней. Обращаясь к образу святого Доминика, признанного отца Инквизиции, Вийон вновь нарушает завещательный слог: Инквизиция — это то, чего пока боятся светские судьи и грешные братья во Христе — ненавистные соперники светских властей.

Сей скорбный дар — для мертвецов,  
Чтоб рыцарь и скупой монах,  
Владельцы замков и дворцов  
Узнали, как, живым на страх,  
Свирепый ветер сушит прах  
И моет кости дождь унылый  
Тех, кто не сгинул на кострах, —  
Прости их, Боже, и помилуй!\*\*\*

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 118—119. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 115.

Очередь дошла и до похорон. Намеки трудны для понимания. Погребение в Сент-Авуа — просто шутка: у монахинь Сент-Авуа часовенка помещается на первом этаже дома, и полом им служит земля. Большая каланча — из стекла, а четыре кругляша у звонарей — это камни, как те, которые бросали некогда в первого мученика.

Смысл раскрывается здесь только через нюансы, ибо добрый буржуа, предчувствующий близкую смерть, не станет входить во все детали колокольного звона, свечей и черных накидок, расшитых серебром. «Пусть его сопровождает долгий колокольный звон», — говорит тот, кто знает, что колокольный звон означает процветание. «И двенадцать фунтов воска для четырех свечей, каждая по три фунта», — уточняет он.

Карикатура на последние распоряжения — так именитый житель радеет о том, чтобы запечатлелся в веках его образ, и о своем посмертном реноме, вплоть до того, чтобы обязательно оставить свой портрет. Вийон желает, чтобы портрет написали и с него, причем во весь рост. Чернилами. А надгробная надпись пусть будет начертана обыкновенным углем.

Прошу, чтобы меня зарыли  
В Сент-Авуа, — вот мой завет;  
И чтобы люди не забыли,  
Каким при жизни был поэт,  
Пусть нарисуют мой портрет.  
Чем? Ну, чернилами, конечно!  
А памятник не нужен, нет, —  
Раздавит он скелет мой грешный!

Пусть над могилою мою,  
Уже разверстой предо мной,  
Напишут надпись пожирнее  
Тем, что найдется под рукой,  
Хотя бы копотью простой  
Иль чем-нибудь в таком же роде,  
Чтоб каждый, крест увидев мой,  
О добром вспомнил сумасброде...\*

Вот каков Вийон и какой должна быть память о нем. Но сравним эти распоряжения с последней волей председателя Парламента:

«Пусть медная доска будет забрана в железо и свинец возле этого места погребения, и пусть туда будет вписано с целью увековечения ежедневное «De profundis».

Поэт насмешничает, и это не оставляет вас равнодушными, поскольку он ничего не присочинил. Посмертная судьба поэта,

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 119 — 120. Пер. Ф. Мендельсона.

которую он сам себе организует, соразмерна той судьбе, которая ему досталась при жизни. Как обычно, он внимательно изучает все лики и личины двойственного человека, каким себя ощущает.

По правде говоря, выбирает, как всегда, не он. Кто он: «добрый безумец», ищущий легкой доли, или «бедняга Вийон», несущий свой тяжкий крест? Прежде чем заказать погребальный звон — и именно на большой колокольне, — и доверить богатому торговцу вином Гийому дю Рю заботу о свечах на похоронах, он составляет эпитафию. Нemoшь моральная и физическая — все смешалось. Он все отдал, но страдает от любви. Он был обрит и выставлен на посмешище. Он взывает... К кому?

Походя скажем о печальном его портрете. Вся обделенность Вийона скрывается под эвфемизмом «обрит», хотя, конечно, ни брови, ни борода, ни даже голова тут не пострадали. Износившийся, больной старый бродяга и заключенный теперь просто плешивый неудачник с мертвенно-бледной кожей.

Он унижен. Бедный, как никогда, Вийон сосредоточивается на своем унижении. И из него рождается целая серия благородных образов — они вызывают к жизни возвышенные чувства, напоминают первым делом о человеческом достоинстве, — а также образов вульгарных, заставляющих разом забыть вдохновение и идеал. Вийону далеко до кабацкой непристойности, до эротической чепухи, столь долго вдохновлявших поэта. Но вульгарность проступает иногда в обобщенных образах. Один стих воспеваеt подвиги, другой — куртуазность, третий освещает мир кухни или конторы. Слова возносят нас на невиданную высоту и — ввергают в бездну духовной нищеты. Это не драма, а общая судьба. С одной стороны, «постоянная ясность», «глава», «неумолимость»... С другой — миска, петрушка, очищенная репа.

Вийон говорил все время «голова». Здесь он говорит «глава». Это не случайно. С полным сознанием производимого эффекта он рифмует «я взываю» с вульгарным «дала под зад». Все пережитое поэтом — в этом автопортрете, в жестокom диссонансе словаря, дисгармонии, которая швыряет из стороны в сторону читателя, как Судьба швыряла свою жертву.

Последнее возвращение к аллегорической грамматике куртуазного жанра позволяет пригвоздить к позорному столбу злодейку Судьбу. Неумолимость — персонаж, достойный «Романа о Розе». Неумолимость была уже в «Балладе подружке Вийона», где противопоставлялась Праву, то есть Справедливости: «Право не соседствует с Неумолимостью». Когда Вийон пишет эпитафию, он настойчиво подчеркивает роль последней. Он умирает от Несправедливости, от Вероломства. Изгнанный, зато

ченный, он жертва Неумолимости. Как известно, более всего он попрекал епископа Орлеанского именно за Несправедливость.

Поэт не доходит до того, чтобы обвинять Бога. Хотя, возможно, и подумывает об этом. И шлепок по заднице лишь подчеркивает всю важность сказанного. Он сказал то, что хотел сказать. И пожимает плечами.

Здесь крепко спит в земле сырой,  
Стрелой Амура поражен,  
Школяр, измученный судьбой,  
Чье имя — Франсуа Вийон.  
Своим друзьям оставил он  
Все, что имел на этом свете.  
Пусть те, кто был хоть раз влюблен,  
Над ним читают строки эти...\*

### Рондо

Вечный покой дает ресницам  
Бог и вечную ясность  
Тому, у кого не было ни миски,  
Ни луковицы, ни стебелька петрушки.

Он был обрит, и голова и брови, борода  
Как репа, с которой срезают кожу.  
Вечный покой дарован ресницам...

Неумолимость погнала его в ссылку  
И дала ему коленом под зад,  
А он настойчиво твердит: «Я взываю!»  
Кто находит любой выход,  
Вечный отдых дает ресницам...\*\*

У поэта все смешалось: Вийон устал от жизни, и жизнь устала от Вийона. Умрет ли он осужденным? Угаснет ли от переутомления? Обречет ли его на смерть Судьба или люди? Он сам уже ничего не понимает. И литературный вымысел, как в рондо, с почти литургическим повторением стиха «*Requiem eternam dona ei*»\*\*\*, сочетается с лихорадкой, рождающей миражи, так что полностью сбивает с толку читателя. Он оплакивает свою нужду, но у него есть его книги. Болезнь вот-вот унесет Вийона, но его все еще сжигает любовный жар.

...И вот, до нитки разорен,  
Скончался, претерпев страданья,  
Амура стрелами пронзен...\*\*\*\*

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 120. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Дословный перевод.

\*\*\* Вечный покой даруй (лат.).

\*\*\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 127. Пер. Ф. Мендельсона.

Комедия рушится. Автор «Завещания» резко порывает с вымыслом.

Когда он захотел покинуть этот мир...

Что тут сказать? Добровольно ли он уходит? Испытывает ли горечь? Мученик любви смеется над всем и вся. И завершает завещание двумя балладами, обязанными своим появлением глубокой нищете, в которых по-прежнему ничего нельзя понимать буквально. Одна — тоска по миру, который будет после него. Маро назвал ее «Балладой, в которой Вийон просит у всех прощения» и где звучит один и тот же рефрен.

Прошу монахов и бродяг,  
Бездомных нищих, и попов...  
Я всех прошу меня простить\*.

Другая завершает и словно запечатывает завещание печатью. Вийон объявляет законной свою последнюю волю и скрепляет ее клятвой. Но на чем же он клянется!

Вот и готово завещанье,  
Что написал бедняк Вийон.  
Теперь сходитесь для прощанья,  
Для самых пышных похорон  
Под громкий колокольный звон, —  
Он умер, от любви страдая!  
В том гульфиком поклялся он,  
Юдоль земную покидая\*\*.

Осталось лишь умереть. Но клятва утверждает в обратном: умирать Вийон вовсе не желает.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 125. Пер. Ф. Менделеева.

\*\* Там же. С. 127.



## Я ОТВЕРГАЮ ЛЮБОВЬ...

## ИЗМЕНЫ

Вийон сам определил границы мира, где ему не отказано в нежности и где он в своих несчастьях находит некоторое утешение.

Речь идет о поэме, до такой степени сложной во всех отношениях, что Клеману Маро было угодно назвать ее «Баллада, в которой Вийон просит у всех прощения». В этой балладе, если вернуться к положениям «Большого завещания», обличающего общество, поэт, изображая умирающего, в последний раз взывает к всеобщему состраданию.

Кому предназначается этот крик отчаянья? Кого ищет его отчаянный взгляд? Тех, кто сбросил его со счетов? Тех, кто не понял при жизни? Тех, кто его презирал? Тех, кто отказывал ему в любви? Как бы то ни было, благодаря интонации, внезапно меняющейся с третьей строфы, и энергии, с которой он говорит о своих палачах, вопреки многочисленным угрозам, изреченным в конце баллады, Вийон смешивает в причудливом карнавале лицемеров, монашествующих братьев, молодых щеголей, щелкающих каблуками на новый манер, прохаживаясь по парижской мостовой, хорошеньких девушек, затянутых в узкие платья, и легкомысленных служанок, выставляющих напоказ свои груди, чтобы получить чаевые. Крик боли, которым заканчивается «Большое завещание», — свидетельство упадка духа. Милосердие, о котором молит поэт, является в образе радостей, пережитых когда-то; он настрадался и от равнодушия, и от вражды.

Прошу монахов и бродяг,  
Бездомных нищих, и попов,  
И ротозеев, и гуляк,  
Служанок, слуг из кабаков,  
Разряженных девиц и вдов,  
Хлыщей, готовых голосить  
От слишком узких башмаков,  
Я всех прошу меня простить.

Шлюх, для прельщения зевак  
Открывших груди до сосков,  
Воров, героев ссор и драк,  
Фигляров, пьяных простаков,  
Шутейных дур и дураков, —  
Чтоб никого не позабыть! —  
И молодых, и стариков, —  
Я всех прошу меня простить.

А вас, предателей, собак,  
За холод стен и груз оков,  
За хлеб с водой и вечный мрак,  
За ночи горькие без снов  
Дерьмом попотчевать готов,  
Да не могу штаны спустить!  
А потому, не тратя слов,  
Я всех прошу меня простить.

Но чтоб отделать этих псов,  
Я умоляю не шадить  
Ни кулаков, ни каблуков!  
И всех прошу меня простить\*.

Выдуманное завещание, на истинности которого столь настаивает Вийон, хорошо знакомый с судейским языком, свидетельствует: в свой последний миг умирающий просит прощения у всех, с кем имел дело. Баллада эта — перечисление ссор магистра Франсуа Вийона.

Есть люди, у которых он хотел бы попросить прощения — ведь в это мгновение он нуждается в сочувствии. Но есть другие, от кого ему вовсе ничего не нужно. Вийон то тих, как ягненок, то встает на дыбы.

Но у него были не только девки с постоянных дворов, позволяющие ласкать себя, не только жадные до денег шлюхи Толстуха Марго и Марион л'Идолъ; Вийон познал истинную любовь. Он бредил ею. Ради нее он рисковал жизнью. Получив отставку, мэтр Франсуа никому не давал прикасаться к своей ране.

Катрин де Воссель остается тайной для историков, и слава Богу. Мы знаем только имя той, которая, несомненно, была главной любовью Франсуа Вийона и которая отвечала на его любовь лишь шуточками, публичными оскорблениями и побоями. Еще известно, что семья Воссель проживала вблизи Наваррского коллежа, недалеко от Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Хотя в стихах ее полное имя появляется лишь как повод для упреков.

Меня ж трепали, как кудель,  
Зад превратили мне в котлету!  
Ах, Катерина де Воссель  
Со мной сыграла шутку эту\*\*.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 125 — 126. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 63.

...», Катрин велела его «трепать, как кудель», при этом поэт жалуется, что ему «зад превратили в котлету». Та ли это Катрин, о которой речь шла уже в «Малом завещании» 1456 года? Возлюбленная юного поэта неизвестна, но упреки, адресованные ей тогда, те же, что и в «Завещании» 1461 года. Она его завлекла. Она бросала на него нежные взгляды... Она всех водит за нос... И совершает неблаговидный поступок в то время, когда поэт полагает, что она принадлежит ему. «Вероломная и жестокая», она сама рвет любовную связь, соединявшую их.

Лицом к лицу с Селименной Альшест-Вийон ведет себя так, как только и возможно в подобном случае: он делает вид, что ему все нипочем. Он скоморошествует. Он ищет прибежища в бессмыслице, которая будет дорого ему стоить: «Из-за нее умирают здоровые члены». Он смеется над собой: в высоком тоне куртуазной, условной поэзии, которая еще царит в аристократическом обществе, он завещает возлюбленной свое сердце — в оправе.

Затем, тебе, подруге милой,  
Из-за которой вдаль бегу,  
Кто радости меня лишила  
И мысли спутала в мозгу,  
Оставлю сердце. Не могу  
Столь тяжкий груз в груди нести!  
Оно погибло, я не лгу, —  
За это Бог ее прости!\*

С полной очевидностью Вийон являет совершенное безразличие в ответ на безразличие дамы, которое превращается в вызов в силу того, что другие женские образы наделены одной и той же добродетелью. И он отправляется искать новых приключений. Пожав плечами, он сообщает, что идет «возделывать другие поля».

Пятью годами позже Вийон вернется в Париж. Катрин по-прежнему будет холодна к этому поклоннику, в котором, должно быть, она видела лишь продрогшего и изрядно потрепанного бродягу. Но поэту приятнее думать, что его отвергли, потому что место занято.

Он попытался забыть свою парижскую любовь. В его жизнь вошла Марта — Марта, чье имя появляется в акростихе так же, как имя Франсуа в конце «Баллады подружке Вийона». Марта сослужит ему в Блуа добрую службу, представив Карлу Орлеанскому, доброму сеньору, принцу влюбленных.

Он написал это имя, потому что знал одну Марту и потому что, возможно, в это время она отвечала на его чувства. Но баллада — не что иное, как упражнение на заданную тему, весьма

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 22. Пер. Ф. Мендельсона.

традиционную: речь идет об отвергнутой любви. «Баллада подружке» прекрасно соответствует риторическому контексту куртуазной любви, где сталкиваются пороки и добродетели, скрываясь за условными аллегориями и клише, заимствованными у рыцарской этики, которая лежит в основе куртуазности. Бегство и бесчестие в словаре куртуазной любви — то же самое, что вероломная прелесть и вводящая в заблуждение фальшивая красота. И в этих поединках умирают, не нанеся ни одного удара.

Ни Марта, ни Франсуа не являются персонажами баллады. Имена здесь — ради посвящения, а истинные персонажи — герои «Романа о Розе», слегка переименованные: Гордость, Лицемерие, Безжалостный взгляд... Вийон не открывает своего сердца, так же как его не открыли два столетия назад Гийом де Лоррис или Жан де Мён в 21 780 стихах «Романа». «Роман о Розе» был антологией чувства, свойственного человеческому обществу; «Баллада подружке Вийона» — лишь свидетельство мастерства изголодавшегося клирика, который старается отличиться, дабы ублажить мецената.

То ли бесплатное развлечение — что маловероятно, — то ли возможность быть принятым при дворе, «Баллада подружке Вийона» явно послужила трем целям. Для принца это было напоминание о Вийоне и, быть может, в пользу Вийона. Марте она напомнила о Франсуа. Помещенная позже в «Большом завещании» после грубых слов, обращенных отвергнутым любовником к Катрин де Воссель, баллада явилась своеобразным средством отмщения.

*Фальшивая душа — гнилой товар,  
Румяна лгут, обманывая взор,  
Амур нанес мне гибельный удар,  
Неугасим страдания костер.  
Сомнения язвят острее шпор!  
Ужель в тоске покину этот мир?  
Алмазный взгляд смягчит ли мой укор?  
Не погуби, спаси того, кто сир!*

*Мне б сразу погасить в душе пожар,  
А я страдал напрасно до сих пор,  
Рыдал, любви вымаливая дар...  
Теперь же что? Изгнания позор?  
Ад ревности? Все, кто на ноги скор,  
Сюда смотри: безжалостный кумир  
Мне произносит смертный приговор!  
Не погуби, спаси того, кто сир!\**

Хотел ли он забыть Катрин? Разгонял ли он скуку? Из куртуазного вымысла проглядывает горечь, никак не связанная с правилами поэтической игры. Вийон сокрушается о безвозврат-

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 76. Пер. Ф. Мендельсона.

ной потере — об утрате любовных иллюзий. Прошло время, когда он ходил «возделывать другие поля». Возраст дает о себе знать, а тут еще и нищета. Возраст отгоняет миражи любви. То есть отгоняет образ любимой...

Старым я буду. А вы безобразной, бесцветной.

В Париже любовь была драматичной. В ссылке 1457—1460 годов она становится мучительной. Отказ в помиловании делает еще более горестными годы, проведенные вне Парижа.

Вийон забывает Марту. С ним остается лишь поэма. В то время как судьба поэта ужесточается, стихи прошедших лет приобретают новое звучание: это не только стихи-воспоминание, но еще и оружие.

Ибо в Париже, куда он возвращается в 1461 году по выходе из мёнской тюрьмы, Вийон вновь встречает Катрин и узнает, что она дарит богатому Итье Маршану то, в чем отказывала бедному школяру. Маршан — свой человек при дворе Карла Французского, брата нового короля Людовика XI. Он и дипломат, и финансист, интриган и посредник, деньги к нему сами идут. Поэт говорит о нем со злостью, не соответствующей условиям любовной битвы: Катрин любит его за деньги. Вновь ощущая пережитые некогда обиду и унижение, Вийон одержим одной мыслью: его предали. Катрин предпочла другого. Она привела его на дорогу любви затем, чтобы бросить одного.

Но я еще любил тогда  
Так беззаветно, всей душою,  
Сгорал от страсти и стыда,  
Рыдал от ревности, не скрою.  
О, если б, тронута мольбою,  
Она призналась с первых дней,  
Что это было лишь игрою, —  
Я б избежал ее сетей!

Увы, на все мольбы в ответ  
Она мне ласково кивала,  
Не говоря ни «да», ни «нет».  
Моим признаниям внимала,  
Звала, манила, обещала  
Утишить боль сердечных ран,  
Всему притворно потакала, —  
Но это был сплошной обман\*.

Вийону жаль не плотской любви, в которой ему отказывала Катрин. Он оплакивает душевную близость, пережитую с Катрин, которая оказалась лишь обманом. Ему невыносимо вспоминать об их посиделках, о том терпении, с каким она слушала его бесконечную болтовню.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 64. Пер. Ф. Мендельсона.

Заставляла ли она его сражаться за нее? Не были ли ягоды смородины, что он жевал, с веток, какими в Париже обычно стегали детей? Действительно ли она выпроводила своего возлюбленного и оставила голым у дверей? Как узнать, где правда у этого странного человека — ведь он мог выдумать все, что угодно, чтобы обвинить виновную в его глазах, для того чтобы представить ее таковой в вечности.

Теперь он в ярости. Он презирает возлюбленную и называет ее отныне не собственным именем, а лишь именем обобщенным. «Дорогая Роза» — так принято обращаться к любимой женщине. «Роман о Розе» здесь просто вовремя пришел на память. Всякая женщина зовется Розой, и народные поэты, шансонье, сочинители песенок порой злоупотребляют символом, который по необходимости выступает то цветком, то каплей росы. «Нежная Роса», «Алая Роза» — это возлюбленная. Вийон еще и насмешничает, когда набрасывается на свою «Дорогую Розу».

Тебе же, милая моя,  
Ни чувств, ни сердца не дарю я:  
Твои привычки помню я,  
Ты любишь вещь совсем другую!  
Что именно? Мошну тугую:  
Кто больше платит, тот хорош\*.

Грубее, пожалуй, и не скажешь. Вийон играет на двух словах: foie и foi\*\*, чтобы передать стиль куртуазной поэзии: своей честью он обязан даме, так же как и распутством; разные чувства питают сердце и желудок! И зачем ей любовь, если она достаточно богата? Спустя некоторое время он пригвоздит ее к позорному столбу, сделав прямой наследницей «Мишо» и «добротного Футера», иначе говоря, неприличной карикатурой на любовь. Пусть выпутывается...

Когда же доходит до того, чтобы направить к Катрин де Воссель посыльного, который доставил бы ей «Балладу», сочиненную в честь Марты или кого-то еще, Вийону приходит на память самое неприятное действующее лицо галантных приключений парижан, Перренэ ла Барр, сержант с хлыстом, специалист по ночным налетам на обитательниц борделей:

Коль встретит этот кавалер  
Мою курносую подругу,  
Пусть спросит на такой манер:  
«Что, девка, дело нынче туго?»\*\*\*

В своей охоте на проституток он вполне может повстречаться с Катрин. Вот поэт и дает ему наказ... С комментарием.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 74. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Печень и вера, честь (фр.).

\*\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 75. Пер. Ф. Мендельсона.

Вийону мало назвать ее шлюхой, он хочет посильнее оскорбить ее. Он оттачивает свои стрелы: предлагает своему сопернику Итье Маршану рондо, написанное недавно на смерть, возможно, вымышленной возлюбленной. Стихи касаются Розы Катрин в такой же степени, как и Итье.

Как бы поэт ни проклинал ушедшую от него любовь, сколько бы ни клялся, что «страсти голос нынче смолк», в это невозможно поверить. Стал бы он неистовствовать, если бы ему все стало безразлично...

Тебе, по-моему, и так  
Хватало на парчу и шелк.  
Я раньше мучился, дурак,  
Но страсти голос нынче смолк\*.

#### СПОР О «РОМАНЕ О РОЗЕ»

Вийон прекрасно вписывается в интеллектуальный фон «Романа о Розе». «Никому еще не встречалась праведница», — клялся Жан де Мён, основывая на этой аксиоме циническую мораль и ставя знак равенства между вечными поисками «Розы», то есть любимой женщины, и бесплодностью попыток найти объект, достойный страстной любви. Нет ничего более женоненавистнического в конечном счете, чем эта куртуазная любовь, разыгрываемая примитивными писцами. Средневековье, известное своими любовными подвигами, в сущности, отрицает общественную роль женщины.

Магистр Франсуа де Монкорбье читал «Роман о Розе». Он упоминает о нем один раз, как упоминает и Жана де Мёна. Но он черпает в нем вдохновение, цитируя по памяти и смешивая «Завещание» Жана де Мёна с самим «Романом». Читал ли он его целиком? Дань, которую он ему отдает, на первый взгляд может показаться незначительной: он выхватывает несколько часто встречающихся образов; в первом ряду фигурируют братья нищенствующего ордена, возможно, это наследие университетской традиции, а возможно — глубокое прочтение Жана де Мёна. Отметим, впрочем, что Вийон добавляет — вписываясь таким образом в традицию фаблю, но подновляя ее, — новую черту к портрету моралиста Фо Самблана: шутовство.

Мораль «Романа», передающая суть человеческих взаимоотношений, во всех смыслах груба, даже если невинные слова прячут цинизм под удобным флером аллегорий.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 75. Пер. Ф. Мендельсона.

Любовь — это мир вероломный  
И битва в неге истомной,  
Это неверная верность  
И верная лицемерность\*.

Известен эпикурейский совет «Старухи», который во всем предвосхищает «Прекрасную Оружейницу». Бог создал Робишона вовсе не только для Марот, а Марот — не только для Робишона. Мораль Жана де Мёна оправдана природой: так хотел Господь.

Уж так назначено судьбой:  
Любой готов возлечь с любой  
И с каждым каждая не прочь  
В утрадах провести всю ночь.

Из опасения, что его неверно поймут, Жан де Мён называет вещи своими именами:

Уж так ведется меж людьми,  
Что все мы выглядим б...ми\*\*.

Вийон более или менее придерживается этой морали, но он не может быть так же интеллектуально раскован, как Жан де Мён. Он, конечно, близок мировоззрению клирика XIII века, несмотря на то, что оно полвека назад подверглось критике Кристины Пизанской в ее «Послании Богу Любви», но Вийон отдалается от этого мировоззрения посредством языка, не переносящего вялой subtilité аллегорий и прибегающего к живым символам, где поэт находит силу, непосредственно питающуюся театром и фавлю. Герои Вийона имеют свое лицо, свое имя и место в Париже. У них свои места и в церкви, и в кабаке. В то время как почти современник Вийона Мишо Тайеван не без труда рифмует длинные риторические изыскания «Любовной отставки» и «Власти судьбы», не забывая представить условную битву Глаза и Сердца, Вийон срывает маски и выводит на сцену своих любовниц и своих соперников. Истинных или предполагаемых? Сомнение в биографической достоверности ничего не меняет: Катрин де Воссель — не аллегория. Даже если бы ее звали иначе, все равно это реальная женщина.

Когда при случае поэт бросается в известную нам игру, «подобия», которыми он манипулирует, несмотря на имена, коими их награждает, не являются аллегориями из репертуара литературной традиции. В «Споре Сердца и Тела Вийона» они — сам Вийон.

---

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* То же.



- Опомнись! Ты себя загубишь. Тело...
- Но ведь иного нет для нас удела...
- Тогда молчу. — А мне... мне наплевать\*.

Для страдающего человека эти бесплотные образы отходят на второй план. Карл Орлеанский, придерживаясь законов куртуазной поэзии, пишет об одиночестве влюбленного как о «Пропасти Страдания». Для Вийона мёнская тюрьма — всего-навсего «яма».

Спор, затеянный в 1399 году Кристиной Пизанской, почти забыт в Париже 1450 года. Те, кто участвовал в нем, уже сошли со сцены. На поле боя уж нет Жерсона, сражавшегося на стороне Кристины. В противоборствующей партии отсутствуют гуманисты из лагеря Орлеанского: Жан Монтрёй, Гонтье Коли, Пьеры Коли — все самобытные умы, давшие другое, весьма преждевременное, направление французскому гуманизму, которое предвосхитило нынешнее. Никто не подхватил эстафеты. «Суд Любви», официально учрежденный королевскими грамотами Карла VI, чтобы взять под свою опеку поэтические турниры и защищать честь дам, рухнул в пучину гражданских войн, войн с иностранными державами и всяких прочих ужасов.

Современники Людовика XI, пишущие о Любви, становятся под знамена разных лагерей. Вийон предоставляет другим заниматься куртуазной поэзией, последним крупным представителем которой после Алена Шартье, умершего в 1433 году, остается Карл Орлеанский. Естественно и почти не колеблясь, он, вслед за поэтом Эташем Дешаном, примыкает к «партии» мужского эгоизма и любовных наслаждений.

Нищета меняет психологию человека. Став женоненавистником из-за своего незавидного социального положения и человеком, одержимым жадой мщения, поскольку его предавали, Вийон на собственном опыте постиг, как найти путь к пониманию. Жестокий с обманывавшими его мещанками, он находит в своей душе сочувствие к «шлюшкам», «девчоночкам», тем, кого Любовь выбрасывает на мостовую, как это обычно бывает, когда женщина вместе с честью теряет расположение возлюбленного. К несчастным, продающим свои улыбки, Вийон проявляет симпатию, подобную той, что испытываешь к уличному акробату, готовому за деньги на любые подвиги. Его нежность к участникам былых пирушек распространяется и на женщин, и на мужчин: жизнь сделала и тех и других такими, каковы они есть. Разве эти женщины не были «честными»? Ответ не заставляет себя долго ждать: «Они и теперь честны, если такими были прежде...» По правде говоря, не существует честных женщин, так же, как не существует и прочих...

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 147. Пер. Ф. Мендельсона.

«Прекрасная Оружейница» — свидетельство того злосчастного пути, которым суждено пройти по жизни женщине, и морализатор-холостяк, размышляя об этом, колеблется между приговором ума и оправданием сердца. Уже в «Романе о Розе» длинные рассуждения о старости вынудили автора прийти к заключению: когда женщина молода, она легкомысленна и высокомерна, когда становится старухой — сварлива и всеми презираема. Старая, женщина уже не применяет румяна и белила, нисходит до положения сводни, и нежности к ней уже никто не испытывает. А образа бабушки еще не было, по крайней мере, в городской литературе.

Любовные увлечения Вийона — это цепь разочарований, он пытается скрыть их с помощью надежного средства — обращаясь к испытанным литературным образам. За усердными упражнениями в стихотворной риторике скрывается образ любимой женщины, постепенно превращающейся в непривлекательную старуху, обделенную любовью. И тут же обрисованы превратности судьбы молодого клирика, не имеющего завтрашнего дня и не замечающего в дыму развлечений бега времени. Однако наступает день, когда галантный кавалер становится никому не нужен. Молодость ушла не попрощавшись. В тридцать лет человек стар и одинок, ему не хватает нежности и любви.

Мне жалко молодые годы,  
 Хоть жил я многих веселей  
 До незаметного прихода  
 Печальной старости моей;  
 Не медленной походкой дней,  
 Не рысью месяцев, — умчалась  
 На крыльях жизнь, и радость с ней,  
 И ничего мне не осталось\*.

Не будем слишком углубляться в изучение перипетий Вийоновой любви. Перемены не несут в себе раздвоенности. Хоть любовь и погибла, она была. «Смеюсь сквозь слезы» — это философия, но это и литературное клише. Раздвоенность Вийона исчезает, когда берется в расчет быстротечность времени, которое в движении изменяет мир. Между волокитой Вийоном и поэтом, отрицающим любовь, — расстояние в несколько лет, любовь нескольких женщин и несколько разочарований.

За это время печальный собрат Толстухи Марго низвергнут в ад кромешный. Это плата за любовь, за чувства, что приводят к нищете. Одна из баллад Вийона, написанная на жаргоне кокийяров, позволяет увидеть мир, где любовь — это обман и где,

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 40. Пер. Ф. Мендельсона.

не разжимая объятий, крадут кошелек, словно это игра в трик-трак. Любить — значит раскошелиться.

Тут, глядя вверх, сказал один босяк:  
«Башлей в помине нету, хоть ты плачь.  
Она меня обчистила, да так,  
Что позавидует любой щипач,  
И шась, подлюга, к своему коту,  
А трахнул я ее всего разок.  
Вот и терпи такую срамоту,  
Вот и кляни свой тощий кошелек!»\*

Вийону досталось. Он любил и был обманут. Что бы то ни было, Катрин де Воссель оставила молодого Франсуа ради других поклонников. Он, конечно, был несносным, вмешивался в то, что его не касалось. Его голого вытолкали за дверь и поколотили. Забавная свадьба, скажет потом поэт, который завешает двести двадцать ударов хлыстом свидетелю потасовки. Возможно, этот Нозль Жоли и был счастливым соперником.

Несколько ночей провел под дверью Катрин злосчастный любовник, этот болтун, вынужденный вещать в пустоту. Его доверием злоупотребили так же, как любовью. Бедняга Вийон видел Катрин совсем другой, такой, какой она никогда не была, когда притворялась, что слушает его. Если б он только знал...

Его душа изранена, и дело тут не только в любви. Наткнувшись, сам того не подозревая, на «пещеру» Платона, поэт начинает сомневаться во всем на свете. Целую цепочку противоречий сплело время, когда речь зашла о Прекрасной Оружейнице. Время обезображивает, старость — не завершение, а отрицание молодости.

Что стало с этим чистым лбом?  
Где медь волос? Где брови-стрелы?  
Где взгляд, который жег огнем,  
Сражая насмерть самых смелых?  
Где маленький мой носик белый,  
Где нежных ушек красота  
И щеки — пара яблок спелых,  
И свежесть розового рта?\*\*\*

На эти вопросы, которые как бы задает себе женщина, стих за стихом отвечает старость.

В морщинах лоб, и взгляд погас,  
Мой волос сед, бровей не стало,  
Померкло пламя синих глаз,  
Которым столько завлекала.

\* Пер. Ю. Стефанова.

\*\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 55. Пер. Ф. Мендельсона.

Загнулся нос кривым кинжалом,  
В ушах — седых волос кусты,  
Беззубый рот глядит провалом,  
И щеки обвисли лоскуты...\*

В том, как Вийон представляет себе красоту, кое-что непременно удивит волокит XX века. Широко расставленные глаза, раздвоенный подбородок скорее характерны для его стиля, нежели воссоздают реальный образ; поэту не нравятся сросшиеся брови, зато ямочки на щеках умиляют...

Зеркало времени к телу не менее сурово, чем к лицу. Вот как поэт описывает тело женщины.

Где белизна точеных рук  
И плеч моих изгиб лебяжий?  
Где пышных бедер полукруг,  
Приподнятых в любовном раже,  
Упругий зад, который даже  
У старцев жар будил в крови,  
И скрытый между крепких ляжек  
Сад наслаждений и любви?

И еще: старость — это разложение, которое являет себя во всем. И только слог примиряет с ужасным портретом: в нем ощущается грусть, замаскированная иронией.

Вот доля женской красоты!  
Согнулись плечи, грудь запала,  
И руки скручены в жгуты,  
И зад и бедра — все пропало!  
И ляжки, пышные бывало,  
Как пара сморщенных колбас...  
А сад любви? Там все увяло,  
Ничто не привлекает глаз\*\*.

## ОТРЕЧЕНИЕ

Катрин де Воссель — женщина двуличная. Поэт оплакивает свою доверчивость, но не испытанное наслаждение: он принял пузырь за фонарь, а свинью за ветряную мельницу.

Всегда, во всем она лгала,  
И я, обманутый дурак,  
Поверил, что мука — зола,  
Что шлем — поношенный колпак\*\*\*.

Обман питает сомнение. Здесь все наоборот, все борьба противоположностей. Не только время обман — все на свете фаль-

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 56. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же.

\*\*\* Там же. С. 64.

шиво. Уже цитированная баллада говорит об этом без прикрас: стережет лишь заснувший, верить можно лишь отступнику, любовь проявляется только в лести... За риторикой антонимов чувствуется боль доверчивого поэта, обманутого кокеткой. «Так злоупотребили моей любовью». Вийон предвосхищает Альцеста. С горькой пронизательностью логика он извлекает для себя урок:

Любовь и клятвы — лживый бред!  
Меня любила только мать.  
Я отдал все во цвете лет,  
Мне больше нечего терять.  
Влюбленные, я в вашу рать  
Вступил когда-то добровольно;  
Забросив лютню под кровать,  
Теперь я говорю: «Довольно!»\*.

25

Ты не жди,  
Вставай, иди,  
Иди, иди,  
Иди, иди.

Иди, иди,  
Иди, иди,  
Иди, иди,  
Иди, иди.

Иди, иди,  
Иди, иди.

Иди, иди,  
Иди, иди,  
Иди, иди,  
Иди, иди.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 65. Пер. Ф. Мендельсона.

**БУДЕТЕ ПОВЕШЕНЫ!**

НОТАРИУС ФЕРРЕБУК

Он болен. Он скрывается. Служащие Шатле не забыли о нем, но теперь некому его защитить: Робера д'Эстувилья здесь больше нет. Новый прево, Жак де Вилье, сир де л'Иль-Адам, — из тех, кому недостаточно хороших стихов, чтобы выиграть обреченное дело. Лейтенант уголовной полиции теперь Мартен Бельфэ, человек безжалостный; Вийон, насмешничая над ним, своим возможным палачом, вывел его в «Завещании». Поэту следует остерегаться этих людей. Но надо жить, а рассуждать да морализировать — этим сыт не будешь.

Что же у него на совести теперь, в октябре 1462 года, когда он, Франсуа Вийон, вновь оказывается в Шатле? Проступок не слишком значительный — воровство. Грех небольшой, и Вийона быстро бы освободили, а дело осталось бы без последствий, если б у судьбы была короткая память. Но дело-то в том, что нашли наконец одного из участников грабежа Наваррского коллежа!

Уладив с правосудием дело, приведшее его в мёнскую темницу, Вийон был всего лишь вором в бегах, которого, хоть не слишком усердно, разыскивали как соучастника в деле ограбления Наваррского коллежа. Послали за мэтром Жаном Коле, главным попечителем теологического факультета. Извлеченный из своей камеры, поэт признался наконец в краже, о которой почти забыл.

Как и следовало ожидать, факультет выступил против освобождения вора, а судейский крючкотвор записал это в своей книге. Франсуа Вийон снова должен был предстать перед Мартеном Бельфэ, чтобы представить ему свою версию ночной вылазки, завершившейся ограблением Наваррской ризницы.

Магистры не могли извлечь никакой выгоды из того, чтобы поэта оставили в тюрьме. Вийон был болен. Лысый, исхудавший, так что на него и смотреть-то страшно, он надсадно кашлял. Его причастность к наваррской краже была не столь оче-

видна, чтобы послать за нее на виселицу. Факультет предпочел договориться полюбовно: пусть виновный возместит ущерб, после чего ворота тюрьмы для него откроют.

В первые дни ноября 1462 года судебный писец, им тогда был Лоран Путрель, отмечает в своей книге, что в отношении Вийона принято следующее решение: он должен выплатить сто двадцать экю в течение трех лет. В распоряжении освобожденного поэта три года, чтобы найти сто двадцать экю — больше, чем он когда-либо зарабатывал, иначе он должен вернуться в тюрьму. Три года, и тогда — снова решетка на узком оконце и корзиночка, которую он спускает на веревке в надежде, вдруг кто-то принесет съестного. Заключение счастлив, когда какой-нибудь парижанин сочтет возможным положить туда несколько медяков или ломоть хлеба, такие корзинки постоянно свешиваются со стен Шатле или Фор-л'Евек.

«Новое» экю Людовика XI составляет 27 су 6 денье, а 120 экю — это 165 ливров, то есть столько, сколько получают за сдачу внаём в течение двадцати лет удобно расположенного, где-нибудь в центре Парижа, на мосту Парижской Богоматери, торгового дома. В этом же ноябре 1462 года на Гревской пристани за такую цену можно купить двадцать мюидов вина из Ванва или Мёдона или восемь-десять мюидов превосходного вина из Бургундии. Это довольно приличное количество — можно даже содержать таверну.

Всей обстановки в доме Вийона не хватило бы для уплаты долга. Его добротная кровать с матрасом, подушка, валик, скамеечка стоят вместе самое большее два экю. Да и найдет ли он по выходе из тюрьмы свою кровать?

Полюбовная сделка, заключенная между факультетом и вором, — обман. Магистры никогда не увидят новых экю, этих прекрасных, почти чистого золота монет достоинством в 23 1/8 карата — чистое золото содержит 24 карата, — а в парижской марке 71 такая монета. Они не увидят этих ста двадцати монет с тремя королевскими лилиями, увенчанными короной.

Что касается Вийона, то в его распоряжении три года, чтобы исчезнуть. По правде говоря, скорее всего именно это и имело в виду доброе университетское сообщество... Не держать неизвестно зачем в тюрьме поэта, но и не видеть его больше!

И тут-то новая беда постучалась в его дверь, в то время как на этот раз он уже ничего не мог сделать. Минул месяц с тех пор, как Вийон вновь вернулся в квартал школяров. Нашел ли он для себя какое-нибудь занятие? Маловероятно. Он опять в круговороте парижской жизни. И ему уже незачем прятаться.

Глупо было бы ожидать, что перед ним откроются все двери. Когда пытаешься прокормиться на даровщинку, тут уж друзей выбирать не приходится.

Однажды декабрьским вечером 1462 года он постучался к Робену Дожи, школяру без прошлого, у которого в этот вечер нашлось чем поужинать. Дожи жил на улице Паршминри, возле Сен-Северен, недалеко от улицы Ла Арп. В доме с вывеской «Повозка» у него убогая комнатенка, но хозяин гостеприимен: Дожи добряк и у него много друзей. В тот вечер вместе с Вийоном там оказался один добрый малый по имени Ютен дю Мустье и один школяр буйного нрава по имени Роже Пишар.

Ужин был проглочен стремительно. Было часов семь-восемь: ложиться рано. Вийон предложил пойти к нему: его дом — это дом монастыря Святого Бенедикта, где магистр Гийом де Вийон милостиво принимал своего протеже при каждом его возвращении к жизни, приличной жизни монастырей и коллежей.

И вот четыре друга на улице. С одним разделить ужин, а с другим свечу — дело обычное. Возможно, у Вийона нашлась бы и бутылка вина и они бы вместе ее распили. Во всяком случае, они не искали удачи и не собирались затевать ссору. Они просто брели по улице Сен-Жак. А шататься темной ночью по улицам — значит с завистью заглядывать в освещенные окна, где за столом сидит буржуа, за пюпитром — судья, за стойкой — лавочник. Все они заканчивали трудовой день. Все четыре неприкаянных школяра обладали живым воображением; их взору представлялись бесплатные представления, так что было чем позабавиться, не входя в расход.

Вийон, Дожи, дю Мустье и Пишар проходили, веселясь, мимо дома нотариуса Франсуа Ферребука, сидевшего в своей рабочей комнате; Ферребук получил должность благодаря воле Его Святейшества: он был одним из папских нотариусов, ежедневно попиравших права королевских нотариусов Шатле. Окно еще светилось. Ферребук заставлял своих писарей работать в такое время, за какое королевские нотариусы испросили бы дополнительное вознаграждение, ведь ночной труд был запрещен законом. Вещь известная: папские нотариусы всегда пренебрегали правилами.

Ферребук был именитым гражданином. Священник, кандидат канонического права, адвокат, затем нотариус в Париже на протяжении десяти лет — он был не из тех, над кем станешь подтрунивать среди бела дня. Сын богатого бакалейщика Жана Ферребука, племянник буржуа Доминика Ферребука, обладателя значительного состояния, — он жил в квартале, прилегающем к улице Сен-Дени. Мэтр Франсуа Ферребук — солидный



владелец многочисленных домов и рантье. У него был даже виноградник в Росни-су-Буа. Он получал доход и от церквей.

Это был человек со связями. Перед его домом с вывеской «Золотая шапка» городские власти вымостили даже часть улицы Сен-Жак за счет парижских налогоплательщиков.

Бесшабашным школярам ночь придает храбрости. Ферребук ничего не сделал плохого этим четверем друзьям, но он был живым символом Успеха. У него было все, у них — ничего.

Им было видно в освещенное окно, как трудились писцы. Трудились, и их усердие очень забавляло гуляк. Им хотелось вдоволь посмеяться над писцами, портившими себе глаза. Не стоит придавать этой истории того значения, которого она не имеет: четверо бездельников подтрунивали именно над писцами, а не над злоупотребившим их усердием хозяином. Лентяи не испытывали ненависти к трудягам, им просто захотелось немного поразмяться.

В окно летели шуточки. Пишар даже плюнул в комнату — до такой степени был ему противен их праведный труд.

Писцы нотариуса, возможно, и тихони, когда работают, но если им вздумается вздуть как следует насмешников, они ведут себя вполне по-школярски. В мгновение ока вся ученая компания, освещенная одной свечой, оказывается на пороге дома. Кто это тут ищет ссоры ради ссоры?

— Что за нечестивцы тут стоят?

Пишар отвечает развязно. О чем бишь они спросили? Ну что ж, они сейчас узнают, из какого дерева сделаны флейты. Хорошего они получают трепака.

— Не хотите ли купить флейты?

Минутой раньше никто и не думал о драке. И никто никогда не узнает, кто начал первым. Но вот уже удары сыплются направо и налево. Ютен дю Мустье выступает немного вперед, писцы хватают его и, как тюк, втаскивают в дом. Вийон, Дожи и Пишар слышат вопли:

— К отмшенью! Меня убивают! Я мертв!

Они устремляются к дверям. Как раз в ту минуту мэтр Франсуа Ферребук, раздраженный происходящим, показывается в дверях. Он в ярости наносит сильный удар не ожидавшему этого Дожи, который падает навзничь. Пишар и Вийон ретируются к церкви Святого Бенедикта. Вийон живет неподалеку, и он заботится о том, чтобы не быть втянутым в дело, которое обернется не в его пользу, так как нотариус хорошо знает закон. За Дожи ничего предосудительного не числится, зато ему ясно, что стерпеть удар — значит стать объектом насмешек, и, поднявшись, он выхватывает из ножен свой кинжал.

Что дело Сермуаза, что дело Ферребука, — все это истории

одного порядка. Буржуа, так же как и писец, знает, что ношение оружия запрещено, но ночные дозорные никогда не приходят на помощь, если ты ввязался в драку. Оружие у парижанина всегда пристегнуто к поясу и спрятано под плащом, и он прибегает к нему как к последнему средству защиты жизни и кошелька. Королевское правосудие может штрафовать сколько угодно, нарушений от этого не убавится. Писец Шатле ведет учет конфискации.

«Пояса женщин, промышляющих любовью и таковых взятых под стражу за их ношение...

Шпаги, кинжалы и прочие подобные предметы, запрещенные к ношению как днем, так и ночью...»

Пишар и Вийон, укрывшись в арке монастыря, могли подумать, что все кончилось, но тут явился дрожащий от ярости Дожи: чтобы отбиться и не ударить в грязь лицом перед писцами-зубоскалами, он ранил именитого гражданина, принадлежащего к судейскому сословию...

Удар кинжалом, нанесенный Франсуа Ферребуку, мог оказаться смертельным. Дело приняло нежелательный оборот; Дожи понял, что влип в историю, и начал поносить Пишара за то, что тот вел себя как последний дурак. Дошло до крика. Чтобы не доводить до беды, школяры решили разойтись.

Ферребук не умер; восьмидесятилетний, он будет еще жив в начале XVI века. Но он подал жалобу.

Так что веселые приятели несколькими днями позже встретились в Шатле. Университетский квартал настолько мал, что писцы нотариуса без труда узнали зачинщиков драки. Дю Мустье и Вийона тотчас арестовали. Дожи удалось на некоторое время скрыться, но и его в конце концов нашли. Пишар был самым осторожным: он обрел убежище в стенах церкви францисканского монастыря. Там-то его и арестовал, не спросив разрешения монастыря, лейтенант уголовной полиции Пьер де ла Деор, ненавидевший всех, кто принадлежал к духовному сословию. Один из монахов попытался вмешаться. Но сержанты полиции грубо оттолкнули его, а Пишара отправили в тюрьму.

## СУД

Вийон, Дожи и дю Мустье осуждены. После их поимки прошел всего месяц, и вот уже всех троих ожидает виселица. Естественно, они послали апелляцию в Парламент.

12 января 1463 года Парламент отклонил прошение Ютена

дю Мустье и добавил к наказанию штраф в десять ливров за «наглую апелляцию». Да что там штраф. Дю Мустье повесили.

Больше всех виновен Дожи. Но ему удается затянуть дело, так что он долгое время отсиживается в тюрьме Парламента, а тут в ноябре 1463 года герцог Людовик Савойский навещает его с ответным визитом к своему зятю королю. Людовик XI делает благородный жест и отпускает на волю заключенных савояров. Как когда-то Вийона, Дожи освобождаются по королевской милости.

Однако если Дожи — савояр, то Вийон — француз. Поэт с горечью констатирует этот факт. И принимается играть словами:

Я — Франсуа, чему не рад.  
Увы, ждет смерть злодея,  
И сколько весит этот зад,  
Узнает скоро шея\*.

В это время францисканцы сутяжничают с прево города Парижа. Пишар не нападал на путешественников на большой дороге, он не опустошал крестьянские поля, не совершил никакого преступления против церкви. Случаи, которые братья во Христе хотят представить светскому правосудию, не подлежат двойственному толкованию, а дело Пишара за их рамки не выходит. Они настаивают: было нарушено право убежища; Парламент признает их правоту. 16 мая 1464 года Пишар с соответствующими церемониями был препровожден к францисканцам.

Стоит ли говорить, что братьям-монахам не нужен был Пишар, а прево вовсе не намерен был мириться со своим поражением. На этот раз решили соблюсти приличия. Прево официально потребовал у францисканцев, чтобы они сооблаговолили вернуть ему Роже Пишара, обвиненного в нападении на папского нотариуса.

События развивались стремительно. Пишара заключили в Шатле, осудили и приговорили к виселице. Он обратился с прошением в Парламент, тот отклонил ходатайство, как это было с дю Мустье, и добавил 60 ливров штрафа за неуместное обращение в эту высокую инстанцию. Пишару удалось оттянуть встречу с королевским палачом, но его заставили за это заплатить.

Впрочем, штраф этот взять было невозможно: у Пишара за душой ничего и никто за него не заплатит. Тот, кого Дожи называл в вечер потасовки «распутником поганым», будет повешен, не выплатив ни су.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 150. Пер. И. Эренбурга.

Осужденный с дю Мустье и Дожи, Вийон также послал апелляцию. Ему было не до шуток. Апелляция написана прозой, без риторической цветистости и подтекста. Ответ лаконичен. 5 января 1463 года — дело велось очень быстро — Парламент провозгласил:

«Судом рассмотрено дело, которое ведет парижский прево по просьбе магистра Франсуа Вийона, протестующего против повешения и удушения.

*В конечном итоге* эта апелляция рассмотрена, и ввиду нечестивой жизни вышеозначенного Вийона следует изгнать на десять лет за пределы Парижа».

Суд не оправдал его, но и не приговорил к повешению. Магистр Робер Тибу, председатель Парламента, — каноник Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Может, это он пожалел своего несносного соседа? *В конечном итоге* того, кто пользовался репутацией шалопа и принял участие в преступлении, в котором вина его была невелика, Парламент решил отпустить.

## ПОВЕШЕННЫЕ

Весьма вероятно, что в эти несколько дней, перед казнью, поэт набросал другую апелляцию — драматическую, названную «Балладой повешенных», которую он адресовал всему человечеству, единому перед лицом смерти. На этот раз он уже не смеется, даже «сквозь слезы». Он защищает виновного. Он не осмеливается ждаться, как недавно в тюрьме города Мён, чтобы друзья вызволили его. Здесь нет уже того рефрена, что прежде: «Оставьте ль здесь бедного Вийона?» Он мечтает лишь об одном — о братской любви. Ему представляется, как смеются прохожие, и это повергает его в уныние. Дело о его жизни рассматривает Парламент. Поэт же в этой драматической балладе берет на себя решение дела о своем человеческом достоинстве.

Настойчиво звучат как жестокая правда о равенстве всех перед смертью одни и те же повторяющиеся слова: «братья», «люди», «братья людей»... Это новый для него словарь.

Призыв молиться — «Молите Бога» — не что иное, как перевод исходного постулата догмы, которую, начиная с собора в Никее, теологи называют «Причастием святых». Вийон боится ада. Если все люди попросят Бога, Он поможет им его избежать. «Да отпустятся всем нам грехи наши». И бывший школяр вновь обращается к словарю теолога: «Да будет милость Его к нам неистощима».

Призыв к людям — это призыв к улице, с которой Вийон неразрывно связан. Это мольба того, кто столько насмешничал, и насмешничал лишь над богатством, достатком, заносчивостью, злобой, жадностью. Никогда Вийон не смеялся над чьими-то страданиями, кроме собственных.

В ожидании казни он просит рассматривать смерть как уход человека из жизни, а не как уличный спектакль. «Да не смеется никто над нашей бедой». Виселица унижает его: «Пусть она разрешена правосудием, все равно виселица достойна презрения». И страх — в словах, лишенных риторики: «Не смейтесь, на повешенных взирая».

Крик души Вийона, увидевшего перед собой веревку, а рядом — бродяг, представляющих все человечество, заключен в призыве, которым открывается баллада и который клеймит лишь одно прегрешение, существенное для бедного клирика: прегрешение против любви.

Не будьте строги, мертвых осуждая,  
И помолитесь Господу за нас!\*

Как отчаявшийся узник смог найти не только время, но чернила и бумагу? Вспоминались ли ему прежние мысли и стихи? Или это он пересказал те горькие думы, которые посещали его еще в мёнской темнице? К кому обращал он тревожную мольбу, уравновешенную трезвостью рассказа и торжественностью описаний?

О люди-братья, мы зываем к вам:  
Простите нас и дайте нам покой!  
За доброту, за жалость к мертвецам  
Господь воздаст вам щедрою рукой.  
Вот мы висим печальной чередой,  
Над нами воронья глумится стая,  
Плоть мертвую на части раздирая,  
Рвут бороды, пьют гной из наших глаз...  
Не смейтесь, на повешенных взирая,  
А помолитесь Господу за нас!  
Мы братья ваши, хоть и палачам  
Достались мы, обмануты судьбой.  
Но ведь никто, — известно это вам? —  
Никто из нас не властен над собой!  
Мы скоро станем прахом и золой,  
Окончена для нас стезя земная,  
Нам Бог судья! И к вам, живым, зывая,  
Лишь об одном мы просим в этот час:  
Не будьте строги, мертвых осуждая,  
И помолитесь Господу за нас!

Здесь никогда покоя нет костям:  
То хлещет дождь, то сушит солнца зной.

---

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 151. Пер. Ф. Мендельсона.

То град сечет, то ветер по ночам  
И летом, и зимою, и весной  
Качает нас по прихоти шальной  
Туда, сюда и стонет, завывая,  
Последние клочки одежд срывая,  
Скелеты выставляет напоказ...  
Страшитесь, люди, это смерть худая!  
И помолитесь Господу за нас.

О Господи, открой нам двери рая!  
Мы жили на земле, в аду сгорая.  
О люди, не до шуток нам сейчас,  
Насмешкой мертвецов не оскорбляя,  
Молитесь, братья, Господу за нас!\*

Едва он узнает, что помилован, как тон меняется. Он благодарит Парламент. Но на этот раз, поскольку условности ни к чему, отказывается от прокурорского языка. Однако в благодарственном обращении Вийона к судьям звучит и мольба.

Пять чувств моих, проснитесь: чуткость кожи,  
И уши, и глаза, и нос, и рот.  
Все члены встрепенитесь в сладкой дрожи:  
Высокий Суд хвалы высокой ждет!  
Кричите громче, хором и вразброд:  
«Хвала Суду! Нас, правда, зря терзали,  
Но все-таки в петлю мы не попали!»  
Нет, мало слов! Я все обдумал здраво:  
Прослаблю речью бедною едва ли  
Суд милостивый, и святой, и правый\*\*.

В «Балладе о повешенных» философия Вийона вполне очевидна. Поэт призывает людей к солидарности. А это значит, что все вслед за ним должны благодарить Суд. Слова повторяются, но смысл у них уже другой. Благодарность — это общий долг, как и сострадание...

Теперь поэт не сожалеет, что он француз. Не боясь преувеличений, он говорит о Парламенте, как о «счастливом достоянии французов, опоре иностранцев».

В заключение же, переходя к делу, поэт просит: ему нужно три дня для устройства своих дел. Он хотел бы попроситься. Кроме того, ему необходимо раздобыть денег, а их, конечно, ни в тюрьме, ни у менялы ему не достать. Пусть же поэту скажут «да». Как на прошениях к папе, где «да» заменяет слово fiat: «да будет так».

Принц, если б мне три дня отсрочки дали,  
Чтоб мне свои в путь дальний подобрали

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 151—152. Пер. Ф. Мандельсона.

\*\* Там же. С. 155.

Харчей, деньжишек для дорожной sprawy,  
Я б вспоминал в изгнание без печали  
Суд милостивый, и святой, и правый\*.

Поэт в ударе. Возвращенный к жизни, он вдохновенно пишет стихи. Тюремный привратник, быть может, смеялся, когда осужденный взывал к судьям Шатле. Как бы то ни было, когда Вийона освободили из-под стражи, он подарил тюремному сторожу Этьену Гарнье новую балладу, в которой звучали одновременно и радость жизни, и раздумье о простых, всем понятных вещах, и некоторое тщеславие истца, обязанного своим освобождением собственной находчивости.

Ты что, Гарнье, глядишь так хмуро?  
Я прав был, написав прошение?  
Вель даже зверь, спасая шкуру,  
Из сети рвется в исступленье!\*\*\*

История, конечно, пристрастна, но не время вступать в полемику — «бедняге Вийону» надоела роль жертвы. Он выиграл. И этого достаточно. Хотя он сам и говорит: «Мне удалось уйти, схитрив».

Однако ему не до хитростей, когда речь идет о его более чем скромных способностях сутяги или записной храбрости. Он говорит об этом просто и естественно, ведь ему нечего терять.

Ты думал, раз ношу тонзуру,  
Я сламся без сопротивления  
И голову склоню понуро?  
Увы, утратил я смиренья!  
Когда судебное решение  
Писец прочел, сломав печать:  
«Повесить, мол, без промедленья», —  
Скажи-ка, мог ли я смолчать?\*\*\*

Это последние стихи Вийона, дата которых точно известна. Несомненно, что после этого он брался за перо, чтобы выразить свое недовольство обществом, что видно из «Большого завешания». «Бедняга» Вийон не лишает себя удовольствия посетовать на свою физическую и моральную ущербность... Несправедливость вызывает у него бурное негодование. Возможно, первая треть «Завешания» написана именно в то время, когда поэт сводил счеты с обществом, прежде чем исчезнуть из виду. Протяжный вопль ярости в адрес епископа, негодования и горькая жалоба на Женщину и Любовь, болезненный страх перед уходящим временем и неумолимой старостью — все это являлось его мысленному взору в те ночи, когда он ожидал встречи с виселицей.

\* Вийон Ф. Лирика. М., 1981. С. 156. Пер. Ф. Мендельсона.

\*\* Там же. С. 153.

\*\*\* Там же. С. 154.

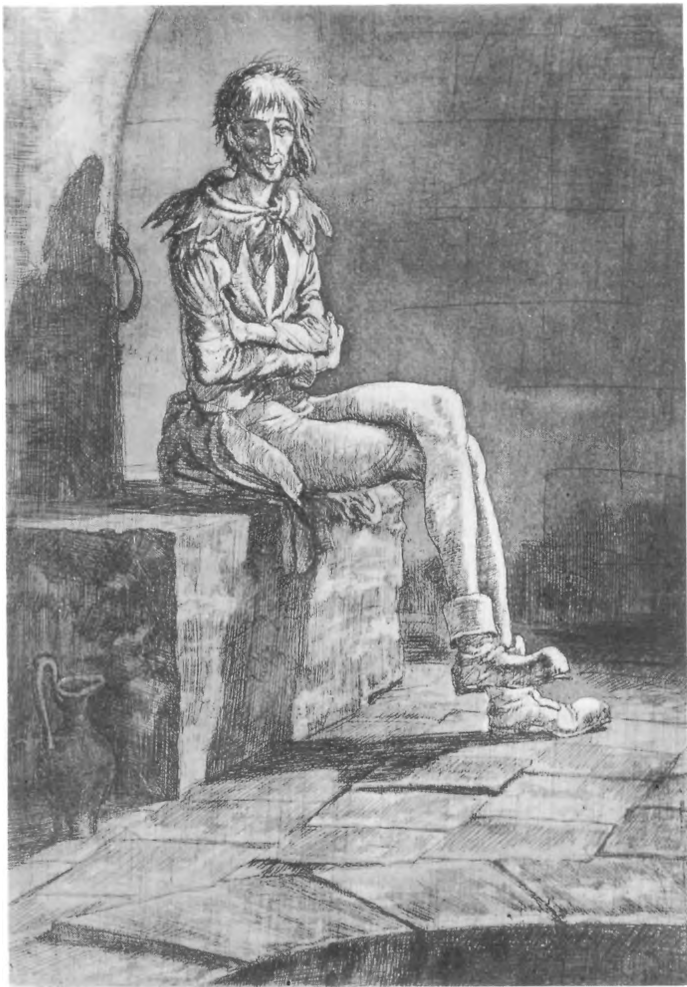
Но «Завешание» отмечено также надеждой. Искренний всегда, когда дает другому советы соблюдать осторожность — начиная от баллад на жаргоне до «Баллады добрых советов ведущим дурную жизнь», — поэт искренен и в приговоре самому себе. Ведь не случайно он восемнадцать раз упоминает Господа Бога и два раза Христа в тех трех сотнях стихов, которые предшествуют «Балладе о дамах былых времен». Даже если не считать общепринятых выражений, таких, как «Бог его знает» или «слава Богу», все равно, в этот новый час жизни Вийона, когда он придает окончательную форму оставляемому посланию, он более, чем всегда, думает о Боге.

Вийон арестован 5 января 1463 года. «Баллада-восхваление Парижского суда», видимо, должна быть датирована тем же числом. «Баллада-обращение к тюремному сторожу Гарнье» написана ненамного позже. Самое позднее 8 января Вийон покинул Париж.

На этом заканчивается история его жизни.

Поэт столько говорил о смерти, что, очевидно, не случайно не оставил историкам никакой возможности возвестить, как и где в конце концов ему довелось с ней повстречаться.





И. Кусков. Франсуа Вийон в тюрьме.



Аббатство  
Сен-Жермен-де-Пре,  
Сена, Лувр и холм  
Монмартр. XV в.  
*Париж, Лувр.*

Лувр и Пти Бурбон. Ретабло Парламента. XV в. Париж, Лувр.





Сцены из жизни писца. Миниатюра XV в. Париж. Национальная библиотека.

Школяры слушают урок. Миниатюра XV в. Париж. Национальная библиотека.



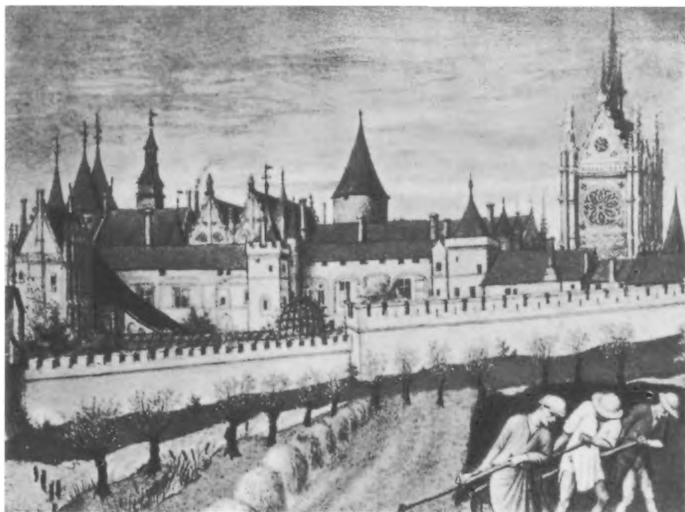


Жан Фуке. Портрет Карла VII.  
*Париж, Лувр.*



Жан Фуке. Портрет Гильома  
Жювеняля дез Юрсена,  
канцлера Карла VII и  
Людовика XI. *Париж, Лувр.*

Замок Сент-Шапель. Миниатюра из «Богатейшего часослова герцога Беррийского». Шантийи. Музей Конде.



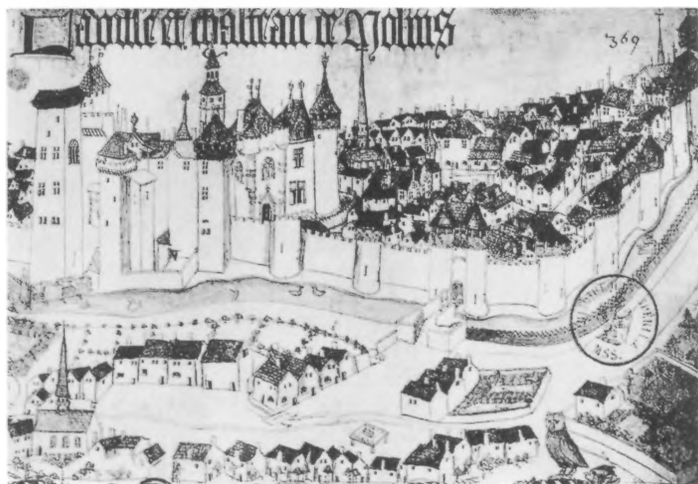


Въезд Карла VII в Руан в 1450 г. Миниатюра из «Краткой хроники королей Франции». Париж. Национальная библиотека.



Суд короля Карла VII над герцогом Алансонским в Вандоме в 1458 г. Миниатюра XV в.

Вид на Мулен во времена Франсуа Вийона. Миниатюра из «Военного регистра» Гийома Реве, предназначенного для Карла VII. Париж. Национальная библиотека.





Оконечность острова Сите около 1400 г. Миниатюра из «Богатейшего часослова герцога Беррийского». Шантийи. Музей Конде.



Улица с лавочками суконщика, скорняка, цирюльника, бакалейщика. Миниатюра XV в. Париж. Арсенал.



Дворец прево в Париже. Снесен в 1906 г.





В кабаке: проверка  
качества вина.  
Фрагмент витража  
собора в Турне.  
Бельгия.

Монетный двор.  
Миниатюра XV в.  
Руан.





Бани. Если верить Вийону и многочисленным хроникам, в середине XV в. Париж изобиловал злчными местами.  
*Миниатюра XV в. Лейпциг. Национальная библиотека.*



Каллиграф. *Миниатюра XV в.*

Знатные дамы и их свита.  
Миниатюра XV в.

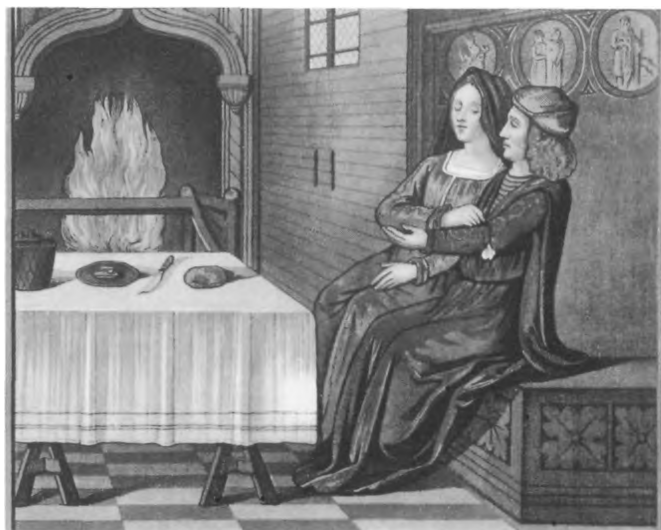


Слуги накрывают на стол  
для трапезы владелицы  
замка. Миниатюра XV в.





Содержатель кабака.  
Миниатюра XV в. из  
рукописи, хранящейся  
в Библиотеке Арсенала.  
Париж.



Доверчивость. Миниатюра  
XV в.

Сцена убийства.  
Миниатюра XV в.  
Париж. Национальная  
библиотека.



Средневековый суд.  
Миниатюра XV в. Судья в  
(центре) в присутствии  
заседателей произносит  
приговор. Осужденного  
(справа) в одной рубахе  
ташат на чиселицу.



Аллегорическое  
изображение Удачи.  
Миниатюра к книге  
Бозция «Утешение  
философией».

Жертвы бога Любви.  
Миниатюра XV в. Париж.  
Национальная библиотека.



Выплата ренты.  
Миниатюра XV в.



Костюмы горожан времен  
Вийона. Миниатюра XV в.





Et commence le liure Inti-  
tule de pouerte et de patience.  
Et viennent de pouerte.

**L**ostre sauveur dist  
ou d'auyune de lau-  
uante de sainte  
mocheu de noie  
font les pouere de  
espre au le domaine des acelys. Et  
a veuly T mansflateur. A vult de  
gens font pouere qui sont les et

et eslar. Et selon la condescence  
ou appartenant de leur person  
ou eslar qu'ils ont noime par  
aueur ne mais qui le doument  
aion puent estre appellez vici-  
maux pouere ne font ilz une vi-  
uante de pouere. Mais ilz font  
pouere des ce qui meurent. Sou-  
de esle meisme a une esleffeur  
popule et autres fautes de  
meille a esleffeur. Indigne

Терпение бедняков. Миниатюра XV в. Париж. Национальная библиотека.





Жан Фуке. Мадонна с младенцем. Около 1450 г. Антверпен.  
Королевский музей изящных искусств.



Карл Орлеанский, пишущий стихи в английском плену.  
*Миниатюра XV в.*

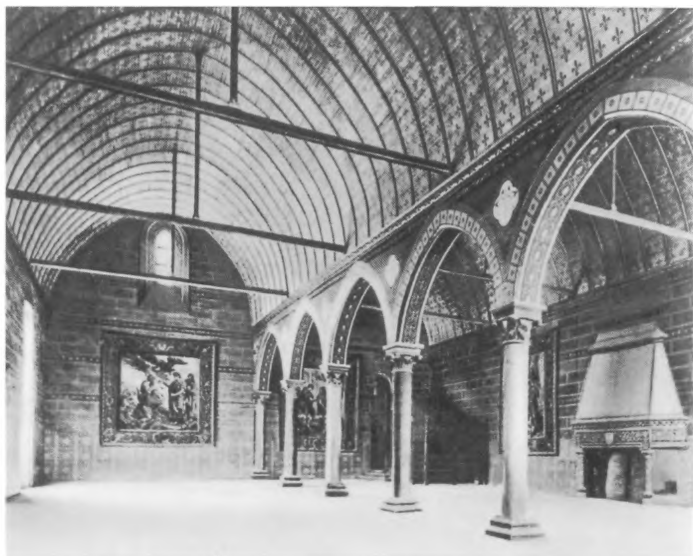


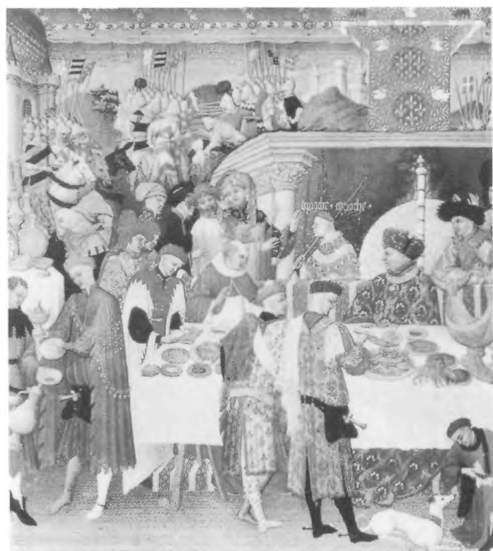
Карл Орлеанский и Мария Клевская. Гобелен. Середина XV в.



Поэт, вручающий  
свою книгу знатной  
даме. *Миниатюра*  
*XV в. Париж.*  
*Национальная*  
*библиотека.*

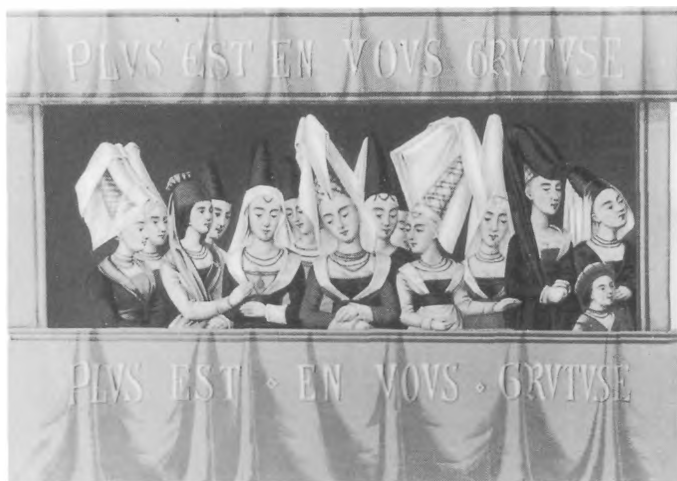
Замок Блуа. Зал  
приемов, в котором,  
очевидно, проходили  
поэтические  
турниры.





Братья Лимбург.  
Месяц  
январь.  
Миниатюра из  
«Богатейшего  
часослова  
герцога  
Беррийского».  
1415—1416 гг.  
Шантийи.  
Музей Конде.  
Подобные  
пиры устраивал  
в своем  
замке и Карл  
Орлеанский.

Знатные дамы, присутствующие на турнире. Конец XV в.



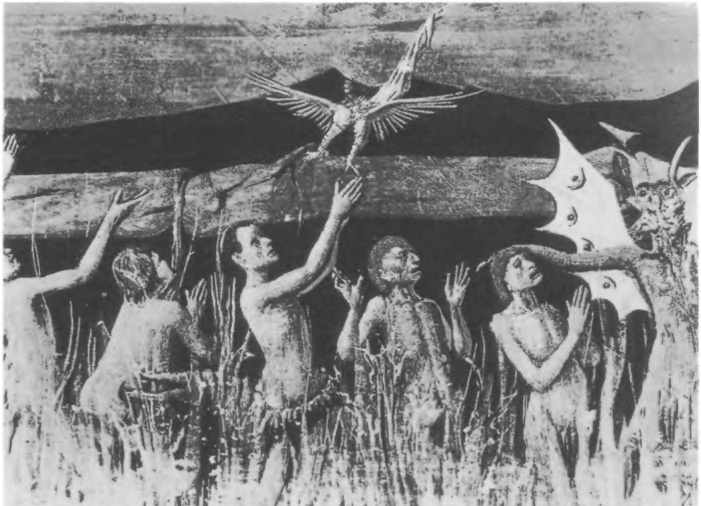


La Vieulle en regrettant le temps  
de sa ieunesse.

Tostu mas la haulte franchise  
Que deaulte mauoit ordonne  
Sur cetero marchans a gens deglisés  
Car lors il n'estoit homme ne  
Qui tout le sien ne meust donne  
Quoy quil en fust des repentailles  
Mais que luy eusse abandonne  
Ce que refusent truandaillés

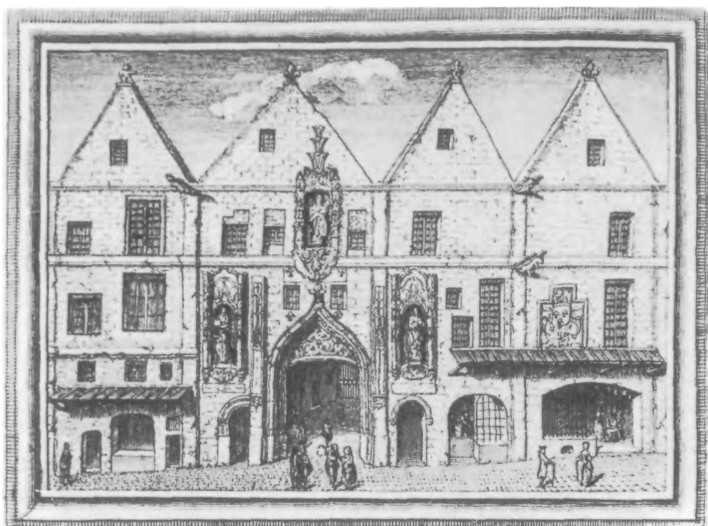
Старуха, оплакивающая свою  
молодость. Гравюра на дереве  
из книги стихов Франсуа  
Вийона изд. Пьера Лева. 1489 г.  
Париж. Национальная библиотека.

Увенчание Девы. Фрагмент.



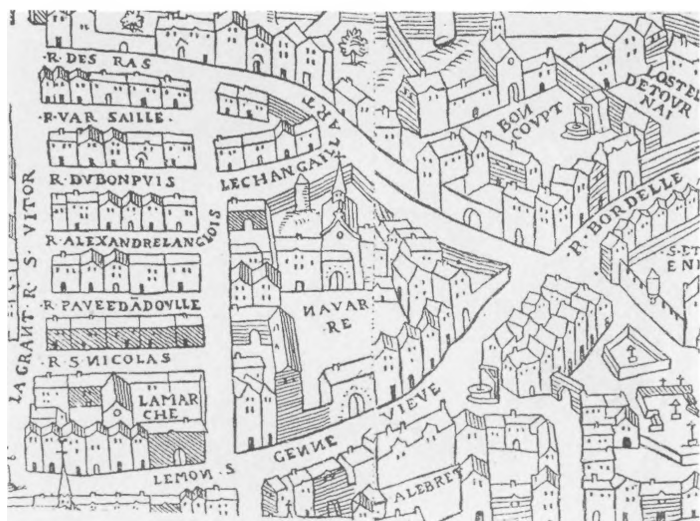


Аррасская школа. Предложение сердца. *Париж. Музей Клоди. Шалера.*

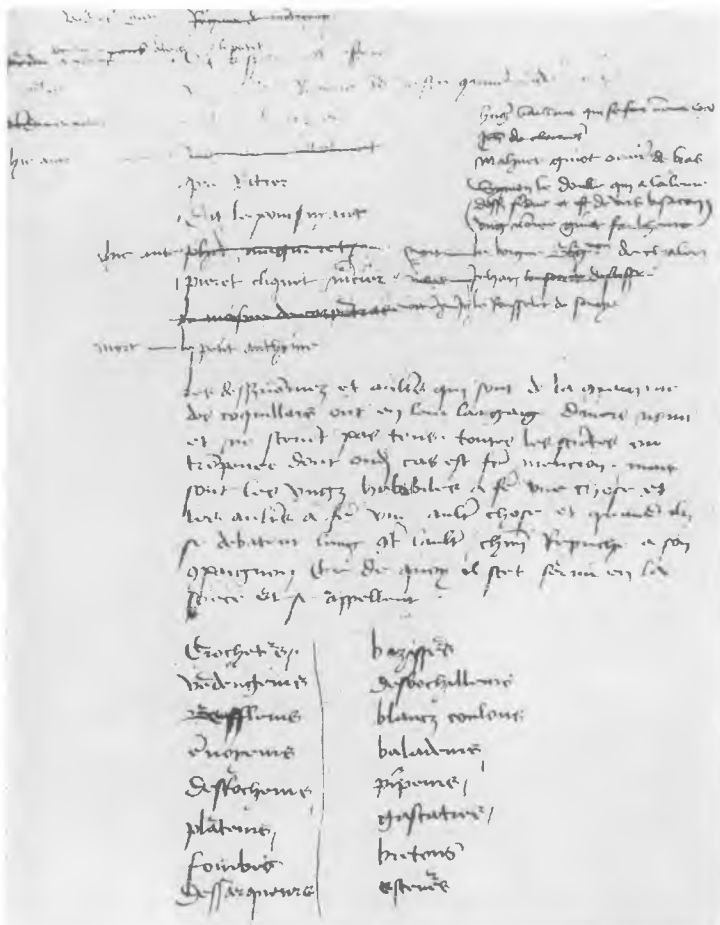


Наваррский коллеж. Из книги Бегийе «История Парижа».

Наваррский коллеж на плане 1551 г.







Донос Жана Рабюстеля на кокийяров. Октябрь—декабрь 1455 г. Архив Департамента Коте д'Ор.

Крючок, с помощью которого были вскрыты сундуки. Рисунок с последней страницы доноса.





Epitaphie dudit Billon  
 Freres humains qui apres no<sup>s</sup> biens  
 Navez les cœurs contez no<sup>s</sup> endurances  
 Car se ptie de no<sup>s</sup> poures auez  
 Dieu en aura plusost de vous mercis  
 Vous nous boies cy a taches cinq sie  
 Quant de la char q trop auds nous ne  
 Ellest pieca deuoree et pourrie  
 Et no<sup>s</sup> ses os deuends cedies a poulsbie  
 De nostre mal personne ne sen tie  
 Mais priez-dieu que tous nous ducel  
 se absouldie g iiii.

Повешенные. Гравюра на дереве из книги стихов Франсуа Вийона изд. Пьера Лева. 1489 г. Париж. Национальная библиотека.

Монах, ростовщик и бедняк, встретившиеся со смертью. Пляска смерти, изд. Маршана. 1485 г.





Трое мертвых и трое живых. Миниатюра из «Часослова герцога Беррийского» XV в. Париж. Национальная библиотека.

Мён-сюр-Луар.



Заклученные. Миниатюра XV в. Париж. Музей Кювье.



Колен д'Амьен (?). Портрет Людовика XI.



Портрет кардинала Шарля Бурбона, крестного отца сына Людовика XI. Около 1485 г. Мюнхен. Старая пинакотека.



Жан Фуке. Погребение. Шантийи. Музей Конде.



Нотр-Дам де Клери.  
Могила Людовика XI.



Странники и Фортуна.  
Миниатюра XV в. Мюнхен.  
Королевская библиотека.

**Le grant testament billon/et le petit.  
Son rodicille. Le iargon i ses balades**



Фронтиспис изд. Лезе 1489 г.



Разговор бродяги со своей душой. Миниатюра XV в. Париж. Национальная библиотека.

Смерть бедняка. Миниатюра XV в. Париж. Национальная библиотека.



En sieut vng autre miracle d'un pource homme men



## ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В ЭПОХУ ФРАНСУА ВИЙОНА

Эта хронологическая таблица имеет целью напомнить читателю о некоторых событиях, которые происходили, и некоторых произведениях, которые были созданы во времена Франсуа Вийона. Никакой точной датировки, естественно, быть не может, когда речь идет о произведениях литературы и искусства. В этом смысле читателю следует воспринимать нижеследующие даты, относящиеся к литературе и искусству, как приблизительные.

1337 — 1453 — Столетняя война.

1429 — 1431 — героическая миссия Жанны д'Арк.

1431 — коронация в Париже Генриха VI, короля Англии и Франции.  
Смерть Жанны д'Арк.

Смерть Кристины Пизанской. Начало Базельского собора.

**Рождение Франсуа Вийона в бедной семье Монкорбье (или Лож).**

1432 — основание университета в Кане.

*Ян Ван Эйк «Поклонение агнцу».*

1435 — Аррасский договор: франко-бургундское перемирие.

1436 — въезд Ришмона в Париж и уход англичан.

1438 — массовая эпидемия оспы. «Прагматическая санкция».

1439 — завершение паперти Сен-Жермен-Оксерруа.

1440 — *Донателло «Давид»*. «Прагерия»: коалиция принцев против Карла VII.

1441 — взятие Понтуаза.

1443 — забастовки в университете.

Взятие арагонцами Неаполя.

1444 — турецкое перемирие и начало экономического подъема.

1445 — создание «приказных рот».

Рождение Боттичелли.

1446 — переход университета под юрисдикцию Парламента.

1447 — Робер Д'Эстувиль назначен прево Парижа.

1449 — возобновление франко-английской войны.

Нищенствующие ордена получают разрешение исповедовать мирян.

Окончание Базельского собора.

**Вийон становится бакалавром словесных наук.**

1450 — победа французов в Нормандии. (Форминьи).

Первые печатные тексты Гутенберга в Майнце.

1452 — реформа Парижского университета.

Дело «Чертовой тумбы».

**Вийон становится лицензиатом, а затем магистром словесных наук.**

*«Баллада добрых советов ведущим дурную жизнь».*

*Арнуль Гребан «Подлинная тайна Страстей Господних».*

1453 — победа французов в Гиени. Гиень стала провинцией Франции.

Окончание Столетней войны.

Процесс Жака Кёра.

Бунты в университетах.

Взятие турками Константинополя.

1454 — Ангерран Шаронтон *«Увенчание Девы Марии»*.

1455 — Смерть Фра Анджелико.

Пожар продовольственных складов в Париже.

Португальцы высаживаются на остров Ка-Вер.

Убийство Вийоном священника Филиппа Сермуаза. Вийон арестован, но отпущен, так как сумел доказать, что действовал в порядке самозащиты.

*«Жалобы Прекрасной Оружейницы»*.

Первые аресты кокийяров.

1456 — девальвация денег.

Аннуляция осуждения Жанны д'Арк.

1\* Кража в Наваррском коллеже.

*«Малое завещание»*.

1457—1459 — Вийон в Валь де Луар. Поэтическое состязание в Блуа.

*«Баллада-спор с Франком Гонтье»*

*«Баллада подружке Вийона»*.

1460 — Вийон попадает в тюрьму в Орлеане.

*«Двойная баллада о любви»*.

Жан Фуке *«Часослов Этьена Шевалье»*.

1461 — Вийон в тюрьме города Мёна.

Взятие Трапезунда турецкими войсками.

Восшествие на престол Людовика XI.

*«Спор Сердца и Тела Вийона»*.

*«Баллада-послание герцогу Бурбонскому»*.

Возвращение Вийона в Париж.

*«Баллада за упокой души мэтра Жана Котара»*.

*«Баллада о сеньорах былых времен»*.

*Первая редакция «Большого завещания»*.

1462 — арест, затем условное освобождение Вийона.

*«Баллада-завет Вийона»*.

Дело Ферребука.

*«Четверостишие»*.

Вийон приговорен к смертной казни через повешение.

*«Баллада повешенных»*.

1463, 5 января — смертный приговор Вийону отменен. Вместо этого он приговорен к десятилетнему изгнанию из Парижа.

*«Баллада-восхваление Парижского суда»*.

*«Баллада-обращение к тюремному сторожу Гарнье»*.

Начало строительства замка Плесси-ле-Тур.

1465 — смерть Карла Орлеанского.

Открытие Платоновской академии во Флоренции.

Лига «Общественного блага» против Людовика XI.

- 1470 — открытие типографии в Сорбонне.
- 1471 — избрание папы Сикста IV.
- 1478 — *Боттичелли «Весна»*.
- 1480 — смерть короля Рене.  
Смерть Жана Фуке.
- 1483 — восшествие на престол Карла VIII.
- 1489 — издание сочинений Вийона в парижской типографии Пьера

## БИБЛИОГРАФИЯ

Мы не претендуем на исчерпывающую библиографию, ведь произведения Вийона и комментарии к ним, особенно в последние сто лет, выходили очень часто, так же как и исторические исследования, посвященные Франции в конце Средневековья. Что касается самого Вийона, то за справками следует обращаться к труду Робера Боссюа «Библиографический справочник по французской литературе Средних веков» (Robert Bossuat «Manuel bibliographique de la littérature française du Moyen Age». Paris, 1951, 1955, 1961), который предоставит вдумчивому читателю список из примерно двухсот книг и статей. Указания на другие издания можно найти в библиографиях работ, которые приводятся ниже.

### ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИЙОНА

Тексты Вийона известны главным образом по пяти рукописям — три хранятся в Париже, одна — в Берлине и одна — в Стокгольме, а также по первым изданиям его стихов, в частности, по изданию Лёве (Paris, 1489). Несмотря на отсутствие оригиналов и плохое качество дошедших списков и первых изданий, в наше время увидел свет целый ряд превосходных научных изданий произведений Вийона, снабженных комментариями филологов, лингвистов и историков. Самое последнее из них — под редакцией Жана Ришнера и Альбера Анри, настолько исчерпывающее, что почти нет необходимости прибегать к изданию Тюасна, хотя последнее отличается превосходным комментарием, который сохраняет свою ценность, несмотря на то, что его аргументы нередко уже устарели.

Среди многочисленных изданий, предназначенных для читателя, мало знакомого с языком XV столетия, следует порекомендовать издание Мари — имея в виду меру и вкус, с которыми осуществлена модернизация языка, а также издание Мишеля, поскольку оно снабжено богатым комментарием и интересными толкованиями.

François Villon. *Oeuvres...*, éd. Auguste Longnon, rev. Par Lucien Foulet. 4-e éd., Paris, 1930 (Classiques français du Moyen Age).

François Villon. *Oeuvres...*, éd. Louis Thuasne. Paris, 1923. 3 vol.

François Villon. *Oeuvres...*, éd. Jean Dufournet. Paris, 1970 (Classiques Garnier).

François Villon. *Poésies*, éd. Jean Dufournet. Paris, 1973 (Gallimard, Poésie).

*Le Testament Villon*, éd. Jean Rychner et Albert Henry. Genève, 1974. 2 vol. (Textes littéraires français).

*Le Lais Villon et les poèmes variés*, éd. Jean Rychner et Albert Henry. Genève, 1977. 2 vol. (Textes litt.fr.).

François Villon. *Oeuvres poétiques*, éd. André Mary. Chronologie, préface et index par Daniel Poirion. Paris, 1965 (Garnier-Flammarion).

Villon. *Poésies complètes*, éd. Pierre Michel. Paris, 1972 (Livres de poche).

Помимо комментария, составляющего важную часть нижеуказанных критических работ, следует назвать фундаментальные работы Итало Сичилиано и последние исследования Жана Дюурне, точность и обоснованность толкований которого не может не быть принята во внимание.

Italo Siciliano. *François Villon et les thèmes poétiques du Moyen Age*. Paris, 1971.

Italo Siciliano. *Mésaventures posthumes de maître François Villon*. Paris, 1973.

Jean Dufournet. *Recherches sur le Testament de François Villon*. 2-c éd. Paris, 1971—1973. 2 vol.

Jean Dufournet. *Nouvelles recherches sur Villon*. Paris, 1980.

Стихи Вийона породили множество самых фантастических толкований, которые вряд ли уместно здесь перечислять. Хотя темы иных книг несколько неопределенны, мы приводим здесь наиболее ценные, в том числе работу Цары, который взялся изучать вербальный гений Вийона, а также Пьера Гиро, изучавшего тексты Вийона с помощью структурной лингвистики и пришедшего к выводу, что «Большое завешание» — произведение зашифрованное; интересна работа Россмана, изучающего психологические мотивировки всей истории с завешаниями, и Деруа, который, разбирая зашифрованные сообщения Вийона, наметил путь для по меньшей мере поразительных открытий. Отношение Вийона к схоластике стало темой очень спорной работы О. Пти-Морфи и краткой, но многообещающей работы П. Имбса.

Jean Derooy. *François Villon, coquillard et auteur dramatique*. Paris, 1977.

Pierre Guiraud. *Le jargon de Villon ou le gai savoir de la basoche*. Paris, 1970.

Paul Imbs, «Villon scolastique?» // *Travaux de linguistique et de littérature publ. Par le Centre de philologie et de littératures romanes de l'Univ. de Strasbourg*, XIX, 1, 1981. Pp. 69—143.

Odette Petit-Morphy. *François Villon et la scolastique*. Lille — Paris, 1977 (Lille, theses).

Vladimir R. Rossman. *François Villon; les concepts médiévaux du testament*. Paris, 1976.

О неизданной работе поэта Тристана Цара (Tristan Tsara) и анаграммах, обнаруженных последним в произведениях Вийона, см.:

Jean Dufournet. *Nouvelles recherches...*, p. 249—273.

Не следует забывать, сколь многим мы обязаны первым биографам Вийона. Шампyonu удалось извлечь из этих работ лучшее, добавив собственные открытия.

Auguste Longnon. *Etude biographique sur François Villon*. Paris, 1877.

Marcel Schwob. *François Villon, Rédactions et notes*. Paris, 1912.

Pierre Champion. *François Villon, sa vie et son temps*. Paris, 2-c éd. 1934. 2 vol.

## СОВРЕМЕННОКИ ВИЙОНА

Множество работ было посвящено литературной жизни и поэзии в XV веке. Некоторые из них позволяют глубже понять интеллектуальную жизнь во времена Франсуа Вийона.

Pierre Champion. *Histoire poétique du XV siècle*. Paris, 1923. 2 vol.

Eugène Vinaver. *A la recherche d'une poétique médiévale*. Paris, 1970.

Christine Marchello-Nizier. *Histoire de la langue française au XIV et XV siècles*. Paris, 1981.

David Kuhn. *Poétique de Villon*. Paris, 1967.

Philippe Ménard. *Le rire et le sourire au Moyen Age*. Genève, 1969.

Omer Jodogne. *Le fabliau*. Turnhout, 1975 (Typologie des sources du Moyen Age occidental).

Pierre-Yves Badel. *Le Roman de la Rose au XIV siècle*. Genève, 1980.

Daniel Poirion. *Le poète et le prince. L'évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à Charles d'Orléans*. Grenoble, 1965.

Cristine Martineau. *Le thème de la Mort dans la poésie française de 1450 à 1550*. Paris, 1978.

## ОБЩИЕ РАБОТЫ

Можно рекомендовать ряд сравнительно недавно вышедших работ с обширной библиографией:

Jean Favier. *La guerre de Cent Ans*. Paris, 1980.

Peter Lewis. *La France à la fin du Moyen Age*. Paris, 1977.

Michel Mollat. *Genèse médiévale de la France moderne*. Paris, 2-е éd., 1977.

По проблемам религии и университетского образования можно назвать два труда, прекрасно представляющих различные точки зрения, а также несколько работ дополнительно:

Etienne Delaruelle, Edmond-René Labande et Paul Ourliac. *L'Eglise au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire, 1378—1449*. Paris, 1962—1964. 2 vol.

Jacques Le Goff. *Les intellectuels au Moyen Age*. Paris, 1960.

*Les universités à la fin du Moyen Age, actes du Congrès international de Louvain...*, ed. Par Jacques Paquet et Josef Ijsewijn. Louvain, 1978.

Astrik Ladislas Gabriel. *Student life in Ave Maria College, Mediaeval Paris*. Notre-Dame, Indiana, 1955.

По проблемам экономическим и социальным в последние годы вышло немало работ, которые позволяют неспециалистам не обращаться к более ранним исследованиям. Правда, во многих из них библиография отсутствует, что лишает читателя возможности получить дополнительную информацию. Здесь приводятся лишь некоторые работы, более или менее отображающие мир, в котором жил Франсуа Вийон.

Jean Favier. *Paris au XV siècle*. Paris, 1974.

Jean Favier. *Le commerce fluvial dans la région parisienne au XV siècle*. Paris, 1975.

Guy Fourquin. *Les campagnes de la région parisienne à la fin du Moyen Age*. Paris, 1964.

*La reconstruction après la guerre de Cent Ans. Actes du 104-e Congrès national des sociétés savantes*. Bordeaux, 1980. Paris, 1964.

*Marginalité, déviance, pauvreté en France, XIV—XIX siècles*. Caen, 1981 (Cahier des Annales de Normandie, № 13).

Michel Mollat. *Les pauvres au Moyen Age*. Paris, 1978.

Bronislaw Geremek. *Le salariat dans l'artisanat parisien, XXIV—XV siècles*. Paris-La Haye, 1968.

Bronislaw Geremek. *Les marginaux parisiens aux XIV et XV siècles*. Paris, 1976.

Françoise Autrand. *Naissance d'un grand corps de l'Etat. Les gens du Parlement de Paris, 1345—1454*. Paris, 1981.

Bernard Guenée. *Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age*. Paris, 1963.

Для того чтобы составить представление о том, как делалась карьера, и проследить за семейно-родственными связями, см.:

Gustave Dupont-Ferrier. *Gallia Regia, ou état des officiers royaux des bailliages et sénéchaussés de 1328 à 1515*. Paris, 1942—1966. 7 vol. in-4.

Gustave Dupont-Ferrier. *Etudes sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Age*. Paris, 1930—1932. 2 vol.

Louis Battifol. *Jean Jouvernel, prévôt des marchands de la ville de Paris, 1360—1431*. Paris, 1894.

## ЦИВИЛИЗАЦИЯ

О культурном и интеллектуальном контекстах эпохи можно прочесть в нижеследующих исследованиях и превосходных биографиях:

Johan Huizinga. *Le déclin du Moyen Age*. Paris, rééd. 1967.

Jacques Le Goff. *Pour un autre Moyen Age*. Paris, 1977.

Jacques Le Goff. *Naissance du Purgatoire*. Paris, 1981.

Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt. *Le charivari*. Paris, 1981.

Roger Vaultier. *Le folklore pendant la gerre de Cent Ans d'après les lettres de rémission du Trésor des chartes*. Paris, 1965.

Jean Delumeau. *La peur en Occident. XIV—XVIII siècles*. Paris, 1978.

Philippe Ariès. *L'homme devant la mort*. Paris, 1977.

*La mort au Moyen Age*. Saint-Etienne, 1981.

*Moyen Age flamboyant. XIV—XV siècles*. Lille, 1981 (*Revue des Sciences humaines*, LV, № 183).

Jacques Chiffolleau. *La comptabilité de l'Au-Dela*. Rome, 1980.

О жизни людей XV века и о том, как они представляли себе окружающий мир, см.:

*Histoire de la France urbaine*, sous la dir. de Georges Duby, tome 2. *La ville médiévale*, sous la dir. de Jacques Le Goff. Paris, 1980.

*Le paysage rural: réalités et représentations. Actes du X congrès des historiens médiévistes*. Lille, 1980 (Numéro spécial de la *Revue du Nord*).

Erich Auerbach. *Mimésis, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale*. Paris, 1968.

Что касается экономической и социальной топографии Парижа, не стоит забывать о давних исследованиях и публикациях, которые основывались на источниках, утраченных ныне. Помимо уже указанных работ по истории Парижа, см.:

Dom Michel Félibien. *Histoire de la Ville de Paris, revue, augmentée et mise à jour par Dom Lobineau*. Paris, 1725. 5 vol. in-folio.

Henri Sauval. *Histoire et recherches des antiquités de la Ville de Paris*. Paris, 1724. 3 vol. in-folio.

Jean-Baptiste Renou de Chauvigné, dit Jaillot. *Recherches critiques, historiques et topographiques sur la Ville de Paris*. Paris, 1772—1775. 21 tomes en 5 vol.

Abbé Jean Lebeuf. *Histoire de la ville de tout le diocèse de Paris*. Nouv. éd. Par Hippolyte Cocheris. Paris, 1863—1870. 4 vol.

Adolphe Berty et Henri Legrand. *Histoire générale de Paris. Topographie historique du Vieux Paris*. Paris, 1886—1897. 6 vol. in-folio (concernent seulement une partie de la rive gauche et le quartier du Louvre).

Alexandre Vidier, Léon Le Grand et Paul Dupieux, puis Jacques Monicat. *Comptes du domaine de la Ville de Paris*. Paris, 1949—1958. 2 vol. in-4.

*Carte archéologique de Paris* (Ville de Paris, Commission du Vieux Paris), sous la dir. de Michel Fleury. Paris, 1971. In-4 et un portefeuille.

## ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФРАНСУА ВИЙОНА В РОССИИ И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Франсуа Виллон. Баллада о повешенных — в кн.: Французские поэты. Спб., 1900.

Франсуа Вийон. О женщинах былых времен — в альманахе «Сирин», сб. II. Спб., 1913.

Франсуа Виллон. Из «Большого Завещания» (строфы XXXVI—XLI, Баллада о дамах прошлых времен) — в журнале «Аполлон», 1913, № 4.

Виллон. (Стихи) — в кн.: Французские поэты. Характеристики и переводы. Т. I. Спб., 1914.

Франсуа Вийон. Отрывки из «Большого Завещания», баллады и разные стихотворения. М., 1916.

Франсуа Вийон. (Стихи) — в кн.: Поэты французского Возрождения. Антология. Л., 1938.

Франсуа Вийон. Стихи. М., 1963.

Франсуа Вийон. Стихи — в кн.: Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Эренбурга. М., 1969.

Франсуа Вийон. Лирика. М., 1981.

Франсуа Вийон. Большое Завещание. М., 1982.

Francois Villon. Oeuvres. М., 1984.

## ЛИТЕРАТУРА О ФРАНСУА ВИЙОНЕ

Карко Ф. Горестная жизнь Франсуа Вийона. Л., 1927.

Мандельштам О. Франсуа Вийон — в кн.: О поэзии. Л., 1928.

Эренбург И. Поэзия Франсуа Вийона — в кн.: Французские тетради. М., 1958.

Фавье Ж. Франсуа Вийон. М., 1991.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

А. Левадковский. Франсуа Вийон и повседневная жизнь Франции XV века . . . . .	5
Пролог. Я знаю все, но только не себя... . . . . .	11
Глава I. Родился в Париже близ Понтуаза... . . . .	24
Глава II. У нас в монастыре изображение ада... . . . .	35
Глава III. Не дай в удел нам вечный ад... . . . .	60
Глава IV. Магистр Гийом де Вийон... . . . .	76
Глава V. И измениться захотелось мне... . . . .	89
Глава VI. Будь я примерным школяром... . . . .	107
Глава VII. Охотно я передаю мою часовню и сутану и паству... . . . .	124
Глава VIII. Всё, всё у девок и в тавернах... . . . .	141
Глава IX. Пока в чести — звучит хвала... . . . .	167
Глава X. Скажу без тени порицанья... . . . .	183
Глава XI. Вот книги, все, что есть, бери... . . . .	206
Глава XII. Глупец, живя, приобретает ум... . . . .	231
Глава XIII. Девицы, слушайте... . . . .	251
Глава XIV. Прощайте! Уезжаю в Анжер . . . . .	273
Глава XV. Ибо тот, за кем охотятся, был крайне неряшлив... . . . .	290
Глава XVI. Нет большего счастья, чем жить в свое удовольствие... . . . .	306
Глава XVII. Смерть, не будь такой беспощадной... . . . .	326
Глава XVIII. Оставьте ль здесь бедного Вийона? . . . . .	342
Глава XIX. Здесь покоится завещание... . . . .	360
Глава XX. Я отвергаю любовь... . . . .	382
Глава XXI. Будете повешены! . . . . .	395
Хронология событий в эпоху Франсуа Вийона . . . . .	406
Библиография . . . . .	409

**Жан Фавье**

**Ф 13** Франсуа Вийон — М.: Мол. гвардия, 1999. — 414 [2] с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 765).

ISBN 5-235-02341-2

Творчество Франсуа Вийона, поэта средневековой Франции, заняло прочное место в мировой литературе. Оно преодолело не только время, но и завоевало сердца читателей всех возрастов и социальных групп, ибо сам поэт говорил и на языке королей, и на воровском жаргоне, и на языке улицы, и на языке судебных крючкотворов. Извилист был жизненный путь Вийона, не раз приводил он его к виселице, так что лишь чудо или король могли спасти поэта от неминуемой смерти. Поэт, говоривший о Любви и Смерти, Вийон водил знакомство и с сильными мира сего, и с бродягами и девками — в кабаках. Он пытался устроиться на службу при дворе Карла Орлеанского — и совершил дерзкое ограбление Наваррского коллежа. Ему было свойственно желание преуспеть — и он не принимал фальши и притворства, столь необходимых для преуспевания среди услужливых придворных. Но бедность, даже нишета не лишали его радостей жизни. А лукавая усмешка Вийона придает глубокий философский смысл его стихам.

Книга Жана Фавье, известного историка-медиевиста и писателя, увлекательно повествует о повседневной жизни Франции середины XV века, соединяя живость изложения с великолепным владением материалом.

УДК 929+ 840.09

ББК 83.3(4Фра)

**Жан Фавье**

**ФРАНСУА ВИЙОН**

Главный редактор издательства **А. В. Петров**

Редактор **О. И. Ярикова**

Художественный редактор **А. Б. Романова**

Технический редактор **Н. А. Тихонова**

Корректоры **Т. И. Малащенко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97.

Сдано в набор 15.07.97. Подписано в печать 16.07.99. Формат 84x108/32. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 21,84+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 99159.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, Сушевская ул., 21.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 103030, Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 5-235-02341-2